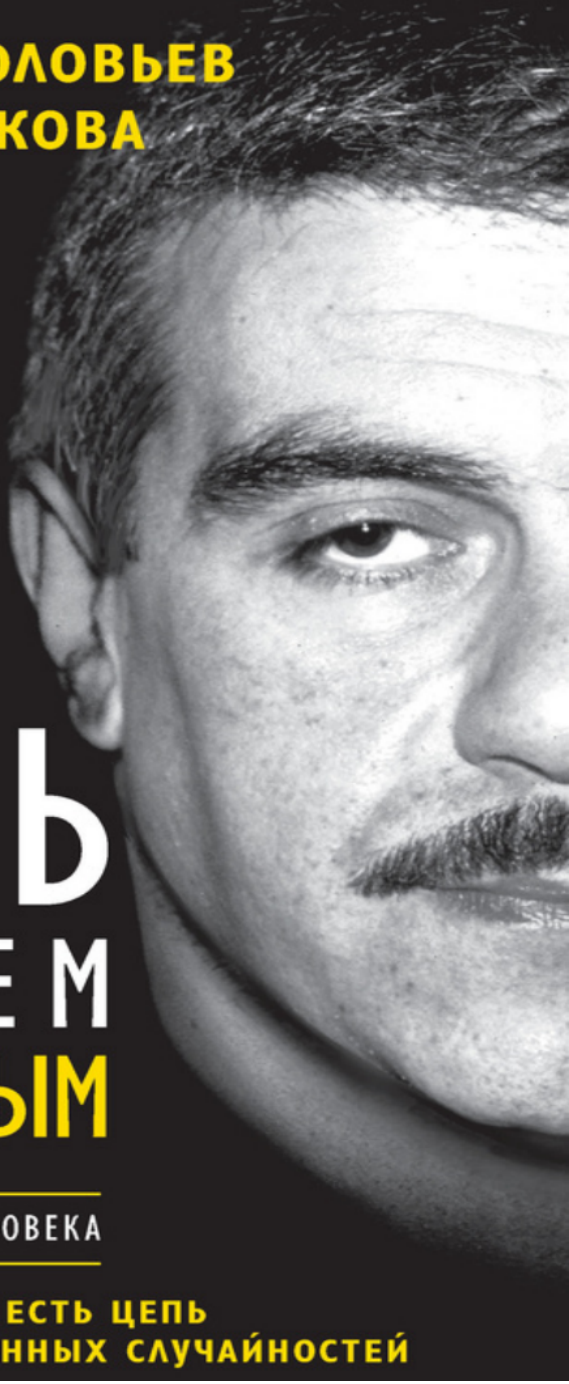
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА



БЫТЬ СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ

ТРАГЕДИЯ ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВСЯ МОЯ БИОГРАФИЯ ЕСТЬ ЦЕПЬ
ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — интимный портрет Сергея Довлатова от его близких по Ленинграду и Нью-Йорку друзей, известных писателей Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Утаенные подробности мученической жизни, роковой любви и трагической гибели.

Авторы признательны Лене Довлатовой, которой мы посвящаем книгу о ее муже, за неоценимую помощь в ее создании.

Пользуемся случаем и благодарим Сережиных и наших друзей — Изю, Соломона и Светлану Шапиро за устные воспоминания и домашние снимки и фотоархивариуса Наташу Шарымову за редчайшие, ставшие историческими фото.

Увы, мы не можем назвать по имени X, Y & Z, потому как весьма ценная информация от них была получена на условиях полной анонимности.

Особая благодарность издательству «РИПОЛ классик», которое выпустило уже шесть книг нашего предыдущего сериала, а этой, седьмой, открывает портретную «линейку» «Фрагменты великой судьбы»: вслед за книгой о Довлатове последует юбилейная книга «БЫТЬ ИОСИФОМ БРОДСКИМ» — к 75-летию поэта.

- Владимир Соловьев, Елена Клепикова
  - Владимир Соловьев & Елена Клепикова
    -
    - «Литературный оазис в ленинградской пустыне»
    - Разговоры соавторов
  - Раздел I. Соседство по жизни
    - Владимир Соловьев
      - Соло на автоответчике
      - Еврей армянского разлива
      - Сплетни и метафизика
      - В долгу как в шелку
      - Мыши кота на погост волокут
      - Мой сосед Сережа Довлатов
      - Как убили Довлатова
    - Владимир Соловьев
      -
      - Призрак, кусающий себе локти
    - Владимир Соловьев
    - Владимир Соловьев

- Раздел II. Бродский и Довлатов
  - Елена Клепикова. Мытарь, или Трижды начинающий писатель
    -
    - Ленинград: хождение по мукам
    - Таллин: бросок на ближний Запад
    - Нью-Йорк: дебют — триумф — смерть
  - Владимир Соловьев. Иосиф и Сергей. Post mortem
    - Ключ к психологической загадке
    - Кто кому сочинит некролог?
    - Иосиф в Египте
    - Комплекс графа Монте-Кристо
    - P.S. Тайна любовного треугольника. Исследование-расследование
  - Бродский & Довлатов: Запретные тексты
    -
    - Иосиф Бродский. Лене Клепиковой и Вове Соловьеву. С комментами
    - Сергей Довлатов. Вор, судья, палач…
- Раздел III. В защиту Довлатова: трупоеды
  - Вакханалия вокруг покойника
  - Владимир Соловьев
  - Владимир Соловьев
  - Елена Клепикова
    -
    - Исчезнувший Довлатов
    - Что случилось с Поповым?
    - Анти-Довлатов
    - Кто же он?
    - «Просто наблюдательный человек»
    - Ниже плинтуса
    - Убить пересмешника
  - Владимир Соловьев
- Раздел IV. Жизнь после смерти
  - Жизнь после смерти
  - Везет же некоторым с соседями
  - Владимир Соловьев
  - Владимир Соловьев
  - Владимир Соловьев
  - Владимир Соловьев
- Приложения. Канва жизни Сергея Довлатова. Даты. События. Комменты
- Фотоматериалы

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Владимир Соловьев, Елена Клепикова
Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека

Владимир Соловьев & Елена Клепикова
Тайна Довлатова

Мне близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать.

Мне нравится Куприн, из американцев — О'Хара. Толстой, разумеется, лучше, но Куприн — дефицитнее.

Нашу прозу истребляет категорическая установка на гениальность. В результате гении есть, а хорошая проза отсутствует.

С поэзией все иначе. Ее труднее истребить. Ее можно прятать в кармане и даже за щекой.

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем

«Литературный оазис в ленинградской пустыне»

В чем повезло — мы были близко знакомы с Бродским и Довлатовым. Не только с ними, конечно, — тесно дружили с Окуджавой и Слуцким, Эфросом и Искандером, Юнной Мориц и Евтушенко, с Алешковским, Битовым, Шемякиным, Кушнером, Рейном и прочими. Доска почета русской литературы, не иначе! Не только нам — им тоже повезло на дружбу с нами: иначе зачем бы они стали с нами водиться? Мы все были частью литературного процесса, а не просто друзьями-товарищами. Однако Бродский и Довлатов — особая статья: наши отношения протянулись через океан, когда мы эмигрировали в Америку. Все мы из Ленинграда, но у Владимира Соловьева и Елены Клепиковой был перевалочный пункт — Москва, где мы прожили пару лет перед тем, как отвалить за кордон.

Бродский преподнес нам на совместный день рождения (мы родились с разницей в пять дней, а потому устраивали один на двоих) посвященный нам классный стишок — как он говорил, стихотворное подношение («Позвольте, Клепикова Лена, пред вами преклонить колена. Позвольте преклонить их снова, пред вами, Соловьев и Вова…»), а Довлатов опубликовал про нас в своем «Новом американце» защитную от разной окололитературной швали статью. Мы были двойными земляками — по Питеру и по Нью-Йорку. В Питере у нас были близкие отношения с Осей — вплоть до его отвала, а с Сережей — скорее приятельские. Хотя именно Владимир Соловьев делал вступительное слово на его единственном творческом вечере в России — было это в ленинградском Доме писателей им. Маяковского на ул. Воинова. Когда именно этот вечер состоялся, вылетело из головы — мартобря 86-го числа, но педант и аккуратист Сережа услужливо подсказывает нам из могилы (хотя на самом деле из своей книги «Ремесло»): среда 13 декабря 67-го, 17 часов. А Лена Клепикова одобрила его рассказы и пробивала в печать, работая редактором отдела прозы молодежного журнала «Аврора», — увы, из этого ничего не вышло, и опять-таки архивариус своей литературной судьбы Довлатов запротоколировал эту печально-смешную историю в той же повести «Ремесло», где приводит письмо Лены из редакции как свидетельство советско-кафкианского абсурда.

Ося вспоминает о встречах с Довлатовым в «помещениях тех немногих журналов, куда нас пускали». Бродский запамятовал —

он вообще не всегда утруждал себя сверкой написанного с реалом, не в укор гению будет сказано, о чем еще речь впереди, а пока что уточним: в Ленинграде было тогда всего три литературных журнала: «Нева», «Звезда» и «Аврора», не считая детского «Костра», и «Аврора» была единственной из «взрослых» редакций, куда Бродского «пускали» и где он регулярно появлялся, паче в десяти минутах ходьбы от его дома. Машинистка Ирэна Каспари печатала его стихи, а с редактором Леной Клепиковой он дружил — недаром в отличном телефильме «Остров по имени Бродский», который прошел по Первому каналу, она представлена как «подруга юности Бродского», хотя по возрастному отсчету — скорее молодости.

Бродский и Довлатов тусовались в разных питерских компаниях и пересекались редко, а с некоторых пор — после разборки между ними в довлатовской комнате в коммуналке на Рубинштейна, 23, о чем читателю этой книги предстоит узнать в подробностях, — редакция «Авроры» стала единственным местом схода двух этих будущих светил русской литературы. Топографическое уточнение — не вся, понятно, редакция «Авроры»: высокое начальство было не для простых смертных литераторов, тем более таких опально-крамольных, как Бродский и Довлатов, а с другими отделами, в особенности с отделом поэзии, возглавляемым шовинисткой с антисемитским душком, связи были и вовсе нулевые. Вот характеристика самого Довлатова — она относится к другому журналу, но ситуация была схожей в любом из них:

«Я спросил одного из работников журнала:

— Кого мне опасаться в редакции?

Он ответил быстро и коротко:

— Всех!»

Исключением, которое, однако, доказывает правило, был отдел прозы, пока им заведовал человек порядочный и неплохой прозаик Боря Никольский; потом были присланы для укрепления официальной линии писатель-почвенник Глеб Горышин и спесивый и вздорный Вильям Козлов, который прославился своим доносом на засилье среди молодых писателей евреев. Обком партии на пару с КГБ всячески препятствовали утверждению редактором отдела прозы Лены Клепиковой — ввиду ее подозрительной молодости (она стала самым молодым сотрудником журнала, хотя ей было уже 27) и беспартийности, тогда как остальные были «членами». В конце концов перевесили ее литературный вкус и редакторский профессионализм, без которых именно в отделе прозы было просто никак!

Лене Клепиковой пришлось работать при всех трех завах

отдела прозы, хотя Козлов, который сдал в макулатуру рукописи Довлатова (см. ниже), был последней каплей терпения. Но в лучшие, сравнительно вегетарианские авроровские времена в ее кабинете клубились писатели — молодые Андрей Битов, Ося Бродский, Борис Вахтин, оба Виктора — Голявкин и Конецкий, Яша Длуголенский, Сережа Довлатов, Игорь Ефимов, Валера Попов — всех не упомнишь; были и не очень молодые, а то и «возрастные» Александр Моисеевич Володин, Геннадий Самойлович Гор, братья Стругацкие, временный ленинградец Булат Окуджава и москвичи Женя Евтушенко, Фазиль Искандер, Юнна Мориц, Александр Петрович Межиров; все не так чтобы диссиденты, а диссидентствующие — вот точное слово! — и на подозрении у властей предержащих, но «Аврора», тем не менее, их печатала или хотя бы пыталась напечатать. Захаживал сюда, понятно, и критик в печать, прозаик в стол Владимир Соловьев — как автор «Авроры» и не вовсе чужой Лене человек, иногда с Жекой Соловьевым, совместными усилиями сотворенным чадом, который сызмала варился в этом литературном котле и не совсем случайно стал впоследствии американским поэтом и художником Юджином Соловьевым. Здесь он впервые услышал песни Высоцкого в исполнении автора, который дал в редакции вечерний концерт в надежде напечатать в «Авроре» свои стихи, но все редакционные усилия пропали даром — обком зарубил стихи на корню. А если что-то удавалось, это был уже на нашей улице праздник. Особенно когда Лена извлекала талантливую прозу из «потока». Так, «Аврора» стала «первопечатником» Людмилы Петрушевской, когда в 1972 году опубликовала «Историю Клариссы» и «Рассказчицу». Владимир Соловьев мгновенно откликнулся на эту публикацию восторженной статьей в «Юности», что, однако, не помогло первоклассной рассказчице встать на ноги — прошло еще 10 лет, прежде чем ее стали снова печатать.

Нет, конечно, авроровский кабинет Лены Клепиковой даже отдаленно не походил на знаменитые литературные салоны. Скорее литературная забегаловка, место схода писателей, известных и начинающих, где они случайно и неслучайно, предварительно сговорившись, тусовались, звездили, спорили, ссорились, разбегались, а потом, уже в избранном составе, встречались наново у нас в гостях по разным поводам и на совместных наших днях рождения, о чем и свидетельствует посвященное нам Бродским стихотворение, которое будет далее приведено полностью, вместе с детективным комментарием. Он же окрестил наш дом «литературным оазисом в ленинградской пустыне» — пусть и преувеличение, но с его легкой руки эта

метафора-гипербола пошла гулять по городу как идиома. Да и сам Бродский уже не расставался с придуманным им образом: он дал нам на прочтение рукопись своей новой книги «Остановка в пустыне», которая вышла год спустя в Нью-Йорке (1970), а одно из самых сильных в его закатные «тощие» годы стихотворений называлось «Письмо в оазис».

Что до «Авроры», то она позднее стала местом действия написанного еще в России докуромана Елены Клепиковой «Убежище». То же с документальной прозой Владимира Соловьева, будь то повесть «Еврей-алиби», где беллетристики чуть-чуть и где реальный Довлатов помянут больше двадцати раз, исповедь «Бог в радуге» с семидесятью пятью ссылками на Довлатова или главы из посвященного Бродскому нашумевшего романа «Post mortem», где речь как раз об отношениях двух самых прославленных в России писателей, — там Довлатова и вовсе несчитано, за сотню зашкаливает. Само собой, дело не только в числе упоминаний: Довлатов везде не статфажная фигурка, а один из главных фигурантов. Не говоря уже о том, что эти тексты восстанавливают обстановку, атмосферу, если угодно, живительную, животворную среду, в которой существовала тогда питерская литературная молодь, включая Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Наш герой дан не на фоне, а в культурном, политическом, человеческом, сексуальном, каком хотите контексте! Он из него вырастает во весь свой гигантский рост. Можно и так сказать: художественная проза — в дополнение и углубление мемуарно-портретной.

В Нью-Йорке произошла, условно говоря, инверсия. Еще точнее — рокировка. Ленинградское приятельство с Довлатовым перешло в тесную дружбу: мы сошлись, сблизились, сдружились, плотно, почти ежедневно общались, благо были соседями. Зато с Бродским виделись куда реже, чем в Питере. Когда мы прибыли, пятью годами позже, Ося нас приветил, обласкал, расцеловал, подарил свои книжки, дружески пообщался со старым своим, еще по Питеру, знакомцем, рыжим котом-эмигре Вилли, и свел нас с сыном в ресторан. Однако отношения как-то не сложились, хотя Владимир Соловьев — единственный! — печатно отметил его полувековой юбилей, опубликовав в «Новом русском слове», флагмане русской печати за рубежом и старейшей русской газете в мире, юбилейный адрес к его полтиннику. Точнее будет сказать, отношения имели место быть, но в полном объеме не восстановились — прежние, питерские, дружеские, теплые, накоротке.

Что тому виной?
Точнее кто?

Разговоры соавторов

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Mea culpa. Придет время, расскажу, но не сейчас и не здесь — эта книжка про Довлатова, а не про Бродского, хоть он и мелькнет в ней не раз, но скорее на обочине сюжета, на полях рукописи, побочным, маргинальным персонажем, несмотря что нобелевец — по касательной к Довлатову. С Сережей наоборот: после пары лет случайных встреч в Куинсе, где мы волею судеб оказались соседями, вспыхнула дружба с ежевечерним — ввиду топографической, и не только, близости — общением и длилась до самой его смерти. Дружба продолжается — с Леной Довлатовой.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Плюс Таллин, куда я приехала от «Авроры», а Сережа туда временно эмигрировал — перед тем как эмигрировать окончательно и бесповоротно в Америку.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. У тебя уникальная возможность рассказать о всех трех местах действия. Наверное, ты единственная, кто знал Сережу по Ленинграду, Нью-Йорку и Таллину.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Именно Таллин, на который он возлагал столько надежд, сломил его окончательно. Там у него начался тот грандиозный запой, который с перерывами длился до самой смерти.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Образно выражаясь — да. С другой стороны, именно в этот срок — между фиаско в Таллине и смертью в Нью-Йорке — и состоялся Сергей Довлатов как писатель. А уже отсюда его посмертный триумф.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Не согласна. Довлатов стал профессиональным, ярко талантливым, хоть и упорно непечатаемым писателем еще до Таллина — в Ленинграде. Что непременно докажу в своем о нем эссе. Ты же сам расхваливал Сережу на все лады в своем вступительном слове к его вечеру в Доме писателей. Вспомни его бесконечные папочки с новыми рассказами и даже короткометражным романом «Пять углов».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Про любовь. Он потом вмонтировал его в другую повесть — «Филиал». Одна из лучших его книг.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А почему? Да, там есть очень смешные персонажи и сцены со славистского форума в Лос-Анджелесе, но мы ее любим не за эти гротески, а за любовный драйв, который написан в Питере.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ладно, вижу, куда ты клонишь. Вот и пиши об этом, когда дойдет очередь до твоего сольного выступления. Мы с тобой редко когда сходимся во мнениях,

иногда до противоположности, но, ты знаешь, в данном случае несогласие лучше согласия. Вот мы и дадим Довлатова с разных точек зрения. Что важно сейчас — выяснить, заявить и застолбить главные сюжеты нашей книги. А пока что вернемся к Довлатову в Нью-Йорке. Мы пропустили и его смерть, и его похороны.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Помнишь, он зашел к нам за экземпляром твоих «Трех евреев», которые тогда, в самом первом издании, назывались еще «Роман с эпиграфами»? А на другой день мы отъехали с палатками в Канаду. На обратном пути, из Мэна, отправили ему открытку с днем рождения. А поздравлять уже было некого. Мы вернулись в огнедышащий Нью-Йорк из прохладного Квебека, ни о чем не подозревая. Вот тут и начался этот жуткий макабр. Точнее, продолжился. Как у Марии Петровых: «Я получала письма из-за гроба».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. С той разницей, что в нашем случае почта в оба конца: мы поздравляем с днем рождения мертвеца, мертвец присылает отзывы о «Трех евреях». Последняя книга, которую он прочел. Сережа принимал опосредованное участие в ее издании — дал дельный совет нью-йоркской издательнице Ларисе Шенкер по дизайну обложки, хотя с текстом книги знаком еще не был. И увидел сигнальный экземпляр раньше автора — когда явился в издательство WORD, а там как раз готовились к изданию его «Записные книжки» и «Филиал». Позвонил и сказал, что меня ждет сильное разочарование, а в чем дело — ни в какую. На следующий день я помчался в издательство — и действительно: в корейской типографии (самая дешевая) почему-то решили, что «Три еврея» вдвое толще, и сделали соответствующий корешок. В итоге — на корешке крупно название книги, а имя автора на сгибе. Сережа меня утешал: книга важнее автора. В этом случае так и оказалось. А до двух своих книжек не дожил — вышли посмертно.

Вот тут и стали доходить его отзывы о «Трех евреях». Сначала от издательницы — что Сережа прочел «Трех евреев» залпом и был «под сильным впечатлением», как выразилась Лариса Шенкер. Потом от его вдовы: «К сожалению, всё правда», — сказал Сережа, дочитав роман. Лена Довлатова повторила Сережину формулу в двухчасовом радиошоу о «Трех евреях». Я бы тоже предпочел, чтобы в Ленинграде все сложилось совсем, совсем иначе.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Но тогда бы никаких «Трех евреев» не было.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. И никто бы не уехал из России: ни Довлатов, ни Бродский, ни мы с тобой.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. И вот ты нажал не ту кнопку

автоответчика, и мы услышали яркий, дивно живой голос мертвого Сережи. И потом еще долго, когда возвращались вечером с Лонг-Айленда, мне мерещилась на наших улицах его фигура — так он примелькался здесь, слился с куинсовским пейзажем.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Я так и назвал свой мемуар: «Довлатов на автоответчике».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А я свой — «Трижды начинающий писатель». Потом добавила «Мытарь». Вот и получается складень.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Но еще не книжка. Мы могли бы дорастить эти вспоминательные эссе. У каждого есть что добавить.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Они так много печатались — в периодике по обе стороны Атлантики, в твоих и моих сольных книгах, в нашей совместной книге «Довлатов вверх ногами», вызвали столько откликов и споров, стали хрестоматийными, их цитируют вдоль и поперек.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Мне есть что добавить. Я готов увеличить свой мемуар вдвое-втрое. Да и у тебя есть что про запас.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Еще бы! Не то чтобы я писала тогда наспех, но с тех пор столько антидовлатовщины опубликовано, особенно про питерский период. Я просто обязана, как непосредственный участник тех событий, восстановить реальную картину. Однако если делать новую книгу про Довлатова, то за счет новых текстов. А еще бы у Лены Довлатовой фотками разжиться.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Включая те, что мы использовали в фильме про Сережу.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Плюс твоя повесть «Призрак, кусающий себе локти». Здорово тебя за нее обложили — что ты под Сашей Баламутом Довлатова протащил. Признайся, ты лукавил в двух этих ответных статьях — «В защиту Сергея Довлатова» и «В защиту Владимира Соловьева», — когда пытался откреститься от прототипов, хотя твои образы прозрачны и сквозь них просвечивают реальные люди. Тот же Довлатов.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А что мне оставалось, когда на меня ополчилась вся окололитературная сволочь нашей эмиграции! Обе эти статьи стоит тиснуть в этой книге. Читателю на суд. Это важно еще и для того, чтобы воспроизвести ту атмосферу, в которой мы работали. Сам Довлатов называл свой литературный метод псевдодокументализмом. Человек не равен самому себе — привет графу Льву Николаевичу. Тем более литературный герой — своему прототипу.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты иногда путаешь жанры: документальную прозу с беллетристикой. Да и «Роман с эпиграфами», который печатается теперь под названием «Три еврея», — никакой не роман, а в чистом виде документ, пусть в художественной форме, ценный как раз эвристически — что ты написал его в России, по свежим следам, а не спустя многие годы, перевирая сознательно или по беспамятству. И для Сережи твои «Три еврея» — это документ. Отсюда его вывод: «К сожалению, всё правда».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Неизвестно, где проходит эта невидимая граница. Где кончается документ и начинается художество? Тынянов: «Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. Там, где кончается документ, там я начинаю».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Это же историческая проза.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Довлатов и Бродский — тоже история. Уже история. Сережа был прав: «После смерти начинается история». Я пишу историческую прозу о современности. Это касается и вспоминательного жанра. По сути, любые мемуары — антимемуары, а не только у Андре Мальро. «Три еврея» — это роман, пусть и с реальными персонажами. В отличие от «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, с которыми сравнивал его Бродский. Не согласен ни с Бродским, ни с Довлатовым, ни с тобой. Это ты посоветовала снять вымышленные имена и поставить реальные: не ИБ, а Бродский, не Саша Рабинович, как было у меня, а Саша Кушнер. Как на самом деле. И прочее. Жалею, что послушался. Выпрямление и прямоговорение. Аутентичность в урон художеству. Вместо дали свободного романа замкнутая перспектива документа. А так бы отгадывали, кто есть кто в «Трех евреях».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Секрет Полишинеля! Да и кому теперь время заниматься раскрытием псевдонимов твоих героев? Не те времена. А так — под своими именами, с открытым забралом — твои «Три еврея» уже четверть века будоражат читателей — сначала в русской диаспоре, а теперь, наконец, и в метрополии, где одно за другим выходят издания этого твоего антиромана. Под таким шикарным названием у «Захарова» — «Три еврея».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Спасибо Игорю Захарову и Ирине Богат. Название они придумали. Мое — «Роман с эпиграфами» — ушло в подзаголовок.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Где ему и положено быть — это жанровое определение.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А как же «Роман без вранья» или «Роман с кокаином»? Или «Шестеро персонажей в поисках автора»? Подзаголовки, вынесенные в названия, — жанровая

инверсия. Что такое «Портрет художника в молодости»? Название или подзаголовок? А другой мой роман черново назывался «Портрет художника на пороге смерти», но потом я переименовал: «Post mortem. Запретная книга о Бродском». Не о самом Бродском, а о человеке, похожем на Бродского. Единственная возможность сказать о нем правду. Очистить образ Бродского от патины, то есть от скверны, — задача была из крупных, под стать объекту. Какая-то московская публикация о романе так и называлась: «Вровень с Бродским». А в другой было сказано, что «Post mortem» то ли закрывает, то ли отменяет бродсковедение. Ввиду такого успеха — в том числе коммерческого — издательство спарило «Трех евреев» с «Post mortem» и выпустило под одной обложкой.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Под хулиганским названием «Два шедевра о Бродском».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Почему хулиганским? Так и есть. Это мое самое-самое. Не только в моем контексте, но и в море разливанном бродско… бродскоедения, а еще точнее, бродсконакипи мои романы лучшее, что о нем написано. Как говорил маркиз де Кюстин, я скромен, когда говорю о себе, но горд, когда себя сравниваю. «Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью», — писал Павел Басинский, который ухитрился напечатать две разные рецензии в разных изданиях на «Post mortem».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Наша задача теперь — очистить от наслоения мифов образ Довлатова.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Моя мама и Сережа умерли с разницей в три месяца — и оба раза мы были в отъезде: когда мама — в России, а когда Сережа — в Мэне.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты так и назвал первую киноновеллу в фильме о Довлатове — «Я пропустил его смерть».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Отсутствие суть присутствие. То есть так: если бы я в обоих случаях не уезжал из Нью-Йорка, не было бы такой мучительной реакции. Мгновение чужой смерти растянулось для меня в вечность. Единственное спасение — литература. Ну да, некрофильский импульс. Смерть — как вдохновение, потеря — как творческий импульс. А эту нашу книгу рассматриваю как наш долг покойнику.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. И позабудем про его эпистолярные характеристики.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Тебе что! Тебе, наоборот, неплохо бы выучить их наизусть. Ты одна из немногих, о ком он отзывается без скопившейся у него на весь мир, себя включая, желчи: «Лена Клепикова, миловидная, таинственная, с богатой

внутренней жизнью». Тебе вообще везет — ты, кажется, единственная из нашей эмиграции, кого Солженицын упоминает по имени!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Чтобы потом обрушиться на меня с высоты своего авторитета.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Негативное паблисити теперь в большей цене, чем любая хвала.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Тогда тебе есть чем гордиться. Что бы ты ни писал, сразу скандал.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. «Хвалу и клевету приемли равнодушно…» Не обо мне речь. Среди Сережиных эпистолярных отзывов твоя характеристика — ложка меда в бочке дегтя. А каково мне! «Этот поганец хапнул аванс больше $100 000 (ста тысяч, об этом писали в „Паблишерс уикли“) за книгу об Андропове». Самое смешное, что аванс мы хапнули вдвоем, это наша совместная книжка, но ты — миловидная, таинственная, с богатой внутренней жизнью. И он еще сравнивает тебя со своей редакторшей в «Нью-Йоркере», которую «будь я в Союзе, то подумал бы, что надо трахнуть». Вот поганец — он, а не я! Ишь, чего захотел!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Надеюсь, хоть к Сереже ты не ревнуешь! И никого он особенно не хотел, а просто считал своей мужской обязанностью, потому и пишет «надо». То есть надо из карьерных либо из джентльменских соображений — мол, дамы от него этого ожидают. Ну да, ждут не дождутся!

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А на радио «Свобода», где у них, по словам Сережи, был «перекрестный секс», дамы отзывались о нем пренебрежительно: «Ничего особенного».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Так ты у Сережи стибрил это выражение, назвав один из своих рассказов «Перекрестный секс»?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Почему нет? А он у меня позаимствовал «у моей жены комплекс моей неполноценности». Это я про тебя.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Нет у меня такого комплекса! Тебе главное — поиграть словами.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. На то я и писатель, черт побери! Ладно, я не об этом. Зато моему лютому завистнику Ефимову — а Довлатов поддразнивал его нашим шестизначным авансом — прощаю всю его кретинскую квазимемуарную клевету на меня только за то, что называет тебя очаровательной.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А ты забыл, как он обрушился на меня, когда я написала о прямых заимствованиях в «Белом отеле» Дональда Томаса из «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова. Общеизвестный, хрестоматийный случай плагиата. Никак не

умаляющий прочих достоинств романа. Мало того что твой Игорек напечатал свой поклеп в газете, так еще послал кляузу, а по сути донос на радио «Свобода».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну, тогда, помнишь, какая аховая борьба шла за нештатную работу на радио. Ефимова отвергли за профнепригодность, зато его жена, как фрилансер, была на подхвате и делала для них репортажи, над которыми корпел Петя Вайль, бедняга, переписывая наново каждую фразу. Сам видел. Только что не плевался. Я посочувствовал ему, а он мне: «Что мне остается — Ефимов в своем „Эрмитаже“ издает наши с Сашкой книжки». Ефимов, как паук, ткал свою паутину и держал в зависимости от себя многих своих авторов. Не только Вайля с Генисом, в основном женщин-эмигре, которые во что бы то ни стало хотели напечататься, пусть из своего кармана: Вику Беломлинскую, Беллу Езерскую, Лилю Панн, Люду Штерн и прочих литературных и окололитературных дам. Эти проплаченные авторами книжки и превращали ефимовский «Эрмитаж» в selfpublishing vanity press, самиздат тщеславия. Знал бы Сережа, что Ефимов не только зарабатывал как издатель на тщеславии авторов сверх таланта, но и создавал литературную мафию, в которой сам был боссом, доном, крестным отцом. В эту мафию входили и питерские мужи, которых Ефимов опутал узами американского гостеприимства, — типа будущего довлатовского биографа-завистника Валеры Попова или Яши Гордина, которого даже мы, его приятели, называли Скалозубом за солдафонство по жизни и в литературе, а Сережа Довлатов припечатал в письменном виде «заурядным человеком», выражая, впрочем, общее о нем мнение. Нет, я не любитель конспирологических теорий, но сама посуди — все эти заединщики между собой знакомы, тесно связаны через Ефимова и от него зависимы. А он, главный злопыхатель и зложелатель, запросто мог стать застрельщиком всей этой антидовлатовской вакханалии. И уж точно вся эта мафиозная сеть пригодилась Ефимову, когда он контрабандой выпустил свою переписку с Довлатовым, несмотря на протесты вдовы и правообладательницы, и организовал антидовлатовскую пиаркампанию в свою пользу. Заговор против мертвеца. Извиняюсь, конечно, за мысли, как любил говорить Сережа.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты в этом уверен? А не так, что их просто объединила зависть к Довлатову, пусть Игорь и возглавил этот крестовый поход против покойника? Лена Довлатова, например, считает, что заговор — слишком для них роскошно звучит. Хотя, конечно, кто в совершенстве освоил доносительный жанр, так это Ефимов. Сам об этом пишет в своих

псевдомемуарах. По самой своей натуре сутяга и стукач — был и остался. Стучал на тебя, настучал на меня, но главный его стук на Довлатова — вот кому он завидовал черной завистью! Вредный стук, как говорил Сережа. И публикация переписки с Сережей — это месть покойнику, настоящая вендетта, а не только желание примазаться к его славе, хотя, конечно, он из тех, кто паразитирует на знаменитостях, живет в отраженных лучах чужой славы, будучи сам литературным неудачником, пусть и плодовитым, как кролик.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну, Довлатов и Бродский — кормушка для всех, кто их знал. Пусть даже шапочно. А то и вовсе рядом не стояли, но post mortem примазались. У Довлатова трупоедов больше. Включая тех еще, с кем Довлатов вусмерть разругался, как с Игорем Ефимовым. А тот, представляешь, напрямую жалился Лене Довлатовой, что кто только мог уже словил свой гешефт от знакомства с Довлатовым, а он, Ефимов, все еще не допущен к этой кормушке, пришел к шапочному разбору, опоздал к разделу довлатовского поминного пирога.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ефимов опубликовал это письмо?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Держи карман шире! Конечно нет. Как публикатор довлатовско-ефимовской переписки он сплошь и рядом мухлюет, я сравнивал изданную им книгу с реальными письмами в довлатовском архиве. Одни опускает, другие купирует. Это и текстологически и семантически видно невооруженным глазом — сплошной спотыкач! Я потому и решил заглянуть в Сережин архив, у Лены Довлатовой вся эта переписка аккуратно разложена хронологически. Мы сидели с ней и сравнивали оригиналы с изданными письмами. Фальшак притворяется документом. К сожалению. Зато Ефимов своего добился — благодаря этой переписке прославился, о чем мечтал всю жизнь. Если кто вспомнит его, то только как корреспондента Довлатова.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Смешная у тебя получилась пародия на шестидесятника-неудачника.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. «Некролог себе заживо»? Ну, не один к одному…

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Да брось, секрет на весь свет! Ты вообще не очень горазд на выдумки. Ефимов списан с натуры и узнаваем от начала до конца. А какой ты ему шикарный псевдоним придумал? Игорь Питерец — взамен его настоящего псевдонима Андрей Московит.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Игра эквивалентами.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А те Сережины эпистолярные тебе характеристики надо воспринимать в контексте. Письма

адресованы твоему лучшему врагу и заклятому другу. Ефимов попрекает Сережу знакомством с тобой устно и письменно. А Сережа то подыгрывает ему, то оправдывается, завися как от издателя. Он даже пытается тебя защитить: «Соловьев не так ужасен. Ужасен, конечно, но менее, чем Парамоха», про которого Сережа говорил, что антисемитизм — только часть его говнистости.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Сказано классно, хотя Парамонов в эту формулу все-таки не укладывается. У Сережи был зуб на него. Он рвался набить ему морду на «Свободе», еле удержали. Я тоже чуть не разбил о его голову бутылку — было дело. Согласен с Сережей: говнистости в Парамохе — через край.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Проехали. Ты написал про Парамонова повесть «Еврей-алиби» — забудь про него.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Скорее Парамоха послужил прообразом моего героя. Я добавил ему аргументов, сделал умнее и глубже, чем он есть на самом деле. У Бори сын, а у Стаса, моего героя, дочь. Да и вообще это собирательный образ. Не единственный же он антисемит среди нас.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Бог с ним! А Сережа, помимо прочего, отстаивал свое право как главреда «Нового американца» нас с тобой печатать, тогда как Ефимов с его совковой психикой, будь его воля, перекрыл бы все кислородные пути. А Сереже скажи спасибо — ты далеко не худший в его эпистолярном паноптикуме. А кто самый худший, знаешь? В его собственном ощущении — он сам. Его мизантропство — «всех ненавижу» — от недовольства своей жизнью и отвращения к себе.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Все говно поднялось со дна души — его собственное выражение. Это, однако, не было доминантой его характера, а находило на него приступами. Чего не скажешь в сердцах!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Это частная переписка — не для печати. Сереже нужно было время, чтобы сориентироваться и понять, кто есть кто. Встал же он печатно на твою защиту, когда на тебя набросилась свора за еще не напечатанных «Трех евреев». Это было в период добрососедских отношений — еще до дружбы, когда вы с ним встречались каждый божий день.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Уточняю: каждый божий вечер. А та статья — лучшая его публицистика!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Это не просто статья, а поступок. Поступок, который требовал мужества. Как и разрыв с Ефимовым, на которого он в Ленинграде смотрел снизу вверх, как на мэтра, а в последние годы при одном упоминании Ефимова делал стойку, ни о ком не говорил с таким отвращением. Ладно, оставим его в

покое. А как с нашей главной парой: «Довлатов — Бродский»? В фильме у тебя про них отдельная новелла.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. С известной натяжкой. И то потому, что это фильм о Довлатове. В фильме о Бродском — если дойдут руки — новеллы «Бродский — Довлатов» не будет. Как и в следующей, юбилейной книге нашей мемуарно-аналитической линейки «Быть Бродским. Апофеоз одиночества».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты анонсируешь книгу о Бродском заранее? Смотри, не сглазь. А разве Сережа не был одинок по жизни, несмотря на ее бурление округ него?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Мы о разном. Одиночество было источником вдохновения Бродского, чего никак не скажешь про Довлатова. Помню, мы с ним пошли на вечер Бродского в Куинс-колледже.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Это когда у нас моя мама гостила? Где-то ранней весной 1988-го. Потому я и не смогла пойти. А жаль.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не много потеряла. На сцену вышел старый лысый еврей, лет 65, хотя ему тогда не было и 48. Какое отношение имеет этот человек к тому Бродскому, которого мы с тобой любили? Тень тени. Как встреча с любимой женщиной спустя полвека. Но тут всего пара лет, как видел его последний раз, не участвуя в борьбе за «доступ к телу» и сохранив благодаря этому его питерский образ. Что с ним время сделало! Читал, однако, с прежней мощью, особенно «Winter» по-английски и «Вороненый зрачок конвоя» по-русски. Часто сбивался, но это ничего. По-английски страшно заикался и эти бесконечные «Э… э… э…». Даже картавость по-английски как-то заметнее. Очень тогда переживал за него. Английская неадекватность его русскому. В самом деле, как перевести ту же «жидопись»? Курил непрерывно, прикуривая у самого себя. Выкурив положенную ему на день или на этот вечер норму, стал стрелять в зале. А после вечера около него толпился люд, еле пробился к нему. Обнял, что-то мелькнуло в нем прежнее, близкое, родное, но встреча была как будто уже за чертой горизонта, на том свете. Довлатов, волнуясь, сказал ему: «Я должен вас поблагодарить, Иосиф». — «За что?» — «Для вас это не важно, но важно для меня. Я вам еще позвоню». Довлатов льстил с достоинством — Бродскому это нравилось. И вообще, такой большой, а льстит, заискивает, зависит. А что Сереже оставалось? Он действительно зависел от рекомендаций Бродского — в «Нью-Йоркер», в издательства, на литконференции и гранты.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Литературный пахан.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Чего так круто? Заменим на эвфемизм: распределитель литературных благ. А тогда я

расчувствовался и хотел пригласить его к нам, тем более ты благоволила к Осе как ни к кому другому из наших питерских знакомцев, но вспомнил о семейном напряге у нас дома в связи с приездом твоей мамы.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Думаешь, он поехал бы к нам?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не сомневаюсь. Так он был одинок, неприкаян. Мы с Сережей по пути обратно как раз об этом и говорили. И знаешь, что Сережа вспомнил? Рассказ Валеры Попова про человека, который стал чемпионом, и все перестали ему звонить, думая, что у него теперь отбоя нет от поклонников. Вот и сидит этот чемпион дома, скучает, пока не раздается долгожданный звонок — это ему звонит другой чемпион мира, которому тоже все перестали звонить.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Два чемпиона мира — Бродский и Довлатов. Почему не объединить эту парочку в отдельную главу? Тебя Бродский называл ласково Вовой, а Довлатов — Володищей или Вольдемаром. А теперь тебя так зовет Лена Довлатова. А как Бродский звал Довлатова?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Как мы с тобой: Сережей. Иногда Сержем. Либо Сергуней. Сергеем — никогда! В их отношениях не было равенства. «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя» — передадим Осины стихи Сереже и повернем их обратно к автору. Довлатов никогда не воспринимал Бродского ровней. Да тот бы и не позволил, а кто забывался, ставил на место. Когда при их первой встрече в Нью-Йорке Сережа обратился к Осе на «ты», Бродский тут же его осадил. В «Post mortem» я пишу об этом подробно и ищу причины тиранства Бродского над Довлатовым. С помощью психоанализа. Вот отличие мемуаристики от прозы: первая занимается верхами, вторая — корешками. В «Post mortem» я доискиваюсь до причин этой напряжки между ними. Чем не сюжет: и взаимное притяжение, и отталкивание, и соперничество, и зависимость с неизбежными унижениями…

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. …понятно кого кем.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не так буквально. Это с нью-йоркской точки зрения Бродского Довлатов — маргинал. Несмотря на свои физические габариты. В Питере все было иначе. Довлатов участвовал в обструкции Бродского после того, как тот прочел у него на дому «Шествие». Такое не забывается. Плюс chervhez la femme. Здесь, в Нью-Йорке, они поменялись местами. Потому Бродский и порекомендовал Сережины рассказы в «Нью-Йоркер», что не считал его соперником. Одновременно зарубил роман Аксенова и огрызался, когда его упрекали в некошерности поступка: «Имею я право на собственное мнение!»

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А помнишь, Сережа сказал, что Бродский теперь ему завидует — никак не ожидал, что «Нью-Йоркер» возьмет рекомендованные им рассказы.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Знал бы — не рекомендовал, да? Не знаю. Покровительствовал только тем, кого считал ниже себя, — ровней не выносил. Помнишь, Сережа сам говорил, что Бродский терпеть не может соизмеримых авторов.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А таковые разве были?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ладно, конкурентоспособных.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Не это ли причина его конфликта с Аксеновым?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Или Евтушенко. Два русских поэта на один Нью-Йорк — тесновато.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ярко выраженное самцовое начало.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А сам потом отмежевывался от самцовости. Помнишь наш спор, когда он пришел к нам в отель «Люцерн» в Манхэттене, на следующий день после нашего приезда: стоячим писать или не стоячим. «Стоячий период позади» — его собственная шутка.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А кончил тем, что за пару месяцев до смерти сочинил свой Momentum aere perennius. То есть в его варианте — в отличие от горациево-пушкинского — не памятник крепче меди, а памятник крепче пениса, и не слово тленья избежит, а семя, заброшенное в вечность. Это памятник собственному члену, что очевидно из названия, тем более — из стиха:

> А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
> Он скучает по вам с мезозоя, псы,
> От него в веках борозда длинней,
> Чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Да, христианином его никак не назовешь, несмотря на ежегодные поздравления Иисусу с днем рождения. К каждому Рождеству — по стихотворению.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Возвращаюсь к теме «Довлатов — Бродский», написал же последний о первом памятную статью.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Предполагалось наоборот: Довлатов — о Бродском.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. С подачи Бродского в нью-йоркском сабвее появились сменные плакатики с логотипом Poetry in motion и стихами Данте, Уитмена, Йейтса, Фроста, Лорки, Эмили Дикинсон, пока не дошла речь до инициатора. Эффектное двустишие:

Sir, you are tough, and I am tough.
But who will write whose epitagh?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Перевожу:

Ты, парень, крут, но крут и я.
Посмотрим, кому чья будет эпитафия.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Коли в компьютерах «Нью-Йорк таймс» лежат пачки заготовленных впрок некрологов живых пока что знаменитостей, кто бросит камень в Сережу за то, что замыслил книгу о Бродском на случай его смерти? А та казалась не за горами. Довлатов был профессионал, следовательно, по ту сторону добра и зла.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. У Сережи и про других коллег были схожие некропредсказания, а те пережили его, а иные живы до сих пор.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. О Бродском и говорить нечего — он сам регулярно прощался с жизнью в стихах, прозе и в интервью.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. На что были физические основания: сердечник, инфарктник, несколько операций, одна неудачная.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Сереже было что сказать про Бродского: глаз у Довлатова зоркий, память цепкая, перо точное. Это была бы одна из, если не лучшая его книга.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Судьба распорядилась иначе: Сережа умер первым. Вот Бродский и сочинил о нем — не книгу, а пару вымученных страничек…

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. …в которых ухитрился сделать пять фактических ошибок. Написал, к примеру, что «всю жизнь, сколько его помню, он проходил с одной и той же прической: я не помню его ни длинноволосым, ни бородатым». На самом деле Сережа только и делал, что менял свою внешность, о чем можно судить по снимкам: то стригся коротко, то отпускал прическу, да еще с некоторой такой эффектной волнистостью. Регулярно брился, а то вдруг обрастал буйной растительностью на «запущенной физиономии», и бородатым мы его видели довольно часто.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А что Ося не помнит Сережу бородатым и вовсе нонсенс. У нас в этой книге есть фотка Наташи Шарымовой с дня рождения Бродского на Мортон-стрит — там они оба стоят визави: Ося смотрит на Довлатова и в упор не видит, что тот в бороде! Смешно ловить Бродского на ошибках — в его исторических экскурсах их куда больше, что нисколько не

умаляет ни «Письма к Горацию», ни «Путешествия в Стамбул». А такие аберрации памяти и вовсе в порядке вещей. Через несколько лет после смерти Пушкина его друзья спорили, какого цвета у него глаза. Тем более Довлатов с Бродским, по словам последнего, «виделись не так уж часто».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Та же приблизительность у Бродского в оценках и обобщениях — что и в фактах. Вот он говорит о пиетете, который испытывал Сережа к поэтам, а отсюда уже, что его рассказы написаны как стихотворения — высшая похвала в его устах. Ничего подобного! Это Бродский внушает Довлатову посмертно свою иерархию литературы, где поэзия на первом месте, а поэт в роли демиурга. Довлатов никогда так не думал, Бродского не любил ни как человека, ни как поэта, а оторопь испытывал не к поэту, а к литературному боссу, в руках которого бразды правления.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не оторопь, а страх. Бродский тиранил Довлатова, беря реванш за былое унижение в Питере. А у Сережи скромность паче гордости. Называя себя литературным середнячком, он лукавил. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Одна из?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Вот именно! Не принимай все его слова на веру.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Помнишь, мы как-то зашли к Сереже с нашим московским гостем и тот стал высчитывать шансы Чингиза Айтматова на Нобелевку? Вежливый Сережа ввинтился в спор с какой-то кровной, личной обидой.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не боги горшки лепят. Да и столько среди нобелевцев случайных людей. Этой премией замкнут горизонт чуть ли не любого литературного честолюбца в России. Когда Бродский получил Нобелевку, вся русская поэзия оделась в траур — от Евтуха с Вознесенкой до Скушнера с Коржёй.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Что это ты на Осин манер стал коверкать имена? Поразительно, что завистник Найман даже о Нобелевской премии Бродскому рассказывает как о личном несчастье, хотя ему-то уж, при его поэтическом ничтожестве, ничего не светило.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Касаемо Довлатова: он, конечно, не рассчитывал на Нобелевку, но огорчился бы, узнав, что ее получил другой русский прозаик.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Нормально. Достичь такого пика популярности, как Довлатов в России, — выше любых премий. Бесконечные переиздания, собрания сочинений, спектакли, фильмы, мемориальные доски, музей в Пушкинских Горах, а у нас

в Нью-Йорке имя Довлатова присвоено отрезку улицы, где стоит его дом и где до сих пор живут Лена, Катя и Коля Довлатовы. А сколько книг о нем! Вплоть до воспоминаний его первой жены.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Забавная книга. Сцена ревности чего стоит! Как кавказский человек, Довлатов палит из двустволки по Асе Пекуровской.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Если это правда. Сережа рассказывал иначе — как он пытался покончить с собой в ее присутствии, а она и ухом не повела.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну, знаешь, такие демонстративные самоубийства… Апокрифа про Довлатова — вагон и маленькая тележка. Не относится ли попытка разыскать его мнимонастоящего биологического отца все к той же дежидовизации Довлатова? При той всенародной славе, как посмертная у Сережи, лучше бы он был без жидовской при**зди. Кой для кого. Не его первого и не его последнего отмывают от еврейства. Пусть уж лучше будет лицо кавказской национальности. А касаемо Пекуровской: для жен и слуг нет великих людей.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А для любовниц?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Люда Штерн с ее жалкими потугами добрать с помощью воспоминаний то, что не удалось в литературе? По сравнению с ее беспомощной прозой, по которой Сережа прохаживался довольно зло, ее мемуары, не всегда достоверные, хотя бы беззлобны, сочувственны к Довлатову. Один только недостаток — о ком бы ни писала, о Бродском или Довлатове, тянет одеяло на себя. Души в себе не чает! Но если пропустить всю эту автобиографическую бодягу, то да — есть полезная информация. Прежде всего — Сережины письма. Не сравнить с тем, что пишут довлатовофобы, хоть ее тоже иногда прорывает.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Довлатова отрицают те, кто знал его близко и для кого его нынешняя фантастическая популярность — ножом по сердцу. Даже для тех, кто делает хорошую мину при плохой игре и притворяется друзьями покойника. Воистину, избави меня, господи, от таких друзей, а от врагов я сам избавлюсь. Сколько завидущих, мстительных, реваншистских, а то и просто склеротических воспоминаний о нем. Б. жена, б. любовница, б. друг, б. коллега-соратник, а стал лютым литературным соперником.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ты о Валере Попове! Какой он Сереже соперник! Довлатов всех своих б. соперников оставил далеко позади. Как говорил Бродский, за мною не дует. А кто самый завидущий, комплексующий, закомплексованный

взбесился от зависти и вконец осатанел? Игорь Ефимов! Как психо— и социопат — опасен.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Самое смешное, что, весь обзавидовавшись, обвиняет в зависти к нему Сережу и объясняет этой мнимой завистью то, что Довлатов начисто порвал все связи с Ефимовым.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Нонсенс. Ты не больно жалуешь Фрейда, но тут типичный случай трансфера. Перенос собственных чувств — в данном случае зависти — на объект этих чувств. Грубо говоря: это не я ему завидую, а он — мне. А на Довлатове Ефимов и вовсе сломался. Червь зависти гложет не только его самого, но и его весьма средний талант. Все познается в сравнении. Я сравниваю с тем же одаренным Поповым — в Питере они с Довлатовым шли вровень, ноздря в ноздрю, но позднее, и особенно здесь, в Америке, Сережа пошел в обгон, оставив Валеру далеко позади.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Вот откуда у Попова такая заморочка с Довлатовым, бедняга. Выпустил в ЖЗЛ жалкую такую книжонку про Сережу.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Одним словом, чмо.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Мало того что ошибка на ошибке — это можно списать на амнезию или склероз, — так еще сознательное искажение фактов. Врет на голубом глазу! Когда этого самозваного биографа спросили, знал ли он, с каким великим писателем был знаком в Питере, он отшутился, хотя зависть уже ела его поедом: «Нет, это он после смерти так обнаглел». Хорошая мина при плохой игре. Не говоря о том, что его все время заносит на себя — скорее мемуар, чем био. А довлатовские мемуаристы пусть не все, но слишком часто ревизионисты и реваншисты. Даже его первая жена.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А тебе не кажется, что любые мемуары по изначальному импульсу — реваншистские? Если бы Осип Эмильевич не оставил жену дожидаться в прихожей, пока сам разговаривал с Мариной Ивановной о поэзии, кто знает, были бы написаны Надеждой Яковлевной два ее блестящих мемуарных тома, да еще с привеском?

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. При чем тут Надежда Яковлевна? Та пишет в параллель и вровень с мужем, а у Пекуровской с Довлатовым дуэль.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну и что? Ее книга, безусловно, талантливая, хоть и витиеватая, барочная, украшательская; много мусора — продолжение их даже не семейных, а любовных разборок.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Любовных и антилюбовных. Улица с

односторонним движением. Сережа Асю любил до умопомрачения, а она была равнодушна — и к нему, и к его прозе. Судя не только по ее, но и по его воспоминаниям. И по его прозе. Тот же «Филиал» взять.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Два уточнения. Есть мнение, что это не любовь вовсе, а уязвленное мужское самолюбие. И еще. Ася Пекуровская не обязана любить ни Довлатова, ни его прозу. Уйма прецедентов — от Натальи Гончаровой до Марины Басмановой, отменно равнодушных к поэтическим достижениям Пушкина и Бродского. Что занятно — этот любовно-антилюбовный роман написан в один год с любовно-антилюбовным стихотворением Бродского.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Злобное стихотворение.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну да, женщины его воспринимают негативно. А мне нравится. Один из редких прорывов в высокую поэзию у позднего Бродского.

> Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
> ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
> но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум,
> еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Обе героини даны под легко разгадываемыми псевдонимами: Тася — Ася, МБ — Марина Басманова. Ни одна из них не была *Femme Fatale.*

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. И каждая стала ею для Довлатова и Бродского, соответственно. Вот почему оба произведения суть результат травмирующего любовного опыта.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Если так, то тут твой Фрейд уж точно не прав: пожизненные травмы случаются не только в детстве, но и в юности. Я бы только отметила тут моральное преимущество Довлатова: он честен перед самим собой, полагая любовь неизлечимой болезнью. Тогда как Бродский лукавит и, мстя за нанесенные ему душевные раны, в которых сам отчасти виноват, объявляет любовь забытой, преодоленной. Что не так. Откуда тогда такая страсть в этом мстительном стихотворении?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Что можно Зевсу, нельзя быку? В смысле: писателю позволено выражать свою любовь-нелюбовь, а его музе — нельзя?

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Разве дело в любви — нелюбви, если ты снова о Пекуровской? Зачем с такой ненавистью обрушиваться на безответного покойника?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Как сказал Парамонов про Сережу, не дает мне покоя покойник.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А кому он дает покоя? Я о писательской братии. Зависть как творческий стимул: Ефимов, Попов, Парамонов, Ася Пекуровская, Вика Беломлинская, Люда Штерн — имя им легион! То, что Салман Рушди назвал the power of negative influences — силой негативных влияний.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Всеми этими авторами движет негативное вдохновение. Они пишут свои завидущие тексты про Сережу «враждебным словом отрицанья». Хотя это вовсе не значит, что все они лишены таланта. Скажем, Валера Попов был когда-то классным рассказчиком, Ася Пекуровская — тонкий филолог и психоаналитик, Боря Парамонов — яркий стилист. Этого у них не отнимешь, да и зачем? Про других не скажу. Но зависть — это удел не только бездарей. Того же Сальери взять…

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты опять упрощаешь. Ими движет не только зависть, но еще и обида на Сережу. Люда Штерн пишет, что «ради укола словесной рапирой он мог унизить и оскорбить. И делал это весьма искусно».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Униженные и оскорбленные! Сколько их?

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Тьма-тьмущая! Не смейся, пожалуйста, но обиженная и оскорбленная Сережей Люда Штерн сосчитала: «Он обидел столько друзей и знакомых, что не только пальцев на руках и ногах, но и волос на голове недостаточно. Кажется, только Бродского пощадил, и то из страха, что последствия будут непредсказуемы».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Плач Ярославны! Вот наше преимущество перед другими его знакомцами. В отличие от них, нас обида не гложет, мы не плачемся и не клевещем. Нас он никогда не обижал и, в отличие от Бродского, вовсе не из боязни последствий. И зависти к нему я никогда не испытывал. Он сам как-то мне сказал, что я единственный, кто радуется его публикациям в «Нью-Йоркере» — остальные аж обзавидовались. Вот почему прямая наша обязанность, наш долг перед покойником — защищать Довлатова от злобы и клеветы. Главный импульс нашей книги о нем.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А то все прямо как с цепи сорвались! Парамонов таки нашел выход своей зависти и, дабы нейтрализовать Довлатова, причислил его к масскультуре. В смысле, каков поп, таков и приход. Соответственно — наоборот.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Близко к Дмитрию Быкову: «сознательно выбранная облегченность». Он же: из-за эмиграции и оторванности от родины Довлатов так и не стал большим писателем. Что мне это напоминает? А, Мериме, который не захотел стать великим писателем, — характеристика

современника. Как и Довлатов, Мериме шел по «облегченному» пути: «Я не люблю вдаваться в излишние подробности и рассказывать читателю то, что он легко может вообразить…» Дальше других пошел Владимир Бондаренко и в «Нашем современнике» написал о «плебейской прозе Сергея Довлатова» — статья так и называется. Вот цитата: «В сущности, он и победил, как писатель плебеев». А кто прозвал его «трубадуром отточенной банальности»? Круто!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Что тут крутого? В том же упрекали Зощенко — что он писатель обывательский. В таком случае защитим обывателей, к которым принадлежит большая часть народонаселения, а потому рассказы Зощенко были так популярны у читателей. Даром, что ли, Мандельштам требовал памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду. Не той же разве природы нынешняя популярность Довлатова?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Памятников ему пока нет, но мемориальные доски открыты — две в Питере и по одной в Таллине и Уфе. Дом-музей в Пушкинских Горах. Улица в Нью-Йорке, по которой мы с ним столько ходили! У меня так и называется статья в «Комсомолке» — «С Довлатовым по улице Довлатова». Безотносительно к его критикам, их главный упрек ему соответствует действительности и Довлатова нисколько не умаляет. Шекспир и Диккенс — тоже явления масскультуры. Каждый — своего времени. И обращение Шекспира к массовой аудитории нисколько не снимало таинственности с его пьес. У Довлатова-писателя есть своя тайна, несмотря на прозрачность, ясность его литературного письма. А вспоминальщики и литературоведы сводят к дважды два четыре. Он идолизирован и превращен в китч.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Довлатовым сейчас удивить читателя невозможно. Разве что дать его вверх ногами.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Или вниз головой.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Что одно и то же. Сережа сам писал: «Пятый год хожу вверх ногами». Имея в виду, правда, Америку — по отношению к России.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А это значит, что и в России он ходил вверх ногами — по отношению к Америке. Так и прожил всю жизнь — вниз головой, вверх ногами. Не зря же мы назвали нашу первую книжку о Сереже — «Довлатов вверх ногами». А эту как назовем? «Тайна Довлатова?»

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А может, «Трагедия веселого человека»? В твоем фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» с его

нью-йоркским видеорядом показан именно трагический герой. Начиная с пролога у Сережиной могилы на еврейском кладбище в Куинсе.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Да будет так! А с подсказки нашего издательства — **«Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека».** Представляешь, он видел это кладбище из своей квартиры на шестом этаже. Его могила — в десяти минутах езды от его дома.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Потом Сережин кабинет, точнее, уголок, который он вычленил из гостиной и сам превратил в микромузей с фотографиями и рисунками на стене.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А настоящего кабинета у него никогда не было. Писатель без кабинета! Гнетущая теснота семейного общежития. Я бы не выдержал. Только вот этот уголок с пишущей машинкой — единственный островок свободы.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Вот Лена Довлатова в твоем фильме и ведет зрителей по этому виртуальному кабинету, а теперь музею. Как заправский гид. Что в этом фильме хорошо, так это его личная, домашняя интонация. Как тебе удалось разговорить Лену, да еще перед камерой?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не удалось. Мы ходим вокруг да около. По жизни Лена интровертка. К тому же за парадный подъезд и против черного хода. В том интервью я ее пытаю: Лена, вы столько всего знаете: семейная жизнь, споры, ссоры, склоки, скандалы; прессую ее Пастернаком — жизнь, как тишина осенняя, подробна. Лена — мне: «Наша жизнь с Сережей была замечательная». Ну да, мне ли не знать! Из ее собственных жалоб, когда Лена, помню, говорила, что мечтает о независимости, и втайне от Сережи просила помочь с покупкой машины. Когда Лена, со слов Сережи, схватив маленького Колю, убегала из дому, и мы с ним день-два спустя, гуляй — не хочу, до глубокой ночи засиживались у него в опустевшей квартире и вели наши бесконечные мужские разговоры, у меня уже глаза слипались, а Сережа не отпускал, и только Нора Сергеевна изредка наведывалась в кухню и говорила что-то вроде: «Хорошо хоть, не с б**дем. Чай заварить?» Сколько раз она мне, бывало, звонила и жаловалась на сына, типа: «В большом теле — мелкий дух». Гриша Поляк — а уж Гришуле все было доверено, семейный чичисбей, — сколько я знаю с его слов подробностей довлатовской семейной жизни, но боюсь Лену задеть, вот и вынужден помалкивать.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А что вы решили с Сережиными письмами Юнне Мориц, которые она уничтожила, но ты успел снять копии?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Честно, я уже запутался. Юнна подарила мне эти письма, потому что я сочинял роман из писательской жизни, у меня там был огромный «Эпистолярий». Больше всего, кстати, было писем самой Юнны Мориц. А Сережины письма Юнна не очень ценила. Ну, во-первых, Сережа был тогда никто в литературном мире. Во-вторых, оба-два — люди чуткие на уровне инстинкта и интуиции, они просекли друг в дружке кое-какие тайные черты и в конце концов озлились — нет, не за эти черты, а потому что каждый теперь знал, что они стали прозрачны друг для друга.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. И кто с кем порвал?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. По словам Юнны — она. Переписка и так была не на равных. Не только в статусном отношении — известная поэтесса и безвестный литератор-неудачник. Именно поэтому Юнна, сама великий письмописец, отвечала Сереже через раз, а то и вообще не отвечала. Торопясь избавиться от Сережиных писем, не знаю уж почему, всучила мне всю пачку с припиской:

«…Довлатов бомбардирует меня письмами из Ленинграда. На последнее, клинически кокетливое и насквозь фальшивое, я решила не отвечать».

А когда, сделав копии, я пару раз пытался эти письма Юнне вернуть, под любыми предлогами увиливала. И только в отвальную, за два дня до отъезда, я чуть не насильно вручил ей всю их переписку. В запечатанном конверте. Который Юнна и уничтожила. Даже не открыв конверт. А зря. Там ее ждал сюрприз. Но пока об этом молчок. Даже тебе. Секреты надо держать в секрете. До поры до времени. Ты же мне тоже не все говоришь.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Снова начинаешь. Что я тебе не говорю?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А это уже надо тебя спрашивать — что ты мне не говоришь. Ладно, проехали.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Это твои тараканы — сам с ними и справляйся. Я тебя не об этом спрашиваю. Что вы с Леной порешили с этими письмами?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А я знаю?

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. То есть?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. У Лены семь пятниц на неделе. С самого начала я ее предупредил, что, будет время, поищу эти письма, чтобы вставить в книгу. Лена отнеслась к этой моей затее поживее, чем ты. А у меня все руки не доходили. Потом я все

отложил и потратил полдня, наверное, чтобы их разыскать, а когда нашел (думаю, еще не все), ужасно обрадовался, потому что Сережа встает в них во весь свой двухметровый рост, такой живой, близкий, родной — до слез! Представляешь, я чувствовал себя Настасьей Филипповной. Только, в отличие от нее, спасал не жалкую пачку денег из огня, а нечто куда более ценное — драгоценные Сережины тексты. Когда я перечитывал их, они показались мне куда интереснее всех остальных, опубликованных писем.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А я потому ровно дышала, что думала, как с тобой часто бывает, ты преувеличиваешь. Обычное твое возгорание. Но когда прочла! Как живой с живыми говоря…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Вот-вот! То же самое с Леной Довлатовой. Когда я разыскал эти письма, перепечатал отрывки, показал тебе, а потом послал ей, она была растрогана и благодарна. А я так обрадовался совпадению наших — нет, даже не впечатлений, а чувств! Вот ее чудесная записка:

«Спасибо за письма. По-моему, замечательные. И кокетство очень мужское и тонкое одновременно. Простите, вы их будете приводить в своей книге? И как только Юнна дала вам их скопировать? Ведь она мне говорила, что уничтожила все Сережины письма по его распоряжению. Не думаю. Но ее писем в архиве нет. Что жаль. И они пока нигде не мелькнули? Значит, Сережа не оставил их никому при отъезде. Очень-очень жаль».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ну, так все нормально.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Если бы! Черным по белому, что она не только не против этой публикации, но радуется ей и всячески поддерживает. Не тут-то было. На следующий день получаю от нее емелю совершенно противоположного содержания — разворот на 180 градусов. Теперь Лена согласна только на цитации из писем, а на подборку, которую я уже сделал — отобрал самые интересные отрывки, сочинил преамбулу, — нет. Почему нет? И пошла-поехала вся эта бодяга. Лена, пишу и говорю ей, что случилось, что на вас нашло, какая муха укусила? Вас как подменили, не узнаю вас, с чего бы вдруг? И так далее, в том же духе. А в конце прямым текстом: «Вроде бы так хорошо с вами работалось, и вдруг ни с того ни с сего… Ничего не понимаю и не хочу понимать».

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Странно. На Лену не похоже. Вроде бы она не принадлежит к типу литературных вдов-церберов.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Вроде бы. Я у нее спрашивал, прибегала ли она к запретительным мерам к кому-нибудь еще,

кроме Игоря Ефимова, с издателем которого она судилась, и Валеры Попова — она наложила табу на иллюстративный материал к его книжке про Сережу. А так, несмотря на все несогласия и разногласия с мемуаристами, относится к ним с известной долей толерантности. Ну, понятно, от и до.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Так в чем же дело? На Лену не похоже. Как будто она говорит с чужого голоса.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Увы, так и есть. К сожалению. By proxy. С суфлерской подсказки.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Чьей?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Чего гадать. Меня снова затянет в болото психоанализа. Скажем так: некто заподозрил в этой затее с письмами меркантильный, корыстный элемент, сильно преувеличив выгоду этой публикации.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Ты думаешь…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Здесь и думать нечего…….

А мне эти письма позарез, не представляю уже книгу без них. Есть запасной выход. Я изложил его Лене, она согласилась. Цитации из этих писем внутри книги, а кроме этих цитаций, никаких писем больше не существует. Я брал их у Юнны Мориц для своих беллетристических нужд и теперь наконец использую по назначению. По-борхесовски — путем ложной атрибуции. У меня есть опыт работы в этом жанре. Сочиню докурассказ по этим письмам — есть о чем, детективная история, догадки и домыслы превращу в художественный реал, а заместо реальных имен поставлю псевдонимы или инициалы и, если успею, тисну в эту книгу. ЕБЖ.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Опять секрет Полишинеля?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Ну и что! Я Лену предупредил: писем нет, кроме разрешенных цитат. Представим, что все остальное я сочинил из головы, подделываясь под Довлатова. Пусть будет фальшак. Или подмалевок для прозы. Там ему и место. Лена сказала: «Это ваше дело». Тем более… Вот ее мне сообщение: «И еще, уже в порядке сплетни — я все-таки написала Юнне и спросила, как получилось, что письма Сережины оказались у вас. Она ответила, в свойственной ей манере, что ничего вам не давала. А когда я спросила: „Он что же, выкрал их у тебя?“, она замолчала». То есть адресат никогда мне этих писем не давал, а потом уничтожил их. Юнна, ловлю тебя на слове. А мне и карты в руки!

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Возвращаясь к твоему фильму…

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Нашему. Плод коллективного творчества. Без Лены Довлатовой не было бы фильма.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Главный в фильме — Сережа. Редчайшие кадры: Сережа — изустный рассказчик, сказитель, storyteller. Каким мы его и знали, а рассказчик он был блестящий. Из рассказчика и возник писатель. Благодаря твоему фильму об этом узнают его читатели. Точнее, зрители. В том числе те его устные рассказы, которые не успели стать письменными. А почему ты назвал фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», а не «Мой друг Сережа Довлатов»? Постеснялся?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не совсем. «Мой друг…» немного претенциозно, зато «Мой сосед Сережа Довлатов» более оригинально. Теперь наша цель — сделать лучшую книгу о Довлатове, а предыдущая пусть послужит черновиком, подмалевком для этой. Это будет не био, а портрет.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Разница?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Биография — это расширенный curriculum vitae, анкета с подробностями, жизнеописание от рождения до смерти. Для биографии важны анкетные факты, зато для портрета — судьбоносные факторы, хотя фактов у нас тоже навалом. Можно написать био, а портрета не схватить, зато для портрета биографическая канва в хронологической последовательности не так уж и обязательна, только фрагменты — не только жизни, но прежде всего судьбы. **Фрагменты великой судьбы.** Почему я и дал такой подзаголовок книге о Бродском, пока питерская литературная мафия не запретила ее издание.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. А не обозначить ли так наш портретно-мемуарный сериал? **Фрагменты великой судьбы.** Если к Бродскому это подходит, то и к Довлатову. Идет?

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Почему нет? Объемный, разножанровый, парадоксальный, противоречивый, голографический образ: сочетание довлатовской мемарабилии с беллетризованным, но легко узнаваемым образом. В прозе, возможно, будет пара-тройка совпадений с тем, что мы говорим или пишем про Довлатова в мемуарном жанре.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Что ж, попробуем совместно разгадать тайну Довлатова.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. А если у него не одна?

Нью-Йорк, 2014

Раздел I. Соседство по жизни

Владимир Соловьев
Гигант с детским сердцем

Соло на автоответчике

Вернувшись однажды домой и прослушав записи на автоответчике, я нажал не на ту кнопку, и комната огласилась голосами мертвецов: мама, друг и переводчик Гай Дэниелс, наш спонсор, журналист из «Нью-Йорк таймс» Харрисон Солсбери, писатель Ирвинг Хау, который печатал нас с Леной Клепиковой в своем журнале «Диссент», в том числе статью, на которую разобиделся наш герой и вступил в печатную полемику, обозвав «шустрой парой», но и наша статья не скажу что была названа безобидно: «Александр Солженицын. Шильонский узник». Больше всего, однако, оказалось записей с голосом моего соседа Сережи Довлатова — минут на двадцать, наверное. Все, что сохранилось, потому что поверх большинства старых записей — новые. Все равно что палимпсест — новая рукопись поверх смытого или соскобленного текста, ввиду дороговизны пергамента. А что экономил я? Нет чтобы вставить новую кассету, а не использовать старую! Тогда довлатовских записей было бы на порядок больше. И все равно, странное было ощущение от голосов мертвецов, макабр какой-то, что-то потустороннее, словно на машине времени марки «Автоответчик» перенесся в Элизиум. Как в том анекдоте про кладбище, где «знаешь, все мертвые». Или — переводя в высокий регистр — действительно, как в стихотворении Марии Петровых: «Я получала письма из-за гроба». Так я стал получать весточки с того света на автоответчике.

На фоне большей частью деловых сообщений довлатовские «мемо» выделялись интонационно и стилистически, были изящными и остроумными. Голос всегда взволнованный, животрепещущий (иначе не скажешь), слегка вальяжный, учтивый и приязненный. В отличие от писателей, которые идеально укладываются в свои книги либо скупятся проявлять себя в иных ипостасях, по-кавказски щедрый Довлатов — даром что наполовину армянин — был универсально талантлив, то есть не экономил себя на литературу, а вкладывал божий дар в любые мелочи, будь то журналистика, письма, разговоры, кулинария либо ювелирка, которую он время от времени кустарил (даже ходил здесь на какие-то курсы, с отчаяния решив сменить профессию). У меня есть знакомые, которые до сих пор стесняются говорить на автоответчик. Довлатов как раз не только

освоил этот телефоножанр, но использовал его, рискну сказать, для стилистического самовыражения. А стиль, прошу прощения за банал, и есть человек. Его реплики и сообщения на моем автоответчике сродни его записным книжкам — тоже жанр, пусть не совсем литературный, но несомненно — на литературном подворье.

Да хоть в литературной подворотне!

> Когда б вы знали, из какого сора
> Растут стихи, не ведая стыда…

А что, проза исключение? Налево берет и направо…

Нигде не служа и будучи надомниками, мы, конечно, чаще болтали по телефону либо прогуливались по 108-й улице, главной иммигрантской артерии Куинса, чем отмечались друг у друга на автоответчиках. Тем более на ответчике особо не разгуляешься — этот жанр краток и информативен. Но Довлатов и в прозе был миниатюристом — отсюда небольшой размер его нью-йоркских книжек и скрупулезная выписанность деталей. Если краткость — сестра таланта, то его таланту краткость была не только сестрой, но также женой, любовницей, мамой и дочкой. Касалось это в том числе его устных рассказов — из трех блестящих, чистой пробы, рассказчиков, на которых мне повезло в жизни (плюс нью-йоркский журналист Саша Грант, но я его узнал позднее), Довлатов был самым лаконичным.

Любопытно, что другим так и не удалось переиначить свои изустные новеллы в письменную форму. Вынужден вариативно повторить, о чем писал в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Женя Рейн — импровизатор и трепач, а потому органически не способен не то что записать, но даже повторить свою собственную историю: каждый раз она звучит наново, с пропусками, добавлениями, ответвлениями. Камил Икрамов, который вывез свои байки из тюрем и лагерей, где провел двенадцать лет, как сын расстрелянного Сталиным партийного лидера Узбекистана, собирал нас в Коктебеле в кружок, сам садился посередке в неизменной своей тюбетейке, скрестив по-среднеазиатски ноги, и Окуджава, Слуцкий, Чухонцев, Искандер, которые слышали его устные новеллы по многу раз, просто называли сюжеты — скажем, про лагерных б****й или про советский паспорт, — и Камил выполнял заказ, рассказывая свои жуткие и невероятно смешные истории. Он был профессиональный литератор, выпустил несколько книг, написал замечательный комментарий к делу своего отца, но когда я спросил у него, почему он не запишет свои устные новеллы,

Камил печально развел руками: пытался много раз, ничего не получается.

В отличие от них, Довлатову удалось перевести свои устные миниатюры в письменную форму, но это вовсе не значит, что устный рассказчик в нем превосходил письменного, что он «исполнял свои истории лучше, чем писал», как пытаются теперь представить некоторые его знакомцы, засталбливая тем самым свое одинокое превосходство над миллионами довлатовских читателей. К счастью, не так. Довлатов был насквозь литературным человеком, никак не импровизатором, и «исполнял» обычно рассказы и хохмы уже отлитыми в литературную форму, отрепетированными и литературно апробированными, хоть и не записанными. Свидетельствую как человек, прослушавший сотни Сережиных шуток и острот, некоторые дважды, трижды — он их именно исполнял: без вариаций, один к одному. Его устные рассказы были литературными, в том числе те, что не стали, не успели стать литературой у этого литературного меркантила и *user*'а. В моем двухчасовом фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» герой показан живьем — он выдает перед камерой пару-тройку своих блестящих баек и сам им смеется, прикрывая рукой рот. Пусть ненаписанные и даже незаписанные, но по своей законченной литературной форме они так и просятся на бумагу.

Как-то звоню Лене Довлатовой и спрашиваю, вошла ли в «Записные книжки» история про художника Натана Альтмана, которую я слышал в классном Сережином исполнении. Мало того что нигде не опубликована, но даже Лена ее позабыла. Как же, говорю, жена престарелого мэтра прилюдно упрекает его:

— Ты меня больше не хочешь.

— Я не хочу тебя хотеть, — парирует Альтман.

Было, не было, но оправдательная формула импотенции — гениальная. Вот только кто автор, не знаю — Альтман или Довлатов?

И сколько таких забытых историй, не вошедших в Сережины книги![1]

Из таких именно приколов и реприз и состоят обе части его «Записных книжек», которые он, в нарушение литературных правил, торопился издать прижизненно, словно предчувствуя близкий конец, хотя это, конечно, отстойник либо подкормка литературы. Чуткий к техническим веяниям времени, он назвал одну, ленинградскую, — «Соло на ундервуде», а другую, нью-йоркскую, — «Соло на IBM», хотя на электронной машинке работала Лена Довлатова, а Сережа предпочитал стучать на ручной, и как раз «ундервуда» у него никакого не было.

Вернувшись из армии, он приобрел «Ройал Континенталь» и прозвал за красоту «Мэрилин Монро», хоть это была огромная, под стать ему самому, машинка с длиннющей многофункциональной кареткой. Сережа грохнул эту чугунную махину об пол во время семейного скандала, а вышедшую из ее чрева рукопись разорвал и покидал в печь с зелеными изразцами, главную достопримечательность его комнаты в коммуналке на Рубинштейна, но Лена Довлатова героически кинулась спасать, обжигая руки.

Еще одну иностранку — «Олимпию» — подарил ему отец Донат, а тому прислал Леопольд, родственник из Бельгии, но и ее постигла схожая судьба — уже в пересылочной Вене пришедший в гости Юз Алешковский неловким движением смахнул машинку на пол. В Нью-Йорке оказалось дешевле купить новую — «Адлер», которая до сих пор стоит на мемориальном письменном столе, — чем чинить подранка.

Такова природа художественного домысливания Довлатова: вместо «Континенталя», «Олимпии» и «Адлера» соло были им будто бы сыграны на старомодном, времен Очакова и покоренья Крыма, «ундервуде» и ультрасовременной IBM — какой контраст! Так вот, если б у других его приятелей, друзей и врагов, сохранились записи Довлатова на автоответчике, можно было бы, уверен, составить третью часть его записных книжек, снабдив его телефонные реплики соответствующим комментарием и назвав «Соло на автоответчике».

А пока что вот некоторые из его телефонограмм, которые воспроизвожу вместе с междометиями, вводными словами, неизбежными в устной речи, а тем более когда общаться приходится не с живым человеком, а с автоматом. Зато ручаюсь за подлинность: слово в слово, ведь ничто так не искажают (поневоле и сознательно) мемуаристы, как именно прямую речь.

Володя, привет. Это Довлатов. У меня, к сожалению, есть к вам просьба, и я бы даже с некоторым ужасом сказал, что довольно обременительная. (Смешок.) Я ее вам потом, когда вас застану, выражу. Ага. Но тем не менее не пугайтесь, все-таки ничего страшного. Всех приветствую и обнимаю.

И в самом деле, это была пустяковая просьба. У Довлатова вышла из строя старая машина, он купил новую (хотя тоже старую) — вот его и надо было прокатить по Нортерн-бульвару к дилеру, а потом на Джамайку, к прежнему владельцу, что я с удовольствием сделал, тем более был у него в машинном долгу: он освоил вождение на несколько месяцев раньше меня и давал

мне уроки на той самой машине, что сломалась. Эти уроки я бы объяснил не только его альтруизмом, а еще и желанием лишний раз пообщаться, но какой собеседник из начинающего водителя! Я не оправдал его ожиданий: вцеплялся в руль и больше жал на тормоз, чем на газ, раздражая Сережу своей неконтактностью и медленной ездой.

— Может, выйдем и будем толкать машину сзади? — в отчаянии предложил он.

А потом всем рассказывал, как, делая разворот на его машине, я врезался в запаркованный «роллс-ройс», сильно его повредив, и как потом мы спасались бегством от греха подальше. Это, конечно, преувеличение. Никаких «роллс-ройсов» у нас в районе не водится: Форест-Хиллс — не Москва, где их сейчас, говорят, навалом! Но какая-то машина действительно попалась на моем пути, и при моем водительском невежестве мне было ну никак с ней не разминуться. Здесь как раз секрет Сережиного искусства рассказчика, его литературных мистификаций и лжедокументализма: он не пересказывал реальность, а переписывал ее наново, смещал, искажал, перевирал, усиливал, творчески преображал. Создавал художественный фальшак, которому суждено было перечеркнуть жизнь. Это как в той знаменитой истории, когда Пикассо после многих сеансов заканчивает портрет Гертруды Стайн, а она недовольна, что вышла непохоже. «Будешь похожа!» — говорит Пикассо. И в самом деле, для нас, потомков, Гертруда Стайн теперь такая, как ее изобразил Пикассо.

Так вот, кому из Сережиных слушателей было бы интересно узнать, как я, грубо разворачиваясь, слегка задел жалкий какой-нибудь «бьюик» или «олдсмобил»! Вот оказия — попал в историю! Так и запомнюсь потомкам, как крушитель «роллс-ройсов»! Спасибо, Сережа, удружил!

Еврей армянского разлива

На некоторое время езда стала для нас, начинающих водителей, следующей после литературы темой разговоров. Помню один такой обмен опытом, когда наше с ним водительское мастерство приблизительно выровнялось. Речь шла о дорожных знаках на автострадах — Сережа удивлялся, как я в них разбираюсь:

— Это ж надо успеть их прочесть на ходу!

Подумав, добавил:

— А потом перевести с английского на русский!

С английским у него были не скажу что простые отношения.

Катя переводила ему фильмы с телеэкрана. Изредка посещал курсы английского. Когда началась борьба не на жизнь, а на смерть в редактируемом им «Новом американце», одним из антидовлатовских аргументов было незнание английского. Помню, на подобный же упрек Юз Алешковский остроумно отвечал, что не может изменять русскому языку с каким-то английским. Я ссылался на Шоу: «Никто, в совершенстве владеющий родным языком, не может овладеть чужим». А Сережа говорил мне о безответной любви — он любит английский, а тот его — нет: «Дай бог понять одно слово из целой фразы. Хорошо еще, если это существительное или глагол, а если прилагательное или, хуже того, междометие? Кричи караул!» Думаю, впрочем, что красного словца ради преувеличивал свое незнание языка.

Что касается дорожных знаков, то он предпочитал ориентироваться по приметам, которые старался запомнить: цветущее дерево, «Макдоналдс», что-нибудь в этом роде. И впадал в панику, когда путевой пейзаж менялся — скажем, дерево отцветало. Пересказываю его собственные жалобы, в которых, несомненно, была доля творческого преувеличения, как и в его рассказе о моем столкновении с «роллс-ройсом».

Как-то у меня лопнула шина, надо было поставить запасное колесо. Я позвал Сережу, полагая, что у него богатырские руки — под стать его гигантскому росту. Тем более я помнил пару с ним историй. Одна еще с тюзовских времен. Я работал завлитом, а Сережа принес пьесу то ли заявку на пьесу, и Зяма Корогодский, главреж, с которым у меня уже был сильный напряг в отношениях (я возглавлял оппозицию в театре), ворвался в мой кабинет, но, увидев такого амбала, попятился назад, ретировался и с тех пор не входил ко мне без предварительного стука. Другая история — на дне рождения Марины Рачко, жены Игоря Ефимова, который ходил тогда у нас в Питере в литературных мэтрах, а здесь, в Нью-Йорке, когда его писательская судьба пошла под откос, превратился в комплексующего завистника, они с Довлатовым поменялись местами, и даже посмертно Игорек, как мы его называли, попытался взять реванш у покойника, о чем будет сказано отдельно — того заслуживает! — в главе «Крошка Цахес Игорь Ефимов». *Кол мум ра,* как говорили мои древние предки: каждый калека зол, а Ефимов навсегда покалечен обидой, завистью и злобой. Перефразируя русскую поговорку, я бы сказал, что горбатого даже могила не исправит. «Господи, помилуй меня — минуй меня, зависть, испепеляющая, иссушающая, уничтожающая вконец человека», — писал я в «Трех евреях». Бог миловал. После очередной вспышки антидовлатовских эмоций в связи с очередной его публикацией в «Нью-Йоркере» Сережа мне

сказал, что я единственный, кто радуется его рассказам в этом суперпрестижном журнале. А однажды я расстарался и вручил ему свежий номер с его рассказом первым. Он меня так благодарил, как будто это я его там напечатал, мне даже стало неловко.

На питерских днях рождения мы с Сережей поначалу занимали самый конец длиннющего стола как наименее значительные гости и приглашались без жен, чтобы не нарушить, а, наоборот, выправить гендерную диспропорцию. Поневоле это нас сближало, с тех пор мы и стали тесно общаться тет-а-тет даже «средь шумного бала». Сошлись и на такой мелочи, что оба курили «Беломор» или, как Сережа смешно произносил, «Беломоркэмэл», в честь *Camel*. Сережа пришел к «Беломору» путем проб и ошибок через большой срок, перепробовав всю советскую гадость, от «Памира» до «Авроры». Больше того, мы оба оказались патриотами ленинградской фабрики Урицкого, которая первой стала выпускать эти папиросы с бумажным мундштуком и держала в секрете рецепт их изготовления, а потому суррогаты московской «Явы» и других производителей нас не просто разочаровывали — раздражали: земля и небо! Я ему рассказал, как мучился в Крыму, когда вынужден был курить симферопольский фальшак «Беломора» — схожая история случилась с ним в Пушкинских Горах, где он намучился с псковским «Беломором». Потом мы хвастались, кто сколько выкуривает беломорин в день: я — полторы пачки, а сколько Сережа — не помню, не забыть спросить у Лены Довлатовой. (Спросил. Лена говорит, что каждый курил по пачке в день: Лена — сигареты, Сережа — папиросы.)

На одном из таких дней рождения Сережа продемонстрировал мне свой коронный номер, подняв стул за одну ножку на выпрямленной руке, что, по его словам, во всем мире, кроме него, может делать только какой-то австралиец. Вот почему я и подумал, что Сережа пособит мне с колесом. К моему удивлению, оказался слабак, как и я. Мы провозились с полчаса и, отчаявшись, вызвали на подмогу коротышку и толстяка Гришу Поляка, издателя «Серебряного века», который жил неподалеку, — вот у кого были атлетические конечности! В считаные минуты он справился с поставленной задачей, посрамив нас обоих. Еще Сережа рассказывал про Гришу — в его присутствии, — что он мэн, мачо, сексуальный гигант и перетрахал всех баб эмиграции. Гриша скромно помалкивал, и я счел это очередным Сережиным розыгрышем: он любил дружелюбно подшучивать над Гришулей. Пока не убедился в обратном — доля истины в Сережином утверждении, несомненно,

была.

Сам Довлатов был гигантом с детским сердцем. Увы, мало кто это знал. Даже его близкие оставались в неведении. Двухметровый рост заслонял чистую, нежную, доверчивую, ранимую душу. Громадина, громила, амбал, мастодонт, а на поверку — наивняк, добрый малый, душа-человек. Нет, Нора Сергеевна, в большом теле был не мелкий дух, а беззащитная душа. И если кто это знал наверняка, так его мать, а что не скажешь в сердцах! Ладно, главное — не рассиропиться, но продолжать мой аналитический мемуар.

А в тот раз, помню, на обратном пути из Джамайки от дилера мы так увлеклись разговором, что я чуть не проехал на красный свет, тормознув в самый последний момент. Когда первый испуг прошел, Сережа с похвалой отозвался — не обо мне, конечно:

— У вас должны быть хорошие тормоза. Коли вы так рискуете.

Я был рад, что плачу Сереже старый должок — не тут-то было! Вечером он повел нас с Леной Клепиковой и художника Сергея Блюмина, еще одного ассистента в покупке автомобиля, в китайский ресторан: не любил оставаться в долгу.

Чему свидетельство еще одно его «мемо»:

Володя и Лена, это Довлатов, который купил козла, кусок козла, и хотел бы его совместно с вами съесть в ближайшие дни в качестве некоторой экзотики. Напоминаю, что ваша очередь теперь к нам приходить. Я вам буду еще звонить. И вы тоже позвоните. Пока!

На самом деле очередность не соблюдалась — куда чаще я бывал у Довлатова, чем он у меня. Мы были соседями, плотно общались, именно топографией объяснялась регулярность наших встреч, хотя как-то на мой вопрос навскидку, с кем он дружит, Сережа с удивлением на меня воззрился: «Вот с вами и дружу. С кем еще?» Топографический принцип я и положил в основу своего фильма «Мой сосед Сережа Довлатов», а начал его с Сережиной могилы — еврейское кладбище *Mount Hebron,* где он похоронен, видно из окна его квартиры на шестом этаже. Не на нем ли буду похоронен и я, когда придет час?

Топография нас объединяла поневоле — мы посещали одни и те же магазины и рестораны, отправляли письма и посылки с одной и той же почты, спускались в подземку на одной станции, у нас был общий дантист и даже учитель вождения Миша, которого мы прозвали «учителем жизни». Как-то по Сережиной инициативе отправились втроем (с Жекой, моим сыном-тинейджером) к

ближайшему, загаженному мусором водоему — удить. Ничего не поймали, хотя Сережа, чувствуя себя виноватым, клялся, что рыба тут водится, и даже подарил Жеке удочку. Эта история имела неожиданное продолжение, потому и привожу ее здесь. Став американским поэтом, Юджин Соловьев напишет об этом стихотворение *Dovlatov's fishing rod.* Дело в том — в этом сюжетный драйв стихотворения, — что Сережина удочка оказалась заговоренной. Не только у нас, на куинсовском понде, но и на Аляске — а мой сын живет в Ситке, бывшей столице русской Аляски, где рыба идет косяком, воды не видно, можно ловить голыми руками: запрыгивает в лодки и выпрыгивает на берег, — так вот, но и на Аляске удочку Довлатова рыба обходит стороной.

> Sitka is a fishing paradise, but the hook of Seregia's rod
> remained unclaimed. Out of respect? Or some strange scent?
> Some unaccountable event? A curse, perhaps?
> So, here it is: the rod hangs on my living room wall,
> the only fishing rod that's been to Sitka and to Queens
> that has never caught a single fish!

«Ох, Володя, как это трогательно и печально, — пишет, прочтя стихотворение, Лена Довлатова. — *И трогательно, и печально, и ностальгично. Сережа когда-то подарил вашему сыну удочку? И неужели он сохранил этот подарок? Ведь наверняка Сережа не знал, как надо выбрать этот предмет. Да и денег у нас тогда было очень мало. Хотя ловить рыбу можно чем угодно.*

Как мне нравится, что ни одной рыбки не поймал Женя на эту удочку. То есть мне нравится это его заявление. Потому что Сережа не был ни грубым, ни кровожадным.

Стихотворение очень понравилось. И соразмерностью, и тональностью, и памятью об этом маленьком эпизоде.

Я люблю вашего сына за это. Скажите ему. И спасибо».

Будучи полуармянином-полуевреем — евреем армянского разлива, как называл его Вагрич Бахчанян, — Сережа удивлялся нашей с Леной Клепиковой чистокровности: «Вы и вправду чистокровный еврей? А Лена — чистокровная русская? Без всяких примесей?» Я сказал, что вдвоем, в браке, мы и есть горючая смесь: брак однокровок, по определению, — брак-полукровка. Еще лучше ответил на аналогичный Сережин вопрос о его чистокровности тот же Бахчанян:

— Армянин на все сто процентов?

— Даже на сто пятьдесят.

— Как так?

— У меня и мачеха была армянкой.

Между нами было несколько минут ходьбы, но Сережа жил ближе к 108-й улице, где мы с ним ежевечерне встречались у магазина «Моня и Миша» — прямо из типографии туда доставлялся завтрашний номер «Нового русского слова», который Сережа нетерпеливо разворачивал в поисках новостей (англоязычную прессу он не читал) либо собственной статьи. А когда у каждого из нас было в этом номере по публикации, ревниво смотрел оглавление на первой странице — чья статья поставлена первой.

На тот же «ревнивый» сюжет. Помню, как он измерял линейкой, чей портрет больше, — его или Татьяны Толстой, когда «Нью-Йорк таймс бук ревю» поместила рецензии на их книги на одной странице. А на наши вечерние свидания Сережа приходил часто в шлепках на босу ногу, даже в мороз, хотя какие в Нью-Йорке морозы! И не один, а с Яковом Моисеевичем, своей таксой, мстительно названной так в честь главного редактора «Нового русского слова» Андрея Седыха (Якова Моисеевича Цвибака), который однажды, в период его борьбы с Сережиным «Новым американцем», печатно обозвал Сережу лагерным вертухаем.

С Яковом Моисеевичем (таксой) связано множество самых невероятных историй, из которых упомяну только одну. Яков Моисеевич был некастрированным девственником, что причиняло неудобства не только ему, но и гостям в гостеприимном довлатовском доме: Яша забирался под стол и самым бесстыдным образом онанировал с ногами гостей. Те, кто знал о дурных привычках Якова Моисеевича, деликатно высвобождали свою ногу, но попадались и такие, кто об этом не знал. Однажды я привел к Сереже своего московского приятеля американиста Колю Анастасьева. Яшу в тот вечер было не слышно не видно, но когда мы поднялись из-за стола, обе Колины штанины оказались вчистую по колено обкусаны. Минута молчания, как в гоголевском «Ревизоре», но потом мы долго смеялись, а на следующее утро Сережа подарил пострадавшему новые брюки.

Сережа знал тьму анекдотов про таксу. Типа монолога нервной таксы: «Когда я нервничаю, я потею. Когда я потею, я пахну. Когда я пахну, меня моют. Когда меня моют, я нервничаю». Или о другой, тоже нервной таксе, которая бежит по пустыне: «Если не найду столбик или дерево, точно описаюсь». Больше всего мне нравился анекдот про мужика, который приходит в публичный дом и просит женщину за 50 долларов. «У нас такса — сто долларов». — «Ладно, пусть будет такса».

Все эти анекдоты рассказывались в присутствии Якова

Моисеевича, и Сережа утверждал, что тому нравится и он про себя смеется. Стоило Яше в чем-то провиниться, Сережа вытаскивал из штанов ремень — пугался не только Яша, но и гости. Ни разу не видел, чтобы Сережа привел свою угрозу в действие.

Иногда, не так чтобы часто, к нам в вечерних прогулках присоединялся архивист и книгарь Гриша Поляк, издатель «Серебряного века», в котором издавался Сережа, либо одна из наших Лен — Довлатова или Клепикова. Однако по преимуществу это были мужские променады — соответственно, и мужские разговоры. В ожидании газеты мы делали круги по ближайшим улицам. В том числе по будущей улице Довлатова. Кто бы ни входил в компанию, Сережа возвышался над нами, как Монблан, — ему и гроб пришлось делать по спецзаказу. Прохожие часто его узнавали, оборачивались, ему это, понятно, льстило. А те, кто не узнавал, все равно заглядывались, особенно женщины, — был красив и лицом напоминал то ли Омара Шарифа, то ли Мопассана, либо обоих. В «Записных книжках» он пишет: «Степень моей литературной известности такова, что, когда меня знают, я удивляюсь. И когда меня не знают, я тоже удивляюсь».

Он жил в самой гуще русской иммиграции, и мне кажется, здешние дела его волновали больше, чем тамошние, на нашей географической родине. Во всяком случае, моей первой поездке в Москву весной 1990 года он удивился, отговаривал и даже пугал: «А если вас там побьют?» Сам ехать не собирался — шутил, что у него там столько знакомых, что он окончательно сопьется.

Поездка у меня оказалась более печальной, чем я ожидал: когда я был в Москве, в Нью-Йорке неожиданно умерла моя мама. Сережа несколько раз звонил мне в Москву, а когда я вернулся, похоже, осуждал, что не поспел к похоронам. Когда я пытался оправдаться, он сказал несколько высокопарно:

— Это вам надо говорить Богу, а не мне.

Сам он был очень гостеприимен к столичным и питерским визитерам. Когда открылась «большая навигация» и они наладились к нам, тратил уйму энергии, нервов и денег, был у них на побегушках. Вот тогда Нора Сергеевна и сказала мне: «В большом теле — мелкий дух». А обсуетясь вокруг гостя и проводив его, злословил по его адресу, будь то питерский приятель Андрей Арьев или старая, по Москве знакомая Юнна Мориц.

Последнюю — а я довольно близко сошелся с Юнной еще перед переездом из Ленинграда в Москву и в мою недолгую бытность в столице — он буквально отбил у меня в Нью-Йорке,

чему я был, честно говоря, только рад: Юнна Мориц — классный поэт, но довольно беспомощный в быту человек, тем более в быту иноземном. Как-то сидел у нас в гостях Виктор Ерофеев с женой (первой) и сыном, а я только и делал, что бегал к телефону: это непрерывно — часа два кряду — звонил Сережа с автобусной станции, где встречал Юнну, а ее все не было. Он весь извелся — потом выяснилось, что она задержалась в гостях и уехала другим автобусом, не предупредив Довлатова.

Понятно, что в такой экстремальной ситуации он не удержался и запил, не дождавшись отъезда своей гостьи в Москву. Она позвонила мне ночью из Бруклина в Куинс, умоляя ее забрать: «Здесь такое творится!..» Но, сытый по горло требовательной Юнной да еще разбуженный среди ночи, я ответил сквозь сон: «Кто тебя привез, тот пусть и увозит» — и повесил трубку. Юнна вернулась только под утро в сопровождении Гриши Поляка, у того был подбит глаз и разбиты очки (Сережей, который на следующий день купил ему новые). Когда она уехала, Сережа дал себе волю, пытаясь взять хотя бы словесный реванш за все свои унижения, треволненья и суету, а потом и вовсе ударился в запой. Как-то он позвонил мне рано утром в выходной и попросил принести водки (ликеро-водочные магазины были закрыты). Я попросил дать трубку Лене Довлатовой — та подтвердила просьбу. Вот я и потащил остатки водки к Сереже — три четверти бутылки со свернутым куском «Нью-Йорк таймс» вместо пробки. Это единственный раз, когда я его видел в таком состоянии, — черный как головня. Подробности опускаю. Слово Леше Лосеву — другу скорее Бродского, чем Довлатова:

Я видал: как шахтер из забоя,
выбирался СД из запоя,
выпив чертову норму стаканов,
как титан пятилетки Стаханов.
Вся прожженная адом рубаха,
и лицо почернело от страха.

Было это незадолго до Сережиной смерти. Он успел отдать мне алкогольный должок — бутыль «Абсолюта». Я не хотел брать, он настаивал, я взял.

Уже в Москве, узнав о смерти Довлатова, Юнна Мориц напишет стихотворение «Довлатов в Нью-Йорке»:

Огромный Сережа в панаме

Идет сквозь тропический зной,
Панама сверкает над нами
И машет своей белизной.
……

Долги ему жизнь отравляют,
И нету поместья в заклад.
И плохо себе представляют
Друзья его внутренний ад.
……

И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется
Лишь в пятницу, в августе, днем.

А нынче суббота июля,
Он молод, красив, знаменит.
Нью-Йорк, как большая кастрюля,
Под крышкой панамы звенит.

Хорошо, точно сказано: «внутренний ад». С одной только поправкой: кто не представлял этот ад, а кто и представлял, чего обобщать, говори за себя, Юнна! Все-таки ты его видела только в редкие наезды в Нью-Йорк — в отличие от нас, ньюйоркцев. Этот ад всегда был при нем. Не это ли причина довлатовского злоречия?

Это злоречие — точнее, злоязычие — один из излюбленных Сережей устных и эпистолярных жанров. По жизни он был еще тот мизантроп — временами. Вот и давал себе волю в письмах, выпускал пар! Чмонил всех по-черному. Мог и передернуть, чтобы подвести под образ. Ну да, ушат помоев на всех своих знакомцев, друзей и сродников, себя включая. По принципу: все говно, кроме мочи! Он вкладывал в эти характеристики весь свой недюжий талант. Потому они так прилипчивы, хоть и не всегда справедливы.

Что делать, у него была аллергия на жизнь. Точнее, случалась: вспышки аллергии. Частная переписка? Не хотел, чтобы его письма печатали? Не факт. А что, если это его посмертный реванш — пусть на бессознательном уровне — не только за обиды при жизни, но и за посмертные: от своих будущих мемуаристов-зоилов?

Сплетни и метафизика

В отличие от меня, он жил жизнью общины, писал про нее и писал для нее. От него я узнавал не только местные новости, но и уморительные истории из жизни эмигрантов. Помню историю про его соседа, которого Сережа спрашивает, как тот устроился в Америке: «Да никак пока не устроился. Все еще работаю…» При всех Сережиных жалобах на эмиграцию — что здесь приходится тесно якшаться с теми, с кем в Питере рядом срать бы не сел, — именно эмиграция послужила для него, как для писателя, кормовой базой, питательной средой. Помимо расширения его читательской аудитории (в разы больше, чем на родине) и тематической и сюжетной экспансии его прозы, еще и ее языковое обогащение. Ему не надо было ездить на Брайтон в Бруклин, поскольку 108-я улица и ее окрестности были так необходимой писателю его типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне он тоже часто бывал, привозя оттуда сюжеты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. А потому защищал своих героев и читателей от своих литературных коллег: евреев от евреев. А те в самоотрицании доходили аж до погромных призывов:

> …нужен, дескать, новый Бабель,
> дабы воспел ваш Брайтон-Бич.
> Воздастся вам — где дайм, где никель!
> Я лично думаю одно —
> не Бабель нужен, а Деникин!
> Ну, в крайнем случае — Махно.

Если Бродский приехал в Америку сложившимся, состоявшимся и самодостаточным поэтом, оставив главные свои поэтические достижения в России, и здесь его литературная карьера рванулась вверх *per aspera ad astra* — через тернии к звездам, но при этом поэтическая судьба пошла под откос, то с Довлатовым все было с точностью до наоборот: классный рассказчик в России, в Америке он окончательно сформировался как писатель, и после шоковой задержки на старте иммиграционной жизни литературная карьера и писательская судьба, совпадая, пошли в гору. Полтора десятка новых книг и две подготовленные им, но вышедшие уже после его смерти, — это после абсолютного блэк-аута на родине. С дюжину переводных публикаций в престижных американских журналах, а в «Нью-Йоркере», вершителе литературных судеб в Америке, Довлатов стал не просто желанным — *persona grata*, — но

регулярным автором — рекордные девять рассказов за несколько лет! Само по себе явление беспрецедентное: Курт Воннегут, не напечатавший в этом журнале ни одного слова, печатно признался, что завидует Довлатову, а по словам Сережи, даже Бродский, порекомендовавший его в «Нью-Йоркер», никак не ожидал, что он придется там ко двору, и тоже неровно дышал к его, считай, рутинным в этом еженедельнике публикациям. И это не говоря о первых переводных книжках, международных писательских конференциях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Нового американца», внештатной работе на радио «Свобода», систематических газетных публикациях, сольных литературных вечерах в Нью-Йорке и по Америке, тогда как в России был один-единственный, упомянутый мной, на котором Сережа читал рассказы, а я делал вступительное слово. Я предварял своими выступлениями столько литературных вечеров — Юнны Мориц в Литературном музее, Фазиля Искандера в Центральном доме литераторов, Евтушенко и Межирова в Ленинграде, не упомню в каком Доме культуры, зато помню, что с конной милицией на прилегающих улицах, а уже здесь, в Нью-Йорке, тех же Искандера, Мориц и прочих, — вот память моя и не удержала, что именно я говорил о Сереже на его авторском вечере. Разглядываю фотки Наташи Шарымовой с того вечера — вот я стою, держась за спинку стула, и что-то вещаю, а вот сидит Сережа и, уткнувшись в рукопись, читает свой рассказ — какой? — и перед ним портфель, как я помню, с другими его сочинениями. Чисто немое кино, но, увы, без титров. Само собой, я нахваливал его уморительно смешные абсурдистские рассказы, но — Эврика! вспомнил! — упрекнул в том, что литература для него как хвост для павлина. Сереже-то как раз это в память запало, коли он взял мой образ на вооружение и, как что, говорил: «Пошел распускать свой павлиний хвост». Это и другие мемуаристы отмечают, не только я.

Довлатов был дока по эмиграционной части, и я обращался к нему иногда за справками. Так случилось и в тот раз. Мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что ей нравятся мои сочинения, и предложила встретиться. Я поинтересовался у Сережи, не знает ли, кто такая.

— Поздравляю, — сказал Сережа. — Ее внимание — показатель известности. Она предлагается каждому, кто, с ее точки зрения, достаточно известен. Секс для нее как автограф — чтобы каждая знаменитость там у нее расписалась. Через ее п**** прошла вся эмигрантская литература, а сейчас, в связи с гласностью, расширяет поле своей сексуальной активности за счет необъятной нашей родины, не забывая при этом и об эмигре.

Вам вот позвонила. Коллекционерка!

Не знаю, насколько Сережа прав, но, сталкиваясь время от времени с этой дамой, я воспринимал ее согласно данной Сережей характеристике и всячески избегал участия в этом перекрестном сексе.

И так было не только с ней, но и со многими другими общими знакомыми, которые докучали или гнобили Сережу. Удерживаюсь от пересказа таких анекдотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в сторону сплетни, хотя кто знает, где кончается одно и начинается другое (см. мою «Апологию сплетни» в «Записках скорпиона»). Одному недописанному опусу я дал подзаголовок: роман-сплетня. Этот тоже, наверное, смахивает или зашкаливает в сплетню. Ну и что? В «Записных книжках» Довлатова нахожу: «Бродский говорил, что любит метафизику и сплетни. И добавлял: „Что в принципе одно и то же“». На самом деле, чего Довлатов не знал, так как Бродский в разговорах часто опускал источник, эта мысль близка к высказыванию Эмиля Чорана: «Две самые интересные вещи на этом свете — это сплетни и метафизика». В очерке «Исайя Берлин в восемьдесят лет», приводя эти слова, Бродский добавляет от себя: «Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое». В интервью Джаил Хэнлон Бродский приписывает эту мысль Ахматовой: «Она часто говаривала, что метафизика и сплетни — единственно интересные для нее темы. В этом она была достаточно схожа с французским философом Чораном».

Кем только Довлатова не… хотел сказать «называли», но точнее будет обзывали! Писатель-затейник, изобретатель эстрадной литературы, трубадур отточенной банальности, причисляли его к масс-культуре. Даже если так, это никак его не умаляет: не сравниваю, конечно, но Шекспир и Диккенс тоже были явлениями масскультуры — еще раз напоминаю об этом. Литературное письмо Довлатова прозвали анекдотическим реализмом — не вижу в этом ничего уничижительного. Он и в самом деле хранил в своей памяти и частично использовал в прозе, искажая, обширную коллекцию анекдотов своих знакомых (и незнакомых) либо про них самих. Кое-кто теперь жалуется, что Довлатов их обобрал, присвоил чужое. Я — не жалуюсь, но вот история, которая приключилась со мной.

Как-то я шутя сказал Сереже, что у моей жены комплекс моей неполноценности, а потом увидел свою реплику в его записных книжках приписанной другой Лене — Довлатовой. Самое смешное, что эта история имела продолжение. Действуя по принципу «чужого не надо, свое не отдам», я передал эту реплику героине моего романа «Похищение Данаи». Роман, еще в

рукописи, прочла Лена Довлатова. Против кочевой этой реплики она деликатно пометила на полях: «Это уже было». Так я был уличен в плагиате, которого не совершал. А Вагрич Бахчанян жаловался мне, что половина шуток у Довлатова в «Записных книжках» — его, Вагрича. В разы преувеличивал, конечно, хотя шутки у него были первоклассные: «Лимонов перерезал себе вены электрической бритвой», «Довлатов худеет, не щадя живота своего», «Гласность вопиющего в пустыне», — но если он, Вагрич Бахчанян, когда-нибудь издаст их как свои, его будут судить за плагиат. Дальше всех идет в отчуждении прав Довлатова на собственные произведения его нелояльная первая жена Ася Пекуровская: «Так родились трофеи в виде „Невидимой книги“ и „Соло на ундервуде“, Сереже, строго говоря, не принадлежащих творений…» И продолжает на этом настаивать: «…Тексты типа „Соло на ундервуде“ или „Невидимой книги“ являлись продуктом коллективного творчества и Сереже как таковому не принадлежали». Само собой, что эту ее негативную характеристику бывшего мужа как литературного наперсточника всячески поддерживает завидущий Валера Попов, который сломался на старости лет на Довлатове: «В своей книге Ася обвиняет Сергея в корыстном использовании людей и происшествий — и ее доказательства достаточно убедительны».

Больше жалоб, однако, не со стороны обиженных авторов, а героев его литературных, эпистолярных и письменных приколов. Я еще расскажу о «шести персонажах в поисках автора».

А что он рассказывал другим обо мне?

По нескольким репликам в опубликованных письмах — я их уже приводил — судить не берусь. Они написаны до наших тесных отношений и, как Сережа сам говорил, «в некотором беспамятстве», когда «все говно поднялось со дна души». Тем более — это в ответ на ругань в мой адрес Игоря Ефимова, бывшего моего питерского дружка, который превратился в моего непримиримого врага — своего рода *hyper-courtesy,* как вынужденные антисемитские диатрибы юдофила Ницше в письмах к юдофобу Вагнеру до того, как те расплевались (в том числе на этой почве). Не с кем дружить, а против кого — давний принцип Ефимова, на котором будет построен и его посмертный заговор против Довлатова. А тогда Сережа вынужден был отстаивать свое право главреда «Нового американца» меня печатать, а Игорь, с его совковой психикой, будь его воля, перекрыл бы мне все кислородные пути. Он и в израильский журнал «22», по словам Нины и Саши Воронелей, моих редакторов, послал письмо, чтобы не печатали мой роман, а взамен предлагал свой собственный. Ефимову можно

посочувствовать: я ему все время перебегал дорогу. Начиная с Куинс-колледжа, куда нас с Леной Клепиковой с ходу, как только приехали, взяли на статусные и хлебные позиции *scholars-in-residence* (в Колумбийский университет — как *visiting scholars*), а Ефимов пролетел, как фанера над Парижем. А уж как он, бедный, обхаживал в Ленинграде Генри Мортона, зава политической кафедрой Куинс-колледжа, нисколько не сомневаясь, что теперь уж теплое место ему точно обеспечено.

Лена Довлатова вносит поправку — ему там по-любому ничего не светило, потому как грант был рассчитан на людей с научной степенью, а у него не было никакой, тогда как я защитил диссертацию о поэтике и проблематике пушкинской драматургии и опубликовал из нее дюжину статей в престижной периодике. Тем не менее Ефимов уже малость тронулся по причине неудач в Америке, а главное — из-за потери статуса и социума, и поначалу выбрал меня, в качестве козла отпущения и источника его бед. Однако главный объект зависти этого завидущего неудачника был и остался Сережа Довлатов, даже после смерти. Вот уж даже не знаю, кто кому больше крови попортил. Сережа — самим фактом своего существования? И не существования, потому что после смерти Довлатов совсем обнаглел, по удачному выражению другого завистника — Валеры Попова.

Не говоря уж о том, что Довлатов был резко против публикации своих писем, а Ефимов издал, по сути, фальшак, опуская некоторые собственные письма и купируя Сережины, что легко вычислить уже по текстологическому анализу, а я к тому же видел в архиве Довлатова оригиналы этих писем, которых не досчитал потом в «эпистолярном романе», хотя какой там роман, когда совсем наоборот: антироман. Это уже Игорьку удружил его тезка издатель — Игорь Захаров. И мой издатель тоже: «Три еврея» — это его название взамен моего «Романа с эпиграфами».

Другая крайность — уничтожать письма, как это сделала Нора Сергеевна, уничтожив все Сережины эпистолы, которые он слал ей из армии. Или как сделала Юнна — по крайней мере, так она говорит, — уничтожив Сережины к ней весьма содержательные послания. Юнна давала мне их читать в Москве для моих литературных нужд, копии с них я снял с ее ведома и какие-то куски из них привожу здесь или пересказываю. Контрабанда? Мародерство? Не знаю, не знаю. По мне так, варварство и вандализм уничтожать письма, даже будь на то воля покойника. Впрочем, воля Довлатова — не уничтожать, а *не печатать* его письма, нарушаемая всеми, у кого эти письма имеются. Уничтожившая оригиналы Юнна права на них как на нечто материальное утратила, а права на их содержание — у

вдовы писателя. Приведенные из них фрагменты, с ее разрешения, — отличная проза и щелка в Сережину литературную кухню.

Воля покойника — палка о двух концах. Если Кафка в самом деле хотел уничтожить все свои произведения, то почему не сделал это сам, а поручил Максу Броду, который этого не сделал, — и правильно сделал, что не сделал. Мариенгоф рассказывает о своем горе, когда узнал, что сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того что документ эпохи, содержали блестящие характеристики современников — артистов, художников, писателей. Да мало ли примеров парадоксальной противоречивости посмертной воли. Сент-Бёв так и не решился напечатать свою филиппику против Гюго, она хранится в его архиве в Шантильи, — в начале первой страницы приписка: «Сжечь после моей смерти», а внизу: «После моей смерти — напечатать. Сент-Бёв».

Чему верить?

Чему следовать?

Главной причиной Сережиного злоречия была, мне кажется, вовсе не любовь к красному словцу, которого он был великий мастер, а прорывавшаяся время от времени наружу затаенная обида на людей, на жизнь, на судьбу, а та повернулась к нему лицом, увы, *post mortem*. Посмертный триумф. Я говорю о его нынешней славе на родине, где он идолизирован и превращен в китч. Я сам принял в этом посильное участие, сделав полнометражный фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», совместную с Леной Клепиковой книжку «Довлатов вверх ногами» и опубликовав мемуар «Довлатов на автоответчике» в дюжине, наверное, изданий, редактируя и наращивая его.

В последние год-два жизни Довлатов тщательно устраивал свои литературные дела в совдепии: газетные интервью, журнальные публикации, первые книжки. Гласность только зачиналась, журналисты и редакторы осторожничали, и помню, какое-то издательство — то ли «Совпис», то ли «Пик» — поставило его книгу в план 1991 года, что казалось мне тогда очень не скоро, но Сережа со мной не согласился:

— Но девяносто первый год ведь тоже наступит. Рано или поздно.

Для него — не наступил.

Купив «Новое русское слово» и заодно немного провизии, мы отправлялись к Довлатовым чаевничать, сплетничать и трепаться о литературе, главном нашем интересе в жизни. Что нас с Сережей больше всего объединяло, при всех вкусовых

несовпадениях и разногласиях, так это — по Мандельштаму — «тоска по мировой культуре». Как раз «приемы» друг другу мы устраивали редко ввиду территориальной близости и ежевечерних встреч — отсюда возбуждение Сережи в связи с «козлом»:

Володя, добавление к предыдущему tes… предыдущему message'у. Лена уже приступила к изготовлению козла, так что отступление невозможно. Я вам буду звонить. Привет.

А вот приглашение, которое Довлатов вынужден был через пару часов отменить:

Володя! Привет! Это Довлатовы говорят, у которых скопились какие-то излишки пищи. Я хотел… Я думал, может, мы что-нибудь съедим? По пирожному или по какой-нибудь диковинной пельмене? А вас нету дома. О, по телевизору Турчина показывают. Как это неожиданно. И невозможно. Ого!.. Ну, потом разберемся. Я вам буду звонить. Искать вас.

Сам он был, мне кажется, не очень привередлив в еде. «Мне все равно, чем набить мое брюхо» — его слова. Куда больше увлекало готовить другим, чем есть самому. А пельмени делал он замечательно — из трех сортов мяса, ловко скручивая купленное у китайцев специальное тесто, которое называется *skin,* то есть кожа, оболочка. Получалось куда вкуснее, чем русские или сибирские пельмени.

Володя! Это Довлатов говорит. Значит, сегодня, к сожалению, отменяются возможные встречи, даже если бы удалось уговорить вас. Дело в том, что у моей матери сестра умерла в Ленинграде, и она очень горюет, естественно. То есть тетка моя. Одна из двух. Так что… Ага. Надеюсь, что с котом все в порядке будет. Я вам завтра позвоню. Всего доброго.

Сережа был тесно связан со своей родней, а с матерью, Норой Сергеевной, у них была и вовсе пуповина не перерезана, с чем мне, признаться, никогда прежде не приходилось сталкиваться — слишком велик разрыв между отцами и детьми в нашем поколении. Он, вообще, был человек семейственный, несмотря на загулы, и крепко любил свою жену, боялся ее потерять. «Столько лет прожили, а она меня до сих пор сексуально волнует», — говорил он мне — при ней — полушутя-полусерьезно. «И меня — тоже», — не сказал я, глядя на красивую Лену. Мы сидели на

кухне, чаевничали, и вдруг Лена вскочила и бросилась за пролетевшей мухой. «Если бы ты была такой прыткой в постели!» — сказал Сережа, возбужденный, как обычно. Лена глянула на него отстраненно и чуть даже свысока. Словесно он ее побивал, зато она брала реванш взглядами и мимикой. Сережа и Нора Сергеевна считали ее эмоционально непробиваемой, без нервов, но, думаю — знаю, — что это не совсем так. Совсем не так! Всё держалось на одной Лене. На плечи этой удивительной женщины легла ответственность не только за семейный очаг, но прежде всего за детей — Катю и Колю. Если бы не этот поневоле выработанный, благоприобретенный иммунитет, не уверен, что Лена выдержала бы весь этот семейный ад. *Welcome to the Hell,* как сказал Великий бард. Добро пожаловать в ад!

Сережа дико Лену ревновал, считал самой лучшей и гордился ее красотой, хотя само слово «красивый» было не из его лексикона — по-моему, он не очень даже понимал, что это такое: красивая женщина или красивый пейзаж. Его чувство семейной спайки и ответственности еще усилилось, когда родился Коля (дочь Катя была уже взрослой). Одна из лучших у него книг — «Наши», о родственниках: по его словам, косвенный автопортрет — через родных и близких. Я ему прочел на эту тему мое любимое у Леонида Мартынова стихотворение — ему тоже понравилось:

И так как они не признали его,
Решил написать он
Себя самого.
И вышла картина на свет изо тьмы…
И все закричали ему:
— Это мы!

За месяц до смерти Сережа позвонил мне, рассказал о спорах на радио «Свобода» о моем «Романе с эпиграфами», который, с легкой руки московского издателя, стал теперь «Тремя евреями», и напрямик спросил:

— Если не хотите дарить, скажите — я сам куплю.

Он зашел за экземпляром романа, в издании которого принимал косвенное участие: дал дельный совет издательнице по дизайну обложки и увидел сигнальный экземпляр раньше автора — когда явился в нью-йоркское издательство *Word* по поводу своих собственных книг, до которых так и не дожил: его «Филиал» и «Записные книжки» вышли посмертно.

Так случилось, что мои «Три еврея» стали последней из прочитанных им книг. Уже посмертно до меня стали доходить его

отзывы. Сначала от издательницы Ларисы Шенкер — что Сережа прочел книгу залпом. Потом от его вдовы. «К сожалению, всё правда», — сказал Сережа, дочитав роман. Лена Довлатова повторила Сережину формулу в двухчасовом радиошоу о «Трех евреях» на «Народной волне» (Нью-Йорк). Да — к сожалению. Я бы тоже предпочел, чтобы в Ленинграде всё сложилось совсем, совсем иначе. Тогда, правда, и никаких «Трех евреев» не было бы — мой шедевр, как считают многие. И из России никто бы не уехал: ни Бродский, ни Довлатов, ни мы с Леной. Впрочем, я уже говорил об этом.

А в тот день Сережа засиделся. Стояла августовская жара, он пришел прямо из парикмахерской и панамки не снимал — считал, что стрижка оглупляет. Нас он застал за предотъездными хлопотами — мы готовились к нашему привычному в это тропическое в Нью-Йорке время броску на север.

— Вы можете себе позволить отдых? — изумился он. — Я не могу.

И в самом деле — не мог. Жил на полную катушку и, что называется, сгорел, даже если сделать поправку на традиционную русскую болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофеева. Сердце не выдерживает такой нагрузки, а Довлатов расходовался до упора, что бы ни делал — писал, пил, любил, ненавидел, да хоть гостей из России принимал, — весь выкладывался. Он себя не щадил, но и другие его не щадили, и, сгибаясь под тяжестью крупных и мелких дел, он неотвратимо шел к своему концу. Этого самого удачливого посмертно русского прозаика всю жизнь преследовало чувство неудачи, и он сам себя называл «озлобленным неудачником». И уходил он из жизни, окончательно в ней запутавшись.

Его раздражительность и злость отчасти связаны с его болезнью, он сам объяснял их депрессухой и насильственной трезвостью, мраком души и даже помрачением рассудка. Но не является ли депрессия адекватной реакцией на жизнь? А алкоголизм? Я понимал всю бесполезность разговоров с ним о нем самом. Он однажды сказал:

— Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот будет пить.

Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать, — его собственное сравнение из неопубликованного письма. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы,

публикуемые в «Нью-Йоркере» и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Кстати, гонорар от «Нью-Йоркера» — три тысячи долларов (по-разному, поправляет меня Лена Довлатова) — он делил пополам с переводчицей Аней Фридман. Таков был уговор — Аня переводила бесплатно, на свой страх и риск.

Сережа, конечно, лукавил, называя себя литературным середнячком. Не стоит принимать его слова на веру. Скромность паче гордости. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Однако его самооценка все же ближе к истине и к будущему месту в литературе, чем нынешний китчевый образ. Увы, нам свойственно недо— либо, наоборот, переоценивать своих современников. На долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, лицом к лицу лица не увидать.

Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу — не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.

Я написал трагически много — под стать моему весу. На ощупь — больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид — фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди.

Из уничтоженных писем Сергея Довлатова

Так писал Довлатов еще в Советском Союзе, где его литературная судьба не сложилась, где его не признавал благонамеренный официоз и третировали писатели «самых честных правил», для которых он был никто. Вот из другого его письма Юнне Мориц — опять-таки уничтоженного ею.

Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей — военнослужащих, баскетболистов… Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило — страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.

Из уничтоженных писем Сергея Довлатова

С тех пор он сочинил, наверное, еще столько же, если не

больше, а та «сущая ерунда», на которую претендовал, так и осталась мечтой.

«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь Его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят».

Он мечтал заработать кучу денег либо получить какую-нибудь престижную денежную премию и расплеваться с радио «Свобода»:

— Лежу иногда и мечтаю. Звонят мне из редакции, предлагают тему, а я этак вежливо: «Иди-ка ты, Юра, на х**!»

Юра — это Юра Гендлер, заведующий русской службой нью-йоркского отделения «Свободы», наш, фрилансеров, общий работодатель и благодетель.

Хоть Сережа и был на радио нештатным сотрудником и наловчился сочинять скрипты по нескольку в день, халтура отнимала у него все время, высасывала жизненные и литературные соки — ни на что больше не оставалось. Год за годом он получал отказы от фонда Гуггенхайма. Особенно удивился, когда ему пришел очередной отказ, а Аня Фридман, его переводчица, премию получила. В неудачах с грантами винил своих спонсоров — что недостаточно расхвалили. В том числе — Бродского, другой протеже которого — Юз Алешковский, объявленный им «Моцартом русского языка», — Гуггенхайма хапнул. В отместку или просто из злоречия Сережа рассказывал, что с ужасом наблюдал в супермаркете напротив своего дома, как Юз преспокойно кладет за пазуху огромный кус мяса — в качестве приношения к довлатовскому столу. Так или не так — за что купил, за то продаю. В «Записных книжках» Довлатов заменил мясо на колбасу, а ворюгу назвал «знакомым писателем». А с Юза станет, у него сознание уголовника, как был урка, так и остался, мне ли не знать. Да и в тюрягу он попал не за политику, а за угон машины — не в укор ему будет сказано. Одно время мы с Юзом тесно сошлись — в Коктебеле, где я ему сосватал его будущую жену, а он, прочтя в рукописи «Трех евреев», посоветовал мне, нарушив сюжетную и хронологическую канву, перемешать главы, что я и сделал — спасибо, Юз! В Москве мы приятельствовали уже по инерции, я был дружком невесты на его свадьбе, а в Малеевке разругались на бытовой почве — из-за его сына Алеши, который температурил, и я настоял, чтобы он увез его в Москву. Может, я был неправ, не знаю.

Нельзя сказать, что Бродский Сереже не помогал. Напротив. Рекомендовал его на международные писательские конференции

в Вене и Лиссабоне, где нарисовал его портрет, на котором Сережа перерисовал себе нос, несмотря на пиетет перед гением, и где Довлатов не выдержал напряга и нырнул в стакан, а потом гордо рассказывал, что к трапу его волокли два нобелевских лауреата — Чеслав Милош и Иосиф Бродский. Свел его с переводчицей и с литературным агентом. А главное — снес его рассказы в «Нью-Йоркер», а когда этот самый престижный литературный журнал в Америке стал регулярно Довлатова печатать, Бродский будто бы запаниковал, я уже писал об этом, но вот точная Сережина реплика, вспомнил. «Пригрел змею на груди, — хихикая, прикалывался Довлатов. — А теперь завидует мне — знал бы, ни за что не порекомендовал!» — шепотом сообщил мне Сережа, словно боясь, что гений его услышит. Слегка переигрывал.

Одна наша общая знакомая даже жаловалась, что, если бы Бродский помог ей, она бы стала Довлатовым, а так была и осталась никому не ведомой Людой Штерн — таланты равны, а Бродский почему-то решил ввести в литературу не ее, а Сережу: снес его рассказы в «Нью-Йоркер», брал с собой на литературные конференции. В том смысле, что у нее слова — и у Сережи слова. А разница между большим талантом и усредненным графоманством — кто ее усечет? Боря Парамонов, с деревянным ухом на литературу, что нисколько не умаляет его литературной одаренности, тот просто говорил мне, что не дает ему покоя покойник. Даже Лену Довлатову не обошел своим завидущим вниманием: «Хорошо устроилась — избавилась от мужа-алкаша, а теперь стрижет купоны с его славы». Или «живет на ренту с его славы». Не помню точно, как именно он выразился.

Довлатов с Парамоновым работали — и соперничали — на радио «Свобода», где были нештатниками. Как и мы с Леной. Сережа говорил, что антисемитизм Парамонова — часть его общей говнистости. (О человеке, похожем на Парамоху, хоть и не под копирку, см. помещенную в этой книге повесть «Еврей-алиби».) А после смерти Сережи Парамонов — не он один! — причислял Довлатова к масскультуре и даже настаивал, что брайтонская рассказчица Анна Левина ничуть не хуже. О том же Вика Беломлинская, но своими словами: «Он изобрел свой собственный жанр эдакой эстрадной литературы». Все это близко к тому, что написал Владимир Бондаренко в «Нашем современнике» о «плебейской прозе Сергея Довлатова». Еще раз процитирую: «В сущности, он и победил, как писатель плебеев».

На самом деле у Довлатова-писателя — своя тайна, несмотря на прозрачность, ясность, кларизм его литературного письма. Именно плакальщики, вспоминальщики и литературоведы сводят

его к дважды два четыре и превращают в китч. Недавно мне пришлось защищать Довлатова в одной телепередаче, но я так и не понял, что так раздражало его критика — проза или слава Довлатова.

Бог с ними — с анекдотами, пусть и реальными. Как бы то ни было, Бродского и Довлатова связывали далеко не простые отношения. К ним можно отнести известную стиховую формулу Бродского, подставив на место лирического героя Довлатова:

> Как жаль, что тем, чем стало для меня
> твое существование, не стало
> мое существование для тебя.

Впрочем, эта формула относится не только к Довлатову, но и ко многим другим знакомцам Бродского.

«Иосиф, унизьте, но помогите», — обратился как-то Довлатов к Бродскому, зная за ним эту черту: помочь, предварительно потоптав. Это была абсолютно адекватная формула: Бродский унижал, помогая, — или помогал, унижая, — не очень представляя одно без другого. Довлатов зависел от Бродского и боялся его — и было чего! Опять-таки, не он один. Помню, как Сережа, не утерпев, прямо на улице развернул «Новое русское слово» и залпом прочел мою рецензию на новый сборник Бродского. Мне самому она казалась комплиментарной — я был сдержан в критике и неумерен в похвалах. А Сережа, дочитав, ахнул:

— Иосиф вас вызовет на дуэль.

К тому времени Бродский стал неприкасаем, чувствовал вокруг себя сияние, никакой критики, а тем более панибратства.

Сережа не унимался:

— Как вы осмелились сказать, что половина стихов в книге плохая?

— Это значит, что другая половина хорошая, — оправдывался я.

— Как в том анекдоте: зал был наполовину пуст или наполовину полон? — рассмеялся Сережа, снимая напряжение.

В другой раз, прочтя мою похвальную статью на совместную, Бобышева и Шемякина, книжку «Звери св. Антония», сказал:

— Иосиф вам этого не простит, — имея в виду известное — не только поэтическое — соперничество двух поэтов, бывших друзей.

С Бродским связана и одна-единственная размолвка в наших с Сережей отношениях. Чуть не поругался с ним. Но не поругался и не разругался. То есть сказал ему все, что думаю, но Сережа

спустил на тормозах, пошел на попятную. Потому что согласился со мной или потому что не хотел терять друга и собеседника?

Вот в чем дело.

Солидное американское издательство *Doubleday* собиралось издать «Двор» одесско-нью-йоркского писателя Аркадия Львова. Не читал и не буду, не принадлежа к его читателям. Однажды Аркадий мне позвонил посоветоваться, как быть с Ричардом Лури, бостонским переводчиком, который отлынивает от перевода романа (по договору с издательством) и «бегает» от Аркадия: «Для меня это дело жизни и смерти!» Немного высокопарно, но понять его можно. С Ричардом Лури я не был лично знаком, но он опубликовал хорошую рецензию на нашу с Леной американскую книгу, и я ему позвонил — почему не помочь коллеге? Сказал Ричарду, что роман Львова уже вышел по-французски, хорошо был принят критикой. Тем же вечером рассказал Сереже эту историю и сразу почувствовал какой-то напряг, но значения не придал. А через пару дней узнаю, что Довлатов, выведав у меня о планах *Doubleday,* позвонил Бродскому и стал уговаривать, чтобы тот, пользуясь своим авторитетом, приостановил эту публикацию. Не стану здесь подробно пересказывать Сережину географически-шовинистическую теорию, что писательские таланты в России с севера ограничены нашим Ленинградом, а с юга — Харьковом, откуда Эдик Лимонов, Юра Милославский и Вагрич Бахчанян, — Одесса пролетает, как фанера над Парижем. Самое удивительное в этой истории, что Бродский пошел на поводу у Довлатова и позвонил знакомому редактору в *Doubleday*.

Чего, впрочем, удивляться? Пытался же он зарубить «Ожог» Аксенова, написал на него минусовую внутреннюю рецензию. Как-то я ему сказал — по другому поводу, — что он не единственный в Америке судья по русским литературным делам. «А кто еще?» Я даже растерялся от такой самонадеянности, чтобы не сказать — наглости. Тут только до меня дошло, что передо мной совсем другой Бродский, чем тот, которого я знал по Питеру.

Мне легче понять прозаика, который препятствует изданию книги собрата по перу, хоть и не оправдываю. Но ведь Бродский — не прозаик: Аркадий Львов или Василий Аксенов ему не конкуренты, да?

В том-то и дело, что не прозаик! Один из мощнейших комплексов Бродского. Отрицание Львова или Аксенова — частный случай общей концепции отрицания им прозы как таковой. И это отрицание проходит через его эссе и лекции, маскируясь когда первородством поэзии, а когда антитезой: «Я

вижу читателя, который в одной руке держит сборник стихов, а в другой — том прозы…» Спорить нелепо, это разговор на детском уровне: кто сильнее — кит или слон?

А если говорить о персоналиях, то Львов и Аксенов — подставные фигуры: Набоков — вот главный объект негативных эмоций Бродского. Представляю, какую внутреннюю рецензию накатал бы он на любой его роман! Здесь, в Америке, бывший фанат Набокова превратился в его ниспровергателя: слава Набокова завышенная, а то и искусственная. Я пытался ему как-то возразить, но Бродский отмахнулся с присущим ему всегда пренебрежением к чужой аргументации. Его раздражала слава другого русского, которая не просто превосходила его собственную, но была достигнута средствами, органически ему недоступными. Комплекс непрозаика — вот негативный импульс мемуарной и культуртрегерской литературы самого Бродского.

К счастью, самоуверенное «А кто еще?» было хвастовством, не более! Перед наезжающими из России с конца 80-х знакомыми Бродский и вовсе ходил гоголем и распускал хвост. Найман пишет о его могущественном влиянии и в качестве примера приводит рецензию на аксеновский «Ожог». Это преувеличение со слов самого Оси. И «Ожог», и «Двор», и «Это я — Эдичка!» благополучно вышли по-английски, несмотря на его противодействие. Не хочу больше никого впутывать, но знаю, по крайней мере, еще три случая, когда табу Бродского не возымело никакого действия. Его эстетическому тиранству демократическая система ставила пределы. Влияние Бродского ограничивалось университетским издательством «Ардис» и специализирующимся на нобелевских лауреатах (сущих и будущих) *Farrar, Straus and Giroux,* но и там не было тотальным. Обычно они давали русскую книгу на две рецензии. Помимо Бродского — Мирре Гинзбург, переводчице «Мастера и Маргариты», которая пользовалась у них большим авторитетом, чем Ося. Как сказала мне Нанси Мейслас, редактор этого издательства: «Если бы мы слушались Иосифа, нам пришлось бы свернуть деятельность вполовину».

Зато без промаха самоутверждался Бродский, давая «путевки в жизнь» в русскоязычном мире Америки: комплиментарные отзывы своим бывшим питерским знакомым, а те воспринимали его как дойную корову. Зло, но точно описала эту ситуацию Юнна Мориц, отчитываясь передо мной о вашингтонской писательской конференции:

«Он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошить свой

триумф, как рыбий корм в аквариуме. Смотреть на это страшно — они погасят его своими слюнями, соплями и трудовым потом холодненьких червячков… Им-то все мерещится, что струится из них пастерначий „свет без пламени“, — хрен вот! писи сиротки Хаси из них струятся, а Иосифа спешат они сделать своим „крестным отцом“, загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать ее цветуечками. И не могла я ему ничего такого сказать, ибо ползали они по его телу, и меня от этого так тошнило, что я занавесилась веками Вия».

Чего Юнна не уловила, так это желания Бродского выстроить историю литературы под себя — пьедестал из лилипутов, из которых все равно никогда не сделать Гулливера. Была еще и тайная причина его покровительства, о которой как-нибудь в другой раз, в следующей книге — о Бродском. А сейчас вспоминаю, как за полгода до присуждения Нобелевской премии Сережа сообщил мне конфиденциально, что там, в Стокгольме, кому надо дали понять, чтобы поторопились, Бродский не из долгожителей.

Как Янус, Бродский был обращен на две стороны разными ликами: предупредительный к американам и пренебрежительный к эмигре, демократ и тиран. Когда при их первой встрече в Нью-Йорке Сережа, пытаясь подсуетиться к гению, обратился к Осе на «ты», Бродский тут же прилюдно его осадил:

— Мы, кажется, с **вами** на «вы», — подчеркивая образовавшуюся между ними статусную брешь, шире Атлантики.

— С вами хоть на «их», — не сказал ему Довлатов, как потом всем нам пересказывал эту историю, проглотив обиду, — а что ему оставалось? «На „их“» — хорошая реплика, увы, запоздалая, непроизнесенная, лестничная, то есть реваншистская. Все Сережины байки и шутки были сплошь заранее заготовленные, импровизатором, репликантом никогда не был.

Услышав от меня о присочиненном довлатовском ответе, Бродский удовлетворенно хмыкнул:

— Не посмел бы…

Или такая вот история. Однажды, предварительно договорившись о встрече, Довлатовы явились к Бродскому в гости, но тот принимал важного визитера — черного поэта Дерека Уолкотта, будущего нобелевского лауреата. Верный двум своим принципам — не знакомить одних своих знакомых с другими и строго блюсти статусную иерархию, — Бродский заставил Лену и Сережу Довлатовых часа два прождать на улице, пока не освободился.

Сережа со страшной силой переживал эти унижения, но шел

на них — не только из меркантильных соображений, как перед литературным паханом, в руках которого бразды правления и распределение благ среди писателей-эмигре, но и бескорыстно, из услужливости, из пиетета перед гением. Говорун от природы, он испытывал оторопь в присутствии Бродского, дивясь самому себе: «Язык прилипает к гортани». Среди литераторов-русскоязычников шла ожесточенная борьба за доступ к телу Бродского (при его жизни, понятно): соперничество, интриги, ревность, обиды — будто он женщина! Сережа жаловался: «Бродский недоступен» — и, помню, злился на Марину Тёмкину, которая одно время секретарствовала у Бродского, кичилась этой временной ролью и не подпускала к нему даже Довлатова. Часто он выигрывал это соревнование, только чего ему стоили эти победы!

И чего он добивался? Быть у гения на посылках?

Помню такой случай. Приехал в Нью-Йорк Саша Кушнер, с которым Бродский в Ленинграде всегда был на ножах, раздражаясь на его благополучную советскую судьбу — недаром Сашу прозвали «ливрейным евреем». Их антагонизм и составил сюжетную основу моих «Трех евреев». И вот Саше понадобилась теперь индульгенция от нобелевского лауреата — в частности, из-за тех же моих «…евреев». Мало того что вынудил Бродского сказать вступительное слово на его вечере, он хотел теперь получить это выступление в письменном виде в качестве пропуска в вечность. Бродский в конце концов уступил, но предпочел с Сашей больше не встречаться, а в качестве письмоносца выбрал Довлатова. «Никогда не видел Иосифа таким гневным», — рассказывал Сережа. Гнев этот прорвался в поэзию, когда Бродский обозвал Скушнера «амбарным котом», и эта стиховая характеристика перечеркивает все его вынужденные дежурные похвалы. Само это посвященное Скушнеру стихотворение — прорыв и взлет в поздней поэзии Бродского. Вот что значит негативное вдохновение!

Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.
С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.
Помол его жесток, крупицы тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.

Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.

В мемуаре Андрея Сергеева (лучшем из того, что я читал о Бродском) рассказывается о встрече с Бродским в Нью-Йорке аккурат перед вечером Скушнера, которого тот вынужден был представлять аудитории. А заглазно повторил о нем то, что говорил всегда, не одному Сергееву: «Посредственный человек, посредственный стихотворец». Ну да, «самая выдающаяся посредственность русской поэзии» — перефразируя характеристику Сталина Троцким.

Позиция Довлатова к Кушнеру менялась. Поначалу он яростно защищал его от критика Владимира Соловьева. Пишу об этом поверх моих личных симпатий и антипатий, которые читателю известны. Из Ленинграда в Москву он писал Юнне Мориц:

…Вы ссылаетесь на Володю Соловьева. Спросите у него мимоходом, зачем он тявкнул в «Комсомолке» на Сашу Кушнера. Это было не элегантно. Ситуация «Соловьев — Кушнер» для меня непостижима. Мои жизненные и литературные принципы безнадежно спортивны: «Все, что пишут мои товарищи, — гениально! Все, что пишут хорошие люди, — талантливо! Все, что пишут дурные люди, — бездарно! Все, что пишут враги моих товарищей, — истребить!»

Не такая уж примитивная установка, если вдуматься…

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем

На мой взгляд, установка очень даже примитивная. Я придерживаюсь противоположной: Платон мне друг, но истина дороже. Точка.

Не стану цитировать или пересказывать ответные письма Юнны, в которых она защищает Соловьева и поругивает Кушнера, — эта книга не о ней, а о Довлатове. Вот что он пишет ей в ответ:

Юнна! Вы пишете: «Кушнер стал чемпионом по техническим причинам. Ленинградский матч не состоялся» и т. д. Вы имеете в виду Бродского? Я не понял.

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем

Зато приведу пару-тройку фраз из письма Юнны мне — про Сережу. Дико несправедливые, но заслуживают быть здесь

воспроизведенными для характеристики тогдашней литературной атмосферы и отношения к Довлатову — не одной только Юнны Мориц:

Он — человек отраженный, из-за этого комплексующий, страдающий и злобствующий. Держись его подальше — он тебя ненавидит за Сашу Кушнера. Он может только ненавидеть, я знаю таких людей, — Кушнера он тоже возненавидит неизбежно, впитав предварительно в себя исходящие от него, хоть и слабые, лучи.

Публикуется впервые

В Америке Сережа стал куда как более терпимым к чужим мнениям, чему свидетельство его защитная обо мне статья в «Новом американце». В конфликте Бродский — Кушнер он теперь искал имманентные причины, а не только личные, конъюнктурные или политические, о которых было повсеместно известно. Сошлюсь на его довольно тонкое наблюдение:

«Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, страхом и ужасом. Печаль и страх — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность. Печаль и страх обращены вниз. Тоска и ужас — к нему».

Вот именно: Разговор с Небожителем.

Довлатов рассказывал, как еще в Ленинграде они с Бродским приударили за одной девицей, но та в конце концов предпочла Бродского. Бродский дает противоположный исход этого любовного поединка: в его отсутствие девица выбрала Довлатова. Странно, правда? Кто из них опередил другого? В таких случаях ошибаются обычно в другую сторону. Кто-то из них запамятовал, но кто? Лучше уж искажение памятью, чем стертость забвением. А спросить теперь не у кого. Разве что у бывшей девицы, но женщины в таких случаях предпочитают фантазии, не отличая их от лжи.

Тем более — та.

В долгу как в шелку

Я видел — и помню — Довлатова разным. Далеко не всегда веселым. Иногда — мрачным, расстроенным. По разным поводам — семейным или денежным, точнее, безденежным — когда «Свобода» сократила ассигнования на нештатников, основной доход Довлатова. Тяжело переживал всю ту гнусь, которую на

него обрушил Ефимов. Был огорчен разрывом с Вайлем — Генисом, которые, со слов Аси Пекуровской, составляли его свиту, а оказались — по словам Сережи — «предателями»: не мне судить, да и не больно интересно. Так же как из-за чего эти литературные сиамские близнецы вдруг оторвались друг от друга и даже прекратили общаться. Речь сейчас о Сереже, который многое принимал слишком близко к сердцу. Но никогда не видел Сережу в таком отчаянии, страхе и панике, как в тот день, когда он узнал о публикации своих писем в питерском журнале «Нева». Эти письма с ламентациями и сетованиями по поводу эмиграции и здешней нашей жизни не просто компрометировали Довлатова в России, но и могли принести ему вред в Америке. На мой запрос Лена Довлатова прислала мне разъяснительное письмо, которое я здесь воспроизвожу с ее разрешения:

«Вольдемар, по поводу публикации писем и неприятностей.

Это были письма к Валерию Грубину, другу Сережи. У того оказался в родственниках, кажется отдаленных, некто Геннадий Трифонов. Мелкий окололитературный человечек, крошечного роста, невзрачный гомик. Его, кажется, взял на какую-то мелкую работу Дар — для обслуживания разнообразных нужд своей парализованной жены (Веры Пановой).

Когда мы уже были в Америке, годы я не помню, примерно лет уже пять, этого Трифонова посадили именно за гомосексуализм. Сережа, узнав об этом, активно принялся за его освобождение. Не буду здесь писать, куда и кому писал, с кем по этому поводу общался. Но какой-то шум поднял. Когда Г. освободили, ему нужно было как-то все-таки жить. А жить становилось все труднее. Я не знаю, на что он претендовал.

Однажды он оказался у своего родственника, друга Сережи, Валерия Грубина. Под водку и необильную закуску были вынуты письма из Америки от Сережи Довлатова. В которых он, иногда поддавшись настроению, писал грустные вещи о себе. И у Геннадия Трифонова возникла замечательная идея поправить свои дела и жизнь. Он выкрал письма у Грубина, состряпал гнусь в духе советских агиток о том, как эмигранту Довлатову плохо. Надрал цитат из писем и отнес в „Неву“. Все это напечатали там. Сережа ничего не знал. Пока это не дошло до „Либерти“, где он зарабатывал немного на жизнь. Что-то он писал по этому поводу в объяснение.

В общем, Трифонов вместо благодарности человеку, который за его ничтожную жизнь (сами знаете, как приходилось в советской тюрьме гомосексуалистам) хлопотал, отплатил сполна гнусной своей статейкой. Абсолютно в советском духе».

Довлатов был журналистом поневоле — главной страстью оставалась литература, на ниве которой он был не просто трудоголик. Как сказал Виктор Соснора, «на каторге словес тихий каторжанин». Довлатов был тонкий стилист, его проза прозрачна, иронична, жалостлива — я бы назвал ее сентиментальной, отбросив приставшее к этому слову негативное значение. Сережа любил разных писателей — Хемингуэя, Фолкнера, Зощенко, Чехова, Куприна, но примером для себя полагал прозу Пушкина и, может быть, единственный из современных русских прозаиков слегка приблизился к этому высокому образцу. Вот почему пущенное в оборот акмеистами слово «кларизм» казалось мне как нельзя более подходящим к его штучной, ручной прозе. Я ему сказал об этом, слово ему понравилось, хоть мне и пришлось объяснить его происхождение от латинского *clarus* — ясный.

Иногда, правда, его стилевой пуризм переходил в пуританство, корректор брал верх над стилистом, но проявлялось это скорее в критике других, чем в собственной прозе, которой стилевая аскеза была к лицу. Он ополчался на разговорные «пару дней» или «полвторого», а я ему искренне сочувствовал, когда он произносил полностью «половина второго»:

— И не лень вам?

Звонил по ночам, обнаружив в моей или общего знакомого публикации ошибку. Или то, что считал ошибкой, потому что случалось, естественно, и ему ошибаться. Сделал мне втык, что я употребляю слово «менструация» в единственном числе, а можно только во множественном. Я опешил. Минут через пятнадцать он перезвонил и извинился: спутал «менструацию» с «месячными». Помню нелепый спор по поводу «диатрибы» — я употребил в общепринятом смысле, как пример злоречия, а он настаивал на изначальном: созданный киниками литературный жанр небольшой проповеди. Либо о том, где делать ударение в американских названиях: я говорил «Вашингтон» или «Бостон» с ударением на первом слоге, а на радио придерживались словарно-совкового произношения с ударением на последнем, и Сережа сотоварищи обвиняли меня в американизации русской речи. А то и вовсе нелепица, зашкаливающая в абсурд: я цитирую в своей передаче ирландского поэта Йейтса, а тут вдруг останавливают запись и меня поправляют, кто на Йитса, кто на Йетса, а кто и на Ейтса. Не помню, какого мнения придерживался Довлатов. Чуть не опоздали с выходом в эфир. Еще помню, как жалился мне Миша Швыдкой, будущий министр культуры, что его интервью все время прерывают и просят изменить ударение в том или другом слове: «В конце концов, кому лучше знать: мне,

живущему в Москве, или им, живущим в Нью-Йорке?» А Сережа, помню, поймал меня на прямой ошибке: вместо «халифа на час», я сказал в микрофон, а потом повторил печатно в статье «факир на час». Но и я «отомстил» ему, заметив патетическое восклицание в конце его статьи о выборах нью-йоркского мэра: что-то вроде «доживу ли я до того времени, когда мэром Ленинграда будет еврей, итальянец или негр». Ну, еврей — куда ни шло, но откуда взяться в Питере итальянцу, а тем более негру!

Из-за ранней смерти, однако, его педантизм не успел превратиться в дотошность. Отчасти, наверное, его языковой пуризм был связан с работой на радио «Свобода» и с семейным окружением: Лена Довлатова, Нора Сергеевна и даже его тетка — все были профессиональными корректорами. Однако главная причина крылась в Сережиной подкорке: как и многие алкаши-хроники, он боялся хаоса в самом себе, противопоставляя ему самодисциплину и системность. Я видел его в запое — когда спозаранок притаранил ему для опохмелки початую бутыль водяры. Я уже пытался описать, каков он был в то утро.

Как-то Сережа целый день непрерывно названивал мне от Али Добрыш, шикарной такой блондинки в теле. Блондинки, но в хорошем смысле, кое-кто сравнивал ее с Настасьей Филипповной; Сережа уползал к ней, как зверь-подранок в нору. «Только русская женщина способна на такое… добрая, ласковая, своя в доску!» — расхваливал он на все лады свою брайтонскую всепрощающую и принимающую его, каков есть, полюбовницу на черный день. Я не выдержал и в ответ на дифирамбы русской женщине сказал банальность: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — и прикусил язык. Но на другом конце провода раздалось хихиканье, и Сережа, сбавив на тон пафос, откликнулся анекдотом на некрасовскую метафору. Каким — не помню, а врать не хочу: столько анекдотов про эту троицу — конь на скаку, горящая изба и русская женщина.

А Нора Сергеевна, его мать-армянка родом из Тбилиси, даже за день до его смерти предупреждала по телефону: «Не смей появляться перед Леной в таком виде». Зато перед Алей — можно в любом. Помню, пересказывая мне мучившие его галлюцинации, Сережа внес тогда нечто новое в искусствознание, сказав, что Босх со своими апокалиптическими видениями, скорее всего, тоже был алкаш.

Что говорить, Сережа сам был не подарок, но дома его держали в черном теле, а он взбрыкивал, бунтовал, скандалил. Верховодила в доме Нора Сергеевна, женщина умная, острая на язык, капризная и властная. И одновременно — глубоко несчастная, бедная, почти нищенка, одно платье на все случаи

жизни; жаловалась — ни кола ни двора, голову негде прислонить, тесно, как в коммуналке; и так убого жили все время, бедствовали, едва перебивались, в доме шаром покати. Помню, Юнна Мориц, которую Сережа приютил у себя, пока его родные были на даче, жаловалась мне, что у него в холодильнике пусто, какие-то залежалые котлеты, — было это за месяц-полтора до его смерти. Спасало ли острословие Норы Сергеевны? По крайней мере, скрашивало существование. «Скажите спасибо, что говно не мажу по стенам», — говорила старуха в ответ на какое-то бытовое замечание. Была она не только колкой и едкой, но и ревнивой матерью — единственный сын как-никак! — и не упускала пройтись по поводу Сережиных пассий. Проснувшись рано утром, она подходила к двери спальни, где Сергей спал с очередной барышней, стучала в дверь и спрашивала:

— Сереженька, вы с б**дем будете чай или кофе?

Это с его собственных слов.

Сереже вовсе не был чужд садомазохистский комплекс, коли он с удовольствием, смакуя, пересказывал, как она его крыла во время семейного скандала:

— Хоть бы ты сдох! Чтоб твой сизый х** отсох и сгнил!

— Одно противоречит другому! — смеялся я.

— Ну и что? Зато звучит как проклятие.

Или это он смеха ради? Опять-таки, ради красного словца…

В том числе в буквальном смысле этой поговорки: «Ради красного словца не пожалеет и отца». Чего только Сережа не говорил про своего родителя! Что за версту его не переносит, а общаться приходится тесно, еле сдерживается, чтобы не обхамить, и что вся дурновкусица в нем самом и в его прозе досталась ему в наследство от папаши, который тоже подвизался на литературном поприще с несмешными репризами: Сережа стыдился публикаций Доната Мечика. Зато мать держал высоко на пьедестале, постоянно на нее ссылался и цитировал. Было что! В том числе ее негативные отзывы о своем сыне.

Будучи ироником по своей природе, Сережа включал в свою ироническую орбиту и самого себя, а как же иначе? «Он у тебя даже не лежит — он у тебя валяется», — пересказывал он жалобу одной из своих пассий по поводу того самого, которому Нора Сергеевна пожелала отсохнуть и сгнить одновременно.

Сережины сексуальные потенции широко обсуждались в редакции «Свободы». Его низко— и среднерослые коллеги на радио комплексовали, а потому злословили за спиной Сережи. Это Петя Вайль, карьерный интриган (в отличие от интригана-альтруиста Довлатова), сказал мне, что женщины, у которых с Сережей был интим, отзываются прохладно: «Ничего особенного».

Мне было неловко слушать, и я быстро свернул разговор, а здесь привожу (как и другие сомнительные во вкусовом отношении подробности) по принципу Светония, автора «Двенадцати цезарей»: «Лишь затем, чтобы ничего не пропустить, а не от того, что считаю их истинными или правдоподобными». Тем более, редакция «Свободы» была тем еще гадюшником, и не только из-за свального греха, то бишь перекрестного секса, в котором Сережа по мере сил участвовал. «Я спал с обеими его женами», — шепнул он мне однажды, кивая на своего радиоколлегу.

Ввиду его габаритов от него ждали подвигов на ложе любви. *«Fuck me hard!»* — гордо пересказывал он мне просьбу своей случайной одноразовой американской партнерши с нимфоманским уклоном, и Сережа старался изо всех сил, чтобы оправдать возложенные на него женские надежды. А вот как Изя Шапиро, наш общий с Сережей приятель, пересказывает эту историю — куда лучше меня.

Понятно, роман с экзоткой-американкой в нашем герметически замкнутом и самодостаточном эмигрантском коммюнити был чем-то из ряда вон выходящим, и Сережа излагал эту свою любовную историю *urbi et orbi,* всем и каждому, хвастаясь ею и одновременно жалуясь. Что приходится теперь на экзотку тратиться и водить в рестораны, где чашечка кофе стоит 10 долларов.

— Зато подучишь английский, — пытался утешить его Изя.

— Какой там английский! Единственная фраза, которую я от нее слышу и выучил уже наизусть: *«Fuck me hard!»*

Однако возвращаюсь к «Свободе». Помимо и вдобавок к перекрестному сексу, там шла аховая борьба за место под солнцем среди фрилансеров-нештатников, а потому я отчасти был рад, когда мои культурологические скрипты для «Поверх барьеров» поручили читать Рае Вайль, бывшей Петиной жене, и я стал бывать на радио реже, от греха подальше, тем более перекрестного! Еще раз хочу отдать должное Сережиному альтруизму: именно он свел меня и Лену Клепикову с шефом русской службы, и мы стали делать радиопередачи на регулярной основе. Хороший и легкий заработок: 140 долларов за скрипт плюс еще 100 долларов за публикацию в виде газетной статьи. Спасибо, Сережа!

Еще немного о семейной жизни Довлатовых. Что говорить, дома у них, конечно, был напряг, но какая семейная жизнь без скандалов? Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? Не знаю, не уверен — не факт. Как была счастлива-несчастлива семья Довлатовых, не мне судить. Помню, после очередного семейного скандала Лена с

маленьким Колей сбежала к их семейному другу, только что не чичисбею, Грише Поляку. Сережа расстроился, испугался, являлся к Лене с букетами цветов и в конце концов выцыганил, вымолил у нее прощение и сманил обратно домой.

А однажды, после очередной размолвки, Лена Довлатова позвонила мне втайне от Сережи и попросила свезти ее на распродажу подержанных авто, чтобы хотя бы в этом приобрести независимость от мужа. Я колебался, но в конце концов не мог ей отказать, ведь с ней мы тоже друзья, и мы уговорились на следующее утро, когда Сережа отбудет на радио, поехать на моей «тойоте камри» в Нью-Джерси. Нашим секретным планам не суждено было осуществиться. Вечером позвонил Сережа, который каким-то образом выведал у Лены о нашем коварном замысле, и устроил мне головомойку с элементами ревности, но главным образом из-за нежелания допустить такую степень супружеской эмансипации: предпочитал иметь жену безлошадной и зависимой от него в смысле шоферских услуг. Всяко было. Вот ведь даже дочь Катя месяцами с ним не разговаривала, а Сережа говорил мне, что целый год: причин не касаюсь, не мое дело.

— Хоть бы поздоровалась, — ворчал Сережа по утрам.

— Что это изменит? — отвечала Катя.

Сережа, однако, не сдавался и продолжал прессовать свою дочь-тинейджерку:

— Ну, почему, почему ты не хочешь со мной разговаривать? Поделиться чем-нибудь, обсудить…

— О чем с тобой говорить? Мне с тобой неинтересно!

— Катя, побойся бога! Люди платят деньги, чтобы пойти на мое выступление, послушать, о чем я говорю, задают вопросы. Им же интересно!

— Идиоты, — ответила Катя.

Так рассказывал Сережа, обнаруживая ироническую изнанку в любой драматической и даже трагической ситуации.

К сожалению, ничем пособить я ему не мог. Однажды, правда, мы с ним чуть не махнулись квартирами. У нас была большая, четырехкомнатная, но когда моя мама отделилась от нас, а Жека, наше единственное чадо, уехал учиться в Вашингтон, в Джорджтаунский университет, наши хоромы стали нам велики, да и хотелось чего-нибудь подешевле. А у Довлатовых теснота, как в коммуналке. Я сообщил о наших планах Сереже — он пришел осматривать квартиру с точки зрения переселения в нее. Планам этим, однако, не суждено было осуществиться. Мы получили большой аванс на политоложную книгу от американского издательства и решили не дергаться.

За несколько месяцев до его смерти мы вели с ним общими

усилиями вечер приехавшего из Москвы американиста Коли Анастасьева. Честно, было скучновато. Единственным развлечением оказалась фотосессия, где нас — большого и малого — щелкал фотограф Боря Ветров. Сережа предложил взять меня на руки для пущего контраста. «Мадонна с младенцем», — пошутил он. Я воспротивился — вид у него был неважнецкий после очередного запоя, из которого он с трудом выкарабкался. На снимках это видно. После вечера мы отправились в ближайшую тошниловку: Коля взял водку, а я джин — с тоником. Сережа пил молоко — как всегда, когда отходил после запоя. Он как-то странно глянул на меня и сказал, что еще один такой запой ему не выдержать. Но я так привык к его запоям, что значения этим словам не придал. Грешен. Хотя я ничем ему помочь не мог, но на «совести усталой» какой-то осадок. До сих пор гложет.

И не только это.

Давным-давно, в конце 1967 года, я делал вступительное слово на его единственном в России вечере — в ленинградском Доме писателей им. Маяковского (см. снимки). Но при его жизни так ни разу о нем не написал, хотя одна из моих литературных профессий — критика. Хотя повод был. Мне позвонили с радио «Свобода», с которым я сотрудничал на регулярной основе, и предложили отрецензировать американскую книжку русской прозы, где из живых был представлен один только Довлатов. Почему я отказался? А потом выяснилось, что Сережа сам притаранил эту книжку в редакцию и попросил связаться со мной на предмет рецензии. До сих пор стыдно перед покойником.

Сам-то он обо мне написал: когда на нас с Леной Клепиковой со всех сторон набросились за опубликованную в «Нью-Йорк таймс» резонансную статью об академике Сахарове, полководце без войска, и не опубликованных тогда еще «Трех евреев». Скандал уже набирал силу, и Сережа напечатал в редактируемом им «Новом американце» остроумную статью в мою (и Лены Клепиковой) защиту под названием «Вор, судья, палач». Лучшая у него публицистика. Это не просто статья, но еще и поступок, который требовал личного мужества. Тем более мы тогда были с ним в добрососедских, но еще не в дружеских отношениях. Перечитав эту статью, я понял, почему ему так не терпелось получить экземпляр «Трех евреев», когда книга наконец была издана в Нью-Йорке под изначальным названием «Роман с эпиграфами», — у него была на то личная причина. В той давней статье Довлатов приводит слова воображаемого оппонента:

«А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей?! Есть у него такой „Роман с эпиграфами“. Там, между прочим, и

вы упомянуты. И в довольно гнусном свете… Как вам это нравится?»

«По-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман еще не опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим».

«Вы считаете, его нужно печатать?»

«Безусловно. Если роман талантливо написан. А если бездарно — ни в коем случае. Даже если он меня там ставит выше Шекспира…»

К слову, в «Трех евреях» Довлатов помянут бегло и нейтрально: когда разворачивается основной сюжет романа, в Питере его не было — Сережа временно мигрировал в Таллин. Еще одна собака, зря на меня навешанная.

А в той своей «защитной» статье Довлатов к бочке меда добавил ложку дегтя.

«Согласен, — отвечал он имяреку. — В нем есть очень неприятные черты. Он самоуверенный, дерзкий и тщеславный. Честно говоря, я не дружу с ним. Да и Соловьев ко мне абсолютно равнодушен. Мы почти не видимся, хоть и рядом живем. Но это — частная сфера. К литературе отношения не имеет».

Статья Довлатова обо мне опубликована летом 1980 года — через какое-то время после нее мы и подружились. Сошлись тесно — дальше некуда. Он печатал нас с Леной в «Новом американце» и сам аккуратно заносил нам домой чеки с небольшими гонорарами — еще один повод, чтобы покалякать. Первым из нас двоих преодолев остракизм «Нового русского слова», он бескорыстно содействовал восстановлению моих контактов с этим главным тогда печатным органом русской диаспоры в Америке. Он же связал нас с радио «Свобода», где Лена Клепикова и я стали выступать с регулярными культурными комментариями. Мое литературное содействие ему скромнее: свел его с Колей Анастасьевым из «Иностранной литературы» и дал несколько советов, прочтя рукопись эссе «Переводные картинки», которое Сережа сочинил для этого журнала, а спустя полгода получил в Москве Сережин гонорар и передал его в Нью-Йорке Лене.

На промежуток с начала 80-х до самой его смерти и пришлась наша с ним дружба. На подаренной нам книге он написал:

«Соловьеву и Клепиковой, которые являются полной противоположностью всему тому, что о них говорит, пишет и думает эмигрантская общественность. С. Довлатов».

Почему же я отмолчался о нем при жизни как литературный критик, о чем теперь жалею? В наших отношениях были

перепады, и мне не хотелось вносить в них ни меркантильный, ни потенциально конфликтный элемент. Довлатов вроде бы со мной соглашался:

— Что обо мне писать? Еще поссоримся ненароком… Да я и сам о себе все знаю.

Хотя на самом деле тосковал по серьезной критике, не будучи ею избалован: «Я не интересуюсь тем, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут» — еще одна цитата из «Записных книжек».

Как-то он попросил двух своих коллег по «Свободе» написать предисловие к его сборнику. Они писали тогда на пару, Сережа называл их Бобчинский и Добчинский либо Хайль и Пенис (Вайль & Генис). В предисловии было несколько замечаний, Сережа обиделся, Бобчинский-Добчинский сослались на свободу слова в Америке, Довлатов возразил:

— Но не в моей книге!

Уж коли зашла речь о «Свободе», помню, как он возбудился, когда меня путем мелких интриг лишили там голоса под предлогом недостаточной его выразительности и поручили читать мои тексты дикторше. Чего Сережа не одобрил:

— Вы, конечно, не Паваротти, но…

У него самого был бархатный, обволакивающий, харизматический голос, и действовал он на слушателей гипнотически. Кто-то иронически назвал Сережин голос сиреной — нет, не сигнальный гудок с тревожным воющим звуком, а полуженщина-полуптица, которая завлекала моряков на гибель.

Во всех отношениях я остался у Сережи в долгу — в долгу как в шелку! Он публиковал меня в «Новом американце», свел со «Свободой» и «Новым русским словом» (моему возвращению в эти русские пенаты я обязан ему), помог освоить шоферское мастерство, написал обо мне защитную статью, принимал у себя и угощал чаще, чем я его, дарил мне разные мелочи, оказывал тьму милых услуг и даже предлагал зашнуровать мне ботинок и мигом вылечить от триппера, которого у меня не было, чему Сережа крайне удивился:

— Какой-то вы стерильный, Володя…

Мы откровенно высказывались о сочинениях друг друга, даже когда они нам не нравились, как, к примеру, в случае с его «Иностранкой» и моей «Операцией „Мавзолей“», в которой я отдал спивающемуся герою босховские видения Сережи. Зато мне, единственному из его нью-йоркской братии, понравился «Филиал», который он по-быстрому сварганил из своего неопубликованного питерского любовного романа «Пять углов» и журналистских замет о поездке в Лос-Анджелес на общеславянскую конференцию. Теперь я понимаю причину такого читательского разночтения: у меня был испепеляющий любовный опыт, схожий с описанным в «Филиале», а у других его читателей из общих знакомых не было. Им не с чем было сравнивать. В самом деле, как понять читателю без амока, без любовного наваждения «Я вздрагивал. Я загорался и гас…», а я знал «Марбург» наизусть с седьмого класса, когда встретил свою первую (и единственную) любовь.

Я бы определил жанр «Филиала» как роман. Несмотря на скромный объем. Какое это имеет значение? Любовный роман высокой пробы и личного накала. Пусть художку и нельзя рассматривать как документ, тем более псевдодокументальную прозу Довлатова, но и то сказать, что он не был горазд на выдумки, а скорее дополнял, искажал, преображал реальность как художник, балансируя между поэзией и правдой, а если откорректировать Гёте — между правдой и вымыслом, так-то будет точнее, Иоганн Вольфганг! Наш поэт был ближе к истине, чем немчура: «Над вымыслом слезами обольюсь».

Тем не менее нашлись люди, которые узнали в героях этой повести-романа самих себя и не возрадовались — наоборот. Включая главную героиню, которая восприняла роман буквально и написала опровержение размером в 400 страниц, ловя покойного автора на подтасовке фактов. Что, по меньшей мере, странно по отношению к художественной прозе.

Ладно, будем рассматривать эту реваншистскую книгу первой жены Довлатова — Аси Пекуровской, с «раскрытием псевдонимов» (в романе-повести она Тася — эффект отчуждения), — как показание другой стороны описанного в «Филиале» любовного конфликта. В конце концов, Довлатов тоже брал реванш своим «Филиалом» за ту боль, которую причинило ему равнодушие любимой женщины. К каждой главе своей, безусловно, незаурядной книги Ася-Тася Пекуровская берет эпиграфом слова Бориса Поплавского про Аполлона Безобразова.

С помощью этого оксюморонного имени характеризуя своего бывшего мужа, с которым продолжает, уже *post mortem,* любовную тяжбу. Какой, однако, контраст: страстного, исступленного, безумствующего, травмированного любовью на всю жизнь героя — и безлюбой самоупоенной фригидки с ее вспыхнувшей к Довлатову, после его смерти, страстью, пусть и со знаком минус, но выраженной талантливо. Видит бог, ассоциативным воображением, аналитическим — скорее психоаналитическим — умом и литературным даром Ася Пекуровская не обделена, несмотря на густоту ее прозы, сквозь которую продираешься, как сквозь колючий кустарник, но того стоит — сужу не только по этой ее книге.

Что же касается ее фригидного равнодушия к Сереже, то есть и другие свидетельства, в том числе ее страстного поклонника в юности и горячего защитника в старости Валеры Попова, который называет Асю «прекрасной куклой»: «Она была необычайно остроумна, толкова, общительна и холодна… Я с ней гулял, появлялся в людных местах, был ее фаворитом — это было необходимо для престижа. А потом, ночью, я бежал к одной знакомой портнихе, потому что в этом смысле Ася совершенно не годилась». Другой вопрос — годился ли Валера Асе?

Слава Довлатова такова, что после его смерти — прямо-таки половодье воспоминаний его знакомцев, прототипов его псевдодокументальной прозы, реальных и мнимых. Он мифологизировал их, как бабелевский богомаз пан Аполек — приятелей, коллег, друзей, врагов, врагинь, жен и любовниц. А теперь слово за ними, вакханалия какая-то. Демифологизируясь, освобождаясь от литературных пут, они пользуются славой Довлатова, чтобы взять у него посмертный реванш и самоутвердиться.

Восстание литературных персонажей против мертвого автора.

Мыши кота на погост волокут.

А самые близкие, к сожалению, помалкивают. Лена Довлатова, например.

Наш общий приятель по Ленинграду и Нью-Йорку художник Миша Беломлинский нарисовал замечательный шарж по типу манхэттенских Мэйсис-парадов с огромными надувными фигурами в День благодарения. Фигурина на рисунке — громадный Довлатов, а несут его легко узнаваемые вспоминальщики с плакатами: на каждом изображен Сережа, а слоганы — обыгранные названия их книг и статей. «Довлатов на свободе», но свобода — не радио «Свобода», а настоящая — Сережа раздвигает прутья решетки. «Мне скучно без Довлатова» — название книжки Жени Рейна. «Ножик Довлатова» — название

книги Михаила Веллера, который пошел по пути Сережи, эмигрировав в Таллин. «Почтовый роман» — помянутый недобрым словом Ефимов, хотя скорее это был антироман: взаимный. «Мы пели с ним» — пародия на название книжки первой Сережиной жены, Аси Пекуровской «Когда случилось петь СД и мне». А дальше художника и вовсе понесло: «Иудей Довлатов», «Мы пили с ним», «Запои Довлатова», «Эрогенная зона Довлатова», «Я жила с ним», «Я спала с ним», «Я дала ему» и далее в том же духе — намек на воспоминания Сережиных случайных, часто одноразовых партнерш, то есть тех, у кого были с Довлатовым «нетривиальные отношения», по деликатному выражению Людмилы Штерн, которая, не состоявшись как прозаик, пытается вломиться в литературу с черного хода — за счет знаменитых покойников: Бродского и Довлатова.

Сам Довлатов не придавал большого значения постельным отношениям «без божества, без вдохновенья», а только в угоду дамам, будучи скорее дамским угодником, чем женолюбом, либо для самоутверждения, а то и просто по физиологической нужде, чтобы сбросить семя — по-гречески — все равно в какой сосуд. Семя и семья — две большие для него разницы. Хотя недавно в одной русской газете я прочел заголовок «Семя Барака Обамы» — беззлобная опечатка, если не подключить сюда учение Фрейда об оговорках, опечатках и прочих явлениях парапраксии, — боюсь, это увело бы меня в сторону от сюжетного драйва нашей книги, а мой соавтор всяко осудит меня, ибо считает венского доктора пусть не шарлатаном, но симплификатором.

Что говорить, любовь не передается половым путем. Дети лейтенанта Шмидта — другой вопрос. В связи с запоздалыми, после смерти Сережи, претензиями одной дамы мне легче поверить, что у нее дочь от непорочного зачатия, чем от Довлатова. Хотя ее помыслы если не совсем чисты, то и не вовсе эгоистичны. Скорее альтруистичны — ради дочери: не просто чтобы она заимела отца *post mortem,* но отца знаменитого, за которого ей не пришлось бы краснеть и стыдиться. Не какого-нибудь там заезжего молодца!

Чтобы Сережа не знал об этих ее поползновениях? Знал. Как-то он мне рассказал ленинградскую историю про женщину, которая мельком сказала ему, что он имеет некоторое отношение к ее ребенку, что его сильно удивило:

— Погоди, погоди, но для этого, как минимум, нужно… а мы с тобой бог весть сколько этим не занимались.

История такая прикольная, что я решил, Сережа ее присочинил и теперь меня мистифицировал. За ним это водилось. Тему закрыли, да у нас с ним было достаточно других, более

волнующих сюжетов для разговоров.

По-любому, трудно поверить в упорное, упрямое многолетнее и неправдоподобное молчание означенной дамы по поводу отцовства своей дочери — вплоть до самой смерти Довлатова. Тем более это ее немотство прямо противоречит уверенным, задним числом, заявлениям о довлатовском отцовстве некоторых напрямую связанных с этой заявительницей завидущих, типа Ефимова или Штерн или Беломлинской (у той уж совсем дикая ложь), мемуаристов. А уж беспамятный выдумщик Валера Попов тот и вовсе на ходу меняет версии, как стоптанные башмаки, злоупотребляя правом рассказчика, которому покойник не может возразить. Сначала, в предисловии к мемуарному антироману этой матери-одиночки, вскользь помянута маленькая дочь, которую Довлатов, оказывается, не очень-то и признает, уверяя, что к моменту ее как бы зачатия уже не обладал необходимым «самым минимальным энтузиазмом» (это уже из письма самого Довлатова матери этой дочери), а спустя десятилетие в вымышленной биографии Довлатова говорит о Сережином отцовстве более определенно, а потому попрекает его, что не встретил мать с новорожденной из роддома.

Не только не встретил родительницу с цветами, но и не пришел на проводы (она эмигрировала значительно раньше Довлатова) и за двадцать лет — с 5 ноября 1970 года, когда эта девочка родилась, до 24 августа 1990 года, когда Довлатов умер, — так ни разу с этой девочкой — девушкой, женщиной — не встретился. Ни разу! Об этом пишет сам Довлатов в письме матери этой девочки, матери, которая сама признает этот факт невстречи, что противоречит лжесвидетельствам Валеры Попова о совместных с ним визитах к роженице и новорожденной, — перестарался. А согласился бы он повторить это под присягой?

Впрочем, даже он ни словом не обмолвился о физическом или хотя бы визуальном контакте Довлатова со своей гипотетической дочерью.

Зная Сережу довольно близко, никак не могу предположить в нем такого жестокосердия. Тем более такой ненасытной жажды мести любимой женщине через ее дочь — жажды, которая не утихала целых два десятилетия, до самой смерти, и Довлатов «вершил возмездие за жалость, которая была проявлена к нему в молодости и за которой Сережа тогда же разглядел скрытое равнодушие». Оставим в стороне чисто физиологический вопрос, кого пожалела эта жалостливая женщина, отдаваясь ночью в Павловском парке Довлатову, — его или себя, тем более ее «жалость» не ограничилась ночной случкой, но завершилась женитьбой и длилась (я все еще про «жалость») несколько лет

кряду. Куда любопытнее другой оксюморон: через десять лет после первого соития из жалости и спустя годы после разрыва отношений и рождения у Сережи и Лены Довлатовой дочери Кати эта жалость, выходит, вспыхнула вновь, в результате чего — опять-таки выходит — родилась еще одна дщерь (не последняя), что дало моему соавтору Елене Клепиковой основания для стилистически изящного, но семантически неопределенного заключения о «двух или трех разноматочных дочерях» Довлатова. Здесь, однако, уже даже психоанализ не в помощь, которым мать своей дочери владеет в совершенстве, паче портрет его родоначальника висит в ее доме, а потому она оперирует такими понятиями, как, к примеру, «двадцать лет фиксации на одной идее мести сами собой переросли в документ сродни истории болезни».

Это она так про любовный роман «Филиал».

Но даже она вынуждена привести ответное, на просьбу повидаться или хотя бы написать ее дочери, письмо Довлатова, в подлинности которого у меня нет причин сомневаться.

«…Я не в силах написать ей ничего такого, что не казалось бы мне заведомо фальшивым, глупым или даже пошлым. Кроме того, не желая обижать тебя, я все-таки скажу, что как-то органически не верю в свое отцовство — уж слишком плохо ты ко мне относилась. Что-то во мне бессознательно твердит, что для рождения ребенка необходим хоть какой-то, самый минимальный энтузиазм…»

Письмо помечено 22 сентября 1988 года, меньше чем за два года до смерти Довлатова. Именно в это время, словно предчувствуя, что жить ему осталось недолго, Сережа наводил порядок в своих отношениях с людьми и писал покаянные письма тем, кто был на него обижен, — без разницы, был он виноват или нет. На всякий случай.

«Кающийся грешник хотя бы на словах разделяет добро и зло. Кто страдает, тот не грешит».

Чтобы этот кающийся, страдающий, исстрадавшийся грешник не признал своей дочери? Никогда не поверю!

Если мать своей дочери искусно плетет словеса, то Валера Попов на исходе своего литературного таланта блуждает даже не в трех, а в двух соснах, и потому в упор не видит очевидного противоречия: зачем Довлатову идти в роддом за чужой дочкой, пусть и от любимой женщины и первой жены? Тем более у него

уже есть дочка Катя от жены Лены, родившаяся четырьмя годами раньше, которую он не просто любил, но плотно занимался ею с младенчества — об этом свидетельствуют все вспоминальщики. За исключением разве что матери своей дочери, но она свидетель никакой, потому что не была вхожа в дом Лены и Сережи Довлатовых в Ленинграде. Именно про таких отцов Юз Алешковский говорил, что у них отрастает женская грудь. Дело не только в том, что к Довлатову можно относиться как угодно, но благородства у него не отнимешь. Ведь не отрекся же он от дочери своей таллинской сожительницы. А тем более если бы дочь ему родила страстно, до умопомрачения любимая женщина. Да на руках носил бы обеих! Если бы, правда, родительница позволила. Это, однако, уже из гипотетической области. Как и опубликованная фотка этой повзрослевшей дочери на фоне портретов ее родаков, один из которых — Довлатов: прикол, но не доказательство.

Невероятность самой этой ситуации отмечает один из упомянутых мемуаристов: «Только Довлатов мог устроить такое». В том-то и дело, что даже Довлатов не мог устроить такое и уже потому хотя бы не устраивал.

Прошу понять меня верно. Пишу это не из мужской солидарности, а уж мизогинизма и вовсе ни в одном глазу — я-то как раз женолюб, да еще какой! Токмо истины ради. Взял слишком высокую ноту? Переведем тогда в личный регистр. Ненавижу вранье больше всего на свете — даже ложь во спасение! — полагая, вослед Монтеню, самым страшным пороком.

Пусть вопрос остается открытым. Его легко было бы закрыть, потому что обозначенная пунктиром проблема отцовства — или псевдоотцовства, то есть самозванства, — в научный наш век легко решается с помощью ДНК. Без вариантов. Лично я знаком только с двумя детьми Сережи — Катей и Колей Довлатовыми. И знаю о признанной Довлатовым таллинской дщери. Точка.

Я тоже есть на той карикатуре — даже трижды. «Я кусал ему ногти» — перифраз названия моей повести «Призрак, кусающий себе локти» о человеке, похожем на Довлатова. «Вниз головой на автоответчике» пародирует сразу же два названия: «Довлатов на автоответчике», мое мемуарное эссе, которое я сейчас обогащаю, как Иран уран (прошу прощения за невольный каламбур), делаю больше и лучше, и «Довлатов вверх ногами» — наша с Леной Клепиковой первая о нем книжка.

В упомянутом фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» интервьюер (то есть я) довольно агрессивно набрасывается на Лену Довлатову:

— Почему вы, самый близкий ему человек, с которым он прожил столько лет — двое детей, семейный быт, теснота общежития, споры, ссоры, скандалы, выяснения отношений, — почему вы, которая знала его, как никто, ничего о нем не напишете? Как вам не стыдно, Лена!

И далее ей в укор привожу примеры двух других вдов — Бабеля и Мандельштама.

На что Лена резонно мне отвечает:

— Наверно, для одной семьи одного писателя достаточно.

Хотя в частных разговорах Лена рассказывает множество смешных и грустных историй: от повязанного ею к приходу гостей бантика на Сережином пенисе до прогулки втроем с Довлатовым и Бродским по белоночному Питеру, когда Ося прыгнул через разводящийся мост за упавшим с платья Лены ремешком, а потом — тем же манером — обратно. Рисковал.

Вполне в духе Бродского: где-то я уже упоминал или еще упомяну, как он оттолкнул других претендентов (включая мужа) и, взгромоздив на руки, задыхаясь, попер пьяненькую Лену Клепикову по крутой лестнице к нам на четвертый этаж, после того как мы ее приводили в чувство на февральском снегу. Было это в один из наших дней рождения, но, убей бог, не припомню, в каком году. В 70-м? В 71-м?

Но это к слову.

А еще я уговаривал сочинить мемуар о Довлатове ненадолго пережившего Сережу нашего общего соседа и Сережиного самого близкого друга Гришу Поляка, который был у него на посылках и выполнял все его поручения — от крупных до бытовых. А главное — он был единственный в мире человек, которого дико застенчивый Сережа не стеснялся. А ведь стеснялся даже своей жены. К примеру, никогда не носил шорты и ничего в обтяжку, стыдясь своей «тонконожести», как он сам говорил, зато любил просторные одежды — это при его длинных ногах и узких бедрах! К зеркалу было не подойти, вспоминает Лена Довлатова: мог часами вертеться перед ним, прежде чем выйти на улицу. Редкая в человеческом общежитии удача — Довлатову повезло на человека, которого не надо было стесняться. Это как в стихотворении Слуцкого: «Надо, чтоб было с кем не стесняться…» Кому как подфартит, Борис Абрамович! Сережа мог обзывать Гришу тюфяком, засранцем и поцем, как-то спьяну даже заехал ему в ухо и разбил очки, и, хотя сильно близорукий Гриша без очков — не человек, именно ослепший без очков Поляк привел Сережу той ночью домой. Он никак не отреагировал на удар, и на их дружбе этот эпизод не отразился.

Фактически Гриша был членом семьи Довлатовых и сохранил

ей верность после смерти Сережи. Вот я и думал, что такому человеку просто грех не поделиться воспоминаниями о самом популярном ныне в России прозаике. А он успел только дать этим воспоминаниям, которые уже никогда не напишет, название: «Заметки Фимы Друкера». Под этим именем Довлатов вывел его в повести «Иностранка». Образ иронический и доброжелательный. В жизни Сережа тоже подшучивал над ним, но беззлобно:

— Гриша книголюб, а не книгочей. Книг не читает, а только собирает и издает. Не верите, Володя? Спросите у него, чем кончается «Анна Каренина»?

Этот эпизод имел посмертное продолжение, я к нему еще вернусь на страницах этой книги.

Мой сосед Сережа Довлатов

Уходят те, кого ты знал и кто знал тебя, и уносят по частице тебя самого. И хоть ты пока еще жив, но ты как бы уменьшаешься в размере, улетучиваешься, испаряешься, пока не сойдешь на нет, даже если будешь все еще жив.

Как долго я живу, думаю я, провожая мертвецов. В нашем и без того немногочисленном военном поколении мало долгожителей. Опять-таки вспоминаю Слуцкого — его точный стих про нас: «Выходит на сцену последнее из поколений войны — зачатые второпях и доношенные в отчаяньи…»

А сейчас — сходит со сцены. Поколение на излете.

Я любил Сережины рассказы, но мне не всегда нравился сглаженный, умиленный автопортрет в них.

— Уж слишком вы к себе жалостливо относитесь, — попенял я ему однажды.

— А кто еще нас пожалеет, кроме нас самих? — парировал он. — Меня — никто.

— Хотите стать великим писателем? — наступал я. — Напишите, как Руссо, про себя — что говно.

— Еще чего! Вот вы написали в «Романе с эпиграфами», и что из этого вышло? — напомнил мне Сережа о бурной, чтобы не сказать «буйной» реакции на серийную публикацию моего покаянного романа в «Новом русском слове».

Обмен репликами получался у нас клевый. Помню, мы тогда говорили о женщинах. Я завел было разговор на волнующий меня сюжет дефлорации.

— Не пришлось, — оборвал меня Сережа.

— А?.. — удивился я.

— Это она меня скорее дефлорировала, — ответил Сережа и пожаловался, что в лучшем случае он у женщины второй.

— Это что! — сказал я. — Куда хуже, когда не знаешь, первый ли ты. Вот это незнание и шизит больше всего.

Чтобы уйти от излишнего серьеза — что-то и его мучило тоже, — он пересказал подслушанный им девичий разговор на переговорном пункте в Пушкинских Горах. Еще до того, как тиснул этот подслушанный, а может, и вымышленный — кто знает — разговор в свою книжку. Не думаю, впрочем, что мне одному пересказал: такая замечательная находка. Реал — полуфабрикат, сырец для художника, даже если Сережа что-то похожее слышал, то додумал, отточил до блеска — сначала в разговоре, а потом на бумаге.

— Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнувши!

Мне ужасно понравился этот эвфемизм, и я хотел быть на уровне:

— Не солоно е**вши, — сказал я ему в тон.

Сережа прыснул в кулак, но потом, продолжая смеяться, сказал:

— Грубо. — И тут же добавил: — Грубо, но точно.

Потом мы долго еще рассуждали о сексе, о ревности, о любви. И о том, как трудно женщину уестествить — не только физиологически.

— Не можешь удовлетворить, так хотя бы возбуди, — сказал Сережа.

— Не можешь удовлетворить, так хотя бы рассмеши, — сказал я.

— Это нам запросто! — обрадовался Сережа.

Как бывает абсолютный слух, у Довлатова было абсолютное чувство юмора. «Юмор — инверсия жизни, — говорил он. И тут же себя поправлял: — Юмор — инверсия разума». Представьте Кафку с чувством юмора, которого у него не было. Так вот, Довлатов — это Кафка с юмором. Находятся, правда, критики-мемуаристы, которые упрекают его, что он жил под лозунгом «Смешить всегда! Смешить везде!» Это был вовсе не лозунг, а настоящий, особый, редкий штучный талант. К тому же далеко не единственный у Довлатова-писателя.

В главе «Сплетни и метафизика» я привел одно из сообщений, которое заканчивалось: «*Надеюсь, что с котом все в порядке будет…*» Сережа на редкость чутко относился к моим кошачьим страстям, хотя сам был собачником (до Якова Моисеевича у него была весьма интеллигентная фокстерьерша Глаша; как он говорил, «личность»). Дело в том, что, помимо двух котов-домочадцев, Чарли и Князя Мышкина, у нас время от времени появлялись временные, пришлые, приблудные, подобранные на

улице, которым мы потом приискивали хозяина, обзванивая знакомых. Тогда как раз я нашел кошку редкой турецко-ангорской породы и развесил повсюду объявления, пытаясь разыскать ее хозяина. Сережа, естественно, был в курсе. Прихожу домой и слышу на ответчике его возбужденный голос: он списал объявление, где безутешный хозяин предлагал за свою пропавшую кошку пятьсот долларов. Я тут же позвонил, но увы: пропавшая кошка оказалась заурядной дворняжьей породы. Плакали наши пятьсот долларов, которые я решил поделить пополам с Сережей. Да и хозяина пропавшей кошки жаль.

Еще Сережа повадился дарить мне разные кошачьи сувениры, коих здесь, в Америке, тьма-тьмущая. То я получал от него коробку экслибрисов с котами, то кошачий календарь, то бронзовую статуэтку кота, то кошачью копилку, а какое-то приобретенное для меня изображение кота так и не успел вручить: за несколько недель до его смерти я укатил в Квебек, и Лена Довлатова Сережин подарок показала мне, но заначила.

Было время, он расширил сувенирную тематику и котов стал перемежать эротикой — копиями античных непристойностей. Звонил мне прямо с блошиного рынка дико возбужденный (само собой, не эротически): «Володище, я приобрел для вас такую статуэтку — закачаетесь!» Называл он меня Володище или Вольдемар — по контрасту с моими субтильными габаритами, а теперь меня зовет Вольдемаром его вдова.

В фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» я рассказал об этих Сережиных подарках и показал их, в том числе древнегреческую статуэтку похабного бога Приапа с огромным эрегированным фаллосом. После премьеры моего фильма в Манхэттене ко мне подошел возбужденный молодой человек и спросил меня о моей сексуальной ориентации. Я вынужден был его разочаровать — сказал, что традиционалист и пенис как таковой меня не волнует — только вагина! Особенно одна.

И тут я вспомнил, как мы с Довлатовым говорили о крутом националисте, подпольщике Жене Вагине, и Сережа вдруг прервал разговор вопросом:

— Знаете, как зовут его жену?

Вопросом на вопрос, или как здесь это называют *whataboutism:*

— Откуда мне знать? Какое это имеет значение?

— Еще какое! Жена В**а**гина — Ваг**и**на.

И первым же рассмеялся своей шутке.

Мне кажется, Сережа привирал, называя ничтожную сумму, которую тратил на кошачьи сувениры и античную похабель. Он был щедр и умел опутывать близких сетью мелких услуг и подарков. А вот я так и не отдарил ему ничего собачьего, хотя он

однажды и намекнул мне — у меня были печати с котами для писем, Сереже они приглянулись, и он спросил: а нет ли таких же собачьих? И вот незадача — печати с собаками мне попадались, но в основном с пуделями и немецкими овчарками, а с таксами или фокстерьерами — ни разу. Так что и в этом отношении я его должник.

Слушая его «мемо» на моем автоответчике, я не всегда могу вспомнить, о чем в них речь, — столько времени прошло, контекст утерян.

Вот, к примеру:

«Хозяин востребовал Горького, черт побери. Я, это самое, позвонил вот вам, а вас нет. Ну ладно, я вас буду искать. Вы, так сказать, не виноваты. Но в общем, имейте в виду, что… Надеюсь, что вы ненадолго уехали».

Понятно, речь идет о Максиме Горьком, но, убей меня бог, никак не припомню, чтобы брал у него Горького, которого не перечитывал со студенческих лет и не собираюсь. Или он говорит о статье Парамонова про Горького? А в другой раз интересовался: *«Как там Ахматова, за которой уже некоторый хвост выстроился?»* Сборников ее стихов и прозы у меня самого навалом — может, на этот раз речь шла о мемуарах Лидии Чуковской?

Вспомнил! Он дал мне прочесть рукопись книги Наймана об Ахматовой, которая удивила меня незначительностью наблюдений и плоским стилем. Вообще, если говорить честно, среди «ахматовских сирот» были два таланта (Бобышев, Рейн), один гений (Бродский) и один бездарь (Найман). А про его мемуар об Ахматовой я так и сказал Сереже: унылая книга. Он с удовольствием согласился, но добавил:

— Хорошо, что это вы говорите, а не я.

К слову, он и саму Ахматову не больно жаловал, считая, что ее стихи мало чем отличаются от песен Утесова.

В отличие от меня, Довлатов по нескольку раз в неделю бывал на радио «Свобода», откуда иногда приносил нужные мне для работы книги и регулярно — «мониторинги», дайджесты советской прессы. (После Сережиной смерти эти «курьерные» функции взял на себя Боря Парамонов — спасибо обоим.) В таких делах Довлатов был исключительно аккуратен и безотказен — для него было удовольствием выполнять чужие просьбы, даже если они были обременительны, и, выполнив их, он ворчал. А часто не дожидался просьб — сам предлагал свои услуги.

Он был перфекционистом и педантом не только в прозе, но и

в жизни — развязавшиеся шнурки, неточное слово, неверное ударение либо неблагодарность одинаково действовали ему на нервы, — с возрастом он становился раздражителен и придирчив. Зато как он был благодарен за любую мелочь! Накануне отъезда Юнны Мориц в Москву он пришел с ней и Гришей Поляком к нам в гости и проговорился: наслаждается, когда за ним ухаживают и ему подают, но это так редко выпадает! Со стыдом вспоминаю, что был у него в гостях намного чаще, чем приглашал сам, — хоть мы и пытались одно время соблюдать очередность, но из этого ничего не вышло.

Жаловался, что никто из друзей не помнит его дня рождения, и в день его смерти, не подозревая о ней, я послал ему из Мэна поздравительную открытку, которую получила уже его вдова, — он не дожил до 49-летия десяти дней. Переписка в оба конца — на тот свет и с того света: я поздравляю с днем рождения мертвеца, а он присылает мне посмертный отзыв о «Трех евреях»: «К сожалению, все правда». Почтальоном — вдова. Еще один макабр!

У меня есть два некрологических рассказа — «Умирающий голос моей мамы…» и «Призрак, кусающий себе локти». Моя мама и Сережа умерли с разницей в три месяца — оба раза я был в отъезде. Отсутствие как присутствие. Мгновение чужой смерти растянулось для меня в вечность. Единственное спасение — литература. Прозаиком я стал в 90-м году — результат этой сдвоенной потери. Некрофильский толчок. Страшно сказать: смерть — как вдохновение, потеря — как творческий импульс. «Три еврея», моя одинокая удача, возникли на таком скрещении обстоятельств, что следует счесть чудом — как превращение обезьяны в человека. Продолжения, увы, не последовало, пусть я и сочинил по инерции роман-эпизод «Не плачь обо мне…». Бродский, наверное, прав, признав «Трех евреев» и ругнув «Не плачь обо мне…», хоть мне было и обидно. А тут меня понесло: рассказы, романы, мемуары. За скобками — статьи, эссе, скрипты и наши с Клепиковой политологические триллеры. Смерть Бродского еще больше укрепила меня в моих намерениях: я обязан работать за мертвых. В меру отпущенных сил. Вот тайный двигатель, если его из подсознанки вывести наружу. Что-то подобное я писал в своем дневнике, а здесь шпарю по памяти, близко к тексту: «Ну, вот, я уезжаю, теперь вам держать форпост», — говорит Гэвин Стивенс у Фолкнера.

За «Призрак, кусающий себе локти» меня здорово тогда обложили — что под Сашей Баламутом Довлатова протащил. Даже Лена Клепикова отчасти согласилась с моими критиками, хотя и признавала, что кампания против меня оркестрована.

Признаю: тащу в прозу все как есть. Сырьем. В результате — литературный полуфабрикат, считает Клепикова. В том и задача писателя, чтобы сделать реальность неузнаваемой, зашифровать ее. Чтобы для читателя было тайной, кто прототип твоего героя.

Так не один же к одному, возражал я. Из друзей перевел в приятели. Якова Моисеевича, его небольшую и безобидную, если не считать сексуальных приставаний, таксу, превратил в громадину кота разбойничьего нрава. В повести я помогаю герою овладеть азами автовождения, в жизни — наоборот. В «Призраке, кусающем себе локти» я хотел сказать то, о чем вынужденно умалчиваю здесь.

В том и пикантность, что тайна должна быть отгадываемой или казаться таковой. Не только документ зашкаливает в анекдот, но и анекдот притворяется документом. Согласен: писатель зашифровывает реальность. А читатель дешифрует литературу. Иногда — неверно. Живые герои бунтуют против автора. Левитан рассорился с Чеховым после «Попрыгуньи», герцог д'Альбуфера — с Прустом, узнав себя в Сен-Лу, Тургенев никогда не простил Достоевскому Кармазинова, а Марк Поповский посмертно мстил Довлатову за то, что тот в «Иностранке» изобразил похожего на него резонера, хотя Сережа сожалел об этом и незадолго до смерти послал Марку покаянное письмо. Но Поповский его так и не простил.

После «Трех евреев», которые вызвали самый большой литературный скандал в эмиграции, а потом в России, ни один другой мой опус не вызывал такой бурной реакции, как «Призрак, кусающий себе локти» (до суперрезонансного «Post mortem»). Не сама по себе повесть, сколько ее главный герой, в котором многие читатели опознали Довлатова. Резонанс был еще тот! Кто-то, помню, назвал меня бикфордовым шнуром, поднесенным к русской литературе.

Вот что еще любопытно — хотя повесть опубликована была в Москве (в ежеквартальнике Артема Боровика «Детектив и политика» и в моем сборнике, на обложку которого я вынес название «Призрак, кусающий себе локти»), скандал разразился в Нью-Йорке, где проживали ее автор, герой и прототип. «Новое русское слово» несколько месяцев кряду печатало статьи по поводу допустимого и недопустимого в литературе. Начал дискуссию помянутый публицист Марк Поповский статьей «Зачем писателю совесть?» — он узнал себя в герое Довлатова, страшно на него обиделся и отнес его прозу к жанру пасквиля: «…именно Довлатов в течение многих лет оставался главным в жанре пасквиля», «Во всех без исключения книгах Довлатова… нет ни одного созданного автором художественного образа», «Критики

упорно обходили нравственную, а точнее безнравственную, сторону его творчества». Заодно Марк подверстал в пасквилянты Валентина Катаева, Владимира Войновича, Эдуарда Лимонова и других авторов. Затесался в эту дурную компанию и Владимир Соловьев с его «Призраком…».

Что же получается? Довлатов — родоначальник пасквилянтского, либо, как называли его изустно, обсирательного, жанра, а Соловьев — его последователь? В том смысле, что отыгрались кошке мышкины слезы: Соловьев поступил с Довлатовым тем же манером, что Довлатов со всеми нами. Сам Довлатов называл свой литературный метод псевдодокументализмом. А что прикажешь делать? Окрестная реальность — кормовая база писателя. Та же история у меня повторилась с другой повестью — «Сердца четырех» (также в ежеквартальнике «Детектив и политика» и в упомянутом моем сборнике). Как я уже говорил, в описанном литературном квартете отгадывали Войновича, Искандера, Чухонцева и Камила Икрамова. А потом пошло-поехало: «Кумир нации» — это Евтушенко, «Живая собака» — Бродский & Кушнер, «Еврей-алиби» — Боря Парамонов, «Некролог себе заживо» — Игорь Ефимов, «Дочь своего отца» — Надя Кожевникова, а Довлатов с Юнной Мориц — в докурассказе «Уничтоженные письма». «Post mortem» и говорить нечего — вылитый Бродский, и там же — Евтушенко, Шемякин, Кушнер, Бобышев и снова Довлатов, куда от него денешься. Особенно я не рыпался: пусть говорят. Но человек не равен самому себе — привет Льву Николаевичу. Тем более литературный герой — своему прототипу. В этой довлатовской книге я публикую несколько своих проз — там, где Довлатов помянут много раз, иногда больше ста, а в «Post mortem» — несчитано.

Я принял участие в той дискуссии в «Новом русском слове» дважды. Сначала статьей «В защиту Сергея Довлатова», а потом, когда эпицентром скандала стал я (мне не впервой), следующей статьей — «В защиту Владимира Соловьева».

Поиски прообразов литературных персонажей — занятие само по себе безвредное, я отношу его к занимательному литературоведению. Другое дело, что с отождествлением вымышленных персонажей с их реальными вроде бы прототипами надо быть предельно осторожным. Даже в таких очевидных случаях, как Карнавалов — Солженицын у Войновича в «Москве-2042» либо Кармазинов — Тургенев у Достоевского в «Бесах». Я уже говорил об этом — не грех и повторить. Однако пародия — не копия и не клон, писатель — не ксерокс и не сканер. С другой стороны, пародия — не пасквиль. В сталинские

времена «Бесы» и в самом деле проходили по разряду пасквиля, и мне было жаль, что дискуссия в «Новом русском слове» возвращала читателей к той примитивной эпохе, — примитивной в обоих планах: эстетическом и нравственном. Об этом я и писал, отвечая зоилам Сергея Довлатова и Владимира Соловьева.

Что касается Довлатова, то этот большой, сложный, трагический человек входил в прозу, как в храм, сбросив у его дверей все, что полагал в себе дурным и грязным. У меня иной подход к литературе, мы с Сережей об этом часто спорили на наших бесконечных прогулках окрест 108-й улицы в Форест-Хиллсе, мне казалось, что даже из литературы нельзя творить кумира, но уж никак я не могу назвать его тонко стилизованную прозу безнравственной. Бессмысленно превращать писателя Довлатова в какого-нибудь Селина, маркиза де Сада или, на худой конец, Андрея Битова. Другой почерк, другой литературный тип, но люди с деревянным ухом этого не улавливают. Так же, как **мнимого автобиографизма** прозы Довлатова: все его персонажи смещены супротив реальных, присочинены, а то и полностью вымышлены, хоть и кивают и намекают на какие-то реальные модели.

Куда труднее мне говорить о повести «Призрак, кусающий себе локти» и ее герое. В своих ответах моим зоилам я ссылался на общеизвестную формулу Флобера, который на вопрос, с кого он написал свою слабую на передок героиню, ответил: «Эмма Бовари — это я!» Тем более мне — ввиду гендерного совпадения — позволено сказать: Саша Баламут — это я, хоть я и сильно увеличил ему рост по сравнению с моим, умножил число любовных похождений и сделал куда более обаятельным, чем я, увы. С пониманием этих вот элементарных законов художества можно уже подыскивать прототипы, которых часто несколько для одного литературного героя. Даже в самой великой автобиографии всех времен и народов — «В поисках утраченного времени» — у каждого из главных героев по три-четыре прототипа, тогда как сам Марсель Пруст расстраивается на Марселя, Свана и Блока, а свой гомосексуализм раздает и вовсе неавтобиографическим героям.

Так я оправдывался и выкручивался, но критики железно видели в герое повести «Призрак, кусающий себе локти» Довлатова и ссылались на то, что Саша Баламут был пьяница и бабник, пока не умер от излишеств. «Ну, мало ли в нашей литературной среде пьяниц и бабников…» — и я перечислял знаменитые имена. Я приводил пример с другим моим рассказом «Вдовьи слезы, вдовьи чары» — по крайней мере четыре вдовы в России и три в эмиграции решили, что это про них, причем с

двумя я не был даже знаком.

Почему я заменил Сашу Баламута на Сашу Б. и заново опубликовал повесть в нашей с Леной Клепиковой совместной книге «Довлатов вверх ногами», а теперь публикую в этой «Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека»? Я хочу дать возможность читателю сравнить вымышленный все-таки персонаж с мемуарно-документальным. Не исключаю, что художественным способом можно достичь большего приближения к реальности, глубже постичь человеческую трагедию этого писателя. Лот художества достигает большей глубины.

Когда мы с моим соавтором делали первую книжку о Сереже и поместили «Довлатова на автоответчике» и «Призрака, кусающего себе локти» рядышком, у нас с Леной Клепиковой вышел крупный разговор на эту тему — мы включили его в пролог к той черновой книжке, а теперь, когда доспорили и укрупнили этот текст, ставим новый вариант во главе новой книги. Не воспроизводить же мне этот кусок наново — пусть читатель возвращается в начало книги.

Может, Лена Клепикова была и права: кому теперь время заниматься раскрытием псевдонимов моих героев? Не те времена. Новым временам нет дела до старых, мертвецам — до живых, живым — до мертвых. Недавно я был на одном гульбище в день рождения моего друга Саши Гранта в нью-йоркском ресторане «Эмералд» на Куинс-бульваре, недалеко от Сережиного дома. Среди присутствующих было несколько его состарившихся знакомых и даже герои его мнимодокументальной прозы и записных книжек (в том числе неоднократно им упомянутые братья Изя и Соломон Шапиро). Не уверен, что Сережа узнал бы нас, какими мы стали. Представляю, как он мне говорит: «Господи, как вы постарели, Володя! Я вас не сразу узнал…» Зато он остался тем же, что был, — мертвые не стареют. А сам наш район с его большаком — 108-й улицей, где Сережу знал каждый, — неузнаваемо этнически изменился: вместо от Москвы до самых до окраин здесь теперь поселились «граждане Востока» — бухарские евреи, которые знать не знают Довлатова, да и он вряд ли подозревал об их существовании.

Спустя еще некоторое время я участвовал в Ситке, бывшей столице русской Аляски, где живет мой сын, в телепередаче, приуроченной к годовщине смерти Довлатова. Мой собеседник весьма критически отзывался о книгах Сережи, да и о нем самом был невысокого мнения: «Как будто он все время принимает сам себя в Союз писателей…» Я защищал Сережу, но мне показалось, что его зоила больше раздражал довлатовский китч, чем довлатовская проза. Он полагал, что китч выше таланта

Довлатова, а я убежден в противоположном: китч снижает такого одаренного прозаика, как Довлатов, упрощает и уплощает его. Даже его бывшая жена (первая) выпустила не очень одобрительную книжку про его прозу. Но Довлатов не несет ответственности за посмертную мифологизацию Довлатова. Он бы в гробу перевернулся, узнав про себя, что гений, как его время от времени величают. Вряд ли его бы обрадовала книжная индустрия по имени «Довлатов». А эта наша с Леной Клепиковой книга? А переименование угла 108-й и 63-й в его честь: *Sergei Dovlatov Way?* Когда нью-йоркский мэр подписал петицию, Лена Довлатова сбросила мне по электронке два письма подряд — успеваю, соединив в одно, вставить в эту книгу:

«Володя, вы кладезь и впередсмотрящий новостей. Это уже что-то началось… Даже не знаю, как на это реагировать. Как все повернулось. Вольдемар, это невероятно все. Голова идет кругом. Может, это в ответ на мое предположение, что, может, существует другой мир, где жизнь идет гораздо более мощная, чем на Земле? Пусть бы правда существовал этот параллельный или какой уж мир, может, до Сережи как-то дойдет».

Не знаю, не знаю. Может, Сереже лучше не знать о нашей земной суете, пусть даже напрямую связанной с ним? Точнее, с его именем, как та же топонимика, типа здесь каждый камень Ленина знает. Топонимика как часть фетишизации Довлатова.

Когда схлынет китч — *sic transit gloria mundi,* — мы увидим настоящего Довлатова и сможем оценить его прозу трезво, честно, объективно.

Его вдова так и не простила того моего телесобеседника, как не прощает других Сережиных зоилов и сплетников, на что один из них предложил организовать школу будущих писательских вдов. Остроумно, но как-то бесчеловечно. Меня Лена Довлатова почему-то терпит, мы с ней друзья, как были с Сережей, а теперь вот помогает нам с Леной Клепиковой в создании этой книги — спасибо. Наверное, с ее точки зрения, я тоже не вполне безукоризнен к Сережиной памяти. Но что хотел сказать о нем неполиткорректного, поместил в прозу — в тот же «Призрак, кусающий себе локти», а здесь стараюсь оставаться в рамках приличий. Как-то мы тут с обеими Ленами, Катей Довлатовой и Колей Анастасьевым, тем самым, у которого Сережин пес Яков Моисеевич, войдя в сексуальный раж, объел обе штанины (об мою ногу он обычно рутинно мастурбировал), сидели в китайском ресторане «Эмпайэр Буффет» и предавались воспоминаниям. В том числе, как Сережа приводил несколько пикантных историй о

Катиных знакомых, через которых узнавал американский мир. Один, не стесняясь, громко пукал на людях, о чем Сережа говорил шепотом и с немного деланым ужасом. Я сослался на Петрония: «Никто не родился запечатанным». — «Но не до такой же степени», — состроумничал Довлатов.

Ладно, проехали. Пусть Катя и вспоминает, тем более она как-то дала в Москве блестящее интервью о Сереже — что, при всех неурядицах, он и не помышлял о возвращении на родину, даже о поездках туда, и вообще «не тосковал по России». Думаю, Кате виднее, чем его нью-йоркскому собутыльнику Андрею Арьеву, который видел Довлатова в свой краткий наезд в Америку, да и то отрывочно, потому что, смертельно устав от собственного гостеприимства, Сережа перекидывал своего питерского приятеля, как мячик, к Боре Парамонову, а *Арьев* только пил и читал, запойно читал и беспрерывно пил. Я встретил их на 108-й улице, и Сережа успел мне шепнуть, что боится не выдержать. Несмотря на краткость и прерывистость встречи, Андрей Арьев дал посмертному материалу о Довлатове конъюнктурный и фальшивый заголовок: «Он все время хотел вернуться домой». От себя добавлю, что Сережа удивлялся, когда я наладился в Москву и Питер. Как и Бродский, который наотрез отказывался ехать в Россию, несмотря на меркантильный нажим питерцев. Особенно старался, понятно, питерский стихоплет Скушнер: «Тут одной поездкой не обойдешься».

А еще я помню, как Сережа в полном ужасе, уже не деланном, пересказывал мне сексуальную сцену из напечатанной в «Континенте» повести одной нашей общей знакомой, рассказанную от имени женщины.

— Ну и что тут такого? — возражал я. — Давно пора! А вы не только пурист и педант, но еще и сексист! Почему женщина не имеет право рассказать, что она чувствует?

— Да вы почитайте сами. Там не о том, что она чувствует, а о том, что при этом чувствует ее п****!

Опускаю имя покойницы — в Питере про нее злословили, что слаба на передок и у каждого куста, как псина. Эвфемизм: женщина облегченного поведения. Пусть земля ей будет пухом.

О другой горе-писательнице, опять-таки из числа общих знакомых — помянутой уже не раз Люде Штерн, — он тоже отзывался не самым лестным образом. В самом начале какого-то своего рассказа она описывает, как натягивает джинсы на голую попу. Для незнающего ее читателя это может и звучит возбуждающе, но не для нас с Сережей, хоть она потом, после его смерти, и хвастала своими с ним нетривиальными отношениями. Ну, совсем в духе помянутого шаржа с Сережиными

вспоминальщиками: «Я спала с ним», «Я дала ему» и прочее в том же духе. А тут Сережа рассердился не на шутку и, пользуясь короткостью отношений, позвонил авторше: «Я с трудом натянула на свою толстую жопу джинсы — вот как ты должна была написать!» По крайней мере, так он рассказывал мне.

Возвращаясь к автоответчику. Вот несколько «киношных» реплик Довлатова — приглашений посмотреть у него по видео какой-нибудь фильм. Либо, наоборот, предупреждений против плохих фильмов, как, к примеру, в случае с «Невыносимой легкостью бытия»:

Володя, это Довлатов. Я звоню всего лишь для того, чтобы вас предостеречь. Боже упаси, не пойдите смотреть фильм по Кундере. Это три с половиной часа невообразимой херни. Это не тот случай, когда одному нравится, другому — нет. А это недвусмысленная, отвратительная, отвратительная грязная дичь. Привет.

А в другой раз приглашал на кинопросмотр:

Володище, это Довлатов. Я совершенно забыл, что вы отъехали с палаткой. Я вас хотел зазвать на модный советский кинофильм «Человек с бульвара Капуцинов». Значит, теперь, когда вы вернетесь, мы, скорее всего, уже уедем. Но порыв был, что и отметьте. Целуем.

Каждое лето мы разъезжали с палаткой — а теперь даже для пущего комфорта с двумя — по американским штатам и канадским провинциям. Купив дом в Катскильских горах, Сережа всячески зазывал в гости, объяснял, как доехать, рисовал план. Я сказал, что рядом кемпграунды, где мы можем остановиться, но он предлагал разбить палатку прямо у него на участке, хвастая его размерами. Так я и не воспользовался его приглашением и впервые побывал в их доме недели две спустя после его смерти, когда повез Лену Довлатову забрать с дачи Изи Шапиро восьмилетнего мистера Николаса Доули, как величал сына Сережа, — и еще: «Маленький заводик по производству положительных эмоций»! В тот день Коля узнал о смерти отца. Я смотрел на них из окна второго этажа — во дворе какая-то женщина с безуминкой в глазу играла на киборде, Коля делал восьмерки на своем велике, а Лена терпеливо ему что-то втолковывала. Как немое кино. Я стоял и плакал. Уже было поздно, когда мы поехали в Нью-Йорк, Коля попросился на переднее сиденье: «Как с папой…», я предложил заехать по пути в

какой-нибудь пристойный ресторан, но Коля настоял на «Макдоналдсе».

Потом я часто встречал этого быстро растущего красивого мальчика. Помню, стояли мы — Лена Довлатова, Коля и я — у моей «тойоты камри», куда-то мы с Леной собрались, а Коля не отпускал, канючил у мамы три доллара. В конце концов Лена смилостивилась и дала два доллара, но Коля не отставал, я вынул из кармана свой доллар, чтобы прервать эту бодягу, но Лена так на меня глянула — как может только она! — и я поспешно убрал этот злосчастный доллар обратно в карман.

Немало было других коротких встреч и разговоров, у Коли хороший русский, по телефону он меня сразу узнавал, а недавно я встретил его на похоронах Деи Иосифовны, одной очень старенькой, под сто, женщины с фантастической памятью на события седой древности и отличной рассказчицы. Историй у нее как из рога изобилия, а меня хлебом не корми, дай присосаться к сюжетам чужих жизней. Так что я дружил с ней отчасти меркантильно, из писательского любопытства, но что этот юный, немного, как мне показалось, застенчивый красавчик привязался к старухе, причем из чисто альтруистических побуждений, меня, признаться, поразило. Что-то мне приоткрылось в этом высоком скрытном юноше — может быть, Дея Иосифовна напоминала и в какой-то мере подменяла Коле Нору Сергеевну, его бабушку? Не знаю.

Касаемо Кати Довлатовой что сказать? Она мне нравилась с юности — само собой, ее, а не моей — и до сих пор, хотя характер у нее колючий, строптивый, бунтарский. Думаю, ей нелегко с самой собой, а потому и с другими. И другим — с ней. Умная, талантливая, красивая, до сих пор в ней что-то девичье, угловатое, неприкаянное. Очень непубличный человек, интроверт, анахорет. Виртуальных друзей у нее под завязку, а по жизни? Сейчас у нее вышла книга *«Pushkin Hills»* — перевод довлатовского «Заповедника». Что ей, безусловно, удалось — сделать русскую книгу явлением англоязычной литературы. Катя не любит, чтобы о ней писали и говорили, а потому обрываю себя на полуслове. Она бы предпочла, чтобы и о Довлатове ничего не писали, — все, что хотел, он написал о себе сам, считает Катя. Не уверен, что ей понравится, что я здесь пишу о нем. А Сереже, если бы он мог глянуть с того света на эту нашу с Леной Клепиковой книгу? И то сказать, мы ее пишем для живых — не для мертвецов.

Вот подряд три его приглашения на кино, которые я обнаружил однажды, вернувшись домой, и которые сохранились на автоответчике:

Володя, это Довлатов. Я звоню, чтобы убедиться в следующем. Я… мы сейчас поедем по делам, в часа два или в час… или в два вернемся, и вот… Я хотел бы вас заручить в промежутке от шести до восьми кино смотреть, с чаем и с сосиской. Просто я не знаю, будете ли вы в это время дома. Я буду еще в течение дня звонить, раз уж я вас сейчас не застал. Ну, всего доброго, всех приветствую.

***

Володя, Довлатов опять домогается вас. Во-первых, по-моему, у вас отвратительное произношение английское, извините за прямоту. С другой стороны, я вас как бы разыскиваю так напряженно, потому что я хочу кино. Я не знаю, то ли вы надолго уехали… Алё!..

***

Володя, это Довлатов опять. Меня прервали в прошлый раз. Я вас продолжаю разыскивать напряженно. Если… Как только вернетесь, позвоните, пожалуйста. Привет. Всех обнимаю. Я приобрел редкостной итальянской колбасы в расчете на ваш изысканный вкус. И желаю вас угощать колбасой и смотреть кино. Привет.

Кажется, это был фильм об американском саксофонисте Чарли Паркере в Париже — как он спивается и погибает. Сережа его смотрел множество раз, и его так и распирало поделиться с другими. Только после смерти Сережи я понял, какие параллели с собственной судьбой высматривал он в этом фильме.

Как убили Довлатова

О смерти Довлатов думал много и часто — особенно после того, как врач сказал ему, чтоб предостеречь от запоев, — ложь во спасение, — что у него цирроз печени. Хотя свое здоровье — точнее нездоровье — постоянно обшучивал, перефразируя то Крылова: «Рак пятится назад» — когда онкологический прогноз не подтвердился, то Некрасова: «Цирроз-воевода с дозором обходит владенья свои». Шутки шутками, но мысли о смерти были неотвязные — куда от них денешься? Особенно в периоды депрессии, которую он однажды очень точно определил как «мрак

души». В «Записных книжках» есть на эту всегда злободневную тему несколько смешных и серьезных записей:

«Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой».

«Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь: „А не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?“»

«Все интересуются, что там будет после смерти? После смерти начинается история».

«Божий дар как сокровище. То есть буквально — как деньги. Или — ценные бумаги. А может, ювелирное изделие. Отсюда — боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И еще — что умрешь, так и не потратив».

Пошли умирать знакомые и ровесники, и Довлатов говорил об этом с каким-то священным ужасом, словно примеряя смерть на себя. В связи со смертью Карла Проффера, издателя «Ардиса», он больше всего удивлялся, что смерть одолела такого физически большого человека. На что я ему сказал, что мухе умирать так же тяжело, как слону. Смерть безобразно равняет всех со всеми.

— Смерть — не страшилка, а стращалка, — добавил я, стараясь его утешить, а заодно и себя.

Сережа как-то странно на меня глянул и продолжал пугать. Я бы заподозрил в нем садистические наклонности, если бы это не был чистейшей воды мазохизм. Садомазохизм? Довлатов чувствовал дыхание смерти у себя за спиной — это уж точно, что смерть не застала его врасплох.

Хочу, однако, перебить это посмертное «соло» Довлатова его шуткой.

Он никак не мог свыкнуться не только со смертью, но и с возрастом, оставаясь в собственном представлении «Сережей», как в юности, хоть и подкатывало уже к пятидесяти, до которых ему не суждено было дожить год и несколько дней. Терпеть не мог, когда его называли Сергей, а уж тем более — Сергей Донатович. Время от времени он не скажу, что раздражался, скорее удивлялся, что я его моложе, хотя разница была всего ничего: мы оба — военного разлива, но Довлатов родился в сентябре 41-го, а я в феврале 42-го. И вот однажды прихожу домой, включаю ответчик и слышу ликующий голос Сережи, который до сих пор стоит у меня в ушах. Глаз у него был цепкий, и он всегда радовался такого рода ошибкам:

Володя, это Довлатов. Я только хотел сказать, что с удовольствием прочитал вашу статью во «Время и мы». Потом подробнее скажу. И ухмыльнулся, потому что Перельман [редактор журнала] *в справке об авторах написал, что вы в 33-м году родились. Теперь я знаю, что вы старый хрен на самом деле. Всех целую. Привет.*

Когда умер наш с Леной друг и переводчик Гай Дэниелс, Довлатов странно как-то отреагировал: «Умирают нужные люди». Было это уже после смерти Карла Проффера, который издавал в своем «Ардисе» Сережу. Самоубился общий знакомый Яша Виньковецкий, и Довлатов рассказывал такие натуралистические подробности, словно сам присутствовал, когда тот повесился. Был уверен, что переживет сердечника Бродского, и даже планировал выпустить о нем посмертную книжку, и ему было о чем рассказать, а вышло наоборот: Бродский сочинил о нем путаный мемуар. Заболевшему Аксенову предсказывал скорую кончину — тот, слава богу, жил и жил: сначала как человек, потом как овощ. У себя на ответчике я обнаружил Сережино сообщение об умирающем Геннадии Шмакове, нашем общем, еще по Ленинграду, знакомом:

Володя, я не помню, сообщал ли я вам довольно-таки ужасную новость. Дело в том, что у Шмакова, у Гены, опухоль в мозгу, и он, в общем, совсем плох. В больнице. Операция там и так далее. Счастливо.

На самом деле у Шмакова был СПИД, его быстро скрутило.

О смерти Довлатов говорил часто и даже признался, что сделал некоторые распоряжения на ее случай: в частности, не хотел, чтобы печатали его письма и скрипты, хотя именно по его радиопередачам, «пропетым» — ну да, типа речитатива — чудным магнетическим баритоном, узнали его в России задолго до того, как там была напечатана его проза. Как-то, уже в прихожей, провожая меня, Сережа спросил, будут ли в «Нью-Йорк таймс» наши некрологи. Я пошутил, что человек фактически всю жизнь работает на свой некролог, и предсказал, что его — будет, и с портретом, как и оказалось.

Есть такое понятие «усталость металла». У Довлатова определенно была усталость жизни, касалось ли это душевной изношенности или оскудения литературного таланта. Ладно, пусть будет эвфемизм: упадок писательской активности. В одну из наших последних прогулок — Сережа, Яков Моисеевич и я —

он вдруг остановился и скорее сказал прозой, чем продекламировал, да так, что пушкинские строки стали как бы его личным признанием:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Мне было как-то неловко, и я сказал пошлость:

— Ну, на самом донышке что-то осталось? Какие-нибудь желания?

— Безжеланные желания, — сострил Сережа и стал рассказывать какую-то жутко смешную историю.

Настал последний, трагический август в его жизни. Лена, Нора Сергеевна и Коля на даче, в Нью-Йорке липкая, мерзкая, чудовищная жара, постылая и постыдная радиохалтура, что бы там ни говорили его коллеги, на «Свободе» с ежедневными возлияниями, наплыв совков, которые высасывали остатные силы, случайные приставучие бабы, хоть он давно уже, по собственному признанию, ушел из Большого Секса. И со всеми надо пить, а питие, да еще в такую жару, — погибель. Можно и так сказать: угощал обычно он, а спаивали — его.

Нет ничего страшнее в его предсмертной судьбе, чем друзья-выпивохи и женщины-е****щицы. У меня записан рассказ одной из них, с которой он встретился незадолго до смерти, — та самая коллекционерка, о которой Сережа говорил, что «через ее п**** прошла вся эмигрантская литература». Жара, коньяк, да еще и трах — не лучшее меню для больного человека. К тому же кондиционер не работал. И тогда она сказала мне ужасную фразу: «Он так старался! Весь в поту. Я виновата в его смерти». Так, не так — не мне судить, это ее *mea culpa,* а мне ничего не остается, как наложить замок на уста мои. Рассказ о его последних днях вынужденно, поневоле неполный.

Он мог еще протянуть, если бы судьба, которая шла за ним по следу, «как сумасшедший с бритвою в руке», не прибегла к посторонней помощи, а именно к двум представителям того самого быстро растущего у нас в Америке нацменьшинства, которое гордо именует себя *La Raza.*

Как обычно, Сережа просыхал у своей безотказной брайтонской полюбовницы Али Добрыш, которая принимала его таким, как есть, и, как всегда, отпаивала молоком, и он поглощал его в неимоверных количествах — как он сам говорил, бочками. Его мучили босховские кошмары, которые он называл

«смертными видениями». Хотя на этот раз предсмертные видения, но откуда ему было знать: выкарабкивался же он прежде — почему не сейчас? Мы судим о будущем, исходя из прошлого, хотя будущее беспрецедентно — в нем может случиться что угодно, чего не было прежде. Смерть, например, которая случается у человека только единожды.

Я не знаю, какие у Довлатова были смертные-предсмертные видения на этот раз, но вспоминаю те, которые он пересказывал мне по телефону в один из предыдущих запоев, и я, будучи юзер, как любой писатель, использовал их в моем романе, Сережа похвалил меня за них, но добавил, что роман все равно не вытягивает. Именно тогда мы с ним и обменялись негативными комплиментами — он об «Операции „Мавзолей“», я об «Иностранке». По нулям.

«Нет, не страх, а ужас…» — его собственные слова, когда он мне названивал из Бруклина. Что-то про скорый поезд, который не останавливается на той станции, на которой он оказался, а ему на этот поезд позарез, и вот — чудо! — поезд этот замедляет ход.

— Я стою на платформе, на которой нет никого, кроме меня, но поезд каким-то странным образом не удаляется, а отдаляется от платформы, как будто невидимый стрелочник переводит его на соседнюю ветку. Я спрыгнул с платформы и бегу через рельсы, поезд тормозит, и это товарняк. Какой-то человек с лязгом отодвигает дверной засов специально для меня, а там коровы на убой. Я просыпаюсь, я спасен, но я продолжаю спать, это я проснулся во сне, мне снится другой сон наяву, как некий маленький человек — нет, не вы, Володя, незнакомец! — руки в брюки, а когда он вынимает их из карманов, в каждой руке у него огромный стоячий член, и он размахивает ими перед моим носом, что бы это значило, Володя, вы у нас специалист по Фрейду? А потом, наоборот, здоровенный амбал, больше, чем человек, насилует мою жену — не по страсти или похоти, а токмо по дикой злобе. Она плачет тихо и безнадежно, и я не могу ничем помочь, потому что это я насилую Лену за то, что она меня ненавидит, и это не во сне, а наяву. Я весь в сперме, противно, с детства не было поллюций, а здесь весь в сперме и блевоте, и Аля за мной убирает и ведет в душ.

Так было и на этот раз. Душ не помог, Довлатову было все хуже и хуже, Аля вызвала «скорую», Сережу заставили приседать, а потом уложили на спину и накрепко пристегнули ремнями к носилкам. Але не позволили поехать с ним, потому как она ему никто.

Слово Иосифу Бродскому:

«Не думаю, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе; думаю только, что конец ее мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца — в удушливый летний день, в машине „скорой помощи“ в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров — он бы сам никогда не написал: не потому, что не предвидел, но потому, что питал неприязнь к чересчур сильным эффектам».

По другой версии, Довлатова по пути растрясло, и он, лежа на спине и привязанный к носилкам, захлебнулся в собственной блевоте. *He choked on his own vomit* — слова шофера той «скорой», а на самом деле труповозки.

Жуткая смерть.

Вскрытие показало, что все органы в полном порядке. Юридически смерть Сергея Довлатова следует классифицировать как непреднамеренное убийство.

Когда он умер, Нора Сергеевна, с которой у него пуповина была не перерезана и которая, томясь, могла заставить Сережу повезти ее после полуночи смотреть с моста на Манхэттен, крикнула мне на грани истерики:

— Как вы не понимаете, Володя! Я потеряла не сына, а друга.

Услышать такие слова от матери было жутковато.

— Я пожалуюсь Иосифу, — грозилась она мне, когда прочла в моем мемуаре о Сережином алкоголизме. Я первым упомянул об этом, а потом пошло-поехало.

Приехал, помню, из Москвы Сережа Каледин, автор нашумевшей «новомировской» повести «Смиренное кладбище», и неделю стоял на постое у Довлатовых, смущая покой бедной Норы Сергеевны. Мало того что тоже писатель, так еще и Сережа — Лена Довлатова на мой запрос подтверждает, что «для Норы, конечно, было болезненно. Для нее все было тогда и потом, до самого конца, болезненно. Я даже уже забыла, что все это было».

Когда Нора Сергеевна умерла, согласно ее завещанию, ее подселили в Сережину могилу — ночью, тайно, нелегально, за мзду. Даже смерть их не разлучила. Наоборот, смерть-то их и соединила. Навсегда.

Трагедия веселого человека.

Владимир Соловьев
Призрак, кусающий себе локти

После «Трех евреев», которые стали эпицентром самого крупного в русской диаспоре литературного скандала, ни один другой мой опус не вызывал такой бурной реакции, как повесть «Призрак, кусающий себе локти». (Пока не вышла моя запретная книга о Бродском «Post mortem», тоже весьма резонансная!) Может, не столько сама повесть, сколько ее главный герой, в котором читатели узнали Сережу Довлатова. Хотя у меня он назван иначе: Саша Баламут. В нулевые годы «Призрак, кусающий себе локти» продолжал входить в мои книги. Публикуя эту повесть заново в книге о Довлатове, я решил снять нарочитую фамилию героя — пусть будет просто Саша.

Повесть была опубликована в Москве, а скандал разразился в Нью-Йорке, где проживали ее автор, герой и прототип. Газета «Новое русское слово», флагман русской печати в Америке, несколько месяцев кряду печатала статьи по поводу допустимого и недопустимого в литературе. Начал дискуссию публицист Марк Поповский, обозвав Довлатова пасквилянтом, а заодно подверстав в пасквилянты Валентина Катаева, Владимира Войновича, Эдуарда Лимонова и Владимира Соловьева с его повестью «Призрак, кусающий себе локти».

Я принял участие в этой дискуссии дважды. Сначала со статьей «В защиту Сергея Довлатова», а потом, когда эпицентром скандала стал я, со следующей статьей — «В защиту Владимира Соловьева». Право слово, та газетная полемика стоит того, чтобы ее вспомнить, ибо она актуальна и двадцать два года спустя, когда споры о Довлатове продолжаются. Дабы ту скандальную ауру переместить через океан — из диаспоры в метрополию, — я решил не ограничиться изложением тех споров на страницах этой книги, а поместить вслед за «Призраком, кусающим себе локти», пусть и будут неизбежные повторы, два моих печатных ответа зоилам. Не только моим, но и довлатовским. Точнее — в порядке появления — сначала довлатовским, потом моим.

Пора наконец сознаться, что, вклинившись в ту полемику, я слукавил. Я писал своего героя с Сережи Довлатова, но параллельно зашифровывал, кодировал, камуфлировал литературного персонажа, и делал это с превеликим удовольствием, ибо не только чтобы замести следы, но и художества ради, раздваиваясь на автора и героя. Что говорить,

полет творческой фантазии почище полета валькирий: писателя заносит, его воображение зашкаливает — короче, свой кайф я таки словил! Сколько раз повторять, что литература не есть прямоговорение? Говорить о человеке, не называя его, — вот настоящее искусство! Привет Стивенсону.

Почему я вспоминаю о том уже давнем скандале, публикуя заново повесть «Призрак, кусающий себе локти» в сопровождении двух моих полемик в этой книге о Довлатове? Я хочу дать возможность читателю сравнить вымышленный все-таки персонаж с мемуарно-документальным. Не исключаю, что художественным способом можно достичь большего приближения к реальности, глубже постичь человеческую трагедию моего друга Сергея Довлатова.

Призрак, кусающий себе локти

Памяти литературного персонажа

Он умер в воскресенье вечером, вызвав своей смертью смятение в нашей иммигрантской общине. Больше всего поразился бы он сам, узнай о своей кончине.

По официальной версии, смерть наступила от разрыва сердца, по неофициальной — от запоя, что не исключает одно другого: его запои были грандиозными и катастрофическими, как потоп, даже каменное сердце не выдержало бы и лопнуло. Скорее странно, что, несмотря на запои, он ухитрился дожить до своих пятидесяти, а не отдал Богу душу раньше. Есть еще одна гипотеза — будто он задохнулся от приступа рвоты в машине «скорой помощи», где его растрясло, а он лежал на спине, привязанный к носилкам, и не мог пошевельнуться. Все это, однако, побочные обстоятельства, а не главная причина его смерти, которая мне доподлинно известна от самого покойника.

Не могу сказать, что мы были очень близки — не друзья и не родственники, просто соседи, хотя встречались довольно часто, но больше по бытовой нужде, чем по душевной. Помню, я дал ему несколько уроков автовождения, так как он заваливал экзамен за экзаменом и сильно комплексовал; а он, в свою очередь, выручал меня, оставляя ключ от квартиры, когда всем семейством уезжал на дачу. Не знаю, насколько полезны оказались мои уроки, но меня обладание ключом от пустой квартиры делало более инициативным — как-то даже было неловко оттого, что его квартира зря простаивает из-за моей нерешительности. Так мы помогли друг другу избавиться от комплексов, а я заодно кормил

его бандитских наклонностей кота, которого на дачу на этот раз не взяли, так как в прошлом году он терроризировал там всех местных собак, а у одной даже отхватил пол-уха. Вручая мне ключ, он каждый раз заново говорил, что полностью мне доверяет, и смотрел на меня со значением — вряд ли его напутствие относилось к коту, а смущавший меня его многозначительный взгляд я разгадал значительно позднее.

Формально я не оправдал его доверия, но, как оказалось, это входило в его планы: сам того не сознавая, я стал периферийным персонажем сюжета, главным, хоть и страдательным, героем которого был он сам.

Пусть только читатель не поймет меня превратно. Я не заморил голодом его кота, хотя тот и действовал мне на нервы своей неблагодарностью — хоть бы раз руку лизнул или на худой конец мурлыкнул! Я не стянул из квартиры ни цента, хоть и обнаружил тщательно замаскированный тайник, о котором сразу же после похорон сообщил его ни о чем не подозревавшей жене, — может быть, и это мое побочное открытие также входило в его разветвленный замысел? Я не позаимствовал у него ни одной книги, хотя в его библиотеке были экземпляры, отсутствующие в моей и позарез мне нужные для работы, а книжную клептоманию я считаю вполне извинительной и прощаю ее своим друзьям, когда недосчитываюсь той или иной книги после их ухода. Но с чем я не мог совладать, так это со своим любопытством, на что покойник, как впоследствии выяснилось, и рассчитывал, — в знании человеческой природы ему не откажешь, недаром писатель, особенно тонко разбирался он в человеческих слабостях, мою же просек с ходу.

В конце концов, вместо того чтобы водить девочек на хату — так, кажется, выражались в пору моей советской юности, — я стал наведываться в его квартиру один, считывая сообщения с автоответчика, который он использовал в качестве секретаря и включал, даже когда был дома, и листая ученическую тетрадь, которую поначалу принял за дневник, пока до меня не дошло, что это заготовки к повести, изначальный ее набросок. Если бы ему удалось ее дописать, это, несомненно, была бы его лучшая книга — говорю со всей ответственностью профессионального литературного критика. Но он ее никак не мог дописать, потому что не он ее писал, а она его писала, — он был одновременно ее субъектом и объектом, автором и героем, и писала она его, пока не уничтожила, — его конец совпал с ее концом, книга закончилась вместе с ним. А так как живому не дано изведать свой предел и стать хроникером собственной смерти, то мой долг как невольного душеприказчика довести эту повесть до

формального конца, изменив ее жанр на рассказ, именно ввиду незаконченности и фрагментарности рукописи, то есть недостаточности оставленного мне прозаического и фактического материала.

Такова природа моего соавторства, которое началось с подглядывания и подслушивания, — считаю долгом предупредить об этом заранее, чтобы читатель с более высоким, чем у меня, нравственным чутьем мог немедленно прекратить чтение этого, по сути, бюллетеня о смерти моего соседа Сережи — Саши, записанного посмертно с его собственных слов.

Когда я впервые обнаружил эту тетрадь, что было не так уж трудно, так как она лежала прямо на его письменном столе, пригласительно открытая на последней записи, в ней было всего несколько заметок, но с каждым моим приходом — а точнее, с каждым приездом Саши с дачи — тетрадка пополнялась все новыми и новыми записями. Последние, предсмертные, сделаны нетвердой рукой, мне стоило большого труда разобрать эти каракули, но я не могу с полной уверенностью установить, что тому причиной: истощение жизненных сил или алкогольный токсикоз?

Вот первая запись в его тетради.

> Хуже нет этих утренних коллект коллз, звонков из Ньюфаундленда, где делает последнюю перед Нью-Йорком посадку аэрофлотовский самолет! Это звонят самые отчаянные, которые, не решившись ввиду поверхностного знакомства предупредить о своем приезде заранее, идут ва-банк и объявляются за несколько часов до встречи в Джей-Эф-Кей. Конечно, мне не на кого пенять, кроме как на себя, — за полвека пребывания на поверхности земли я оброс людьми и женщинами, как осенний пень опятами. Но в данном случае мое амикошонство было совершенно ни при чем, потому что плачущий голос из Ньюфаундленда принадлежал дочери моего одноклассника, с которым мы учились с четвертого по седьмой, дальше наши пути разошлись; его следы теряются, я не помню его лица, над которым к тому же основательно поработало время, о его дочери и вовсе ни слухом ни духом, а потому стоял теперь в толпе встречающих и держал плакат с ее именем, вглядываясь в молодых девушек и смутно надеясь, что моя гостья окажется секс-бомбой, — простительная слабость для человека, неуклонно приближающегося к возрасту одного из двух старцев,

которые из-за кустов подглядывали за купающейся Сусанной. (Какая, однако, прустовская фраза получилась — обязательно в окончательном варианте разбить по крайней мере на три!)

Моя Сусанночка и в самом деле оказалась смазливой и сговорчивой, но мне это стало в копейку, плюс украденный из моей жизни месяц, не написал ни строчки, так как она не знала ни слова по-английски, и, помимо прочего, служил при ней чичероне. Измучившись от присутствия в квартире еще одной женщины, Тата закатила мне скандал, а другой скандал устроила своему старцу Сусанночка, после того как я, очутившись меж двух огней, предпочел семейное счастье и деликатно намекнул моей ласточке, что наше гостеприимство на исходе, — пусть хоть сообщит, когда она собирается осчастливить нас своим отъездом (как и у всех у них, обратный билет у нее с открытой датой). Мне стоило больших усилий ее спровадить, сама бы она задержалась на неопределенный срок, ибо, как выяснилось, была послана семьей на разведку и ее время было несчитано, в то время как у меня тотальный цейтнот — ничего не успеваю! И боюсь, уже не успею: жизненное пространство мое сужается, все, что осталось, — сморщенная шагреневая шкурка. Мы, кстати, приезжали без всяких разведок, втемную — не упрекаю, а констатирую. С ходу отметаю ее крикливые обвинения, будто я ее совратил, — пробы негде ставить, Бог свидетель!

И при чем здесь, скажите, моя кавказская натура, о которой мне Тата талдычит с утра до вечера, когда мы ни с кем так не намучились, как с ее мамашей! Шутка ли — четыре месяца непрерывной нервотрепки вместо предполагаемого примирения! За десять лет ни одного письма, хотя Тата исправно посылала в Москву посылки для нее, для своей сестры и непрерывно растущей семьи — сестра усердно рожала детей, дети росли, менялись их размеры, и я стал крупнейшим в Америке специалистом по детской одежде, обуви и игрушкам. Самое поразительное, что чем больше Тата посылала в Москву этой прорве посылок, тем сильнее у нее было чувство вины перед не откликающейся на подарки матерью, хотя по всем понятиям виноватой должна была чувствовать себя не Тата, а Екатерина Васильевна — за то, что, напутствуя нас в эмиграцию, предала анафеме

собственную дочь; никто ее за язык не тянул, наоборот, в редакции всячески противились публикации ее письма, но она добилась через горком партии, где служила когда-то в отделе пропаганды — или как он там называется.

И вот, сбросив теперь идеологический покров, она приехала к нам, как сама выразилась, отовариться — понятная забота советского человека, но полностью поглощающая все остальные его чувства, в случае с моей тещей — материнские. Но если материнское проклятье перед отъездом еще можно как-то списать на идеологическую муть либо объяснить страхом и перестраховкой, то нынешнее леденящее равнодушие Екатерины Васильевны к Тате объяснить совершенно нечем, Тату оно сводило с ума — в том числе то, что Екатерина Васильевна постоянно оговаривалась и называла ее именем оставшейся в Москве дочери, ради семьи которой она, собственно, и пожаловала к нам. Такое у меня подозрение, что Екатерина Васильевна продолжала в глубине души считать нас с Татой предателями, но за что могу ручаться — не то что материнских, а хотя бы родственных чувств к Тате она не испытывала никаких, скорее наоборот. Что-то ее раздражало в нашей здесь жизни… либо сам факт, что мы здесь, а они там. В конце концов я стал прозревать истинную причину ее к нам приезда — разрушить нашу семью, которая и без того неизвестно на чем держится.

Бегая с Екатериной Васильевной по магазинам, чтобы одеть и обуть ораву московских родственников, и чувствуя глухое, но растущее раздражение матери, Тата уже на второй месяц выбилась из сил и слегла с нервным истощением, что вызвало у Екатерины Васильевны с ее комсомольской закалкой тридцатых годов разве что любопытство вперемежку с презрением, а не исключено, что и злорадство. Дело в том, что ко мне Екатерине Васильевне было не подступиться, и она вымещала свою злобу на дочери. Мне нечего добавить к тому, что сказал о моей теще поэт, имея в виду все ее закаленное, как сталь, поколение: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».

Чуть ли не каждый день у них с Татой возникали ссоры, в одну из которых я имел неосторожность вмешаться, и еще немного — взял бы грех на душу: Тата буквально оттащила меня от Екатерины Васильевны,

когда я пытался ее задушить. Мне невыносимо было смотреть, как мать измывается над дочерью, но измученная Тата уже мало что соображала и накопившееся раздражение обрушила на меня, решив со мной развестись и уйти в монастырь, чтобы вообще больше не видеть человеческие лица. Из рабы любви она превратилась в рабу нелюбви и, осознав это, пришла в отчаяние.

В таких абсолютно тупиковых ситуациях я прибегаю обычно к испытанному средству, и весь последний месяц жизни у нас Екатерины Васильевны пробыл в отключке, надеясь, что мое непотребство ускорит отъезд тещи. Не тут-то было — от звонка до звонка. Мы с Татой были на пределе и разрыдались, не веря собственному счастью, когда самолет «Аэрофлота» с Екатериной Васильевной на борту взмыл наконец в наше нью-йоркское небо. По-настоящему же очнулись только в лесной адирондакской глуши — побаловали себя заслуженным отдыхом, но приближается новое испытание — приезд Татиной сестры, который мы из последних сил оттягиваем. Какое все-таки счастье, что хоть моя сестра умерла в детстве от скарлатины. Двух сестер нам ну никак не выдержать!

Судя по законченности обоих эпизодов — с Сусанночкой и тещей, — которые требовали минимальной авторской редактуры (ее направление было обозначено заметкой на полях о необходимости разбить «прустовскую» фразу по крайней мере на три), Саша писал повесть, а не просто вел дневник. Да и не из тех он был людей, чтобы вести дневник для самого себя: он был профессиональный литератор и к написанному относился меркантильно. Как и к окрестной реальности, которую норовил всю перенести на бумагу, пусть даже под прозрачными псевдонимами и с едва заметными смещениями. Я бы назвал его остроумную, изящную и облегченную прозу стилизованным натурализмом, а помещенный в самый ее центр портрет рассказчика — стилизованным автопортретом. До сих пор он верховодил над действительностью, и вдруг она стала ускользать от него, выходить из-под его контроля, доминировать над ним. Он хотел написать веселую, с элементами пасквиля и зубоскальства повесть о советских визитерах и успел даже придумать ей остроумное название: «Гость пошел косяком», которое я бы у него позаимствовал, не подвернись более удачное, но реальность превзошла все его ожидания, давила на него, и изначальный замысел стал коренным образом меняться.

У меня есть основания полагать, что роковое это изменение застало Сашу врасплох — в его планы никак не входило отдать Богу душу в ходе сюжета, который он взял за основу своей плутовской повести, а ей суждено было стать последней и трагической. Повелитель слова, властелин реальности, он растерялся, когда скорее почувствовал, чем понял, что повесть, которую задумал и начал сочинять, вырвалась из-под его контроля и сама стала им управлять, ведя автобиографического героя к неизбежному концу. Саша попытался было сопротивляться и, пользуясь творческой инерцией, продолжал заносить в тетрадку свои наблюдения над советскими гостями, но, помимо его воли, в комические записки закладывалась тревога, и чем дальше, тем сильнее сквозили в них растерянность и тоска обреченного человека. Записи становились короче и бесцельнее, за ироническим покровом все чаще сквозило отчаяние.

Стремясь если не нейтрализовать, то хотя бы амортизировать обрушившиеся на него удары судьбы, Саша использовал автоответчик с единственной целью отбора нужных и отсева ненужных звонков. Однако любопытство возобладало над осторожностью, и понять его можно — рассказы Саши стали печататься у него на родине, и каждый советский гость был потенциальным благовестником, хотя любая благая весть сопровождалась обычно просьбой, а чаще всего несколькими. За советскую публикацию и даже за весть о ней Саше приходилось дорого платить. Слава о его авторском честолюбии широко распространилась в Советском Союзе, и гости оттуда всегда могли рассчитывать на постой в его тесной квартирке в Вашингтон-Хайтс, прихватив с собой в качестве презента его публикацию либо даже только информацию о ней. Его автоответчик гудит советскими голосами — большинство звонящих сначала представляются, так как лично незнакомы с Сашей, а потом сообщают, что у них для него хорошая новость: сообщение из журнала, письмо из издательства, гранки рассказа, верстка книжки, свежий оттиск еженедельника с его сочинением либо критическая статья о нем.

Слово Саше.

> Ловлю себя на противоречии, которое по сути есть лабиринт, а из него уже не вижу никакого выхода. Неужели мне суждено погибнуть в лабиринте, архитектором которого я сам и являюсь? С одной стороны, я хочу казаться моим бывшим соотечественникам удачливым и богатым, а с другой — у

меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни желания тратиться на этих бесстыжих попрошаек и хапуг. Они никак не могут понять, что за наш здешний высокий уровень жизни заплачено тяжким трудом, и, чтобы его поддерживать, приходится работать в поте лица своего. И не затем я вкалываю, чтобы водить их по ресторанам, возить на такси и покупать подарок за подарком. Кто они мне? Я вижу эту женщину впервые, но знакомство встало мне в добрую сотню — не слишком ли дорогая цена за привезенный журнал с моим рассказом? Не слишком ли дорого мне обходятся советские публикации? — у меня там скапливаются уцененные, макулатурные деревянные рубли, а я пока что трачу самую что ни на есть твердую валюту. Мое хвастовство стимулирует их аппетит и подстегивает эгалитарное сознание — почему бы мне в самом деле не поделиться с ними по-людски, по-товарищески, по-христиански?

Тата ругает меня, что я говорю им о нашей даче в Адирондаке, а они по даче судят о моем благосостоянии и статусе. Видели бы они этот кусок деревянного дерьма — с фанерными декоративными перегородками, протекающей крышей, испорченным водопроводом, без фундамента, я уж не говорю, что у черта на рогах. Надо быть идиотом, чтобы его купить, и этот идиот — я. Купить дом, чтобы мечтать его продать — только кому он нужен? Но откуда, скажите, взять деньги на настоящий дом?

Мать говорит про меня, что в большом теле мелкий дух, — какой есть, будто я выбирал, чем заселить мое и в самом деле крупногабаритное тело. Я люблю бижутерию, мелких животных, миниатюрных женщин; не стал бы писателем — пошел бы в часовщики либо ювелиры, разводил бы канареек на досуге. Моя любимая поговорка наполовину ювелирная: «У кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий». Так вот, у меня жемчуг мелкий, а потому я не в состоянии помочь людям с жидким супом. Как и они мне с моим мелким жемчугом. Он же бисер, который я мечу перед свиньями.

Странные все-таки люди — хотят соединить свою бесплатную медицину с байеровским аспирином и другими чудесами американской фармацевтики, свои даровые квартиры с нашими видиками и прочей электроникой, хотят жить там и пользоваться всеми здешними благами. Чем чаще я с ними встречаюсь, тем

хуже о них думаю: нахлебники, дармоеды, паразиты. Даже о лучших среди них, о бессребрениках, о святых. Господи, как я неправ, как несправедлив! Но это именно они делают из меня мизантропа, которого я в детстве путал с филантропом. Благодаря им я становлюсь хуже, чем я есть, — при одной мысли о них все говно моей души закипает во мне и выходит наружу. Вот почему мне противопоказано с ними встречаться. А пока что — вперед к холодильнику, за заветной, а по пути проверим, не забыл ли я включить моего дружка, подмигивает ли он мне своим красным заговорщицким глазом?

***

Мой сосед, которому я завидую, так как его не одолевает советский гость[2], пошутил сегодня, что я стану первой жертвой гласности и перестройки. Ему легко шутить, а если в самом деле так случится? Как хорошо, как счастливо мы жили здесь до их шалостей с демократией, надежно защищенные от наших бывших сограждан железным занавесом. Один доброжелатель написал мне в стихах: «…Для тебя территория, а для меня — это родина, сукин ты сын!» На самом деле не территория и не родина, но антиродина, а настоящая родина для меня теперь Америка — извини, Стасик! Но на той, географической родине остался мой читатель, хотя он и переехал частично вместе со мной на другие берега. Увы, только частично. И вот теперь неожиданно начали печатать, и у меня есть надежда стать там самым популярным писателем — для женщин всех возрастов, для урок, для подростков, для евреев, даже для бывшего партактива, который весь испекся. Я там котируюсь выше, чем я есть, потому что импортные товары там всегда ценились выше отечественных. И вот я, как импорт, там нарасхват. К сожалению, я и здесь нарасхват — вот что меня сводит с ума и от чего все время тянет удариться в разврат! Готов отказаться от славы там и от гостей здесь. Как говорили, обращаясь к пчеле, мои далекие предки по отцовской линии: ни жала, ни меда.

***

Кажется, выход из лабиринта найден! Я имею в виду противоречие между моим хвастовством, с помощью которого я добираю то, что недополучил в действительности, и нежеланием делиться моим воображаемым богатством с приезжими. С сегодняшнего дня оставляю все свои кавказские замашки и притворяюсь скупым, коим по сокровенной сути и являюсь. Да, богат, не счесть алмазов каменных, но скуп. Помешался на зелененьких — был щедр рублями и стал скуп долларами. Сказать Тате, чтобы всем жаловалась на мою патологическую скупость, — настоящий, мол, жид!

Что связывает меня с редактором этого ультрапрогрессивного журнала либо с министром их гражданской авиации? Я не был с ними даже знаком в СССР, а теперь мы закадычные друзья и пьем на брудершафт (угощаю, естественно, я). Министр, чья фамилия то ли Психов, то ли Психеев, разрешил нам с Татой купить в «Аэрофлоте» два билета до Москвы и обратно на капусту, которую я там нарубил, а не на валюту, как полагается иностранцам, а редактор печатает в ближайших номерах мою повесть из здешней эмигрантской жизни. Интересно, возьмет он повесть, которую я сейчас пишу и, даст Бог, все-таки допишу, несмотря на то что героев оказалось больше, чем я предполагал поначалу, — нет на них никакого удержу, так и прут, отвлекая от повести о них же, вот черти! Никогда не пил столько, как сейчас, — за компанию, за знакомство, на радостях от сообщений о моих там успехах и от неописуемого счастья, когда они наконец уезжают и я остаюсь один. Вдобавок родственники, в том числе те, о существовании которых не подозревал, живя там.

Я боялся туда ехать, чтобы окончательно там не спиться с друзьями и близкими родственниками, а спиваюсь здесь, с дальними, а то и вовсе не знакомыми мне людьми. Смогу ли я когда-нибудь воспользоваться билетами, которые лично вручил мне министр гражданской авиации по фамилии не то Психов, не то Психеев, — так вот, этот Психов-Психеев обошелся мне в несколько сотен долларов плюс десятидневная отключка: три дня пил с ним, а потом уже не мог остановиться и пил с кем попало, включая самого себя, когда не находилось кого попало. Пил даже с котом: я водку, он — валерьянку. Лучшего собеседника не

встречал — я ему рассказал всю повесть, кроме конца, которого не знаю. От восторга он заурчал и даже лизнул мне руку, которой я открывал советский пузырек с валерьянкой. Кто сменит меня на писательской вахте, если я свалюсь, — сосед-соглядатай либо мой кот Мурр, тем более был прецедент, потому я его так предусмотрительно и назвал в честь знаменитого предшественника? «Житейские воззрения кота Мурра-второго» — недурно, а? Или все-таки оставить «Гость пошел косяком»? Или назвать недвусмысленно и лапидарно: «Жертва гласности», ибо чувствую, к этому дело идет. А коли так, пусть выбирает сосед — ему и карты в руки[3].

На министра гражданской авиации, который оказался бывшим летчиком, я не в обиде — довольно занятный человек, пить с ним одно удовольствие, но сколько я в его приезд набухарил! Как только он нас покинул — кстати, почему-то на самолете «Пан-Американ», — у нас поселился редактор, который, говорят, когда-то застойничал, был лизоблюдом и реакционером, но в новые времена перековался и ходит в записных либералах, что меня, конечно, радует, но при чем здесь, скажите, я? Я с таким трудом вышел из запоя, лакал молочко, как котенок, но благодаря перековавшему мечи на орала без всякой передышки вошел в новый. Мы сидели с ним на кухне, он потягивал купленный мной джин с купленным мною тоником, а я глушил привезенную им сивуху под названием «Сибирская водка» — если бы я не был профессиональный алкаш, мы могли бы купаться в привозимой ими водяре и даже устроить второй Всемирный потоп. Редактор опьянел, расслабился и после того, как я сказал, что Горбачев накрылся со своей партией, решил внести в защиту своего покровителя лирическую ноту.

— Океюшки! — примирительно сказал мой гость и расплылся в известной телезрителям многих стран улыбке на своем колобочном лице. — Но разве мы могли представить каких-нибудь пять лет назад, что будем так вот запросто сидеть за бутылкой джина? — Он почему-то не обратил внимания на то, что я, сберегая ему джин, лакаю его сибирскую сивуху, да мне к тому времени уже было без разницы. — Я — редактор советского журнала, и ты — антисоветский писатель и журналист? Хотя бы за

это мы должны быть благодарны Горбачеву…

То ли я уже нажрался как следует, но до меня никак что-то не доходило, почему я должен благодарить Горбачева за то, что у меня в квартире вот уже вторую неделю живет незнакомый человек, загнавший нас с мамой, женой и детьми в одну комнату, откуда мы все боимся теперь выглянуть, чтобы не наткнуться на него — праздного, пьющего и алчущего задушевных разговоров. Теперь я наконец понимаю, что значит жить в осажденной крепости: синдром Моссада — так это, кажется, называется в психологии? Из комнаты не выйти, в сортир не войти, Тата только и делает, что бегает в магазин, по пути испепеляя меня взглядом, — а сам я что, не страдаю? А эта прорва тем временем пожирает качественный алкоголь и закусь, будто приехал из голодного края, что так и есть, да и я пью не просыхая — это с моим-то сердцем! Дом, в котором я больше не хозяин, превратился в проходной либо в постоялый двор, а точнее, в корчму, а мы все — в корчмарей: генетический рецидив, ибо отцовские предки этим и промышляли, спаивая великий русский народ.

Или он имеет в виду, что при Горбачеве стал свободно разъезжать по заграницам? Так он всегда был выездной, сызмальства, благодаря папаше-маршалу, — и какой еще выездной: в одной Америке — шестнадцать раз!

Допер наконец — мы должны быть благодарны Михаилу Сергеевичу за то, что встретились и познакомились, потому что в предыдущие свои многочисленные сюда наезды он и помыслить, естественно, не мог позвонить мне, а тем более у меня остановиться. Вот тут я не выдерживаю — сколько можно испытывать мое кавказское гостеприимство!

— Ну, знаешь, за то, что мы здесь сидим, извини, мы должны благодарить Брежнева, который разрешил эмиграцию. Где бы мы с тобой иначе сидели? В Москве? Так там мы вроде и знакомы не были, а уж о том, чтобы дружить домами и в гости друг к дружке, — речи не было.

Мой гость насупился, я извинился, сказав, что ничего дурного в виду не имел, а просто хотел уточнить, и, опорожнив его сибирскую, достал из холодильника «Абсолют». Двум смертям не бывать, одной не миновать.

Если я умру, пусть моя смерть послужит в назидание

всем другим «новым американцам».

Что доконало его? Все увеличивающийся поток советских гостей? — иногда в его и без того набитой домочадцами квартире останавливались сразу несколько. Шестичленная делегация из ленинградского журнала, которая приехала готовить специальный номер, посвященный русскому зарубежью? Саша водил их к Тимуру покупать электронику, на Орчард-стрит за дубленками и к Веронике за даровыми книгами — традиционный маршрут советских людей по Нью-Йорку. Старичок парикмахер из «Чародейки», который прибыл с юной женой и ее любовником? Он вынудил Сашу купить у него кассету с наговоренными воспоминаниями о причесанных им кремлевских вождях и открыл в его квартире временный салон красоты, а Саша поставлял ему клиентуру. Каждый такой наезд сопровождался запоями, один страшнее другого. С трудом налаженная было жизнь в эмиграции пошла прахом — все заработанные деньги уходили, чтобы не ударить лицом в грязь перед советскими людьми. Тяжелее всех, конечно, Саше обошлась теща, к которой он в своих записях возвращается неоднократно — я далеко не все из них привел.

К примеру, он вспоминает, как теща обиделась, когда он предложил ей тряхнуть стариной и сварить борщ. «Если не ошибаюсь, — гордо ответила Екатерина Васильевна, — я у вас в гостях». Что ж, борщ у нас здесь продается в стеклянных банках и считается еврейским национальным блюдом — Саша прикупил недостающие ингредиенты, решив поразить тещу своими кулинарными талантами. Теща навалилась на борщ, а откушав, заявила, что у них, в России, готовят куда лучше. «Как была партийной дамой, так и осталась», — записывает Саша. А в другом месте утверждает, что покинул Советский Союз главным образом для того, чтобы никогда больше не видеть своей тещи, иначе она неминуемо разбила бы их с Татой семью. И вот она снова появилась с той же целью, а вслед за собой собиралась прислать другую свою дочь с ее «выводком выродков» — запись злобная и нервозная, и единственное ей объяснение, что Саша дошел до ручки за четыре месяца жизни у них Екатерины Васильевны. Я ее видел только однажды, и даже со стороны она производила страхолюдное впечатление — Саше можно здесь только посочувствовать. Он мне успел шепнуть тогда: «Это мой выкуп за Тату…» После отъезда тещи он еще долго нервически хихикал, потом прошло.

В тетради много совсем коротких записей-заготовок типа «Плачу Ярославной», «Золотая рыбка на посылках», «У них совершенно вылетело из головы слово „спасибо“, все принимают

как должное». Часто повторяется одна и та же фраза: «Как хорошо все-таки мы жили до гласности!» Есть несколько реплик, имеющих лишь косвенное отношение к сюжету задуманной повести:

— У вашего мужа испортился характер.
— Там нечему портиться.

— Я пишу не для вашего журнала, а для вечности.
— Нет худшего адресата.

Три любимых занятия: сидеть за рулем, стучать на машинке и скакать на женщине.

Он записал слова одного нашего общего знакомого, которому, по-видимому, жаловался на засилье гостей.

— У меня не остановится ни человек, ни полчеловека, — сказал этот наш стойкий приятель.

Далее следует запись, как Саша с Татой повели очередного гостя в магазин покупать его жене блузку. Гость забыл размер, а потому воззрился на грудь Таты и даже уже протянул было руку, но вовремя был остановлен Сашей. Гостя это нисколько не смутило, и он сказал:

— У моей, пожалуй, на полпальца больше.

В разгар лета наступил небольшой передых — и вовсе не потому, что, оставив мне ключ и кота, Саша жил на даче и физически становился недоступен для советского гостя, но главным образом благодаря распространившемуся в советской писательской среде слуху, что в нью-йоркскую жару жить у него невозможно, так как квартира на последнем этаже и без кондиционеров. На его месте я бы сам распространил подобные слухи, а он, когда до него это дошло, обиделся и снова запил — вот какой гордый был человек! Всего-то в нем и была грузинская четвертинка, но натура насквозь кавказская — гостеприимство, душа нараспашку, хвастовство.

Хвастовство его и сгубило.

Литература не была для него ни изначальным выбором, ни единственной и самодостаточной страстью, но я бы сказал — покойник меня простит, надеюсь, — чем-то вроде вторичных половых признаков, тем самым украшением, типа павлиньего, которым самец соблазняет самку. Другими словами, помимо красивого лица, печальных глаз и бархатного голоса, он обладал еще писательскими способностями. Я вовсе не хочу свести это к примитиву — был у меня, к примеру, приятель в Ленинграде, ничтожный поэт, который хвастал, что любую уломает, показав ей

удостоверение члена Союза писателей. У моего соседа все это было глубже и тоньше, да и писатель он, безусловно, одаренный, но суть сводилась к тому же, только предъявлял он женщинам не писательское удостоверение, которого у него не было, а писательский талант, который у него был. Я бы даже не назвал его кобелем, бабником, сластолюбцем либо донжуаном, хотя потаскун он был отменный, но тип совершенно другой. Ему и женщины нужны были не сами по себе, а главным образом для самоутверждения, потому что человек он был закомплексованный и комплексующий. По своей природе он был скорее женоненавистник, если только женоненавистничество не было частью его человеконенавистничества. Но последнее он считал благоприобретением и прямо связывал с обрушившейся на него ордой советских гостей. И вот что поразительно: как он был услужлив и угодлив с гостями, а потом говорил и писал о них гадости, точно так же с женщинами — презирал тех, с кем спал. Причем презирал за то, что те ему отдавались, и иного слова, чем «шлюхи», у него для них не было. Разве что синонимы. Да и одна его подружка рассказывала мне, как ужасен он бывал по утрам — зол, раздражителен, ворчлив, придирчив, груб. Или это своего рода любовное похмелье?

Мне трудно понять Сашу — слишком разные мы с ним. Если бы не оставленная им тетрадь с неоконченной повестью, которую я пытаюсь превратить в законченный рассказ, ни при каких условиях не взял бы его в герои. Живя в СССР, я не поддерживал никаких отношений с многочисленными моими родственниками, с ленинградскими друзьями успел разругаться почти со всеми, а московскими не успел обзавестись за два моих предотъездных года в столице, может, парочкой-другой, не больше, так что советский гость мне необременителен, я всегда готов разделить с ним хлеб и кров. Что касается женщин, то я вел и тем более веду сейчас, по причине СПИДа, гигиенический образ жизни, и мои связи на стороне случайны, редки и кратковременны — даже ключ от его квартиры не сильно их увеличил. Саша — полная мне противоположность, особенно в отношении женщин. Он любил прихвастнуть своими победами, а когда бывал навеселе, у него вырывались и вовсе непотребные признания. «Да я со всеми его бабами спал, включая обеих жен», — говорил он мне об одном нашем общем знакомом, близком своем друге. Хотя послужной его список и без того был немал, он добавлял в него и тех женщин, с которыми не был близок, — вот почему я и утверждаю, что это вовсе не тип Селадона или Дон Жуана, которые не стали бы хвастать мнимыми победами.

К примеру, переспав с секретаршей одной голливудской

звезды и раззвонив об этом, Саша спустя некоторое время стал утверждать, что спал с самой актеркой.

— Раньше говорил, что с ее секретаршей, — удивился я.

— С обеими! — нашелся он.

Я понимал, что он лжет, мне было за него неловко, он почувствовал это и после небольшой паузы сказал:

— Я пошутил.

И тут я догадался, что для самоутверждения ему уже мало количества женщин, но важно их качество — говорю сейчас не об их женских прелестях либо любовном мастерстве, но об их статусе. Связь с известной артисткой льстила его самолюбию и добавляла славы — он измыслил эту связь ради красного словца, коего, кстати, был великий мастер. Он застыдился передо мной за свою ложь, а еще больше за то, что в ней признался. «Деградант!» — выругал самого себя. Перед другими он продолжал хвастать своей актеркой, и та, даже не подозревая об этом, ходила в его любовницах — ложь совершенно безопасная ввиду герметической замкнутости нашей эмигрантской жизни, в которой существовала воображаемая голливудская подруга Саши.

Помимо трех детей, нажитых с единственной женой (еще одно доказательство, что он не был донжуаном), у него был внебрачный сын где-то, положим, в Кишиневе, которому Саша исправно посылал вещи и переводил деньги и совершеннолетия которого страшился: этот сын, виденный Сашей только однажды, во младенчестве, сейчас был подросток и мечтал приехать к отцу в Америку. С другой стороны, однако, количество детей и особенно наличие среди них внебрачного казалось Саше наглядной демонстрацией его мужских способностей, что, возможно, так и было — я в этом деле небольшой знаток, у меня всего-навсего один сын, да и тот, с нашей родительской точки зрения, пусть даже необъективной, непутевый (сейчас, к примеру, зачем-то улетел на полгода в Индию и Непал).

И вот неожиданно Саша стал всем говорить, что у него не один внебрачный ребенок, а, по его подсчетам, несколько, и они разбросаны по городам и весям необъятной нашей географической родины. Все это было маловероятно и даже невероятно, учитывая, с какой неохотой даже замужняя советская женщина заводит лишнего ребенка, а уж тем более незамужняя. Впрочем, Саша претендовал и на несколько детей от замужних женщин, хотя там вроде бы были вполне законные, признанные отцы. По-видимому, внебрачные дети казались Саше лишним и более, что ли, убедительным доказательством его мужских достоинств, чем внебрачные связи, ибо означали, что женщины не просто предпочитают его другим мужчинам, но и детей

предпочитают иметь от него, а не от других мужчин, будь то даже их законные и ни о чем не подозревающие мужья.

— Этого никогда нельзя знать наверняка, — усомнился я как-то, когда речь зашла об одной довольно дружной семье, которую я слишком хорошо знал, живя в Москве, а потому сомневался в претензиях Саши на отцовство их единственного отпрыска.

— Какой смысл мне врать? — возразил Саша, и я не нашелся, что ему ответить.

Слухи о его внебрачных детях достигли в конце концов Советского Союза и имели самые неожиданные последствия — воображаемые либо реальные, но внебрачные дети материализовались, заявили о своем существовании и потребовали от новоявленного папаши внимания и помощи. Больше всех, естественно, был потрясен их явлением Саша.

Сначала он стал получать письма от незнакомых ему молодых людей со смутными намеками на его отцовство. Первое такое письмо его рассмешило — он позвал меня, обещал показать «такое, что закачаетесь», я прочел письмо и сказал, что это чистейшей воды шантаж. Однако и такое объяснение его не устраивало: он не хотел, да и не мог брать на себя дополнительные отцовские обязательства, но и отказываться от растущей мужской славы не входило в его планы. Он решил не отвечать на письма, но повсюду о них рассказывал.

— Может, конечно, и вымогатель, а может, и настоящий сын, поди разбери! А разве настоящий сын не может быть одновременно шантажистом? — говорил он с плутовской улыбкой на все еще красивом, хоть и опухшем от пьянства, лице. Такое было ощущение, что он всех перехитрил, но жизнь уже взяла его в оборот, только никто об этом не подозревал, а он гнал от себя подобные мысли.

В очередной его отъезд на дачу я прочел следующие записи на ответчике и в тетради.

> **Ответчик**. Это Петя, говорит Петя. Вы меня не знаете, и я вас не знаю. Но у нас есть одна общая знакомая (хихиканье) — моя мама. Помните Машу Туркину? Семнадцать лет тому в Баку? Я там и родился, мне шестнадцать лет, зовут Петей… Мама сказала, что вы сразу вспомните, как только я скажу: «Маша Туркина, Баку, семнадцать лет назад». Мама просила передать, что все помнит… (всхлипы). Извините, это я так, нервы не выдержали… У меня было тяжелое детство: сами понимаете — безотцовщина. Ребята в школе дразнили. А сейчас русским вообще в Баку жизни нет. Вот я и

приехал… Я здесь совсем один, никого не знаю… По-английски ни гугу. Мама сказала, что вы поможете… Она велела сказать вам одно только слово, всего одно слово… Я никогда никому его не говорил… Папа… (плач). Здравствуй, папочка!

Тетрадь. Уже третий! Две дочери и один сын. Чувствую себя, как зверь в загоне. Если бы не ответчик, пропал бы совсем. Домой возвращаюсь теперь поздно, под покровом ночной тьмы, надвинув на глаза панамку, чтобы не признал незваный сын, если подкарауливает, — почему у нас в доме нет черного хода? Машу Туркину помню, один из шести моих бакинских романов, забавная была — только почему она не сообщила мне о нашем совместном чаде, пока я жил в Советском Союзе? Мой сосед-соглядатай, скорее всего, прав — шантаж. Либо розыгрыш. Если ко мне явятся дети всех моих любовниц, мне каюк. Даже если это мои дети, какое мне до них дело? Неужели невидимый простым взглядом сперматозоид должен быть причиной жизненной привязанности? У меня есть обязанность по отношению к моей семье и трем моим законным, мною взращенным детям, плюс к сыну в ближнем зарубежье — до всех остальных нет никакого дела. Каждому из претендентов я могу вручить сто долларов — и дело с концом, никаких обязательств. Из всех женщин, с которыми спал, я любил только одну: для меня это единственная любовь, а для нее — случайная, быстро наскучившая ей связь. Это было перед самым отъездом, я даже хотел просить обратно советское гражданство. Одного ее слова было бы достаточно! Но какие там слова, как она была ко мне равнодушна, даже в постели, будто я ее умыкнул и взял насильно. Я человек бесслезный, не плакал с пяти лет, это обо мне Пушкин сказал: «Суровый славянин, я слез не проливал», хотя я не славянин, а Пушкин плакал по любому поводу. Плакал я только из-за Лены, и сейчас, вспоминая, плачу. Единственная, от кого я бы признал сына не глядя.

Здесь я, как читатель, насторожился, заподозрив Сашу в сюжетной натяжке, — какая-то фальшивая нота зазвучала в этом, несомненно, искреннем его признании, что единственная любовь в жизни этого самоутверждающегося за счет женщин беспутника была безответной. Я закрыл тетрадь, боясь читать дальше, ведь

даже если сын от любимой женщины и позвонил Саше, то в повести это прозвучало бы натянуто, неправдоподобно. О чем я позабыл, увлекшись чтением, что это не Саша писал повесть, а повесть писала его, он уже не властен был над ее сюжетными ходами. Жизнь сама позаботилась, чтобы Саша избежал тавтологии, хотя его предчувствия оправдались, но в несколько измененном, я бы даже сказал, искаженном, гротескном виде. Пока он прятался от телефонных звонков, раздался дверной, и консьерж попросил его спуститься.

— К вам тут пришли, — сказал мне Руди.

— Пусть поднимется.

— Думаю, лучше вам самому спуститься. С чемоданом.

— Какого черта! Ты не ошибся, Руди? Ты не путаешь меня с другим русским?

— Никаких сомнений — к вам! — сказал Руди и почему-то хихикнул.

Я живо представил белозубый оскал на его иссиня-черном лице.

Передо мной стояла высокая красивая девушка — действительно с чемоданом, скорее с чемоданчиком, но Руди смеялся не из-за этого, его смех был скабрезным и относился к недвусмысленному животу: девушка была на сносях. Смех Руди означал, что теперь уж мне не отвертеться, хорошо еще, что жена на даче, и так далее в том же роде — у наших негров юмор всегда на таком приблизительно уровне. Руди показал пальцем на улицу — там ждало такси. Положение у меня было пиковое — я видел эту восточную красавицу первый раз в жизни, но, с другой стороны, она была беременной, и я без лишних разговоров, ни о чем не спрашивая, расплатился с таксистом, взял чемодан и повел девушку к лифту.

В квартире девушка повела себя как дома. Пожаловалась, что устала с дороги, попросила халат, полотенце и отправилась в ванную, откуда вышла через полчаса ослепительно красивая, напоминая мне смутно кого-то — скорее всего, какую-нибудь актрису. Какую — это, впрочем, играло роль: я втюрился в эту высокую девушку с семимесячным животом с первого взгляда. Как говорят в таких случаях — наповал.

Усадил мою гостью на кухне, выложил на стол то немногое, что обнаружил в нашем обычно полупустом летом холодильнике, и, продолжая мучительно

припоминать, на кого похожа моя гостья, приступил к расспросам, ибо она явно была не из разговорчивых и не торопилась представиться. Я вытягивал из нее ответ за ответом.

— Откуда ты, прекрасное дитя? — попытался я внести ясность пошловатой шуткой, всегда полагая пошлость необходимой смазкой человеческих отношений, так почему не попробовать сейчас?

Она, однако, не откликнулась ни на юмор, ни на пошлость, а просто ответила, что она из Москвы и зовут ее Аня.

Дальше наступила пауза — я суетился у газовой плиты, разогревая сосиски, Аня рассматривала кухню, а заодно и меня — в качестве кухонного аксессуара.

Я налил себе стакан водки, надеясь с его помощью снять напряжение, и пребывал в нерешительности в отношении Ани:

— Вам, наверно, не стоит…

— Нет, почему же? Налейте. Это в первые два месяца не советуют, а сейчас вряд ли повредит плоду.

Про себя я отметил слово «плод» — любая из моих знакомых употребила бы иное, а вслух спросил, не лучше ли тогда ей выпить что-нибудь полегче — у меня была початa бутылка дешевого испанского хереса.

— Я бы предпочла виски, — сказала Аня, и я грешным делом подумал, не принимает ли она мою квартиру за бар, а меня за бармена.

— Виски нет, — сказал я ей. — Но могу сбегать, здесь рядом, за углом.

Мне и в самом деле хотелось хоть на десять минут остаться одному, чтобы поразмыслить над странной ситуацией, в которую влип.

— Зачем суетиться, — сказала Аня. — Что вы пьете, то и я выпью.

Мне стало стыдно за ту дрянь, которую я из экономии пил, но алкоголику не до тонкостей, и я повернул к ней этикеткой полиэтиленовую бутылку самой дешевой здешней водки «Алексий». В конце концов, лучше того дерьма, которое они там лакают и сюда привозят в качестве сувениров.

Гостья воззрилась на «Алексия» с любопытством, налила себе полстакана и залпом выпила — я только и успел поднять свой и сказать: «С приездом».

— Говорят, вы окончательно спиваетесь.

— Ну, это может затянуться на годы, — успокоил я ее.

— Вы не подумайте — я не вмешиваюсь. Спивайтесь на здоровье. А правда, что у вас обнаружили цирроз в запущенной форме?

— Я тоже так думал, но оказалось, что это меня пытались запугать, чтобы я бросил пить. Жена сговорилась с врачом.

— И помогло?

— Как видишь, нет. Кто начал пить, тот будет пить, что бы у него ни обнаружили.

— А правда, что вы изнасиловали свою жену?

Господи, это-то откуда?

— Изнасиловать свою жену невозможно, — выкрутился, как мог, я.

— Даже после того, как она от вас ушла?

Вместо того чтобы отвечать на мои вопросы, она задает их мне, и я, как школьник, отвечаю. Гнать в шею! Впрочем, я услышал и нечто утвердительное по форме, хотя и негативное по содержанию:

— Я читала вашу повесть «Русская Кармен». Мне она не понравилась. Сказать почему?

Господи, этого еще не хватало — сначала допрос с пристрастием, а потом литературная критика. Я попытался ее избежать:

— Мне и самому не нравится, что я пишу, так что можешь не утруждать себя.

Не тут-то было!

— Не кокетничайте. Не нравилось бы — не писали. По крайней мере, не печатали бы.

— Ты права — я бы и не печатал, а может быть, и не писал, но это единственный известный мне способ зарабатывать деньги. К тому же читатели ждут и требуют.

— Вот-вот! Вы и пишете на потребу читателя — отсюда такой сюсюкающий и заискивающий тон ваших сочинений. Вы заняты психологией читателя больше, чем психологией героев. А герой у вас один — вы сами. И к себе вы относитесь умильно. Правда, на отдельные свои недостатки указываете, но в целом такой душка получается, такую жалость у читателя вышибаете, что стыдно читать. Вы для женщин пишете, на них рассчитываете? — И без всякого перехода следующий вопрос: — И вообще, вы кого-нибудь, помимо себя,

любите?

Гнать, и немедленно! Несмотря на семимесячное пузо и сходство неизвестно с кем. Взашей! Высокорослая шлюха! Нае*** где-то живот и, пользуясь им, бьет по авторскому самолюбию! Кто такая? Откуда свалилась?

От растерянности и обиды я выпил еще стакан — даже от Лены я такого не слыхал, хотя уж как она меня унижала за время нашего краткосрочного романа. Из-за нее и уехал — чтобы доказать себя ей. Только что проку — сижу с этой брюхатой потаскухой и выслушиваю гадости.

Тем временем Аня налила себе тоже.

— Вы уже догадались, кто я такая? — спросила она напрямик.

И тут до меня наконец дошло — я узнал ее по интонации, ни у кого в мире больше нет такой интонации! И сразу же понял, кого напоминает мне эта высокая девушка. Вот уж действительно деградант — как сразу не досек? Да и не только интонация! Кто еще таким жестом поправляет упавшие на глаза волосы? Интонации, жесты, даже мимика — все совпадало, а вот лицо было другим.

Аня поняла, что я ее узнал, точнее, не ее узнал, а в ней узнал ту единственную, которую любил и чье имя в любовном отчаянии вытатуировал на левом плече, потому никогда и не раздеваюсь на пляже и сплю с женщинами, только выключив свет. А совсем не из-за того, что у меня непропорционально тощие ноги. Это я сам пустил такой слух для отвода глаз.

— Я боюсь, вы очень примитивный человек и подумаете бог весть что. Мама и не подозревает, что я к вам зайду, она и адреса вашего не знает и не интересуется. Мама замужем, у меня есть сестренка, ей шесть лет, я живу отдельно, снимаю комнату, в Нью-Йорк приехала по приглашению своего одноклассника, он был в меня влюблен, но это, — Аня показала на живот, — не от него. Он будет удивлен, но я не по любви, а чтобы, родив здесь, стать американской гражданкой и никому не быть в тягость. Вам менее всего, я уйду через полчаса, вот вам, кстати, деньги за такси, у меня есть, мне обменяли. — И она вынула из сумочки свои жалкие доллары. — А к вам я приехала, чтобы посмотреть на вас. Шантажировать вас не собираюсь, тем более никакой уверенности, что вы мой отец. Мама мне

ничего никогда не говорила. Я провела самостоятельное расследование. Кое-что сходится — сроки, рост, отдельные черты лица, вот я тоже решила стать писателем, как вы. — Она осеклась и тут же добавила: — Но не таким, как вы. Я хочу писать голую правду про то, как мы несчастны, отвратительны и похотливы. Никаких соплей — все как есть. Я привезла с собой две повести, вам даже не покажу, потому что, судя по вашей прозе, вы страшный ханжа.

Ее неожиданную болтливость я объяснил тем, что она выпила. Я в самом деле ханжа, и она права во всем, что касается моих текстов и их главного героя. Мне и в самом деле себя жалко, но кто еще меня пожалеет на этом свете? Да, у меня роман с самим собой, а этот роман, как известно, никогда не кончается. Мне и сейчас себя жалко, обижаемого этой незнакомой мне девушкой, у которой жесты и интонации той единственной и далекой, а черты лица — мои. Даже если ты не моя дочь, я признаю в тебе мою, потому что от любимой и нелюбящей. И все, что у меня есть, принадлежит тебе, моя знакомая незнакомка, я помогу тебе родить американского гражданина, хоть это и обойдется мне тысяч в семь, если без осложнений — дай Бог, чтобы без осложнений! А так как это не приблизит тебя к американскому гражданству ни на йоту, я женюсь на тебе, уйдя от моей нынешней семьи, потому что люблю тебя как собственную дочь, либо как дочь любимой женщины, либо как саму тебя. А прозу писать больше не буду — давно хотел бросить: никчемное занятие. И пить брошу — сегодня последний раз.

Это действительно был его последний запой — из него он уже не вышел. Он заснул прямо на кухне, уронив голову на стол, а когда проснулся — ни девушки, ни чемоданчика. Это было похоже на сон, тем более его поиски, в которых я ему помогал, оказались безрезультатными. Девушка с семимесячным животом и небольшим чемоданчиком исчезла бесследно, как будто ее никогда и не было.

А была ли она на самом деле? Чем больше он пил, тем сильнее сомневался в ее существовании. Дормен Руди качал головой и, скалясь своей белозубой улыбкой на иссиня-черном лице, говорил, что в доме шестьсот квартир и упомнить всех, кто приходил, он не в состоянии, — Руди беспомощно разводил руками. Саше становилось все хуже, и он склонялся к мысли, что

видение беременной девушки было началом белой горячки и сопутствующих ей галлюцинаций, которые мучили его теперь беспрерывно. Он тосковал и пил, надеясь вызвать прекрасное видение снова, но беременная девушка ему больше в галлюцинациях не являлась, а все какие-то невыносимые упыри и уроды. А потом он и вовсе перестал кого-либо узнавать, но время от времени произносил в бреду ее имя: Анечка.

Я тоже склонен был считать описанную Сашей в его последней заметке встречу небывшей, но художественным вымыслом, в который он сам поверил, либо действительно плодом уже больного воображения. Что-то вроде шизофренического раздвоения личности: беременная девушка олицетворяла его растревоженную совесть либо страх перед наступающей смертью — я не силен во всех этих фрейдистских штучках, говорю наугад. А потом я и вовсе забыл о ней думать за событиями, которые последовали: смерть Саши, панихида, похороны. Пришло много телеграмм из Советского Союза, в том числе от редактора суперрадикального журнала: он выражал глубокое сочувствие семье и просил прислать ему «Сашин гардероб», так как был одного роста с покойным.

Мы хоронили Сережу — Сашу в ненастный день, американский дождь лил без передышки, все стояли, раскрыв зонты, казалось, что и покойник, не выдержав, раскроет свой. «Его призрак кусает сейчас себе локти», — сказал Сашин коллега по здешней газете, где тот подхалтуривал. Я трусовато обернулся — настолько точно это было сказано. Слава богу, призрак невидим. По крайней мере, мне, который единственный знал истинную причину его смерти. Однако, обернувшись в поисках призрака, кусающего себе локти, я заметил высокую беременную девушку с чемоданчиком в руке — она стояла в стороне и одна среди нас была без зонта.

Девушка промокла до нитки, я подошел к ней и предложил свой зонт, сказав, что знаю ее. Разговор не клеился, а похоронную церемонию из-за ливня пришлось свернуть. Мне было жаль с ней расставаться, и я спросил у нее номер телефона. Она сказала, что телефона у нее здесь нет, но она может дать московский, так как сегодня уже улетает. Не знаю зачем, но я записал ее московский телефон.

Вот он: ***-43-93.

Владимир Соловьев
В защиту Сергея Довлатова

Читатель уже знает, возможно, подробности трагедии, разыгравшейся в семье знаменитого писателя. Нет, он умер не от разрыва сердца, как гласит официальная версия, и не от запоев, которыми был знаменит еще больше, чем своими сочинениями. Увы, история совершенно невероятная, в каннибальском духе: писателя убил его собственный сын и съел, чтобы стать самим собой, потому что при жизни литературный классик подавлял своего отпрыска и у того по данной причине взыграл комплекс неполноценности.

Таков вкратце сюжет первого романа Бенджамена Чивера «Плагиатор», который только что появился в нью-йоркских магазинах. Классика зовут Икарус Прентис, а его сына Артур Прентис, но Артур — по перипетиям судьбы и чертам характера — напоминает самого автора, а Икарус подозрительно смахивает на отца автора романа — замечательного американского прозаика Джона Чивера. Между двумя этими реальными людьми и в самом деле сложились непростые, скорее конфликтные отношения, правда, в отличие от своего героя, Бенджамен папу не убивал и не кушал. Тем не менее это колеблемое сходство — то утверждаемое, то исчезающее — придает роману Чивера-младшего особую пикантность, ибо, взяв за основу реальных людей и реальные события, он превратил действительность то ли в трагикомедию, то ли в фарс, то ли в фантасмагорию, то есть наворотил сюжетно такого, что неискушенному читателю впору схватиться за голову. Однако американского читателя неискушенным ну никак не назовешь. Вот почему роман молодого писателя принят критикой хорошо, несмотря даже на экстравагантную, умопомрачительную, людоедскую развязку. Чего не случается в благородных семействах!

Увы, в нашем эмигрантском случае — в отличие от общеамериканского — мы имеем дело с читателем действительно неискушенным. Я имею в виду Марка Поповского, хоть он и проработал в литературе, наверное, уже с полвека. Может быть, дело в его деревянном ухе, какой-то прямо-таки поразительной глухоте к литературе, что не мешает ему быть вполне профессиональным публицистом.

Марк Поповский взял несколько сочинений российских литераторов и отнес их к жанру пасквиля. Пасквилянтами оказались: Валентин Катаев, Григорий Рыскин, Владимир

Войнович, Эдуард Лимонов, Марк Гиршин, Сергей Довлатов и другие. Затесался в эту дурную компанию и Владимир Соловьев с его повестью «Призрак, кусающий себе локти».

Почему я решил ответить Марку, с которым знаком тысячу лет — еще с канувших в Лету советских времен? Ну, во-первых, по той причине, что хоть ежеквартальник Артема Боровика, где напечатаны мои сочинения — среди них «Призрак, кусающий себе локти», — и является одним из самых популярных изданий в Москве («Детектив и политика», тираж 400 тысяч), боюсь, однако, в здешнем нью-йоркском мире он не так легко доступен. Мне звонят знакомые и незнакомые и спрашивают, что за повесть про Сережу Довлатова я написал и где ее достать.

Я объясняю в ответ, что опубликовал рецензию на его «Записные книжки» и некрологический мемуар о нем, а повесть «Призрак, кусающий себе локти» — вовсе не про Сережу Довлатова, а про Сашу Баламута — так зовут героя моей повести. «Да, но Поповский пишет, что герой был пьяницей и бабником, пока не умер от излишеств…» — «Ну, мало ли в нашей литературной среде пьяниц и бабников…» — и я перечисляю знаменитые имена.

Не говоря уже о том, что к пьяницам и бабникам я отношусь совсем иначе, чем Марк. С моей точки зрения, алкоголизм — не порок, а трагедия, что же касается донжуанства, то кто из нас не грешен — не в делах, так в помыслах?

Мой любимый писатель Стивенсон сказал как-то, что человек с воображением не может быть моральным, и даже такой писатель-моралист (плюс ревностный католик), как Честертон, считал, что, если вы не хотите нарушать Десять заповедей, с вами творится что-то неладное. К этому мы еще вернемся, когда дойдем до реального Сергея Довлатова, прозу которого Поповский объявил «безнравственной». А пока что о первой причине, толкнувшей меня к сочинению этого ответа: мой критик пользуется тем, что у здешнего читателя нет возможности сравнить искаженный, тенденциозный пересказ «Призрака, кусающего себе локти» с самой повестью. Не стану ее здесь излагать, скажу только, что к его герою Саше Баламуту отношусь — в отличие от Поповского — с величайшим сочувствием, ибо это трагический персонаж, заблудившийся в собственной жизни. До чего же нужно быть предубежденным человеком, чтобы с таким осуждением и ригоризмом относиться к человеческим слабостям, как Поповский!

Сейчас у меня в Москве — в издательстве «Культура» — вышла книга, общее название которой дала обсуждаемая повесть: «Призрак, кусающий себе локти» (там еще помещены девять

других моих рассказов и повестей плюс несколько эссе о Бродском). Так что у читателя «Нового русского слова» вот-вот появится возможность сравнить оригинал с пересказом. Другими словами, вымысел Марка Поповского — с вымыслом Владимира Соловьева.

Здесь наша тема поневоле раздваивается, и виной тому Марк, который смешал все в одну кучу — эстетику с моралью, получилось, как в доме Облонских. Моя скромная задача — отделить зерно от плевел.

Итак, у меня нет двух мнений о Довлатове — я его высказал как мемуарист и критик, а в повести «Призрак, кусающий себе локти» дал вымышленного героя, у которого есть какие-то общие черты с реальными людьми: скажем, у него, как и у них, два глаза, два уха, один нос плюс какие-то специфические черты. Положа руку на сердце (прошу прощения за старомодный оборот) больше всего в этой повести моего собственного опыта — от приема московско-питерских гостей до любовных переживаний. Творческая эта формула получила парадоксальное выражение благодаря Флоберу, который на вопрос, с кого он написал свою слабую на передок героиню, ответил: «Эмма Бовари — это я!» Тем более мне — ввиду гендерного совпадения — позволено сказать: Саша Баламут — это *я*, хоть я и увеличил ему рост по сравнению с моим, умножил число любовных похождений и сделал куда более обаятельным, чем являюсь *я*, — увы! С пониманием этих вот элементарных законов художества можно уже подыскивать прототипы, которых всегда несколько, а то и множество. Даже в самой великой автобиографии всех времен и народов — «В поисках утраченного времени» — у каждого из главных героев по три-четыре прототипа, тогда как сам Марсель Пруст расстраивается на Марселя, Свана и Блока, а свой гомосексуализм раздает и вовсе неавтобиографическим героям. Не думает же в самом деле Марк Поповский, что среди моих знакомых был только один, пристрастный к зеленому змию! Другой рассказ, который вошел в мой сборник — «Вдовьи слезы, вдовьи чары», — был предварительно напечатан в «Новом русском слове». Так вот, по крайней мере четыре вдовы на нашей родине и три в эмиграции решили, что это про них, причем с двумя я не был даже знаком.

Вообще, с отождествлением вымышленных персонажей с их реальными прототипами надо быть предельно осторожным. Даже в таких очевидных *вроде бы* случаях, как Карнавалов в романе Войновича «Москва-2042» либо Кармазинов у Достоевского в «Бесах». Несомненно, писатели пародируют своих собратьев по перу — соответственно, Солженицына и Тургенева. Но пародия —

это не копия, писатель — не копировальная машина. С другой стороны, пародия — не пасквиль. В сталинские времена «Бесы» и в самом деле проходили по разряду пасквиля, и мне жаль, что Марк Поповский возвращает читателей к той примитивной эпохе — примитивной в обоих планах: эстетическом и нравственном.

Сколько угодно можно искать прообразы литературных персонажей — я отношу эти поиски к занимательному литературоведению, но зачем же приписывать собственную антипатию к реальному человеку автору художественного сочинения? Я отношусь к вымышленному персонажу по имени «Саша Баламут» с куда большим сочувствием, чем Поповский — к реальному человеку по имени «Сергей Довлатов». Поповский пишет: «Думаю, близким Довлатова было действительно тяжело читать Соловьева…» Но неужели он не понимает, что куда тяжелее близким Сережи читать статью, направленную в первую очередь против Довлатова, а не против Лимонова, Войновича и Соловьева. Ведь не Соловьев это пишет, а Поповский:

«…Именно Довлатов в течение многих лет оставался главным в жанре пасквиля».

«Во всех без исключения книгах Довлатова… нет ни одного созданного автором художественного образа».

«Критики упорно обходили нравственную, а точнее безнравственную, сторону его творчества».

И далее, путая божий дар с яичницей, Поповский приводит воспоминания Петра Вайля о Сереже: «Он погружался в хитросплетения взаимоотношений своих знакомых с вожделением почти патологическим, метастазы тут были жутковатые: погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека — без преувеличения, ни одного, даже среди самых родных и близких, — обойденного хищным вниманием Довлатова. Тут он был литературно бескорыстен».

Но здесь речь именно о Сереже, каким мы его знали, а не о писателе Сергее Довлатове, авторе прекрасных рассказов. Все дело в том, что Поповскому не дает покоя Довлатов, а потому он прячется за спины других литераторов, чтобы возвести напраслину на писателя Сергея Довлатова, дать выход своей застарелой, мстительной злобе на него.

Хотелось бы пожелать Поповскому: Марк, кого вы не любите, кому мстите, пишите о нем сами, не заслоняясь другими и не приписывая другим собственных о Довлатове мыслей! И отличайте впредь, пожалуйста, вымышленного литературного персонажа от реального человека — это к Саше Баламуту приехала его незаконнорожденная дочка с семимесячным пузом,

а в жизни Довлатова ничего подобного не случалось! И никакого отношения к прозе Сергея Довлатова не имеют наблюдения Петра Вайля над Сережей Довлатовым, потому что в свою прозу этот большой, сложный, трагический человек входил как в храм, сбросив у его дверей все, что полагал в себе дурным и грязным. У меня иной подход к литературе, мы с Сережей об этом часто спорили на наших бесконечных прогулках окрест 108-й улицы в Форест-Хиллсе; мне казалось, что даже из литературы нельзя творить кумира, но уж никак я не могу назвать его тонко стилизованную прозу безнравственной. Неблагодарное, бессмысленное занятие превращать писателя Довлатова в какого-нибудь Селина, маркиза де Сада или, на худой конец, Андрея Битова. Другой почерк, другой литературный тип, но Марк Поповский с его деревянным ухом этого, увы, не уловил. Так же, как *мнимого* автобиографизма прозы Довлатова, а потому и написал такую обидную для него, будь Сережа жив, фразу, что в его книгах нет ни одного созданного автором художественного образа. Вот уж пальцем в небо! Все персонажи Довлатова смещены супротив реальных, присочинены, а то и полностью вымышлены, хоть и кивают и намекают на какие-то реальные модели.

Среди его моделей был и Марк Поповский — зря Поповский об этом умалчивает. Сережа знал о его обиде и, когда тяжело заболел, написал ему покаянное письмо. А мне он говорил, что сожалеет, что недостаточно замаскировал персонажа, в котором Поповский признал себя и обиделся. Именно эта обида, я думаю, и двигала Марком Поповским, когда он сначала опубликовал в немецком русскоязычном журнале разносную статью о прозе Довлатова, а теперь вот объявил его чуть ли не родоначальником пасквиля в русской диаспорной литературе.

В последнее время Марк Поповский много пишет о морали, о нравственности, о совести. Его статья, на которую я отвечаю, так и называется: «Зачем писателю совесть?» В самом деле — зачем, когда можно так вот запросто отомстить покойнику, прикрываясь высокими принципами как щитом, а в качестве меча использовать чужие сочинения, перевирая их и приписывая авторам собственные чувства и мысли? Воистину: врачу, исцелися сам!

О каких бы литературных явлениях Поповский ни писал — о стихотворном пересказе Библии, на который автор потратил десять лет жизни, или об американских эссе Вайля и Гениса, о прозе Довлатова и Войновича или о повести Владимира Соловьева, — он всех пытается втиснуть в прокрустово ложе убогого морализирования, которое, убежден, к культуре и религии никакого отношения не имеет. Похоже, Марк Поповский

видит иммигрантскую аудиторию детским садом — вот и объясняет неслухам и несмышленышам, что такое хорошо и что такое плохо.

Образ именно такого человека — ханжи, тартюфа, Фомы Фомича Опискина, вселенского учителя — и пытался создать Сергей Довлатов. Недаром Поповский себя в этом персонаже узнал, обиделся и до сих пор не может простить писателя, хоть тот и написал ему перед смертью письмо в жанре *mea culpa.* Насколько я знаю, ему — единственному. А это значит, что никто больше обиды на Довлатова не держал, хоть другие тоже признавали в его героях самих себя, а один даже решил сочинить мемуары, назвав их «Заметки Фимы Друкера» — под этим именем Довлатов вывел его в повести «Иностранка». И еще это значит, что Довлатов сожалел не о написанном, но скорее о вызванных им невольно переживаниях Поповского, и у него хватило благородства повиниться в отсутствующей вине. Так простите же наконец, Марк, покойника, сколько можно, уже расквитались, пора успокоиться. Довлатов вам больше не враг, да и не думаю, что был им когда-либо.

И не приписывайте больше своих тайных чувств другим — прием недостойный!

«Новое русское слово»,
Нью-Йорк,
27 мая 1992 года

Владимир Соловьев
В защиту Владимира Соловьева

Я знаю, в глазах Господа я не такой уж страшный грешник, каким меня некоторые считают. И еще я думаю, что всякая нечистая сила и даже сам дьявол не такие уж грешники в глазах Господа, как вам наговорят те, кто знает о Божьих делах больше Него самого. Что вы скажете?

Уильям Фолкнер

Заранее предупрежу, что ни в какую полемику вступать не собираюсь — не с кем! Дискуссия, начавшись с Сергея Довлатова, тут же переметнулась на Владимира Соловьева, стоило мне замолвить словечко за Сережу. Несколько материалов в «Новом русском слове» с отборной бранью в мой адрес опускаю — не опускаться же мне до такого уровня! Хотя, конечно, когда узнаёшь от одной из неистовых, что моя повесть «Призрак, кусающий себе локти» есть ни больше ни меньше, как подлость, хочется, в ответ на такое жанровое «открытие», назвать это истеричное выступление «статьей-глупостью». Увы, остальные на том же уровне: при полном отсутствии аргументов, зато сколько пены на губах! Что, к примеру, требовать с человека, который не способен на нескольких страницах увязать концы с концами: вначале представляется как «внимательный читатель его (то есть Владимира Соловьева) статей и прозы», а в конце заявляет, что «отворачивается от Соловьева и его писаний». Либо рассказывает, что в библиотечном экземпляре моего «Романа с эпиграфами» («Три еврея») кто-то вырвал страницы, «пресекая таким образом их распространение». Я уж не говорю о том, что стыдно «квалифицированному читателю», как именует себя данная авторша, рекламировать столь варварское обращение с книгой, но этот пример свидетельствует о прямо противоположном — общеизвестно, что читатели вырывают из книг именно те страницы, которые им больше всего нравятся. Записываю этот пример в свой актив и готов читателю, который так поступил из книголюбия и по бедности, выслать бесплатно целехонький экземпляр «Трех евреев».

Не поленился и зашел в ближайшую библиотеку в Форест-

Хиллсе и на тамошнем экземпляре «Трех евреев» обнаружил штампов о выдаче больше, чем на детективах Агаты Кристи. Отношу это не только к достоинствам «Трех евреев», но отчасти и к обратному воздействию на читателей ругани по поводу моего романа — это и есть то самое «негативное паблисити», о котором мечтает чуть ли не каждый американский автор. Не по той же ли причине заказы, которые я получаю в последнее время на «Трех евреев», хотя рекламу дал на наши с Леной Клепиковой кремлевские исследования? В таком случае, мне ничего не остается, как поблагодарить редакцию «Нового русского слова» за регулярную публикацию инсинуаций в мой адрес.

Или, совсем уж распоясавшись, «квалифицированный читатель» пишет, что в прежние добрые времена Соловьев был бы вызван на дуэль и получил пулю в лоб. Господи, но дуэль — это же не убийство, у противников равные возможности получить пулю в лоб, тем более что я довольно искусен именно в стрельбе — перед тем как приобрести пистолет, прошел специальную подготовку. Здесь, в Америке, а не в России, где я, по утверждению общеизвестного ленинградского стукача, которого подробно описал в «Трех евреях», являюсь майором КГБ. (Обидно вот что — почему майором, а не, скажем, генералом!) И приобрел я оружие по совету совсем иной организации, когда после выхода нашей книги об Андропове — при его еще жизни! — ситуация вокруг нас была оценена как опасная.

Может, зря я здесь разглагольствую об отличиях дуэли от убийства? «Пуля в лоб», «пресечение путей распространения» — то есть уничтожение автора вместе с его книгой? Именно так и поступали два исторических близнеца — Сталин и Гитлер.

Так держать, «квалифицированный читатель»!

Зато другой сквернослов смирился с реальностью и признается, что «понимает всю безнадежность борьбы с феноменом Соловьева», хоть в мечтах лелеет те же самые времена пресечения и уничтожения. Так прямо и пишет, не стесняется: «Сегодня Соловьеву с его профессиональным держанием носа по ветру везет вдвойне, потому как на бывшей родине почти скопирована западная модель свободы слова и печати». Будто существует какая другая!

Согласен — мне повезло: при отсутствии свободы я бы и мечтать не мог, чтобы мои книги были напечатаны у меня на родине. Так что, помимо общих, у меня есть еще личные основания радоваться, что с тоталитаризмом в России покончено, — надеюсь, навсегда. Авторы больше не истребляемы, а книги не уничтожаемы — можно только посочувствовать тем, кто мечтает о прежних временах и нравах.

Всей этой пишущей братии можно также посочувствовать в их суетном желании писать, не имея на то ни ума, ни таланта и не умея связать двух слов. Я с огромным уважением отношусь к читателям, но не к окололитературной дворне, которую презирали дружно все достойные литераторы — от Пушкина до Мандельштама. И пишу я эту статью вовсе не как ответ озлобленным неудачникам, а как разъяснение читателям, ибо хоть брань на вороту не виснет, но под аккомпанемент брани мне сочиняется биография и приписываются взгляды, которые я не разделяю. Кем только не объявляли меня со страниц газеты, которая одновременно напечатала, наверное, добрую сотню моих сочинений в разных жанрах — политические комментарии, критические статьи, рассказы, главы из «Трех евреев», полемику наконец. Удивить меня теперь трудно, коли я уже побывал в майорах КГБ, русофобах, антисемитах — прямо-таки идеологический многостаночник! Я взял себе за правило не обижаться, потому что на обиженных Богом не обижаются. Но когда мне приписывают слова, которые я никогда никому не говорил — и не мог говорить! — либо перевирают мою писательскую судьбу, я вынужден — против своего желания — взяться за перо, а точнее, сесть за компьютер.

К примеру, узнаю, что «написал о покойной матери рассказ с омерзительными подробностями», а в телефонном разговоре объяснил, что это «художественное сочинение к реальной маме не имеет отношения». Вот уж, чистой воды вранье — никогда ничего подобного я, естественно, не объяснял и, более того, в следующем моем рассказе, «Тринадцатое озеро», признался, что в «Умирающем голосе моей мамы» — в отличие от других новелл — «решил не лукавить и написать все, как есть, точнее, как было» (оба эти сочинения были напечатаны в «Новом русском слове»). Что же касается «омерзительных подробностей», то это тоже не моя выдумка — это у смерти омерзительные черты, в чем каждому из нас предстоит убедиться на личном опыте, включая моего бостонского хулителя, который трусливо подписал свой поклеп псевдонимом.

Конечно, можно воспринимать искусство, исходя из хрестоматийного трюизма о том, что в человеке все должно быть прекрасно, либо изрекать школьные пошлости, как это делает «квалифицированный читатель», о создании художественных образов — и это после Тынянова, Проба, Якобсона, Леви-Стросса! Уши, господа, вянут от вашей эстетической стоеросовости и нафталинности.

Бостонский инкогнито пишет о «преуспевающем» Владимире Соловьеве — вот что не дает ему покоя! Так вот, для этого

преуспевания вовсе не нужно держать нос по ветру — совсем даже наоборот.

Необходима была некоторая решительность, чтобы после двух лет научной работы в Колумбийском университете и Куинс-колледже отказаться от других университетских предложений и уйти на вольные хлеба в американскую журналистику, где конкуренция — дай бог! И ни одной американской газете не нужны были от двух русских иммигрантов статьи, которые могли написать их собственные авторы, а нужны были оригинальные — только такие они и печатали. И мы с Леной писали их по нескольку в месяц по-английски — каторжная работа! А потом нас заметил и взял для своих газет в качестве регулярных колумнистов один из самых крупных американских газетных синдикатов — *United Features Syndicate.* С одной стороны, это было хорошо — постоянная работа, но с другой, это была работа совсем уж на измор: надо было писать еще чаще и еще оригинальнее.

А освободились мы от этой изморной работы только после того, как получили от издательства *Macmillan* шестизначный аванс под книгу об Андропове, договор на которую был с нами заключен благодаря тому, что наши политические комментарии были уже известны и однажды — в 1981 году — мы оказались даже среди трех финалистов на Пулицеровскую премию. Условия договора были, однако, весьма жесткими — мы должны были сдать английский вариант книги через три месяца (схожие условия были поставлены нам в прошлом году издательством *Putnam,* когда мы писали книгу о Ельцине). Мы работали по 18 часов каждый день; прошу прощения за подробности, но лично мне даже в уборную зайти было некогда — слава богу, у меня крепкий мочевой пузырь. Что касается результатов, то не нам, конечно, о них судить, но когда бостонский аноним ссылается на отзыв «Русской мысли», который мне неизвестен, то я вынужден, в свою очередь, сослаться на *New York Times, Los Angeles Times, Newsday, New York Post* и другие престижные издания — к примеру, среди присланных издательством двадцати семи рецензий на книгу о Ельцине только одна критическая (за то, что мы сравниваем Ельцина и Горбачева не в пользу последнего). Приблизительно то же соотношение и в рецензиях на наши предыдущие книги. Конечно, можно, живя в США, ориентироваться на выходящую в Париже крошечным тиражом доморощенную «Русскую мысль» — вольному воля, но успех книги, слава богу, зависит не от нее.

«Соловьев и Клепикова обнажают динамику кремлевской борьбы за власть — то, что никогда не встретишь ни в учебниках,

ни в американской печати о Советском Союзе», — писал один из самых известных журналистов Макс Лернер в *New York Post,* а другой знаменитый журналист, Гаррисон Солсбери из *New York Times*, назвал нас «исключительно талантливыми экспертами»: «Как ветеран-советолог, я со всей ответственностью утверждаю, что вклад Владимира Соловьева и Елены Клепиковой в дело изучения СССР по своему качеству является непревзойденным со времени их приезда в Америку».

«Это великолепное чтение», — заканчивает свою рецензию на нашу книгу о Ельцине в *Los Angeles Times* британский журналист Мартин Уокер, а в самой рецензии припоминает, что, когда он работал корреспондентом в Москве, высокопоставленные советские чиновники зачитывали до дыр его экземпляр нашей книги об Андропове и подтверждали, что в ней все правда. Переводчик и романист Ричард Лури пишет в *Newsday* об «очаровании нашей книги» о Ельцине, а советолог Димитрий Саймес в *New York Times* называет ее «самым проницательным исследованием». «Замечательное проникновение в суть конфликтов в Советском Союзе», «сильная книга», «эта книга больше, чем биография» — и так далее, я мог бы цитировать и цитировать американскую прессу, а ведь есть еще британская, немецкая, итальянская, японская, испанская, португальская и прочая! Какой же наглостью надо обладать, чтобы зачеркивать эти книги, ссылаясь на провинциальную газетенку в Париже либо на письмо читателя, который люто ненавидит Ельцина!

Кстати, о держании носа по ветру — в промежутке между второй и третьей книгой мы отказались от финансово заманчивого предложения написать биографию Горбачева, потому что относились к нему скорее отрицательно, а издательство ожидало от нас книги с уклоном в панегирик. Мы ждали своего героя — и дождались его. Я вообще считаю этот мир не совсем безнадежным — кое-что в нем иногда вознаграждается.

Речь идет не о Владимире Соловьеве, но о читателях «Нового русского слова» — это против них, а не против меня ведется кампания, чтобы их оболванить, дезинформировать и дезориентировать. Что ни слово в этой площадной ругани, то ложь — еще хорошо, что фамилию «Соловьев» не перевирают! Я объединяю эти несколько статьей, потому что в них много общего, да на каждый чих и не наздравствуешься. Самое скверное, однако, что эти брехуны осмеливаются писать о совести и чести — не в коня корм!

Что же касается соотношения нравственности и искусства — возвращаясь к Довлатову и моей повести о человеке, похожем на Довлатова, — то я вспоминаю заметку Пушкина на полях статьи

князя Петра Вяземского: «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их одна поэтическая сторона». Но это так, к слову.

Каково мне читать о моих мнимых пороках, когда я знаю за собой настоящие? Вот уж в самом деле, «мир меня ловил и не поймал», как гласит эпитафия на могиле Сковороды. Я довольно критично отношусь к самому себе — и к своей жизни, и к тому, что пишу. Чужие книги я люблю не меньше, чем свои, — Аксенова, Алешковского, Войновича, Довлатова, Искандера, Лимонова, Петрушевской, Солженицына, обоих Ерофеевых — покойного Венедикта и здравствующего Виктора. Недосягаемым образцом для меня являются многие стихи, хотя в поэзии я предпочитаю пусть плохих, но настоящих поэтов — хорошим липовым (к последним я отношу Кушнера). Когда-то я много занимался критикой, по которой, честно говоря, тоскую: прочесть о себе настоящую критику — моя мечта, которая, увы, редко сбывается. (Одна из таких редкостей — статья Ирины Служевской о «Романе с эпиграфами» в «Новом русском слове» в прошлом году.) Иногда меня самого подмывает нарушить литературные правила и написать статью о себе самом. И, честное слово, это была бы статья нелицеприятная — уж кто-кто, а Соловьев бы Соловьева не пощадил! Я себя и не пощадил однажды, когда сочинил своих «Трех евреев», — не как литератора, а как человека. Необходимо было мужество, и чтобы писать роман, и чтобы его хранить, и чтобы пересылать через кордон, и чтобы спустя 15 лет опубликовать — ведь я знал, на что иду, ведь это я сам вызвал огонь на себя, ведь это с моих слов теперь пишут обо мне, пусть перевирая и клевеща! Или секреты надо держать в секрете, чтобы не нарушить ни литературный, ни жизненный баланс? О содеянном не жалею и подумываю сейчас — а не пришла ли пора опубликовать мою следующую книгу, также сочиненную еще в Советском Союзе, но не с ленинградским, а московским сюжетом?

Как ни относись к «Трем евреям», ни об одной другой книге то же, к примеру, «Новое русское слово» не писало столько, сколько об этом романе. Даже если сделать поправку на то, что ряд откликов носит организованный характер: мне рассказывал один литератор, как другой литератор (Игорь Ефимов) уговаривал его написать разносную статью о «Трех евреях», — он отказался, но кто-то ведь и согласился.

Помимо прочего, мне помогает знание истории литературы — многие впоследствии знаменитые книги были встречены поначалу в штыки ввиду того нового содержания, которое несли в себе. К примеру, «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и «Джут

Незаметный» Томаса Харди подверглись остервенелому разносу, когда впервые были напечатаны. Что ж, теперь уж можно определенно сказать, что эти злобные филиппики в большей мере характеризовали хулителей, чем будущего классика английской литературы. Я себя не сравниваю — боже упаси, но меня удивляет невежество или беспамятство моих злопыхателей.

Скорее все-таки невежество.

Лично мне грех жаловаться — «Три еврея», помимо отдельных изданий, широко печатается в периодике по обе стороны Атлантики по-русски и по-английски — от *Partisan Review* и «Нового русского слова» до «Искусства кино» и «Совершенно секретно». Мне почему-то кажется, что критика в метрополии будет к роману благожелательнее, чем эмиграционная.

Вот почему этот мой ответ — последний: никому больше на страницах «Нового русского слова» я по поводу «Трех евреев» или «Призрака, кусающего себе локти» отвечать не буду. Даже если в следующий раз напишут, что я зарезал мать, жену, любовницу и сына. У меня и времени больше нету.

Резвитесь, господа, без меня!

«Новое русское слово»,
Нью-Йорк,
14 июля 1992 года

Раздел II. Бродский и Довлатов

Елена Клепикова. Мытарь, или Трижды начинающий писатель

Владимир Соловьев делал в Нью-Йорке фильм «Мой сосед Сережа Довлатов». Первый о нем фильм. Помимо самого Довлатова, в фильме были задействованы те, кто мог о нем интересно вспомнить. Пригласили и меня вспоминать. Оказалось, мне было что. Более того, моя память о Сереже (я только так его звала и впредь буду), и прежде всего — о ленинградском горемычном Сереже, безуспешно обивающем пятнадцать лет напролет пороги журнальных редакций, заработала так интенсивно, что фильмовой вставки не хватило и захотелось оглянуться еще раз уже на бумаге. Эта книга — еще одна, новая, последняя попытка понять этого трагического человека. Просечь колоссальный Сережин блеф. Разгадать стратегию этого литературного неудачника, который, игнорируя тотальный остракизм, продолжает как ни в чем не бывало виртуальное существование в литературе, где его нет и где он никто. Что дает ему этот театр абсурда, где Довлатов один на один с самим с собой в пустом зале: автор — актер — зритель?

Как-то повелось вспоминать и писать о Довлатове — с легкой руки его автогероя — иронично, светло и в мажоре. По мотивам и в тон его эмоционально бестрепетной прозы. У меня в дневнике за ноябрь 1971 года записано: «Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он — писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать».

Вспоминаю мытаря, поставившего рекорд долготерпения. Убившего годы, чтобы настичь советского гутенберга. И не напечатавшего ни строчки. Выделяю три исхода — по месту действия — Сережиных попыток материализоваться в печатном слове: в Ленинграде, Таллине, Нью-Йорке.

Ленинград: хождение по мукам

Семидесятые, их первая половина. Я работала в «Авроре» редактором прозы. Был такой молодежный журнал, как бы ленинградский подвид «Юности». Его давно и бесславно схоронили как никому не интересный и ничем не памятный труп.

Однако рождение «Авроры» летом 1969 года было событием чрезвычайным и крайне желательным для всех пишущих питерцев. Было отчего ликовать — впервые за много-много лет,

чуть ли не с зачина советской власти, в городе возник новый литературный, и притом молодежный, журнал. То, что это был ежемесячник для молодых, предполагало — даже для идеологических кураторов журнала — необходимую дозу экспериментаторства, хотя бы тонового куража, хотя бы стилевого модернизма.

Короче, журналу была дана некоторая, очень скудная и загадочная, свобода в выборе авторов и их текстов. На их партийной фене, молодежный журнал должен быть боевым, задорным, зубастым и клыкастым. Не знаю, куда уполз этот крокодил. На самом деле быстро набирала убойную силу реакция после оттепельной эйфории, которая и так не слишком была эйфорийна в городе на Неве. Новорожденная «Аврора», начав неплохо ползать, самостоятельно ходить так и не научилась. Ее грозно опекали со всех сторон обкомы партии, комсомола и кураторы из КГБ.

Не только питерцы радовались и питали надежды. Новый печатный орган был моментально замечен и взят на прицел и такими, казалось бы, оттепельными суперменами, вкусившими кумирную славу, как Евтушенко, Окуджава, Фазиль Искандер, Аксенов, Стругацкие и злополучный (о чем ниже) Владимир Высоцкий. Не говоря уже о всесоюзных писателях среднего и ниже разбора. Просто к тому времени от оттепельного творческого разлива по стране не осталось ни ручейка, ни просто капели.

На первых порах «Аврора» была бездомна, и вся редакция — тринадцать человек — ютилась в двух комнатушках, уступленных из своих барственных апартаментов детским журналом «Костер». Горела плитка, на ней вздорно клокотал чайник, машинистка стучала застуженными пальцами с утра до позднего вечера и с обидой намекала на повышение зарплаты. Нагая лампочка в двести ватт тщетно силилась прострелить в упор дымовую завесу от курева. Это было время беспочвенного энтузиазма, либеральных замахов и совершенно утопических раскладов будущего «Авроры». Готовили по три варианта — если «там» зарежут — одного журнального номера.

Однажды возник на пороге, хватанув дверь настежь, совершенно не литературный на вид, слегка напряженный и растерянный — не знал, куда идет и как примут, — мастодонтный в зимнем прикиде Сережа Довлатов. И главная редакторша, не знавшая в лицо творческую молодежь, еще успела с раздражением крикнуть ему, что не туда сунулся, ошибся дверью, вот и закрой ее, сделай милость, с другой стороны. Сережа остолбенел, но быстро справился и даже пошутил о

прелестях военного коммунизма.

Так я впервые с ним встретилась в рабочем, так сказать, порядке, хотя была знакома с его рассказами и с ним лично — через Владимира Соловьева, который с Сережей приятельствовал и даже сделал вступительное слово к его авторскому (единственному на родине) вечеру в Доме писателей (где Довлатов парадоксально и весело солировал на пару с Гейне, чье 170-летие отмечалось в тот же день и час, и Сережа клятвенно заверял, что его, а не великого немца, поклонники значительно преобладали). Соловьев, в свои 25 лет уже заметный в столицах критик, был одержим открытием «новых имен» в литературе и искусстве. Разглядев в Довлатове оригинальный и редкостный (юмор — всегда в дефиците) талант, он тут же предложил эту поощряемую в середине 60-х годов рубрику в газеты и журналы. Отказ был единодушен и крут. Сережа уже тогда не лез в ворота цензурованной литературы и с самого безобидного, казалось бы, творческого начала был осужден на изгойскую литературную жизнь, обречен на горестную бездебютность. А пока что Володя приносил домой папочки с его рассказами, а потом уже я, работая с 69-го года в «Авроре», лет пять снабжала его интересными для нас обоих образцами все растущего, все мужающего мастерства профессионального писателя Довлатова, которому, как оказалось, пожизненно на родине был заказан путь в печать. Но вернемся к Сереже, который, наверное, уже заждался, заскочив впервые в негостеприимную «Аврору».

Прослышав о новомодном, да еще молодежном журнале, Довлатов принес сразу целую пачку рассказов, чего никогда не делал впоследствии, тщательно их дозируя. Очевидно, он где-то прослышал байку о либеральном уклоне и дерзости «Авроры».

Я хорошо запомнила наш разговор с Сережей по причине, совершенно посторонней, хотя нелепой и досадной и преследующей его до конца хождений в «Аврору». При переезде редакции в новое помещение на Литейном Сережины рукописи затерялись в общем бардаке и были очень не скоро, года через два, найдены в архивах журнала «Костер».

А тогда в моем углу, где было ни присесть, ни притулиться, Сережа прошелся насчет образной скудости названия журнала по крейсеру. Совсем нет, говорю в шутку, журнал назван в честь розоперстой богини, дочери Посейдона, встающей — что ни утро — из синих океанских вод. Коли так, мгновенно реагирует Сережа, смотрите — вот орудийные жерла легендарного крейсера берут на прицел вашу розоперстую, ни о чем таком не подозревающую богиню. Ба-бах! — и нет богини. Только засраный крейсер. Да и тот заношен до дыр. Есть дрянные сигареты

«Аврора», есть соименное швейное объединение, бассейн, кинотеатр, спортивный комплекс, ясли, мукомольный комбинат, закрытый военный завод и дом для престарелых коммунистов. Великий-могучий, отчего ты так иссяк? И Сережа, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: течет революционная река «Нева», над ней горит пятиконечная «Звезда», стоит на приколе «Аврора». А на берегу, возле Смольного, пылает в экстазе патриотизма «Костер», зажженный внуками Ильича.

Что-то в этом роде. Сережина версия была точной и смешной. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории, — никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактрисса смотрела хмуро. И ни один, из толстой папки, его рассказ не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен начальством для первых «авроровских» залпов.

Когда «Аврора» переехала в свои апартаменты на Литейном, Довлатов стал регулярно, примерно раз в два-три месяца, забегать с новой порцией рассказов. До «Авроры» он успевал побывать и уже получить отказы в «Неве» и «Звезде». Ему было за тридцать, он не утратил веру в разумность вещей и производил впечатление начинающего.

В первые «авроровские» годы сюда заходили, взволнованно и мечтательно, Стругацкие, Битов, Вахтин, Валерий Попов, Володин, Рейн, Соснора, Голявкин, Конецкий — весь питерский либерально-литературный истеблишмент. Да и московский наведывался. Случалось, их мечты сбывались. Бывало и так, что «Аврора», по принципиальному самодурству питерской цензуры, печатала то, что запрещалось цензурой московской. Так случилось с Фазилем Искандером, Стругацкими, Петрушевской. Так никогда не случилось с Бродским, Высоцким, Довлатовым. Чемпионом в пробивании своих вещей был Битов. У него была своя отработанная тактика давления на главного редактора. При отказе он изображал кровную, готовую в слезы обиду. Стоял надувшись в редакторском кабинете, смотрел в пол, поигрывая ключами в кармане брюк, говорил глухо, отрывисто, горько — и неизменно выговаривал аванс, кавказскую командировку и печатный верняк.

***

Именно в «Авроре» была похоронена последняя надежда приникнуть к советскому печатному слову у Владимира

Высоцкого. Несмотря на его гремучую славу, на то, что его основные тексты были на всеобщем — по Союзу — слуху, он как-то умильно, застенчиво, скромно мечтал напечататься в какой-нибудь журнальной книжке. Или — совсем запредельная мечта — в своей собственной книге стихов. Он мечтал слыть поэтом, а не бардом. Бардностью он тогда начинал тяготиться.

Был ему отворот-поворот во всех столичных и периферийных журналах. От издательств — еще и покруче. И тут в Ленинграде взошла незаметно и непонятно как «Аврора». Высоцкий выслал подборку стихов — почти все о войне. Горько патриотичны, скупо лиричны, тонально на диво — для неистового барда — умеренны, стихи эти не только не выставляли, а как бы даже скрывали свое скандальное авторство и были актуально приурочены к какой-то годовщине начала или конца войны. Комар носу не подточит. И у обкома не нашлось аргументов, хотя искали и продолжали искать. Цепенели от взрывного авторского имени.

Помню эту подборку стихов Высоцкого сначала в гранках, затем в верстке, в таких больших открытых листах. С картинками в духе сурового реализма — с военной тематикой. Поздно вечером Высоцкий с гитарой (обещалась и Марина Влади, но не прельстилась «Авророй») прибыл в редакцию, где его поджидали, помимо «авроровских» сотрудников и гостей, кое-кто и без приглашения, но это было нормально. И два часа с одним перерывом Высоцкий честно отрабатывал — пока не потерял голос — свой единственный шанс стать советским поэтом. Только тогда обком среагировал как надо. Очень неприятно, судя по реакции Высоцкого, когда тебя подбивают у самого финиша. Вскоре и Довлатову предстояло, и еще круче, испытать такое в Таллине.

Когда Довлатов допытывался однажды, отчего его не печатают, я привела идиотский, как теперь понимаю, пример тотальной обструкции, которую ленинградские власти устроили поэме Евгения Евтушенко, отрезав все пути для компромиссного лавирования, к чему поэт был очень склонен. Но Довлатова этот случай глубоко поразил — не редкостной стервозностью питерской цензуры, а готовностью к любым компромиссам и отсутствию всяких творческих притязаний у самого поэта. Каторжные и стыдные условия советского успеха высветились тогда перед Сережей, еще питавшим кой-какие иллюзии на этот счет, с резкой четкостью. Вот как было дело.

Весной 1970 года Евтушенко самолично прибыл в «Аврору» с поэмой об Америке. Позднее она была названа с некрофильским душком — «Под кожей статуи Свободы».

Открыто выступив против оккупации Чехословакии, глашатай

хрущевских свобод был временно отлучен от печатного слова и даже стал на полгода невыездным, что явилось для поэта-гастролера неописуемой трагедией.

Абсурд зашел так далеко, что Евтушенко не мог напечатать свою антиамериканскую поэму в разгар антиамериканской истерии. Одна надежда была на провинцию. Точнее, на столицу русской провинции — Ленинград: на прогрессивный по неведению молодежный журнал «Аврора».

К поэме прилагались шикарные фотографии: Евтушенко и Роберт Кеннеди с бокалами в руках, поэт и все одиннадцать детей претендента на американский престол, поэт в обнимку со статуей Свободы.

Рукопись немедленно исчезла из редакции. «Там» ее читали страстно, въедливо, с идеологической лупой в руках, с миноискателем. Читали про себя и вслух, с утра и до позднего вечера. Выискивали подвохи, засады, западни и ловушки, теракты и склады с оружием. Читали сразу несколько организаций — ревниво, ревностно и не делясь результатами.

В итоге замечаний «по существу» набралось 31. Евтушенко в веселой ярости кусал заграничный «паркер». Как ни странно, но эта адская работа вызывала в нем приступ азарта, похожий на мстительное вдохновение.

В кабинете главного редактора поэт быстро просмотрел цензурованную рукопись, завернул шторы, включил свет, попросил бумагу и черный кофе. К шести вечера он встал из-за стола. Тридцать одна правка — вставки, замены и подмены были сделаны.

К следующему вечеру поэма легла на редакторский стол с двадцатью четырьмя тактическими замечаниями, не считая курьезных. Евтушенко просидел в редакции ночь, и к утру новую поэму (ибо уже не оставалось ни одной не правленной строки) уже читали «там». К вечеру они внесли 18 «конструктивных предложений» по коренной переделке поэмы. Евтушенко удовлетворил их все, и даже — наугад — четыре сверх нормы.

Тогда, наконец, обком сдался. На четвертые сутки этого яростного поединка поэта с цензурой в редакции заурчал черный телефон, и обмирающая от страха наша редакторша выслушала грозный вердикт: передайте Евгению Евтушенко, что его поэма, несмотря на многократные исправления, напечатана быть не может, ибо дает повод к ухудшению отношений между СССР и США.

Довлатов высказался так: у Евтушенко стих не натуральный, а из синтетики.

Сдается мне, что из этого эпизода Довлатов извлек для себя

мрачноватый итог: если всесоюзный кумир Евтушенко из кожи лезет ублажить цензуру, то как быть ему, безвестному автору, склонному к прямоговорению, пусть и утепленному юмором, но юмор этот репризен и в упор, как в анекдоте? Получая из редакций абсолютно немотивированные отказы, а только «не подходит» и «не годится», Довлатова соблазняло рационально вычислить признаки своего несоответствия печатным стандартам эпохи. Он не хотел, да и не мог виртуозно, как Евтушенко, халтурить, но был совсем не прочь достойно соответствовать.

Изо всех сил он избегал, пока мог, социального отщепенства, литературного андеграунда, запальчивого нонконформизма. Он даже трогательно пробовал по редакциям настаивать на своих правах — на липовых правах автора-профессионала, каким себя ощущал, — публиковаться в отечестве.

Этот правовой напор в Довлатове исходил, конечно, из его трехлетней работы в государственном секторе, когда он был хоть и малым, но полномочным представителем власти в зоне. И легализация его писательства одновременно утолила бы его ущемленное гражданское чувство.

Никто его не принимал всерьез — как оригинального писателя или даже вообще как писателя. Помню у Битова, у Бродского, у Марамзина, у Ефимова, у Гордина, да у многих такой пренебрежительный на мой вопрос отмах: «А-а, Довлатов» — его воспринимали как легковеса. Наперекор его телесному громадью. Что любопытно: почти все эти, важные для Довлатова, питерские «состоявшиеся» молодые писатели, игнорируя его, вовсе его не читали, вспоминая сейчас только самые ранние его рассказы. А он писательствовал на родине без малого пятнадцать лет. Точно сказано: «Сережа был для них никто» — в смысле известности и пренебрежения им его коллег.

Вот здесь я хочу, ломая хронологию и связность своего же рассказа, встрять и возразить этому самодовольному и спесивому питерскому литературному бомонду, которые нынче все в чинах, все литературные генералы, — вроде бы чего еще им надо, а все едино толкуют о ленинградском литературном неудачнике Довлатове: «несостоявшийся писатель», «ничем не примечательный», «писал какие-то жалкие фельетоны…», и даже — что печатать его тогда было совершенно невозможно, просто смешно…

> Как очевидец, опровергну. И начну с очевидностей. Каждый живой писатель растет и изменяется. Не может талантливый автор (ощущающий свой врожденный дар как судьбу) работать пятнадцать кряду лет в литературе

и не стать хотя бы крепким профи (в чем ему отказывают бывшие коллеги, нынешние литературные сановники). Довлатов пошел дальше — он добивался мастерства, трудоемко осваивал технику писания, разрабатывал свой, предельного лаконизма-ясности-простоты, стиль, тиранил слова, извлекая из каждого максимальную выразительность, исподволь приобретал навык логичного и точного письма (об изяществе, артистизме, виртуозности он тогда не заботился) — да что там! У «неказистого» писателя Довлатова уже в начале семидесятых был под рукой солидный творческий инструментарий. Он хотел стать мастером, и он им стал — мастером короткой формы.

Я пишу не апологию Довлатову, а для восстановления справедливости, к которой, всячески униженный в своем писательстве, Сережа частенько взывал. О ленинградском писателе Довлатове — его ошибках и достижениях — я еще расскажу в следующих главах. Но здесь застолблю: именно в Ленинграде, непрерывно экспериментируя и неустанно работая, невидимый на страницах журналов и книг Довлатов стал весьма значительным писателем, притом автором оригинальным, особенным, ни на кого не похожим, ибо учился у самого себя. Никому не подражал, не завидовал, ни от кого не брал и не создавал кумиров (литературные кумиры у него водились до опытности). Повторяю, он знал цену своим вещам.

Нет, не в Америке вдруг возник, как феникс из своего же пепла, хороший писатель Довлатов. Знаю, что в эмиграции он отредактировал всю свою старую прозу. Знаю — почему. Опускаю очевидное: на воле Довлатов интонационно и семантически выпрямил свои тексты, сознательно изуродованные и обедненные самоцензурой. Мне важно другое. В России он был плотно связан со своим временем, с жизненной и литературной конкретикой, держал интенсивную связь с читателем, с широкой публикой, которой не имел, но ощущал под боком непрерывно и сладострастно. В Нью-Йорке Довлатов подверг свои ленинградские рассказы с их сильным запашком от времени и места филигранной отделанности, взыскательному эстетизму, стилевому блеску. Но я до сих пор храню верность некоторым его прежним, не отретушированным по-новому, сыроватым текстам с их животрепещущей конкретностью.

***

Пора вернуться к «непритязательному человеку» Довлатову, сильно киксующему в той звездной компании гениев, официально или негласно признанных, куда его не очень-то принимали и считали посредственностью, заурядом, ничтожеством.

На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину. То есть из тридцати гостей у педантичного Игоря трое самых ничтожных не могли приводить своих женщин. И Сережа, давя в себе позывы встрять, весь вечер слушал парный конферанс Наймана и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола. «Смотрите все!» — и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и еще один австралиец. Единственное, что ему оставалось.

Сережа не обижался. Он признавал эту табель о рангах. Соглашался на низшие ступени в этой иерархии талантов. Мечтал когда-нибудь стать полноправным членом их элитарного клуба. Но, как всегда, опоздал. Бродский эмигрировал в Америку, Битов, Рейн и Найман — в Москву, Ефимов какое-то время удачно изображал остров — в изоляции от чумного литературного материка. Но это позднее. А пока что Довлатов ходил по редакциям.

Сразу взял такой, к общению не влекущий, тон: мол, его проза, ее достоинства и недостатки не обсуждаются. И все допытывался, отчего не печатают. Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников добивался до начальства, да так и не узнал, кто управляет литературой. Вздорная, на мой взгляд, пытливость. Не такой уж он был наивняк, играл в лоха, уязвленного отказами. А скорее суеверно оберегал себя от прискорбного реала. Так и хотелось врезать: в «Авроре» литературой управляют обком комсомола, обком партии и гэбуха — да, тот самый Большой дом: вон, глянь в окошко — недреманное око. Но о политике мы с Сережей не говорили.

Как-то очень скоро выяснилось — Довлатов-прозаик абсолютно неприемлем для «Авроры» (ему давали подзаработать редкими статеечками на злободневные рабочие темы). Первый «авроровский» главный редактор Нина Сергеевна Косарева, перекинутая в журнал с партийной работы, Довлатова, зачастившего в редакцию, круто не одобряла (будто за ним водился какой-то криминал — уголовный или, наоборот, диссидентский). А между тем Косарева была честолюбивым и

вовсе не мракобесным редактором, хотела делать интересный, нестандартный, «с живинкой» (ее слова) молодежный журнал, допускала кое-какие художественные вольности и даже эксперименты, покушалась на Стругацких, бывших тогда, после «Улитки на склоне», в опале, и явно засматривалась на авангардных знаменитых москвичей. Увлекалась — хотя часто из осторожности браковала — выисканными мною из потока молодыми талантами, «новыми именами» (Петрушевская — яркий пример). Но Довлатов, с его регулярными заходами в «Аврору», был неизбежно и очевидно неприемлем. Более того, он был физиологически несовместим с официальной литературой, которой так мучительно и с адским терпением добивался. И Косарева охранительным чутьем сразу схватила писательское отщепенство Довлатова. И никакой ее вины в этом нет. Не она управляла советской литературой.

Вспоминаю одно оскорбительное для Сережи обстоятельство. Утомившись сначала одобрять, а потом браковать Сережины тексты и до смерти страшась его очередного визита (мука, мука и мука!), я умолила Косареву лично принять талантливого автора, предварительно снабдив ее двумя невинными городскими (ни в коем случае не армейскими!) рассказами Довлатова. Да он и сам добивался встречи с начальством, а не с «низовыми чиновниками». Но когда Сережа явился в назначенный час, Косарева его не приняла, сославшись на занятость. Рекомендованные мною в номер рассказы были мне же и возвращены с репримандом — отказывать негодным в печать авторам должна я, рядовой редактор.

И пошло-поехало на все шесть лет, что я проработала в «Авроре»: я упорно одобряю, сидящий напротив меня заведующий отделом прозы Борис Никольский, человек глубоко порядочный, совестливый, с чутьем на классную прозу и сам неплохой, хотя и средний писатель, честно все вычитывает, возвращает мне, я звоню или пишу Сереже — чтоб забрал. И ничего не менялось со сменой начальства — изгойская участь, фантазийное авторство, тотальное непризнание и непечатание преследовали писателя Довлатова всю его жизнь на родине.

Володя Торопыгин, следующий главный редактор «Авроры», посильно либеральный и верный всем подряд оттепельным идолам, обижался, когда я давала ему на одобрение Сережины рассказы. Это был человек от природы приязненный, добрейший, бескорыстно восторженный к литературному таланту (сам был очень скромного дарования поэтом). Я сводила его с Довлатовым дважды, и Торопыгин не посмел ограничиться начальственным отказом, они долго беседовали, Торопыгин что-то конкретно

пообещал, что-то бурно похвалил — со слов Сережи, и тот позднее пришел ко мне в отдел прозы (мои завы подолгу отсутствовали, а Горышин, сменивший Никольского, и вовсе не присутствовал) — пришел, говорю, ко мне окрыленный надеждой. Несбыточной, вестимо. Потому что неизбежный отказ малодушный Торопыгин — хорошо хоть от своего имени — возложил на меня. Главред не считал, что ради Довлатова стоит нарываться на неприятности с цензурными (и не только) людьми, на которые он шел ради Стругацких, Володина, Голявкина, Битова, Сосноры и других. Но главное тут было: рискнуть напечатать Довлатова — ну просто нелепо, фатально для карьеры, ведь этот развеселый насмешник-юморист был официально, пусть и негласно (а может, и вполне циркулярно), запрещен всякими охранительными органами в литературу.

Причины?

Одна наглядная: Довлатов, как будто дурачась, располагал свои тексты на сплошь заминированном цензурой поле. Но главная причина — коренная, в самой органике его таланта, в творческом методе писателя, во внутренних ходах его. Пользуясь юмором как сюжетным рычагом, Довлатов выворачивал наизнанку советскую ежедневность и убедительно, весело, с чуткой иронией преподносил читателю эту абсурдную, нелепую, кошмарную, трагическую, невыносимую изнанку советского — нет, не быта, а именно бытия, — как привычное и вполне терпимое дело, не лишенное забавности и даже комизма. Вот почему его антисоветский негатив похлеще любой листовки. Отдадим должное редакторам и цензорам: они почувствовали, уловили первыми — на инстинктивном, подсознательном, глубоко охранительном уровне — взрывную и подрывную силу довлатовского юмора.

О том, что Сережины рассказы — ни один! — не были цензурно проходимыми, мы говорили с ним не раз. Но что он непечатаем по органическому свойству своей прозы, я ему никогда не говорила. К тому времени он просто ненавидел литературных критиков.

Иногда Сережа малодушничал. Раза два ловил меня на слове: если я соглашусь изменить, где вы сказали, есть ли гарантия — хотя бы на 50 процентов, — что напечатают?

Разумеется, речь шла не о редакторской правке — такое заведомо исключалось в довлатовских литых текстах. Сережа лукавил, предлагая остроумно обойти цензурные капканчики, расставленные буквально у каждой строки его текстов.

А добивался он, казалось, малого: не славы, не чинов, не денег — просто работать по специальности, стать литератором.

Чтоб, как он однажды съездил на свой счет, малому кораблю — малое плавание, но плавание, черт возьми, а не простой в порту.

Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского гутенберга?

***

Бродский, вернувшись из ссылки, как, впрочем, и до, мечтал напечататься в отечестве. Носил стихи во все питерские журналы. Вещал на подъеме в отделах поэзии. В срок справлялся о результате. Огорчался не сильно, но все-таки заметно огорчался. И никогда не интересовался резонами, полагая в природе вещей.

В «Аврору» он забегал не только со стихами, но и поболтать с приятелями в просторном холле, заглянуть к юмористам, ко мне, к обожавшей его машинистке Ирэне Каспари, пообщаться с Сашей Шарымовым, ответственным секретарем и англоманом, — он тогда тайком переводил стихотворную часть набоковского «Бледного огня». Как раз в отдел поэзии, в котором хозяйничала невежественная поэтесса, полагавшая кентавра сидящим на лошади, а Райнера Марию Рильке — женщиной, Бродский заходил только по крайней надобности.

С печатаньем было глухо, он был, что называется, на пределе и уже намыливался — тогда еще только книжно — за границу. И обком и опекуны-соседи из КГБ прекрасно понимали, какое это чреватое состояние.

Насчет гэбистского опекунства. Бродский заметил, что если взять за вершину разнобедренного треугольника, поставленного на Литейном проспекте, «Аврору», то две другие точки этого треугольника упрутся слева в логовище КГБ, справа — в дом Бродского. «Аврора» таким путем — это пункт связи между ним, к «Авроре» приближающимся, и гэбистами, ведущими за ним неусыпный надзор. Ход конем через «Аврору» — и он, хочешь не хочешь, в гостях у КГБ. Или — обратный ход конем — КГБ в гостях у него. В этом не было позерства. Однажды, когда Ося, договорившись зайти в «Аврору», передумал, гэбист под видом автора напрасно прождал его в фойе битый час.

Итак, в начале 1970 года Бродскому было внятно предложено занести в «Аврору» подборку стихов на предмет публикации. Он занес стремительно. Заметно приободрился. Всегда потрясает этот сиятельный эффект надежды посреди кромешной тьмы безнадежности. «Авроровская» машинистка Ирэна, и так в отпаде от Бродского, вдохновенно печатала его стихи. Затаивший надежду, как спартанского лисенка, Бродский излучал на всю

редакцию уже нечеловеческое обаяние. Даже тогдашний главный редактор, партийная, но с либеральным уклоном дама, подпала — заручившись, правда, поддержкой обкома — под интенсивные поэтовы чары.

В обкоме, просмотрев Осину подборку, предложили, как положено, что-то изменить. Не сильно и не обидно для автора. Бродский отказался, но заменил другим стихом. Еще пару раз обком и Бродский поиграли в эту чехарду со стишками. И одобренная свыше подборка была, впервые на Осиной памяти, поставлена в номер.

Ося так расслабился, что стал, по своему обыкновению, напускать мрак и ужас. Подпустил что-то о сестрорецком кладбище, где скоро будет и он лежать, — это по поводу предстоящей ему в тамошней больнице операции геморроя. Так он заговаривал зубы своей, ни на какие компромиссы не идущей советской судьбе. Впрочем, перспектива сверления больного зуба также связывалась у него напрямую со смертной мукой. И в итоге — с кладбищем. Он вообще охотно и часто себя хоронил.

Короче, обком с КГБ на компромисс с публикацией Бродского пошли, а вот Осины коллеги — группа маститых и влиятельных поэтов — воспротивились бурно, хотя и приватно.

Поздним вечером в пустой «Авроре» собралась в экстренном порядке редколлегия молодежного журнала, средний возраст — 67, исключительно по поводу стихов Бродского, уже готовых в номер. Ретивые мастодонты раздолбали подборку за малую художественность и сознательное затемнение смысла. «Пижон! — ласково укоряла Вера Кетлинская. — Зачем пишет „…в недальнее время, брюнет иль блондин, появится дух мой, в двух лицах один“? Это же безграмотно: блондин-брюнет-шатен. Да разве и дух в волосах ходит? Ему, сопляку, еще учиться и учиться. А сколько гонору!» — и много смеялись над волосатым духом, не уловив простейшего метафорического парафраза. А если б и уловили, куражились еще больше. Ангел-демон-Бог — откуда у советского поэта религиозные позывы?

На публикацию Бродского в «Авроре» был наложен категорический запрет. Помню опрокинутое лицо партийной дамы Косаревой. Ну никак она не ожидала, что своя литературная братия окажется погромнее официальной.

Помню, как Ося приходил, растравляя обиду и скорбь, забрать стихи. Ему бы с большим удовольствием отослали почтой или с курьершей — жил он рядом. Но послессылочный Бродский уже не позволял, когда мог, топтать его глухо, под ковром. Тоскливое и скучное его лицо показывало, как далеко зашла в нем — последний раз в отечестве — надежда напечататься. Хотя

бы и в ничтожной «Авроре».

Вот он выходит из отдела поэзии в коридор, где я его поджидаю и завлекаю в свой кабинет — объясниться. Он нехотя идет, садится на угол стола, обхватив себя, как бы ежась, руками — типичная у него неприязненная поза. Рассказываю, как Кетля задурила на блондина и брюнета, и вдруг скорби как ни бывало: Ося как бы очнулся, сообразив, в какое болото попал.

И тут вошел, заняв собой всю дверь, Сережа Довлатов. Страшно оживился, увидев Бродского. Брякнул некстати: «Ага, и ты сюда ходишь!» Бродский вспыхнул, схватил со стола свою папку и был таков. «Что такое, что с ним такое?» — удивился Довлатов и стал выспрашивать подробности.

Между ними тогда не было притяжения, скорее отталкивание. Довлатов был до мозга костей прозаик, Бродский — маниакально зациклен на стихах. К тому же у них были разные представления о художественном. И как ни пытается, после смерти Довлатова, Бродский, ратуя за первородство поэзии, возвысить Сережину прозу в ранг стиха, остается в силе пушкинское «общее место» по поводу их, поэзии и прозы, равноценной полярности: стихи и проза столь различны меж собой, как вода и камень, лед и пламень. Но это — к слову. Коли Бродский ушел, перехожу к Довлатову.

Кстати, больше Бродский стихи не носил в «Аврору». И вообще завязал с советским печатным словом. Ценил свое время и нервы. Довлатов продолжал, и даже с большей частотой, обивать пороги непреклонных редакций. Его упорство — уже десятилетнее, страдальческое, без проблеска надежды — походило на истерику. Когда в ответ на Сережины жалобы я приводила примеры редакционных мытарств Бродского, Наймана, Рейна, даже Высоцкого, стихи которого у нас рассыпали в верстке, Сережа всегда возражал: они — особый случай, они — со славой, он — рядовой писатель и в этом качестве должен иметь рутинный доступ к читателю. Это — говорю из Вяземского, с пренебрежением — «рядовое дарование». «Ни в коем случае, — возражал Сережа, — никакого пренебрежения, тем более — снижения. Примите за факт».

***

Никто из знакомых мне по «Авроре» пишущих людей — ни начинающий автор, ни тем более кончающий — не имел столь мизерного сознания своей авторской величины. Много позднее Довлатов, мучимый даже в Нью-Йорке тотальным непечатанием

его на родине, нашел, как ему казалось, исчерпывающий ответ:

«Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. Издавали прогрессивные книжки… Я мечтал опубликоваться в журнале „Юность“ Или в „Новом мире“… Короче, я мечтал опубликоваться где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов. Это было странно. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы… Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках… Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует».

Возвращаюсь к Довлатову в Ленинграде. У него была любопытная для тех лет убежденность, что он со своей юморной прозой попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его точно ждет успех — только бы напечатали. Невероятно, но при тотальном литературном остракизме Довлатов ощутимо прозревал свой творческий прорыв, свою сиюминутную востребованность. Ведь юмор — самая животрепещущая из всех словесных штук. Такому самоощущению надо доверять, это — не суетное славострастие, скорее крутая убежденность мастера. Недаром он и стал супервостребованным писателем, правда — через много лет и посмертно. Короче, Довлатов изнывал по читателю. По массовому, всесоюзному. Элитного не ценил, не знал, ему не верил. Как писатель, он мог расти только с голоса. Как раз этого ему не позволяли.

Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и, соответственно, стратегию (в его случае трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большего, чем мог он вынести пристойно. Боялся, что время — его время — пройдет, так и не узнав любимого его. А в любви к нему сегодняшнего дня не сомневался. Знал свою цену, щедро отводил себе роль мухи-однодневки в текущей прозе. Тогда он страшно оскорбился, этот сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели, и процедил мне сквозь зубы, упирая на каждый слог: «Вы никогда не писали и потому не знаете, как дозарезу необходим иногда читатель». Его слова.

Его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского

манифеста. Приблизительно так: я — писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я — муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым — в гроб.

Разумеется, я никогда и никому, тем более изнемогающему от непечатания Довлатову, не посоветовала бы писать в стол. Да еще — писать для себя, родимого, что похоже уже на творческую мастурбацию. Я сама в те годы писала — «в стол», вестимо, — редакционный роман под названием «Убежище», где действовал также и Довлатов и откуда я сейчас беру кое-какие факты и наблюдения. А тогда Сережа просто вымещал на мне, и довольно зло, свои литературные невзгоды. Вообще-то вспыльчивость, ожесточенность и подвывающая обида были как-то инородны корректному, иронически вежливому и даже вальяжному, умело обаяющему собеседника Довлатову. Все эти довлатовские аномалии — и крайнее его писательское уничижение, включая горестные декларации, — пришлись на первый год его пылких заигрываний с непреклонной «Авророй». Уж очень много — целую гору! — ослепительных надежд он возлагал на новый молодежный, с ложной либеральной репутацией журнал. Соответственно, отрезвление и ощущение унылой безнадежности были горьки и травматичны.

***

Как только Довлатов смирился с «авроровским», ясно выраженным ему остракизмом, наши, автор — редактор, отношения стали более дружескими. Все шло по-прежнему: Сережа приносил новую порцию рассказов, которые, как всегда, отвергались на уровне малого начальства, и помню возмущенный втык мне за малую бдительность: «Вы что, не видите — Довлатов критикует армию!!!» Или такое: «Это писатель-алкоголик, и его герои сплошь алкаши — какой пример они показывают советской молодежи? Он что, призывает к тотальному спаиванию нашего народа?!» Ясно, что все новые попытки Довлатова напечататься в журнале будут пресекаться на корню. Автор — типичный непроходняк. Ходу ему никогда не будет. И, мне кажется, он это знал. Не мог не знать.

Но вот странность: в таких оскорбительных для любого автора обстоятельствах Довлатов не только не озлобился, он даже

как бы утвердился в себе — прозаике-профессионале, имеющем желание и право войти в литературу с парадного хода. Что-то тут было странное, в этом ощущении себя нормальным писателем в нормальной литературной ситуации, — не могу сказать натужное, надрывное, но явно нереальное, принужденное, наигранное. Мне хотелось разгадать этот, учиненный Довлатовым разлад мечты с существенностью.

Нет, он не стал, получив столько крутых отказов, подальше обходить «Аврору». Наоборот, в 1971–1972 годах Сережа зачастил в редакцию с новыми рассказами. Он тогда очень много «работал в литературе» (настаивал на таком обороте). Говорил мне, предлагая очередную папку: «Вы не подумайте, что я одно и то же пишу — какие-то юморески. Нет, полноценные рассказы, оцените». Говорил, что все недоволен результатом, все ищет новую тональность, интонацию, меняет стиль, приемы, отрабатывает диалоги. Как-то сказал, что работает в импрессионистском стиле. Некоторые его рассказы я помню. Это была хорошая проза. Наглядно вызревало его мастерство. У него был пафос мастерства, но не было уверенности в себе мастера. Его шатало. Отсюда — бесконечный творческий поиск. Он не видел себя со стороны. Необходим был читатель. Невозможно самому смеяться с собой. Так можно и с катушек слететь. Очень даже можно — Сережа это знал.

Кто-то хорошо сказал: «Жанр, созданный Довлатовым, без читателя, и без читателя сочувствующего, немыслим». Но чтобы заиметь читателя, надо печататься, выходить на широкий рынок. Тупик. Или, по Довлатову, «исправное удушение».

Жаль, что Довлатову не довелось прочесть изданное совсем недавно и мало кому известное литературное интервью Бродского в Вене в первые дни после отъезда из СССР. Там высказывается — гениально просто — близкая Довлатову мысль, что, лишая пишущего человека печатного выхода, его потихоньку, но взаправду удушают как творческую личность.

В июне 1972 года Бродский говорил о группе поэтов, «которые могли бы сделать очень многое, но, кажется, уже поздно. Не то чтобы их съели — их не уничтожили, не убили, нет. Их, в общем, более или менее задушили. Им просто не давали выхода… пришлось искать свой собственный путь и быть своим единственным собственным судьей, никакой среды, никакой атмосферы… пока все это не перешло за грань…». Кто это? Уфлянд. Еремин. И даже андеграундные гении, «ахматовские сироты» — Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев. «Если бы им дать возможность работать нормально — это было бы замечательно, это было бы интересно, но я боюсь, что уже

тоже *too late*… если бы была какая-то аудитория, была бы какая-то конкуренция, то, может быть, что-нибудь бы и вышло. А так, я думаю, они, в общем, все более или менее сходят с рельсов». Единственный путь, по мысли Бродского, творчески выжить, «и в конце концов, знаете как: изящная словесность, вообще искусство — это такая вещь, которая, если только ты абсолютно одержимый человек, ты будешь заниматься ею, несмотря ни на какие обстоятельства».

Эти зоркие прогнозы Бродского были бы чрезвычайно важны для Довлатова, если бы он узнал о них в том 1972 году. Но он все это знал и раньше, без Бродского, года на три-четыре раньше. Он тогда задумывался (ясно из текстов), как изгойно, писателем-невидимкой, выжить и не сломаться, не дать себя задушить, безостановочно и нормально (любимое тогда отрезвляющее слово) работая в официальной литературе, куда тебе вход напрочь закрыт. Как выжить в мире призраков без самоотвержения и психических срывов, без творческого рукоблудия (писать для себя), не сходя при этом с будничной житейской колеи. Как окружить себя литературной средой, вызвать к жизни читателей, критиков живую атмосферу. Задача не из легких, не в реальности поставленная и не в действительности разрешимая.

Но у прозаика Довлатова факт и вымысел взаимообратимы, спариваются легко. Он вообще из затейных авторов, никогда не гнушался выдумкой окрутить и, соответственно, исказить реал. К тому же он — по Бродскому и как сам Бродский — «абсолютно одержимый человек». Литература для него — единственная подлинная реальность, «дело всей жизни» и даже не дело, а сама его жизнь была литературой. Писательство — судьба, от которой никуда не деться.

Он мечтал стать профессиональным писателем, жить на гонорары. Он просто хотел работать в литературе. Это было неосуществимо. «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно». «Ерунда» была немыслимым, почти безумным притязанием. И тогда матерый выдумщик, талантливый мистификатор Довлатов пошел на колоссальный блеф.

Где-то, мне кажется в 68-м, он стал вести нормальную жизнь рядового профессионального писателя. Наметил наперед кой-какие перспективы, «свет в окошке». Добивался только официальной литературы, где печатали и издавали. Искал внимания и одобрения известных уважаемых писателей — для моральной поддержки. Это была виртуальная, фантазийная,

химерическая жизнь. Но такое, исключительно литературное, существование на автопилоте позволяло не задохнуться от безнадежности. Создал видимость и ощущение нормы — в жизни и в литературе — и строго придерживался этой нормы.

Вот как жил этот прозаик-профи, освоивший технику писания: нигде не служил, работал в многотиражке (тоже со словом, что было важно), был журналистом и «писал, писал, писал свои рассказы, писал старательно и честно», накапливал их, разносил по редакциям, вращался в литературной среде (необходимо нужно!), выслушивал разные мнения о своих рукописях и снова, лучше с утра, занимался литературой. Нормальная полноценная жизнь профессионального состоявшегося литератора. Тут требовалось много мужества, мощный волевой напряг и адское терпение — чтобы достойно, не срываясь, эту вымышленную жизнь вести.

Лена Довлатова не могла не заметить ненормальность, грубую форсированность такого фиктивного существования: «А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок». Заметила неодобрительно, едко — и была по-житейски права. Но какой бы трагической и безысходной стала жизнь ее мужа, если бы воздушный шар его великой утопии вдруг лопнул (что и произошло в конце концов).

Я тоже уловила этот довлатовский — страдальческий, надо признать, — самообман, эту вынужденную мистификацию собственной жизни. Не так чтобы я выделительно следила за творчеством Довлатова. Просто не было в моей редакторской практике ни одного автора — ни даже графомана или халтурщика, — многократно отвергнутого «Авророй» и продолжающего как ни в чем не бывало регулярно, годами, приходить с новыми сочинениями без малейшей надежды их напечатать.

Тогда я и просекла этот колоссальный Сережин блеф. Поняла: этот жизнерадостный заскок в редакцию с очередной порцией прозы был необходимым ритуалом, имитирующим естественный ход жизни процветающего профессионального прозаика. Ведь это была пытка, надругательство над своим реальным жизнеощущением! Оттого он и пил — хоть как-то избыть эту муку притворной жизни: «Алкоголь на время примирял меня с действительностью». Потому что действительность, а не умышленность, наседала, травмировала, мешала работе. А работал Довлатов в режиме преуспевающего прозаика, востребованного, ну, скажем, не литературными чиновниками, а самой отечественной литературой, своим читателем, своим

временем.

Результаты интенсивного самообольщения были налицо: «роман, семь повестей, четыреста коротких вещей». Для воображаемого издательства у него «было шесть готовых сборников». Более того, Сережа подводил итоги своему пятнадцатилетнему творчеству: выделял «пору литературного становления, овладения ремеслом», период трудоемких, мучительных (поскольку в художественном вакууме) поисков стиля, тона, предельного лаконизма. И вот, наконец, достижение зрелости. И он знал, что пишет лучше других.

Я ушла из «Авроры» в конце 75-го. Захотелось узнать, как долго Сережа тянул этот изнурительный, самомучительный иллюзион, эту виртуальную жизнь на автопилоте. Заглянула в его «Невидимую книгу» и читаю за 76-й год: регулярно «ходил в „Детгиз“, „Аврору“, „Советский писатель“. Там исправно душили меня». Думаю, что и в 77-м он продолжал ритуально обивать пороги ленинградских редакций. Но уже машинально, бессознательно, как зомби. Потому что мечтательно сооруженная им — над реальностью — жизнеутверждающая надстройка рухнула с треском. Воздушный шар его поддельного существования прокололся. Виртуальная, кое-как поддерживающая его писательство жизнь улетучилась. Он «устал изворачиваться». Утратил навык на ложные перспективы, «пусть и туманные», уже не различал иллюзорный «свет в неведомом окошке». И тогда узнал страшную цену подмены мечтой существенности. «Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал».

Тогда и раздались эти вопли, эти жалобы, этот плач «литературного неудачника» над своим непризнанным даром:

«За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!»

«Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!»

Куда девалось его хваленое стилистическое хладнокровие — перед лицом литературного и жизненного краха! Не напоминают ли вам эти довлатовские стенания плач Акакия Акакиевича над своей украденной шинелью? И как незабвенный Башмачкин, Довлатов тоже отомстил своим мучителям, и тоже посмертно.

До конца жизни Сережа изживал свое травматическое литературное прошлое — «15 лет бессмысленных страданий!» — а история неудачных попыток напечататься на родине стала едва ли не главным сюжетом его прозы.

Остается сообщить еще об одном, оскорбительном для

писательского самочувствия Довлатова, эпизоде.

Весной 1975-го Довлатов зачастил в «Аврору». Это была чисто волевая, на последнем отчаянии осада советской печатной крепости. Рукописи Сережа держал в таких очень изящных, даже щегольских папках. Ручной работы. Он приносил эти папочки, и я их, поскольку издать это было невозможно, очень аккуратно складывала в шкаф для отказов. Как сейчас вижу: нижняя полка шкафа, и там такая стопка папок, а наверху надпись от руки, от моей руки, — возвратить Сергею Довлатову.

Сережа суеверно за рукописями не приходил. Последнее его приношение, к счастью, лежало у меня в столе. Как раз в это время в отделе прозы появился новый заведующий — Вильям Козлов. Человек глубоко невежественный и склонный к моментальным, без всяких сомнений, поступкам. В свой первый рабочий день Козлов заявился в редакцию рано утром, и вскоре туда забежала ватага пионеров за макулатурой. Страна переживала очередной бумажный кризис. И кто-то, видно в райкоме, дал пионерам наводку на «Аврору» как такой резервуар макулатуры. Секунды не подумав, Козлов пригласил их в отдел прозы и предложил весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки.

Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел наконец за рукописями. Были там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика. Как будто все, что он делал эти годы, уничтожено и никому не нужно. Перерезано. И он снова становился начинающим писателем.

Таллин: бросок на ближний Запад

Начинающим писателем он поехал в Таллин. Никому там не был известен. Попал в Эстонию случайно. Главное для него тогда было — рвануть из Ленинграда, где в силу сцепления негативных обстоятельств ему стало беспросветно и удушливо. Без метафоры и без гиперболы, как пояснял позднее Сережа, — просто нечем дышать.

В повести «Ремесло» Довлатов пишет об этом своем внезапном броске на ближний Запад бесстрастно и скупо:

«Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?.. Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности».

Он отрицал в прозе слишком сильные отрицательные эмоции.

Равно как и положительные, но их ему на жизнь перепало не так много. Так мало, что он счел необходимым — для душевного баланса — изобретать их, форсировать, да попросту измышлять. Вот как он пишет об этой самотерапии «призраком счастья»:

«В чем причина моей тоски? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья».

Он был настолько обделен дарами счастья и хорошо это знал о себе, что однажды воспринял как откровение мое сообщение о том, что если поставить губы в позицию улыбки, то чисто рефлекторно человек испытает прилив радости. Или даже небольшой душевный подъем. И чем проникновенней, с большим расплывом выйдет улыбка, тем сильнее прихлынет эта даровая, поддельная радость. И Сережа тут же испробовал рефлекторную реакцию нервов на нескольких разных улыбках. Но я отвлеклась от Довлатова в Таллине.

Тогда, перед Таллином, ситуация сложилась для многотерпеливого Сережи настолько травматическая, да попросту убойная, что он, по личному признанию, был близок к помешательству. Рывок в Таллин — и он пришел в себя. Трезво оглядел окрестности. Это была спасительная — на мощном у него тогда инстинкте выживания — авантюра. Он начинал все с начала. Но и за спиной его питерской жизни был нуль достижений. Как-то в «Авроре» я привела ему латинскую формулу *nullo numero homo* — нулевой человек, то есть полное ничтожество. Сережа мгновенно сказал: это я. К слову о его питерском самочувствии.

Поэтому начинал он в Таллине кропотливо, с большим запасом терпения, готовясь к обычным советским мытарствам. Пустил в ход свой обаятельный дар налаживать знакомства, контакты, полезные и опасные связи, любовь и вражду. Никакой стратегии у него на тамошний отсек Союза писателей не было. Он даже не надеялся печатно обустроить свое авторство. Начинал с газетной халтуры. Его писательство было так унижено и оскорблено, что он, по свидетельству его эстонской подруги, придумал термин «автор текста», считая, что называть себя «прозаик», — слишком заносчиво.

Но все это — в самом начале. А потом подул, впервые в Сережиной авторской судьбе, попутный ветер. Появилась возможность издать первую книгу. И вероятность стать членом Союза писателей. Положительная, внутри издательства, рецензия на рассказы. Подписание договора. И все это — в крайние смешные сроки. Никаких многолетних советских мытарств.

Гранки, вторая корректура. Это была какая-то волшебная феерия успеха. Попутный ветер дул не переставая почти до самого конца.

В «Авроре» о Довлатове не вспоминали. Заметив, что в почте нет его рассказов, я поинтересовалась, что с ним. Кто-то мило пошутил, что Довлатов попросил политическое убежище в Эстонии, стал эстонцем, женился на эстонке и вообще обуржуазился вполне по-эстонски. Одним словом, процветает.

Затем, с большим промежутком, восторженно-завистливый гул: выпускает сразу две книжки — взрослую и детскую, — метит в ихний Союз писателей. И все. Больше о Довлатове — ни звука. Что обе книжки были зарублены на стадии верстки местным КГБ, я узнала случайно именно в Таллине и при самых мрачных обстоятельствах.

Кажется, в марте и точно в 1975 году «Аврора» вместе со своим авторским активом отправилась пропагандировать себя в соседний Таллин. Эстонское мероприятие называлось так — «У нас в гостях журнал „Аврора“». Собственно, знакомство «Авроры» с русскими писателями Эстонии состоялось давно. У меня — всегда под рукой на случай цензурного выброса в самый последний момент — хранились две папки: одна с переводными рассказами западных классиков, другая — с рассказами русских эстонцев. В отличие от питерских авторов, которых цензура все больше браковала, эстонские авторы писали патриотично, лирично и серо. То что надо.

Нас поселили в шикарной гостинице. В холле с живым кустарником, дорической колоннадой и купольным потолком можно было гулять, как в саду. Экзотические напитки с соломинками в бокалах отпускались неограниченно и безвозмездно. Было волнующее ощущение заграницы. Потом выступали ленинградские и таллинские авторы «Авроры», читали стихи, рассказы, юморески. Сидя за столом на сцене, я искала в зале бывшего ленинградца, а теперь преуспевающего таллинца Сережу Довлатова. Ну не мог он не прийти на встречу с «Авророй», с питерскими друзьями и коллегами. Но Довлатова нигде не было.

После выступлений мы с поэтом Сашей Кушнером прогуливались по Таллину, и вдруг он говорит: «А сейчас я вам покажу что-то очень любопытное».

Несколько слов о моем спутнике. Кушнер тогда крепчал как советский поэт. С отъездом Бродского стал своего рода анти-Бродским: тоже еврей, тоже интеллигент, тоже неофициозный поэт. А вот ни он не мешает советской власти, ни она ему. Регулярные публикации в журналах и сборники стихов, союзписательские льготы и привилегии. Такова была точка

зрения на него властей. А его собственная? Мирное и даже с оттенком лиризма сосуществование литературы и власти. В России можно жить, жить можно только в ней, в ней нужно жить и можно печататься.

При такой, с сердечным позывом, лояльности и ненавязчивом, а главное — абсолютно искреннем сервилизме Кушнер был поэтом на все времена. Его душевный конформизм обеспечивал ему вполне комфортное существование при всех режимах — и в житейском плане, и в творчестве. Он к этому благополучию привык и свое редкое литературное везение счел за норму.

Лично мне и в голову не пришло бы в те дальние годы упрекнуть Сашу Кушнера в ловком приспособленчестве, которое к тому же как-то органично увязывалось с его непритязательным — всегда на иждивении у русской классической музы — талантом.

Но полюбовно примирительное решение Кушнером всегда крутого на Руси конфликта «поэт и власть» было уязвимо. Годилось на одноразовое — лично для Кушнера — применение. И было подвергнуто разносной критике со стороны той части творческой интеллигенции, которая не нашла этого паллиативного пути и вынуждена была вступить в конфронтацию с властями либо покинуть страну.

К сожалению, Кушнер счел нужным защищать свою поэтическую крепость. Это была какая-то оргия самооправданий. Своим критикам он предъявлял доказательства от противного, которых было навалом в стране, а несколько наглядных примеров имелось и в Питере. Вот чем кончилось у тех, кто пытался, в обход государства, создать непечатную литературу: их ждет либо тюрьма, как Марамзина, либо высылка, как Бродского, а там уже творческий упадок (чему примером все доходящие из-за бугра стихи того же Бродского) либо призрачное существование литературного андеграунда. Либо… именно в Таллине, где мы прогуливались с Сашей Кушнером, находился тогда важный для него контраргумент в споре с теми, кто упрекал его в сервилизме.

И вот он предложил мне что-то очень любопытное — с видом заговорщика, с азартным огоньком в глазах. Я не знала что, это была его тайна. Предвкушала изящно сюрпризное — что-нибудь в таллинском стиле.

Пару слов обо мне. По сугубой нужде контекста. Я тогда довольно часто выступала с литературной критикой в «Новом мире», «Литературном обозрении», «Звезде», «Неве» и т. д. В издательстве «Советский писатель» только что одобрили в печать мою книгу о Пришвине, но в конце концов зарубили. Саша тогда прислушивался к моим литературным оценкам. Мы с ним

прохладно дружили.

Мы вышли из старинного центра Таллина, архитектура становилась скучней — все менее эстонской, все более окраинно советской. Тревожное ощущение заграницы — всегда его испытывала в Таллине — пропало. Вот и дом, совершенно ускользнувший из памяти, вот темная и пахучая — заскорузлым жильем — лестница. Мне неловко — без приглашения в чужой домашний интим. Ничего, успокаивал Саша, меня здесь знают, всё удобно.

На пороге — молодая женщина, которую не помню совсем. Да и никто меня с ней не знакомил. (Оказалась Сережиной герлфрендой, у которой он жил.) Помню, мы вошли в большую просторную комнату, и в углу — по диагонали от входа — сидел на полу Довлатов. Человек, убитый наповал. Но живущий еще из-за крепости своих могучих, воистину былинных, Богом отпущенных ему лет на сто хорошей жизни физических сил.

Он сидел на полу, широко расставив ноги, как Гулливер с известной картинки, а перед ним — как-то очень ладно составленные в ряд шеренги бутылок. На глаз — около ста. Может быть, больше ста — винных, водочных и, кажется, даже коньячных. Неизвестно, сколько времени он пил — может быть, две недели. Это было страшное зрелище. Я и сейчас вспоминаю его с дрожью. Во-первых, невозможно столько выпить — фактически, весь винно-водочный погребок средней руки — и остаться живым. А во-вторых, передо мной сидел не алкоголик, конечно. Передо мной — в нелепой позе поверженного Гулливера — сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. И алкоголизм — все эти бутылки — был самым адекватным выражением этой катастрофы его жизни: его писательской жизни — иной Довлатов для себя не разумел.

Тягостно было смотреть, как он — еще на полпути к сознанию — силился вникнуть в Саши Кушнера расспросы да еще держать при том достойный стиль. Было его ужасно, дико жаль. Мне казалось, иного — не сочувственного — отклика на этот крах всех надежд и быть не могло.

Потому так поразила меня реакция Кушнера: торжество победителя. Он откровенно веселился над фигурой Довлатова у разбитого корыта писательской судьбы. И хихикал всю обратную дорогу. Был отвратителен. И этого не понимал совсем[4].

***

Любопытно, что эстонский кульбит Довлатова повторил

буквально — ход в ход — через семь лет писатель Михаил Веллер. Буквально, но не в пример Довлатову хеппиэндно. Ему, как и Довлатову, ничего не светило в Ленинграде, откуда он отбыл — в довлатовском возрасте 31 года — в Таллин. С единственной целью издать там, по стопам Довлатова, свою первую книгу. В Таллине получил, как и Довлатов, штатную должность в той же, что и Довлатов, газете. Но, в отличие от своего предтечи, Веллеру удалось выпустить книжку в таллинском издательстве и стать членом Союза писателей. Ко всему прочему, Довлатову еще редкостно, стервозно не везло.

Веллер долгое время жил в Таллине, городе его золотой мечты, и даже награжден эстонским орденом Белой звезды. Очень живо и свежо ненавидел давнего покойника Довлатова. Это нормально для невольного эпигона.

Дико соблазняет проиграть Сережину судьбу по Веллеру. С эстонским хеппи-эндом. Ведь он мог, вполне мог, вкусив печатного счастья, остаться в Таллине навсегда, как Веллер. И — никаких Америк. Какой бы вышел тогда из него, интересно, писатель?

Однако после всех этих авторских бедствий и неудачной — опять же литературной — эмиграции в Эстонию Довлатову ничего не оставалось, как эмигрировать по-настоящему — в Америку.

***

Как он до смерти страшился эмиграции, тянул до последней, крайней неизбежности! Уже уехали Бродский, Марамзин, Виньковецкий, Лосев, Ефимов, Соловьев с Клепиковой — да не счесть! Давно уехала первая любовь Ася Пекуровская, «нетривиальня подруга» Люда Штерн, вот-вот отчалят жена с дочерью, а Сережа все тянул, все прожектировал свою дальнейшую творческую жизнь на родине. Он, кому дивной музыкой звучали слова «русская литература», «изящная словесность», он, воскликнувший «Какое счастье! Я знаю русский алфавит!», не мог и не хотел представить себе неизбежный при эмиграции переход на чужой язык. «На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит».

Еще больше он ужасался словесным утратам, неминуемому обеднению, ущербности своего писательства. Он был чародей-словесник, истинное «дитя слова», умел словить на ходу, «за углом любого кабака», очередную словесную находку: «Слова —

моя профессия». Приобретение свободы на Западе не оправдывало в его глазах несчетных творческих потерь. А он терял прежде всего кормовую базу своей прозы — «мой язык, мой народ, мою безумную страну…».

Так он пишет в «Заповеднике», приписывая свои заветные мысли и чувства авторскому персонажу, который конечно же не один к одному с самим автором, но в главном совпадает, а потому продолжим цитацию.

К грядущим утратам в эмиграции Довлатов причислял и «своего читателя», массового русского читателя, которого у него в жизни никогда не было. И здесь, в перепалке с женой, убеждающей его эмигрировать вместе с ней, автогерой делает потрясающее предвидение своей грядущей — через много лет — популярности на родине. Это стоит привести:

— Но здесь мои читатели. А там… Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?

— А здесь кому они нужны? Официантке из «Лукоморья», которая даже меню не читает?

— Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются.

— Так будет всегда.

— Ошибаешься.

Эмигрировать все-таки пришлось. И что он там потерял, а что нашел, расскажет следующая главка.

Нью-Йорк: дебют — триумф — смерть

В Америку приехал начинающий снова писатель. Он получил здесь то, что никогда не пробовал, даже не знал на вкус, — неограниченную творческую свободу. Понравилось чрезвычайно. Оказалось, что в его случае — это первое условие, залог и гарант настоящей творческой удачи. Только в Америке Довлатов узнал наконец и правильно понял себя — свою авторскую потенцию, запросы, вкусы, цели, фобии и притязания, ведь до сих пор он был совершенно непритязательным автором, о чем не раз писал. В своем ремесле он был приверженцем литературного блеска. Так сказал о себе Валерий Попов, который тогда, возможно, писал не хуже Довлатова, но бросил эту тяжкую стезю и стал многоводным реалистом. Довлатов был верен блеску до конца.

В Нью-Йорке он, как и в Таллине, приготовился начать с нуля. Уехал в эмиграцию с горя, с отчаяния, износив до дыр и умертвив наконец свою патологически живучую надежду напечататься на родине. На Америку надежд не набежало — он утратил способность к их производству. Уехал, как мотылек летит из тьмы на любой источник света.

Первый год в Нью-Йорке производил впечатление оглушенного — в смуте, в тревоге, но без отчаяния. О литературе не помышлял. Не знал и не видел, с какого боку к ней здесь подступиться. Пытался трудоустроиться вне литературы. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене, реквизировав у жены на расплав в сырье серебряные кольца и браслет. Стоически убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что руки его отлично приспособлены к микропредметному ремеслу, что это у него от Бога и хватит на жизнь. Чуть позже Сережа загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара — в пунцовом мундире с галунами — в роскошном отеле Манхэттена. Говорил, что исключительно приспособлен — ростом, статью и мордой — для этой должности. Что кто-то из очень влиятельных русских обещался ее достать по блату. Что он уже освоил по-английски весь словарный запас учтивого швейцара: «Эй, такси!», «Позвольте подсадить», «Ваши чемоданы!», «Премного благодарен». И что-то еще из низменных профессий он на полном серьезе осваивал.

Эта — на целый год — заминка в дельной ориентации случилась из-за его совковых предрассудков. Тот год он прожил в Нью-Йорке как окончательно заблудившийся человек, но с точным знанием, в какую сторону ему надо выбираться. В Союзе Сережа добивался официального признания своего писательства. Издательства, журналы, газеты, которых он вожделел так же сильно и столь же безнадежно, как землемер у Кафки свой Замок, были государственными институтами — на государственном обеспечении и режиме работы. В русском Нью-Йорке Довлатов таких учреждений не нашел и, приняв за неизбежность, смирился.

Что печатный орган может возникнуть из частной инициативы, из личных усилий, пришло как откровение. Не всегда радостное. Долго еще, готовя в печать свои домодельные книжки-тетрадки, со своими рисунками, дизайном, набором, в бумажных обложках и ничтожным тиражом, Довлатов сокрушался по недоступным ему советским типографиям с их высоким профессионализмом, громадными тиражами и щедрыми гонорарами. Участь советских писателей на дотациях у велферного государства была ему завидна. Но постепенно — особенно в связи с американским успехом — эти сожаления ушли. Хотя все свои книги он издавал в убыток. И широко раздаривал друзьям.

Короче, именно в эмиграции, в русской колонии Нью-Йорка питерский американец Довлатов стал крепким писателем с хорошо различимой авторской физиономией. Он уже не называл себя «рядовым писателем». Он притязал на большее. Он был

словарный пурист, он сжимал фразу до предельно выразительной энергетики, был скуп со словами, укрощал их, запугивал — ни одно не смело поменять свое место в тексте. При этом в его рассказах легко и просторно, как в хорошо начищенной паркетной зале. Это была та самая изящная и даже изысканная беллетристика, которой так стращали писателей в советские времена. Трудно ему было с сюжетом. Случалось связывать обрывки анекдотом, причем портативным, переносным — из рассказа в рассказ. Но в основном он был здесь в хорошей писательской форме.

Оглядываясь сейчас на Довлатова в Нью-Йорке, дивишься его изобретательской энергии, его экспрессивной затейности, его совершенно недоходной, но бурной предприимчивости. Он подбил здешних журналистов и литераторов на массу убыточных изданий — от «Нового американца» до «Русского плейбоя». Попутно были другие, довольно трудоемкие затеи. Вроде устного журнала «Берег».

К своим литературным начинаниям Довлатов привлекал эмигрантов, живущих разобщенно — надомниками — в разных углах Нью-Йорка. Вокруг него всегда клубился народ. Он любил сталкивать и стравлять людей, высекая сильные чувства и яркие реакции. Всеми силами и приемами, не заботясь об этике, Довлатов добивался расцветить «тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка» — кормовую базу его эмигрантской прозы. Совершенно сознательно он обеспечивал себя литературной средой, без которой — он это твердо знал — писателя не существует.

О себе, о своей «рядовой, честной, единственной склонности» Довлатов действительно знал все. Знал, например, что не сможет сделать длинную вещь. Что склонен к человеческой экзотике, к маскарадным характерам. Что его психологизация — условная, игровая, летучая, не закрепленная в персонаже. И что все это, вместе взятое, — не порок, а свойство его писательского мастерства, личная мета.

Он также знал и часто повторял, что человек, тем паче писатель, стоит столько, во сколько сам себя ценит. И в нью-йоркские годы, когда Довлатов-писатель окончательно состоялся, он приложил немало усилий на выработку у своей прозы этой достойной, уверенной, без тени сомнения или слабости, осанки. Которая есть точный знак нажитого мастерства.

Вспоминаю, что Довлатов говорил о своем ремесле. Потому он не употребляет мата и непристоя, как Юз Алешковский с избытком, к примеру, что это не функциональные слова, а декоративные, вычурные, выспренные, слишком нарядные,

красивые наоборот — такое словесное барокко. А у него в текстах всякое слово, междометия включая, — на строгом производственном отчете и учете. И — никакого выпендрежа, тем более описательных пустот.

Говорил, что у него — как в писательстве, так и в жизни — нет совсем воображения. Ну абсолютно всегда должен держаться за землю. Оттого, возможно, что эта вот земля — все зримое, тривиальное, будничное, прямо перед глазами поставленное — ему безумно и единственно что интересно. Зачем еще выдумывать?

Ему была невнятна — ну просто ни с какого боку — любая фантастика, включая научную, и всякие построенные на усилении боевики, триллеры и детективы: «Мне совершенно безразлично, кто кого и зачем убил. Сама постановка вопроса непостижима».

Не любил в прозе — как и в стихах — высокого и умного. Говорил, что писатель не создает сознательно высокое искусство. Что если он работает с такой установкой, то результат будет художественно ущербный — не на высоте писательских претензий. Это — в огород Бродского, которого Сережа тогда побаивался, считал влиятельным литературным вельможей, зависел от его, Бродского, милостей, отпускаемых Сереже скупо, туго и оскорбительно. Довлатов был так подавлен, а скорее затравлен, авторитарностью Бродского, что при случае выпаливал как клятву: он — гений, классик, идолище, лучший из русских поэтов, критиковать его не смею и, чтобы не было позыва, книг его последних не читаю вовсе.

Но, конечно, примириться или принять за норму литературный деспотизм Бродского Сережа не мог — хотя бы из юмора — и, случалось, бунтовал — напрямую или, чаще, вприглядку. Помню очень смешную сценку у нас дома, когда Сережа с упоением и священным ужасом внимал, как я рискнула «дать по шапке гению» (его слова).

Говорили о наклоне Бродского в прозе рассуждать наугад, наобум и в лоб, прикрываясь тоновой спесью и крутостью стиля. Я не могла простить ему оплошной фразы — а их десятки! — что по России, как и в жестковатом семействе Бродских, плачут редко.

Я возражала: кабы так, другая бы жизнь была у страны — порезвей, добыточней, умственней. А так — вся морда России в слезах. Слезы очень расслабляют нацию — до полного изнеможения. Особенно в 50-е годы — как их должен был помнить мальчиком Бродский, — когда отходили от шока войны и массовых казней. И вот зашлась, захлюпала вся нация, со всеми своими нацменьшинствами и невзирая на их темпераменты и

разные нравы. Так оттаивает стекло после снежных и крутых морозов.

Плачу и рыдаю, и захожусь в плаче, и уже не хочу перестать, такая экзальтация рыданий, а потом бурные всхлипы и икота на полчаса — до упадка сил и потери сознания. Это нервы гудят и воют у тронутой России — как провода под токами высокой частоты. Куда ни глянь, по улице, в квартире, на природе — всюду слезоточивый настрой, у мужиков и баб едино.

Готовность к плачу в народе моментальна, и повод нужен самый ничтожный — чем радостнее, тем рыдательней. При радости, от дуновения счастья особенно обильно льются российские слезы, до истерики. Не унять, как ни старайся, ни кривись.

Мужчины плачут тайком и втихомолку. Женщины в России плачут в охотку и не таясь. Как рыбы в воде, в рыдательной стихии отечества.

Всего этого, лезущего в глаза и в душу, Бродский не схватывал: «Я, Боже, глуховат. Я, Боже, слеповат». В стихах не врал почти никогда.

«Еще!» — инфантильно потребовал Сережа, когда я наконец иссякла. Он был услащен критикой Бродского. Не из злорадства, конечно. Он ликовал, когда элементарные нормы литературного общежития, попранные Бродским, были хотя бы частично и мимолетно, но восстановлены. Это как бы отлаживало систему мер и веса в Сережиной пунктуальной душе.

Бродский эмигрантскую публику — единственный тогда Сережин читательский контингент — третировал. Поставил себя безусловно вне критики и даже обсуждения. Так замордовал читателя-соотчича, что тот и пикнуть невпопад страшился. Впопад и в жилу было: корифей-титан-кумир. В ином для себя контексте Бродский в дискурс не вступал.

Мы его шутя звали генералиссимусом русской поэзии. Он любил раздавать генеральские чины своим поэзосоратникам и однопоколенникам. Имитируя славу Пушкина и его плеядников. В стихах был аристократом. В стратегии и тактике по добыванию славы и деньжат — плебей и жлоб. Что не могло не сказаться и на стихах.

***

Что еще мне тогда хотелось сказать о Бродском? Точнее — самому Бродскому. Как много раз бывало в Ленинграде, и он выслушивал — однажды целую ночь напролет в его комнате, с

Соловьевым и Кушнером, — внимательно и охотно.

А вот что.

Стихи он писал в России. В Америке — обеспечивал им гениальное авторство, мировую славу, нобелевский статус. Иными словами, в России закончилась его поэтическая судьба. За границей он стал судьбу делать сам.

Канонизировался в классики. Взращивал у себя на Мортон-стрит лавровое деревце на венок от Нобеля. Сооружал пьедесталы для памятников себе. Страдал неодолимой статуйностью. Дал понять современникам и потомкам, что мрамор предпочтительнее бронзы. Эстетичней и долговечней. Это когда побывал в Риме и прикинул на себя статую римского императора. Тотчас признался в стихах, что чувствует мрамор в жилах.

Все это ужасно смешно.

«Я этого не слышал! — выкрикивал Сережа с наигранным ужасом. — Я ухожу. Я уже ушел!»

Вот так мы с ним однажды, незадолго до его смерти, поговорили.

Насчет смерти. Несмотря на грандиозные запои, из которых выползал со все большими потерями для здоровья, Сережа о смерти не помышлял. Просто не держал в уме. Смерть не входила в круг его интересов, размышлений и планов. Исключая последние три месяца жизни. Он мог говорить, что из следующего запоя не выкарабкается, он собирал и пристраивал свой литературный архив, но в глубине души и до мозга костей в смерть для себя не верил. Или запретил ее для себя даже в предположении. Часто прикидывал старость. Заботился ее обеспечить. К смерти, к мертвому у него была резко эстетическая неприязнь. Мертвого — друга, приятеля, родственника — он сразу отметал. Как-то глумливо самоутверждался на смерти ровесников. Чужая смерть давала ему допинг на жизнь.

Сережа был фанатом — и в работе, и в жизни — настоящего протяженного. Отсюда — выпуклый, животрепещущий сюр его рассказов. В жизнь это вносило привкус сиюминутной вечности. Довлатов принадлежал к числу тех жизнеодержимых людей, которые, взглянув на старинную картину, гравюру или фотографию с людьми, тут же воскликнут: все — мертвецы.

Интенсивно, в упор переживая настоящее, Сережа не интересовался будущим временем. Говорил, что будущее для него — это завтра, в крайнем случае — послезавтра. Дальше не заглядывал. Прошедшее его не угрызало — он отправлялся туда исключительно по писательской нужде. Был равнодушен к памяти — она его не жгла. Он также был не большой охотник кота назад прогуливать. В пережитое наведовался только по делу, за

конкретностью, которой был фанатик.

Раз заходит ко мне Сережа с необычным для него предложением — вместе вспомнить старое. Не из сентиментальности, а для работы. Что-то заело в его фактографе из 50-х годов. Давняя конкретность ускользала. Вот он и предложил прогуляться по словарю вспять — до вещного мира нашего детства.

Были извлечены из 35-летней могилы чернильницы-непроливашки в школьных партах, промокашки, вставочки и лучшие номерные перья. Обдирочный хлеб, толокно, грушевый крюшон и сливовый «Спотыкач» (Сережа не вспомнил), песочное кольцо, слойки и груша бере зимняя Мичурина. Среди прочего — чулки фильдекосовые и фильдеперсовые, трикотажные кальсоны с начесом и с гульфиком — в бежевых ходили по квартире и принимали гостей. Как в лагере выкладывали линейку еловыми шишками. Вечерние рыдания пионерского горна: спаать, спаать по па-лааа-там.

И тут моя память переплюнула Сережину. Забежав по привычке в кондитерский магазин, я там уцепила — среди киевской помадки, подушечек в сахаре, всевозможных тянучек, ирисок и сосулек, в соседстве с жестянками монпасье, на самом дальнем краю детства, — крохотный, сработанный под спичечный коробок. Драже «Октябрята» — белые и розовые, со сладкой водичкой внутри и тусклой этикеткой хохочущих октябрят. Кажется, это был первый послевоенный выпуск карамели с жидким наполнением. Во всяком случае, тогда открытие этих драже было для меня сладким откровением. Как позднее — от природы, книги или музыки. Сережа «Октябрят» не помнил, да и не знал. Но был дико уязвлен — он забыл само слово «драже».

Свой писательский эгоцентризм Довлатов постепенно — не имея долгое время печатного исхода — развил до истовости, до чистого маньячества. Он считал, например, что счастливо ограничен для своего единственного призвания. Как пчела, он обрабатывал только те цветы, с которых мог собрать продуктивный — в свои рассказы — мед. Остальные цветы на пестром лугу жизни он игнорировал. То есть поначалу он, пестуя в себе писателя, по-рахметовски давил иные, посторонние главному делу, интересы и пристрастия, а затем уже и не имел их. И, освободившись от лишнего груза, счел себя идеальным инструментом писательства. На самом деле он был прикован к своей мечте, как колодник к цепям. С той разницей, что свои цепи он любил и лелеял.

Довлатов не понимал страсти к путешествиям, к ближним и дальним странствиям, да просто к перемене мест. Он клеймил

такие, чуждые ему порывы с брезгливостью: «Туризм — жизнедеятельность праздных». То, что он не понимал, он отрицал.

Отрицал музеи, любовь и тягу к природе, само понятие живописности. Был равнодушен к старому Петербургу, белым ночам и пушкинским местам. Бедность в разбросе интересов Довлатов почитал своей силой, несомненным преимуществом над коллегами, вожделеющими не только писательства.

Многосторонность интересов, влечений и отвлечений в писателе Довлатов осуждал как слабость или даже как профессиональный порок. В самом деле, его автогерой в прозе — тоже писатель — удивительно самодостаточен и плотно набит всякой жизнью. Сам же автор паниковал и мучился — не имея куда отступить — в моменты рабочего простоя или кризиса. Зона его уязвимости была необычайно велика.

Не стоит прижимать писателя к его авторскому персонажу. Они не близнецы и даже не близкие родственники, пусть анкетные данные у них совпадают точка в точку. У довлатовского автогероя — легкий покладистый характер, у него иммунитет против жизненных дрязг и трагедий, он относится с терпимой иронией к себе и сочувственным юмором к людям, у него вообще — огромный запас терпимости, и среди житейского абсурда — то нелепого, то смешного, то симпатичного — ему живется, в общем, не худо.

Но оттого герою в рассказах живется легко и смешливо, что сам автор в реальной жизни склонен к мраку, пессимизму и отчаянию. Литература, которой Довлатов жил, не была для него — как для очень многих писателей — отдушиной, куда сбросить тяжкое, стыдное, мучительное, непереносимое — и освободиться. Не было у него под рукой этой спасительной лазейки.

Я помню Сережу угрюмым, мрачным, сосредоточенным на своем горе, которому не давал не то чтобы излиться, но даже выглянуть наружу. Помню типично довлатовскую хмурую улыбку — в ответ на мои неуклюжие попытки его расшевелить. Особенно тяжко ему приходилось в тот год перед последним в его жизни 24-м августа. Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, я первым делом отправилась к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом.

Сережа был безучастен. Радости не было. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в «Нью-Йоркере», ни переводные издания его книг. Он говорил: «Слишком поздно». Все, о чем он мечтал, чего так душедробительно добивался, к нему пришло. Но слишком поздно. Даже сын у него родился, которого вымечтал

после двух или трех разноматочных дочерей. И на этот мой безусловный довод к радости Довлатов, Колю обожавший, сурово ответил: «Слишком поздно». Дело в том, думала я, что за долгие годы непечатания и мыканья по советским редакциям у Сережи скопилось слишком много отрицательных эмоций. И буквально ни одной положительной. Если принять во внимание его одну, но пламенную страсть на всю жизнь — к литературе. И те клетки в его организме, что ведают радостью, просто отмерли. Вот он и отравился этим негативным сплошняком.

Причин для безрадостности в тот последний Сережин год было много: и радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и, как следствие, его запои на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам, того лета. Что скрывать — у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось — как он хотел. У него вообще не писалось.

Он наконец уперся в эмигрантский тупик: ему больше не о чем было писать. А писать для американцев, как ему злорадно советовали завистливые друзья-враги, было просто тошно. Да и несбыточно. Была исчерпанность материала, сюжетов — не только литературных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы — попытка уйти, хоть на время, из этого тупика, в котором он бился и бился. Очень тяжко ему было перед смертью. Смерть, хотя и внезапная и случайная, не захватила его совсем врасплох.

Я часто думаю: как жестоко, беспощадно, с однообразной неумолимостью распорядилась им судьба! И как чудовищно несправедливо. Не о его преждевременной, случайной и страшной смерти я думаю. Хотя зловещий парадокс смерти в машине «скорой помощи», где Сережу умертвили, а не спасли, точит, мучит до сих пор. Нет, я не об этом, неминуемом. Но различаю какую-то потустороннюю язвительность, издевку судьбы в его посмертной литературной невероятной славе. Довлатов мечтал, опубликовав все лучшее, что написал, произвести сенсацию в русскоязычной эмиграции. И трезво отметил: «Но сенсации не произошло и не произойдет». Если бы он знал, если бы только ему дано было узнать, какая общенародная гремучая слава уготована была ему в России! Что его заждался и возвел в культ тот самый массовый читатель, которого он когда-то провидчески себе предсказал.

Но только через год — всего лишь год! — после смерти Довлатова в России начали одна за другой выходить его книги. Он превратился в культовую фигуру. Достиг максимальной известности, о которой даже не мечтал, даже вообразить не мог. Но так об этом и не узнал. Вся его писательская слава и звездная

репутация — посмертные.

Почему я так часто вспоминаю Довлатова? Да потому, вестимо, что мы с ним — близкие соседи. Угораздило меня поселиться в Куинсе, неподалеку от кладбища, где вот уже четверть века лежит под скромной мраморной стелой с высеченным его профилем неповторимый человек и писатель Сережа Довлатов. И когда я прохожу мимо кладбища, мне иногда невтерпеж донести до него дивные вести, докричаться до него.

И я кричу:

— Сережа! Ты первый писатель на Руси! Твои мечты не просто сбылись — ты стал кумиром нации! Самый-самый популярный, знаменитый, прославленный и любимый вот уже двадцать лет! Супер-пупер-бестселлерист! Ты переведен на 36 языков! Феномен Довлатова!

Почему-то с покойным Сережей меня тянет перейти на небывалое в наших отношениях «ты».

Нет ответа. Но я продолжаю по привычке окликать Сережу, хотя знаю, что его уже нет нигде.

Владимир Соловьев. Иосиф и Сергей. Post mortem

Ключ к психологической загадке

Резонансная, на грани фола, с уклоном в скандал, запретная книга Владимира Соловьева о Бродском «POST MORTEM» *написана от лица юной особы, которая, благодаря родителям (художник & критикесса), с младых ногтей вращалась среди великих мира сего от литературы и искусства, а после отвала за кордон снова оказалась в том же — плюс-минус — кругу. Здесь, в Америке, она определилась как профессиональный фотограф («фотографиня», как она сама себя величает), и к ее услугам частенько прибегают русско-американские випы — Барышников, Довлатов, Ростропович, Шемякин и другие. Она у них — а иногда между ними — мальчик на побегушках (несмотря на гендерное отличие от последнего). Самый близкий ей из этой разношерстной компании — семейный друг, по ее подозрениям, бывший чичисбей ее матери, мнимотаинственный персонаж, обозначенный в этом доку-романе, ему посвященном, буквой «О»: поэт, изгнанник, нобелевец и прочее. Секрет Полишинеля, а после двух изданий этой запретной, а теперь уже заветной книги секрет — на весь свет. Вот почему в настоящем издании автор впервые декодирует, точнее, раскодирует этого литературного персонажа:* Иосиф Бродский. *Однако автор снимает с себя ответственность за высказывания рассказчицы, которая не совсем его altra ega, хотя «горячо».*

Сюжетный и концептуальный стержень — любовная драма Бродского, кормовая база его поэзии. Психоаналитический парадокс: скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу, кто ты. Бродский сам дал ключ в руки биографа, посвятив бессчетное число стихотворений своей «снежной красавице», измена которой стала причиной катастрофы, пустившей его жизнь под эмоциональный откос. Недаром он в качестве постскриптума к своей любовной лирике сочинил антилюбовный стих, который ему не могут простить многие женщины. Собственно, потому и роман-исследование, чтобы прозвучал пронзительно-болевой камертон жизни, поэзии и судьбы Бродского.

Название первого питерского издания — «POST MORTEM. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗМЕНЫ НА ФОНЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ». Увы, это издание так и не состоялось — книга была запрещена литературно-мафиозным истеблишментом города, а потому на обложку московского издания был вынесен подзаголовок

«ЗАПРЕТНАЯ КНИГА О БРОДСКОМ», которое теперь, наверное, стоит переименовать: «ЗАВЕТНАЯ КНИГА О БРОДСКОМ».

Многое из сказанного про книгу о Бродском можно отнести и к книге «БЫТЬ СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ. ТРАГЕДИЯ ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА»*, цель которой — дать не анкетную биографию, а портрет писателя на интимно-личностном уровне.*

Публикуемые фрагменты напрямую связаны с Довлатовым — соблазн их тиснуть сюда был слишком велик, чтобы пытаться с ним совладать.

Авторы и не пытались.

Вместо того чтобы искусственно извлекать довлатовский портрет из книги о Бродском — резать пришлось бы по живому! — даны три главы, так или иначе связанные с Довлатовым в культурном контексте того времени. Единственно, пришлось отказаться от объемистого автокомментария, который служит громоотводом и заземляет художество ссылками на документы, как в предыдущих полных изданиях запретно-заветной книги о Бродском. В случае с Довлатовым необходимости в таких доказательствах нет: Сережа Довлатов списан с натуры как есть.

С подлинным верно.

Кто кому сочинит некролог?

Годом раньше, на следующий день после нашего переезда на запасную родину — так Бродский называл Америку, — ты повел всех нас в мексиканский ресторан, а оттуда мама с папой помчались на встречу в агентство, которое занималось трудоустройством вновь прибывших, а мы с тобой отправились в твою гринвичвилледжскую берлогу.

Сидим в твоем садике-малютке в плетеных креслах, тянем остывший кофе, привыкаю постепенно к тебе новому, то есть старому — новому старому, а в Питере ты был старый, тот есть свой в доску, но молодой. Столько лет прошло — ты продолжаешь мне «тыкать», а я с тобой, как в детстве, на «вы».

— Что будем делать? — спрашивает. — Или ты переходишь на «ты», или я — на «вы». А то как-то недемократично получается.

— Какой из вас демократ! — И напоминаю ему историю с Довлатовым, которая докатилась до Питера. Со слов Сергуни, который жаловался на Бродского в письме к нам.

Самое замечательное в этой истории была реплика Довлатова, которую он — увы и ах! — не произнес. В отличие от Иосифа, который в разговоре был сверхнаходчив, все схватывал на лету и мгновенно отбивал любой словесный мяч, у Сергуни была замедленная реакция, да еще глуховат на левое ухо,

импровизатор никакой, свои реплики заучивал заранее наизусть либо придумывал опосля, как в тот раз.

При первой встрече в Нью-Йорке Довлатов обратился к тебе на «ты», но ты тут же прилюдно поставил его на место:

— Мне кажется, мы с вами на «вы», — подчеркивая образовавшуюся брешь шире Атлантики.

— С вами хоть на «их», — не сказал тебе Сергуня, как потом пересказывал всем эту историю, проглотив обиду, будто ему что еще оставалось.

«На „их“» — хорошая реплика, увы, запоздалая, непроизнесенная, лестничная, то есть реваншистская. Все Сережины байки и шутки были сплошь заранее заготовленные, импровизатором, репризером никогда не был.

Услышав от меня о присочиненном довлатовском ответе, ты удовлетворенно хмыкнул.

— Почему ты был так строг с ним?

Надо бы разобраться.

— Демократ никакой, — соглашался ты со мной. — Одно дело — Серж, ты — совсем другое. Приятно, когда юная газель с тобой на «ты».

— Перед собой, птичка. Я в том возрасте, когда мне, как женщине, пора скрывать свои годы. Может, это я так к тебе подъезжаю, чтобы сократить расстояние. А то все дочь приятелей, тогда как ты уже сама по себе.

И без перехода:

— Еще девица? Ждешь принца с голубыми яйками?

— Много будешь знать — состаришься, а ты и так старик.

— Мгновенный старик, — поправил ты, не ссылаясь на Пушкина.

Так уж у нас повелось — перебрасываться общеизвестными цитатами анонимно либо обманно: лжеатрибуция называется.

— Тем более. Оставим как есть. Ты же сам этого не хочешь, дядюшка, — сказала я, переходя на «ты».

— Почему не хочу? — удивился он.

И тут же:

— Ну, не хочу. Давно не хочу. То есть хочу и не хочу, безжеланные такие желания. С тех самых пор. А если через не хочу? Знаешь, в Пенсильвании есть городок, *Intercourse* называется. Новое имя Содома и Гоморры. Представляешь, чем его жители занимаются с утра до вечера и с вечера до утра?

— В другой раз как-нибудь, — сказала я уклончиво, забыв о его присловии, которое тут же и последовало:

— Другого раза не будет.

— Для тебя. А для меня будущее всегда впереди.

И вместо вертевшегося на языке: «А если ты помрешь на мне от натуги?» (как и произошло, метафорически выражаясь, — слава богу, не со мной) смягчила, как могла, отлуп:

— Ты не подходишь мне по возрасту, я тебе — по имени.

Намек на лингвистический принцип, который срабатывал у него на сексуальном уровне: делал стойку на любую деваху с именем той — изначальной, главной, единственной. Нулевой вариант, предтеча, Первая Ева, Лилит, а настоящей Евы так и не дождался. Одним словом, демониха.

— По имени как раз подходишь: где Марина, там и Арина. Одна буква, плюс-минус, всех делов!

И тут же зашел к вопросу о нашей гипотетической близости с другого конца.

— В мои лета не желание есть причина близости, а близость — причина желания.

— В мои — наоборот. На кой мне твои безжеланные желания! А возраст у тебя в самом деле для этих дел не очень шикарный, — вставляю одно из любимых его словечек.

— Много ты знаешь, пигалица! Мой друг Уинстан (указание, что был накоротке с Оденом, с которым знаком был шапочно и кратковременно, всего за год до смерти последнего, да еще языковая преграда — английский у Иосифа в то время был пусть не на нуле, но в зачаточном состоянии) очень точно на этот счет выразился: никто еще не пожалел о полученном удовольствии. Сожалеют не о том, что поддались искушению, а о том, что устояли.

— Как сказать! — ответила ему многопытная ягница, и он расхохотался.

Вот тогда он и предложил мне:

— Не хочешь быть моей герлой, назначаю тебя моим Босуэллом.

— Это еще кто такой?

— Про Сэмюэля Джонсона слыхала? Босуэлл был ему друг и сочинил его жизнеописание.

— А как насчет Светония? Жизнь тринадцатого цезаря?

— Тебе все смех*ечки и п****хаханьки, — огрызнулся он и вкратце ознакомил со своими соображениями о латинских мраморах и их реальных прототипах, которые неоднократно варьировал в стихах, пьесах, лекциях и эссе, вплоть до мрамора, застрявшего у него в аорте из его предсмертного цикла.

А знакомством с великими мира сего продолжал гордиться даже после того, как сам примкнул к их ареопагу, а некоторых превзошел: «Только что звонил мой друг Октавио…», «Получил письмо от моего друга Шеймуса…», «Должен зайти мой друг

Дерек…» — литературная викторина, читатель, продолжается, из легких. А уж про тех, у кого титул, и говорить нечего: «Мой друг сэр Исайя», — говорил он чуть не с придыханием (после следовала пауза, чтобы оценили) о довольно заурядном британце русско-рижско-еврейского происхождения, единственная заслуга которого перед человечеством заключалась в том, что он заново ввел в литературный обиход слова Архилоха о лисах и ежах. Печалился, что нет ни одной фотки его с Ахматовой, которую не поделил с Найманом («Можно подумать, что ААА — личное Толино достояние»), кроме той знаменитой, где он стоит, сжав рукой рот, над ее трупом. Всякий раз призывал меня «с аппаратурой» на встречи с Барышниковым, Ростроповичем, Плисецкой и прочими, хотя не уступал им в достижениях, но поприще их деятельности соприкасалось с масскультурой, а его — нет. Комплекс недоучки, я так думаю. Шемякин, мой основной работодатель, и вовсе помешан на знаменитостях: снимается со всякой приезжей швалью из шестидесятников, которые ему в подметки не годятся, включая власть предержащую. Когда там у них, в России, была чехарда с премьерами, он ухитрился сфотографироваться с каждым из них — от Черномырдина до Путина, с которым с тех пор по корешам. Над ним, понятно, по этому поводу насмехались, а он отшучивался: «Промискуитет по расчету». В самом деле, он же еще и скульптор, от госзаказов зависит.

— И все-таки жаль, что я не балерина, — шутанул как-то Иосиф, а всерьез предлагал продавать сборники стихов в супермаркетах и держать их в отелях и мотелях наравне с Библией, которая тоже суть (не моя, а его грамматическая вольность) стишата: ни лучше ни хуже прочей классики. С его подачи в нью-йоркском сабвее появились сменные плакатики с логотипом *Poetry in Motion* и стихами Данте, Уитмена, Йейтса, Фроста, Лорки, Эмили Дикинсон, пока не дошла очередь до застрельщика. Он в это время как раз был на взводе, что с ним в последнее время случалось все реже и реже, и тиснул туда довольно эффектное двустишие:

Ты, парень, крут, но крут и я.
Посмотрим, кому чья будет эпитафия.

И вот звонит мне в сильном возбуждении:

— На выход. С вещами.

То есть с техникой.

Ну, думаю, опять знаменитость. Прокручиваю в уме знакомые имена, тужась вспомнить, кто жив, а кто помер. Пальцем в небо. А

тогда коп при регалиях — прочел стишок в сабвее и явился за разъяснением: кому адресовано, спрашивает.

— А ты как думаешь?

Вопросом на вопрос.

— Тирану.

Исходя из того, что Бродский — русский, да еще поэт и еврей, а в России тирания.

— Нет, коллеге.

И исходя уже из личного опыта:

— Поэт — тиран по определению.

Коп над разъяснением задумался еще крепче, чем над стишком, — не ожидал, что меж русскими писателями такие же разборки, как среди криминалов. Иосиф гордился этим полицейским читателем — больше, чем другими. Как представителем, с одной стороны, народа, а с другой — власти. Он почитал обоих: уважение вперемешку со страхом, привитые ему с детства, несмотря на романтические наскоки и усмешки.

Единственный мой снимок, который повесил у себя кабинете. Как символ триединства.

Помимо моей фотки от этой исторической встречи остался еще подаренный копом полицейский фонарик, с которым Иосиф не расставался в своих италийских скитаниях, направляя его прожекторный луч на фрески и картины в полутемных церквах.

Двустишие это обросло комментариями: кому оно посвящено? Я знаю доподлинно и в надлежащем месте сообщу. Или не сообщу — по обстоятельствам: в зависимости от контекста и надобности. А пока что: зря ты хорохорился. Ты обречен был проиграть в том споре — и проиграл: моська одолела слона. И тот, кто его на этот стих подзавел, сочинил эпитафию, самую лживую и отвратную из всех. Если бы ты прочел, в гробу перевернулся.

Единственный, кого Иосиф пережил из гипотетических антагонистов этого стишка, чему сам страшно удивился: Довлатов. Довлатов, думаю, удивился бы еще больше, узнав, что он, Сережа, умер, а Бродский все еще жив и даже сочинил ему эпитафию. Ведь он заранее занял место на старте будущих вспоминальщиков о Бродском, который к месту и не к месту прощался в стихах и в прозе с жизнью, на что у него имелись веские физические показания. Сережа и не скрывал, что книжка о тебе на случай твоей смерти, а та казалась не за горами, у него уже вся готова: «Вот здесь», — и показывал на свою огромную, как и все у него, голову. А оказался единственным, кому не довелось литературно, то есть профессионально воспользоваться смертью Бродского, которого он обогнал сначала в смерти, а благодаря ей

— в славе.

Говорю о России.

Интересно, дано Довлатову знать это там, за пределами жизни? Или это все суета сует и жизни мышья беготня перед лицом вечности, да и есть ли та на самом деле — под большим вопросом.

— Вот все кручинятся по поводу ранней кончины Довлатова, да? — Разговор через пару недель после Сережиной смерти. — Во-первых, не такая уж ранняя: сорок девять. Лермонтов вполовину меньше прожил, да и Пушкин умер на двенадцать лет раньше. Но и им сочувствовать не след — это во-вторых. Скорее — завидовать их везению. А Сереже и повезло и не повезло — слишком долго жил. По сравнению с Пушкиным и Лермонтовым.

— А по сравнению с Толстым?

— Ну, ты загнула! А что граф в последние десятилетия сочинил? Сплошь лажа. Вздорный был старик, сколько крови всем попортил. Если семьдесят — библейская норма жизни, то остальные годы — заемные, да? Похищенные у природы. Зачем продлевать жизнь, зачем влачить жалкое существование, зачем пародировать самого себя? Жизнь, как басня, ценится не за длину, а за содержание.

— Сенека, — с ходу выдала я.

— Умирать надо молодым.

— Как и жить, — говорю.

Мгновенно:

— Вот как рождаются афоризмы: умирать, как и жить, надо молодым. Увы, я уже вышел из возраста, когда умирают молодым.

Иосиф знал, что плакальщицы и плакальщики по нему давно уже приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

Рассказывал, как Раневскую спросили, почему она не напишет воспоминания об Ахматовой. «А она мне поручала? — огрызнулась Раневская. — Воспоминания друзей — посмертная казнь».

— Это бы еще полбеды, — продолжал Иосиф. — А как насчет воспоминаний шапочных знакомых и даже незнакомых, которые будут клясться в дружбе с покойником? Как говорила та же ААА: его здесь не стояло. Хрестоматийный пример: ленинское бревно. В том субботнике его с вождем тащили миллионы. Судя по воспоминаниям. Так и представляю поток посмертных воспоминаний обо мне: «Я с ним пил», «Я с ним спала», «Я ему изменяла», «Он мне сломал жизнь». Обиды, реванши, фэнтези, фальшаки. Лжемемуарный курган, а под ним надежно запрятаны стихи, до которых потомок уже никогда не докопается. Конец

света! Вот этой смерти я и боюсь больше, чем физической. *De mortuis nil nisi bene,* о мертвых ничего, кроме хорошего, — почему?

— Почему? — вторит ему Эхо. Которая нимфа. — Лучше тогда: о живых или хорошо, или ничего. Мертвым не больно.

— Ты откуда знаешь, пигалица?! Может, им больнее, чем живым. Мертвецам не подняться из гроба и не встать на свою защиту. Господи, как мертвые беспомощны перед живыми! Я бы запретил сочинять мемуары про покойников, коли те не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Как говорил сама знаешь кто: дальнейшее — молчание. Если мертвецам не дано говорить, то никто из живых не должен отымать у них право на молчание. Коли зуд воспоминаний, вспоминай про живых. Нормально?

— А как насчет некрологов?

— Что некрологи! Визитные карточки покойников. На зависть живым! Если задуматься, человек всю жизнь пашет на свой некролог. А знаешь, что некрологи на всех знаменитостей написаны в «Нью-Йорк таймс» впрок и лежат в специальном «танке», дожидаясь своего часа, как сперматозоиды гениев. Мой в том числе.

Как всегда в таких случаях, сделала ему глаза-колеса.

Хихикнул.

— Ты же понимаешь, я не об этих живчиках, будь неладны, до сих пор отвлекают. У них там, в редакции, есть даже штатный некрологист. Подвалил как-то ко мне с вопросником, не скрывая шакальего некрофильства. Я ему: «Дай прочесть!» Ни в какую! Гробовых дел мастер, замеры делал! А сам возьми да помри через полгода. О чем стало известно из некролога в той же «Нью-Йорк таймс». Сам же и сочинил загодя, в чем честно в собственном некрологе признался. Юморевич фамилия. Из наших.

Имея в виду понятно кого.

— А почему бы тебе, дядюшка, тоже не сочинить себе некролог загодя, пока есть такая возможность?

— Пока не помер?

— Хоть бы так, — говорю.

— Был прецедент. Эпитафия себе заживо. Стишок. Князь Вяземский написал в преклонны годы.

— Тем более. Возьми за образец. Коли ты другим отказываешь в праве писать о себе.

— С чего ты взяла? Я не отказываю. Вранья не хочу.

— А правды?

— Правды — боюсь.

И добавил:

— От себя прячусь. Всю жизнь играю с собой в прятки.

— Не надоело?

— Голос правды небесной против правды земной, — напел ты незнамо откуда взятые слова на знакомый мотивчик. — В детстве мечтал стать летчиком и, знаешь, в конце концов стал им. Выражаясь фигурально. Почему летчиком, а не танкистом? Механизм ясен? Чтобы глядеть вниз из-за облаков. Что я теперь и делаю. Я не о славе. Яркая заплата на ветхом рубище певца. Довольно точно сказано родоначальником, на уровне не хуже Баратынского, который лучше. Понимаешь, детка, я уже по ту сторону жизни, за облаками, и гляжу на земных человечков с высоты — нет, не птичьего, бери выше! — ангельского полета. Пусть они там — то есть здесь — обливаются слезами, что мне ваша земная правда, чувство вины и *etc, etc, etc?* Как говорил Виктор Юго, которого в России зачем-то переименовали в Гюго: пусть растет трава и умирают дети.

— Это называется по ту сторону добра и зла, — подсказала я.

— Что делать, искусство требует жертв. Погляди на меня — что осталось от человека? Ради искусства я пожертвовал собой…

— …и другими.

— И другими. Искусство превыше всего. Человеческие трагедии — его кормовая база. Мы унаваживаем почву для искусства.

Думал ли он так на самом деле или только так говорил?

С одной стороны, прижизненная слава, конечно, кружила голову, внюхивался в фимиам, кокетливо отшучивался: «Там, на родине, вокруг моей мордочки нимб, да?»

— Дядюшка, а твоя фамилия случаем не Кумиров? — спрашиваю. — Ты сам с собой, наверное, на «вы», как Довлатов с тобой.

С другой стороны, однако, опасался, что после смерти, которую напряженно ждал вот уже четверть века и навсегда прощался с близкими, ложась на операцию геморроя или идя к дантисту, слава пойдет если не на убыль, то наперекосяк, что еще хуже.

Сам творил о себе прижизненный миф и боялся, что посмертно его собственный миф будет заменен чужим, сотканным из слухов и сплетен.

— Стишата забудутся, а мемуары незнакомцев останутся. Ужас.

— Но не ужас, ужас, ужас!

Анекдот из его любимых — про б*****.

Ухмылялся:

— Предпочитаю червей мухам.

Мухи над твоим будущим трупом начали кружить задолго до смерти. В Израиле то ли в Италии, а может, и там и там,

поставили про тебя спектакль, так ты трясся от возмущения:

— Какой-то сопливый хлыст с моим именем бегает по сцене и мои стихи под ладушки читает. Каково мне, когда сперли мое айдентити!

Раз психанул и выгнал одного трупоеда: еле оторвал — так присосался. Тот успешно издавал том за томом сочиненные им разговоры с покойными знаменитостями, невзирая на то, что некоторые умерли, когда он был еще в столь нежном возрасте, что ни о каких беседах на равных и речи быть не могло (как, впрочем, и позже), а к тебе стал подступаться, не дожидаясь смерти. Ты как-то не выдержал:

— А если ты раньше помрешь?

Грозил ему судом, если начнет публиковать разговоры, но тот решил сделать это насильственно, явочным путем, игнорируя протесты.

— Трепались часа три в общей сложности, от силы четыре, а он теперь норовит выпустить двухтомник и называет себя Эккерманом.

— Он что, тебя за язык тянул? — сказал папа. — Никто тебя не неволил. Не хотел бы — не трепался. Жорж Данден!

— Как ты не понимаешь! В вечной запарке, в голове за*б, особенно после премии — сплошная нервуха. Не успеваю выразить себя самолично, письменным образом. Вот и остается прибегать, прошу прощения за непристойность — воробышек, заткни уши! — к оральному жанру. Лекции, интервью, все такое прочее. А там я неадекватен сам себе. Написал в завещании, чтоб не печатали писем, интервью и раннего графоманства. Шутливые стихи на случай — сколько угодно. К примеру, который про воробышка. Ничего не имею против. Даже наоборот.

— Что до самовыражения, ты уже исчерпал себя до самого донышка, — сказала мама, которая присвоила себе право резать правду-матку в глаза. Зато за глаза могла убить человека, тебя защищая.

— Пуст так, что видно дно, — без ссылки на Теннисона, но нам круг цитируемых им авторов был более-менее знаком, хотя и нас нет-нет да ставил в тупик. — Ты это хочешь сказать?

— Не слишком рано ты занялся самомифологизацией? Хотя это уж точно не твоя прерогатива. А с Соломоном, пусть и паразит, вел себя как нехороший мальчик.

— У него после того самого трепа с вами весь организм разладился, — выдал справку тогда еще живой Довлатов, а тот сам словно аршин проглотил в твоем присутствии. — Месяцами приходил в себя.

— Он не имеет права писать обо мне как о мертвом. Пусть

дождется моей смерти. Недолго осталось.

— Я бы на вашем месте был счастлив, — сказал Довлатов почтительно. — Если он Эккерман, вы — простите — Гёте.

Сергуня был тонкий льстец. Он доводил прижизненные дифирамбы Иосифу до абсурда, который, однако, не дано заметить обольщаемому лестью. «Он не первый. Он, к сожалению, единственный» — вот одна из печатных нелепиц Довлатова про тебя, которая тебе так понравилась. Вот уж расстарался так расстарался!

— А как же остальные, включая Довлатова? — вякнула я.

А один общий знакомый — из бывших, твой бывший близкий друг, а теперь смертельный враг Дима Бобышев — и вовсе рассвирепел:

— Что значит — единственный? Что за холуяж! Вот уж лизнул так лизнул. Креативно лизнул. До самых гланд!

И схлопотал от меня по морде.

Но Довлатова было уже не остановить: доведя свою мысль-лесть до абсурда, сам абсурд Сергуня возводил в некую степень: лесть становилась все изощреннее, абсурд — соответственно — еще абсурднее. Альбом снимков знаменитых русских с анекдотами про них Довлатов выпустил под названием «Не только Бродский» — в том смысле, что и другие тоже, хотя его одного хватило бы для этой воображаемой доски почета русской культуры, Таков был намек.

Само собой, изощренная эта лесть льстила Иосифу, не говоря уже о том запредельном эффекте от противного, когда этот верзила, который мог тебе запросто врезать в рыльник, отправив в нокаут с первого удара, кадит тебе и пресмыкается. Довлатовские габариты не давали Иосифу покоя, и время от времени он проходился на их счет: «2 м х 150 кг = легковес», имея в виду его прозрачную, легкую, ювелирную прозу. На самом деле до двух метров не хватало четырех сантиметров, а вес ты и вовсе гиперболизировал, скруглил. Да и главная причина этого настороженно-реваншистского отношения к Сергуне была в другом. См. ниже.

— С его цыплячьим умишком? — кипятился Бродский по поводу Эккермана. — Поц он, а не Эккерман. Если б только обокрал, так еще исказит до неузнаваемости. Как принято теперь говорить, виртуальная реальность. Выпрямит, переврет, сделает банальным и пошлым. Пес с ним! А воспоминания друзей! Плоский буду, как блин.

— Могу тебя успокоить. Из нас никто не напишет про тебя ни слова, — сказала мама. — Если, конечно, переживем тебя, а не ты нас.

— Еще чего!

— Всё возможно.

— Теоретически.

Я промолчала, хотя и не собиралась сочинять гипотетический мемуар на случай твоей смерти. Но от слова свободна. Да и не мемуары это вовсе, а роман, хоть и пишу по воспоминаниям.

Кажется, я поняла: твои дутые похвалы той же природы, что и твои огульные филиппики, пусть и с противоположным знаком.

Из последних: разгромная внутренняя рецензия на роман Аксенова и выход из Американской академии, когда туда избрали иностранным членом Евтушенко, а его не забывал до самой смерти — за два с половиной месяца до кончины затеял новую против него интригу, когда Евтушенко взяли профессором Куинс-колледжа, и даже послал телегу его президенту. Отрицание на типовом уровне — как самого известного из шестидесятников-сисипятников, которому к тому же удалось сочетать официозность с диссентом? Давнишняя та обида — что Евтух, когда с ним советовались в гэбухе, посодействовал твоему перемещению из обреченной державы в куда более перспективную, о чем ты сам мечтал с младых ногтей? Или все-таки соперничество? Хоть и поэты разных весовых категорий, но Америка — не тот ринг, где зрители и рефери способны в этом разобраться. Для здешнего культурного истеблишмента вы оба — представители русской культуры в Новом Свете, два ее полномочных посла. Две статуи в довольно тесной нише, которая сужалась все более из-за потери интереса к России после того, как та перестала быть империей зла. Оказаться в одном городе — ты преподавал в Колумбии, Евтушенко в Куинс-колледже, — с твоей точки зрения, полный караул.

— А почему ты не отказался от Нобелевки в знак протеста, что ее давали разным там Иксам и Игрекам? — спросил папа. — Тому же Шолохову?

— Есть замечательное русское выражение…

— Рядом… — начали мы хором, зная наизусть все замечательные русские выражения, которые ты употреблял-злоупотреблял и называл инородной мудростью.

— Не сяду. Как и с Вознесенским. Близнецы-братья. Два брата-дегенерата. Вот и пусть сидят рядом. Я — пас. Гусь свинье не товарищ. Улетаю, улетаю. Шутка.

Сноска-справка прямо в тексте. Это из лагерной байки про зэка-конферансье, он обращается к аудитории «Товарищи…», а майор из зала: «Гусь свинье не товарищ», на что конферансье и говорит: «Улетаю, улетаю» — и скрывается за занавесом. История, которую мы от тебя слышали тысячу раз.

Потом ко мне лично:

— Как это ты, солнышко, говорила в далеком, увы, детстве? «Посмотрите на их личи». Личи — не скроешь, на то они и личи.

Конец света.

Неужто я так хорошо говорила? Он меня любил цитировать — собственные перлы помню благодаря ему. Например: «Самолеты ходят по небу, как мухи по стеклу». Или про себя: что я «маля». На что язва-мама добавляла: «Умом!» Кто ценил мой дар косноязычия, так это ты. Если б не эмиграция! Какой талант пропал! Разве что этой книгой наверстаю, хотя все время тянет перейти на английский.

А ссылка на личи, хоть и плагиат, очень в его духе. Человека он воспринимал на физиологическом уровне — всеми порами, ухом, глазом, ноздрей, разве что не облизывал! И всегда полагался на первое впечатление, ни шагу в сторону, мог повторить характеристику, данную при первовстрече, спустя десятилетия.

— Личи и в самом деле — не приведи Господь! — продолжал ты с видимым удовольствием. — Вознесенский с годами все больше походит на хряка, Евтух — чистая рептилия, Бобышев — замнем для ясности, у Кушнера — мордочка взгрустнувшего дебила, у Лимошки гнусь на роже проступает, как сыпь. Идем дальше?

Стоп, s.v.p.! А то никого не останется. Ищу человека: ау! Даже подыскивая пристанище в Нью-Йорке «дружбану» Рейну, объяснял знакомым, почему не поселяет у себя: «Женюру люблю, но нобелевскую медаль сопрет — без вопросов».

Есть дамы прекрасные во всех отношениях, но не писатели. Совсем наоборот: монстр на монстре и монстром погоняет. Тот же Гоголь, который про дам сочинил, жестоко мучил животных. Некрасов — картежный шулер. А Лермонтова взять! Скольких людей он бы еще обнесчастил злым языком и дурным характером, кабы не Мартынов: доведенный оскорблениями, вызвал на дуэль и убил в честном поединке, прекратив поток безобразий. Про личи и говорить нечего, хоть мы к ним и привыкли.

«Всмотритесь в лицо Достоевского: наполовину — лицо русского крестьянина, наполовину — физиономия преступника: приплюснутый нос, маленькие, буравящие тебя насквозь глазки и нервически дрожащие веки, большой и словно бы литой лоб, выразительный рот, который говорит о муках без числа, о бездонной печали, о нездоровых влечениях, о бесконечном сострадании, страстной зависти! Он великий художник, но отвратительный тип с мелкой и садистической душонкой».

Это не я пишу, что и по стилю видно, а датский критик Георг Брандес, которого ты незнамо откуда выкопал, немецкому философу Фридриху Ницше.

Представим теперь Достоевского соседом по квартире! Даже

по лестничной площадке. Так это всё классики, а что взять с современников? У тебя у самого лик святого, что ли? Нимб вокруг головы? Как бы не так! Лучше и вовсе не знать вашего брата лично, а любить на расстоянии — читая книжки. Тот же Лимонов. Помню, как-то защищала его от Довлатова, а Сережа говорит: «Вы с ним ближе сойдитесь!» Спрашиваю: «По корешам или как с мужиком?» Этот вопрос Сережу то ли смутил, то ли обидел. Мне повезло — знала обоих шапочно. В отличие от тебя. Тем не менее хочу уточнить кое-что в твоих отношениях с Лимошкой, как ты стал его называть после разрыва.

На раннем этапе его заграничных мытарств ты ему потворствовал — с твоей подачи в мичиганском «Ардисе» вышла его первая книга плюс подборка стихов в «Континенте» с твоим предисловием. И хотя ты терпеть не мог знакомить одних своих знакомых с другими, свел Лимонова с нью-йоркскими меценатами Либерманами, главным твоим тяни-толкаем в вознесении на мировой литературный олимп, Нобельку включая. «Смелости недостаточно — нужна наглость» — один из любимых тобой у Ежи Леца афоризмов.

Лимонов, однако, отблагодарил тебя посмертно не за покровительство, а за бабу, которую ты ему передал со следующим напутствием:

— Можешь ее вы*****, ей это нравится. У меня для такой кобылы уже здоровье не то.

Ссылкой на нездоровье и даже импотенцию осаживал осаждающих тебя кобыл, кобылок и кобылиц.

Отношения с Лимоновым не сложились, причин тому множество. Одна из: он не из породы управляемых. Тем более — покровительствуемых и благодарных. А для тебя покровительство было одной из форм самоутверждения в пред— и особенно в постнобелевский период. Когда Довлатов взмолился: «Унизьте, но помогите», это была не просто адекватная, но гениальная формула твоей доброты к соплеменникам. Однако, в отличие от Довлатова, который из породы самоедов и готов был стелиться перед кем угодно, Лимонов не принял бы помощь, которая его унижала. Либо принял бы, а в благодарность откусил руку дающего. Честолюбие распирало его, литературные претензии и амбиции были ничуть не меньше твоих при куда меньшем потенциале. Потому и приходилось добирать внелитературными средствами, что недодала литература, с которой он в конце концов завязал, обозвал на прощание пошлой нае**ловкой и пустился во все тяжкие военно-политической авантюры, писательству предпочтя армейский прикид и автомат Калашникова. Уже за одну эту измену литературе его следовало

посадить, но посадили его, увы, за другое. Когда ты вытравлял в себе «политическое животное», не гнушаясь им, впрочем, но используя исключительно в языковых целях в стиховых гротесках, Лимонов всячески его в себе лелеял, пока не взлелеял политического монстра. Но я все-таки думаю, что политика для него — одна из форм паблисити, перформанс, хэппенинг, пиарщина. И что потешная партия нацболов — пьедестал для ее дуче-изумиста. Но это уже за пределами твоей жизни — может, любопытно будет узнать, если у тебя есть возможность заглянуть оттуда в этот мой файл.

По поводу лимоновского изумизма — в ответ на мое «скандал в природе литературы» — ты, помню, говорил:

— Не других изумлять, а самим изумляться, ибо мир изумителен. — И повторил по слогам: — И-зу-ми-те-лен.

— А как же «красавице платье задрав»? — вспомнила я обидный для нас, девушек и б. девушек, стишок. — Лично я хочу, чтобы видели дивное диво. По другому — не желаю.

— Если хочешь, эти стишата — изумление перед собственным изумлением. Что ты еще способен. Изумляться, трахаться — едино. — И приводил как пример изумления и страсти к Венеции эквестриана со стоячим болтом на Большом канале. — *Alas,* это чувство глохнет, атрофируется. *Nil admirari,* ничему не удивляться, — формула импотенции, хотя мой друг Гораций имел в виду нечто другое. Весь этот скепсис, мой включая, — не от хорошей жизни. Изумлять других хотят те, кто сам не способен изумляться. Изумист Сальвадор Дали, например, был импотентом, мне Таня Либерман рассказывала, а ей Гала сообщила. Хочешь знать, тщеславие — это альтруизм, работа на публику. Талант, наоборот, высшая форма эгоизма и самоудовлетворения. То есть внутрь, а не вовне. Вот почему твой Лимонов — эпатёр, а не писатель.

Это ты задним числом, оправдывая себя за историю с «Это я — Эдичка», когда, в ответ на просьбу редактора дать пару рекламных слов на обложку, с ходу стал диктовать по телефону:

— Смердяков от литературы, Лимонов…

Напрасно издатели отказались: негативное паблисити могло бы сыграть позитивную роль. Лимонов объяснял этот кульбит так: ты помогал соплеменным литераторам в русских изданиях, но боялся конкуренции в американских — пытался приостановить публикацию по-английски романов Аксенова, Аркадия Львова, Саши Соколова. В долгу перед тобой он не остался и обозвал поэтом-бухгалтером. Вот тогда ты его и пригвоздил: «Взбесившийся официант!» — и иначе как Лимошкой с тех пор не называл. Бросал брезгливо: «Гнилушка». Зато посмертно Лимошка

взял у тебя реванш и выдал целый каскад антикомплиментов: «непревзойденный торговец собственным талантом», «сушеная мумия» и проч. и проч. Теперь, надеюсь, вы квиты?

Суть этого конфликта, мне кажется, вот в чем: тунеядец, пария, чацкий, городской сумасшедший в Питере, ты стал в изгнании частью всемирного литературного истеблишмента, тогда как Лимонов остался за его пределами, застрял в андеграунде, так и остался навсегда Лимошкой. Человек обочины, на стороне аутсайдеров — сам аутсайдер. Выдает за личный выбор, ссылаясь на французский опыт.

Оставшись за бортом американской жизни, Лимонов эмигрировал из Америки во Францию (в обратном направлении проследовал Шемякин, его приятель и мой работодатель; как пишет Лимонов, обменялись столицами), причем овладел французским настолько, что стал французским журналистом, а мог бы и писателем — кончил бы жизнь академиком. Так он сам считает. Сомнительно. На самом деле это горемычная его судьба — быть подонком среди подонков. Всюду: в Харькове, в Москве, в Нью-Йорке, в Париже, опять в Москве. Точнее, в Лефортово.

Пусть Смердяков от литературы, но Лимонов сам обнаруживает в себе столько монструозного, что уже одно это говорит о его писательской смелости. Он и в самом деле похож на героев Достоевского, но в отличие от Бродского я ставлю это ему в заслугу. В героях Лимонова — полагаю и в нем самом — гнидства предостаточно, он падок на все, что с гнильцой, с червоточиной, но пусть бросит в него камень тот, кто чист от скверны и сам без греха. Знаешь, как Соловьев назвал статью о нем? *«В защиту негодяя».* Точнее было бы: *«В защиту немолодого негодяя»,* перефразируя название его собственной повести «Молодой негодяй».

— Ты что, единственный в мире судья? — спросила как-то, когда ты выдал очередную филиппику против Лимонова, а он тебе покоя не давал.

— А кто еще? — последовал наглый ответ.

В чем я уверена, автобиографическую прозу Лимонова нельзя принимать за чистую монету. Литературный персонаж, пусть даже такой вопиюще исповедальный, как Эдичка, не равен его создателю Эдуарду Лимонову. Вопрос будущим историкам литературы: где кончается Эдичка и начинается Лимонов? Кто есть Лимонов — автобиограф или самомифолог? Что несомненно: из своей жизни он сотворил житие антисвятого. Как отделить зерна от плевел, правду от вымысла? Ради литературы он готов возвести любую на себя хулу.

Я, например, склонна верить не Эдичке, а Эдуарду Лимонову,

когда он позднее стал открещиваться от героя в самой скандальной сцене своего первого романа: в изнеможении несчастной любви отдается негру в Центральном парке. Лимонов выдает теперь эту сцену за художественный вымысел. Вот абзац из его пасквиля *«On the Wild Side»* — о художнике Алексе, подозрительно смахивающем на моего Шемяку:

*«Алекс знал по меньшей мере одну из моих жен, но почему-то упорно продолжает держать меня за гомосексуалиста. На людях. Я никогда особенно не возражаю: после выхода моей книги „Это я — Эдичка“ многие в мировом русском коммюнити считают меня гомосексуалистом. Однажды, я был как раз в обществе Алекса в тот вечер, мне пришлось дать по морде наглецу, назвавшему меня грязным педерастом. В русском ресторане в Бруклине. Я сам шучу по поводу моего гомосексуализма направо и налево. Но не Алексу, по секрету рассказавшему мне как-то, как его еще пятнадцатилетним мальчиком совратил отец-настоятель в русском монастыре, меня на эту тему под*****вать».*

Вот что я думаю. Адепт «грязного реализма», скандалист и сквернослов, Лимонов не стал бы отмежевываться ни от какой грязи — он достаточно долго прожил в Америке и Франции, чтобы досконально изучить механику негативного паблисити: скандал лучше забвения, подлецу все к лицу, рвотные сцены в его духе. А главное, Лимонов такой бешеный женолюб — не только в подробно описанной им любви к Елене Щаповой, но и в деперсонализированной похоти к нерожалым бабенкам, что представить его за голубым делом лично для меня невозможно — даже в качестве сексуальной двухстволки или единичного эксперимента. Но сюжетно и композиционно — как знак отчаяния любви — эта шокирующая сцена позарез необходима, художественно и эмоционально, как своего рода катарсис. Что же касается ее правдоподобия, здесь все говорит в пользу Лимонова-писателя. Именно: над вымыслом слезами обольюсь…

Вот где вы с ним сходитесь, как параллельные линии за пределами Эвклидова пространства: в горячей точке отвергнутой любви. Потому я и задержалась на Лимошке. Поверх этих внешних различий, на самой глубине, по существу между вами разительное сходство. Я не о вождизме и не о самцовости, которые, если их вывернуть наизнанку, совсем наоборот, но о прямых любовных аналогиях. Оба потерпели сокрушительное поражение в любви и оповестили о том *urbi et orbi,* всем и каждому.

Можно и так сказать: любовное унижение сформировало вас — одного как поэта, другого как прозаика: раненое *ego.* Одна и та же механика творческого сублимата: унижение в жизни —

выпрямление в литературе. Литература как замещение и реванш. Не знаю, как в жизни — об этом у нас еще будет возможность покалякать в соответствующей главе, — но творчески лучше быть влюбленным, чем любимым. Прошу прощения за меркантилизм, но скольких шедевров мы бы не досчитались, сложись любовь иных художников счастливо. А скольких не досчитались (гипотетически)! Что, если у тебя инстинкт литературного самосохранения притупился, а у Лимонова-Смердякова развит лучше? Вот он, мятежный, и ищет бури и счастия бежит.

Может быть, потому вы и разошлись, не узнав друг в друге товарища по несчастью?

Был у тебя и другой случай неузнавания самого себя, из-за чего мы с тобой разбежались незадолго до твоей смерти. До сих пор гложет. А тебе в той новой среде, где ты обитаешь, всё, наверное, по барабану? Никакого оживляжа.

В отношениях с коллегами тебя заносило то в одну, то в другую сторону.

Больше всего нас поразило, когда ты согласился сделать вступительное слово на вечере гастролера из Питера, которого там терпеть не мог — ни как стихоплета, ни как человека, ни как гражданина тем более. Это про него ты сказал: «Евреем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Будучи сервилистом и приспособленцем, он припеваючи жил при любом режиме, был поэт на все времена и любые оправдывал. Само собой, ты делал стойку при одном его упоминании. Не говоря о виде. Демонстративно уходил посреди его чтения. Стойкая аллергия голодного на сытого. Не выносил ни литературно, ни человечески, ни физически — все тебя в нем отвращало. У общих знакомых всегда была проблема с днями рождения — кого звать в гости: обоих — испортить вечеринку.

И вот, на волне гласности и перестройки он одним из первых прилетел в Нью-Йорк и с треском провалил экзамен, который ты устраивал вновь прибывшим. И продолжал его проваливать в каждый свой новый наезд.

То есть ты, конечно, любил повторять, что проверка на вшивость тебе не по душе — потому хотя бы, что ее никто не выдерживает.

— Почти никто, — добавлял ты объективности ради.

Тем не менее проверки устраивал своим знакомым постоянно — по разным поводам. Мог, к примеру, поручить приятельнице расспросить прибывшего из Питера в Америку на вечное поселение Бобышева о своем киндере, а после того, как та, честно выполнив поручение и отчитавшись, ждет благодарности, порвать с ней. На ее слезные доводы, что сам же просил, раздраженно

ворчал:

— А ты и обрадовалась! Могла бы отказаться. Никто тебя не неволил. А теперь дружишь с моим заклятым. Нарушила клятву верности.

Так вот, когда *the Russians are coming,* ты всех в обязательном порядке спрашивал, стоит ли тебе ехать на географическую родину, а потом знакомил нас с результатами опроса. Само собой, речь шла не о возвращении — о посещении. Сам ехать не собирался — ни насовсем: «Не могу эмигрировать еще раз, да и не представить, как бы я там теперь жил после моего американского опыта. Что я там забыл?», ни туристом: «Туристом в страну, где вырос и прожил лучшие, хоть и худшие, годы моей жизни? Где похоронено мое сердце? Еще чего! На место преступления — всегда пожалуйста, но не на место любви». Вопросы интервьюеров на тему приезда отводил когда как: уклончиво — подождем, пока выйдет книга стихов, а то и резко — мое личное дело, куда мне ехать, а куда нет. Общественным мнением по данному вопросу живо, однако, интересовался. Кокетство? Розыгрыш? Провокация? Экзамен?

Голоса москвичей разделились. Андрей Сергеев, самый альтруистский друг, отверг идею приезда как гибельную и сказал то, что ты хотел услышать: живым не выпустят, друзья и враги растерзают, как менады Орфея (образ тебе, однолюбу, близкий). Питерцы, которые твою нобелевскую славу рассматривали как коллективный успех и пеклись токмо о справедливом дележе, не просто советовали, но все как один требовали приезда, который должен был превратиться в их общий триумф, надеясь во имя твое выхлопотать гранты под журналы и фонды. Из друга ты превратился для них в дойную корову. Особенно для тех, кто никогда твоим другом не был. Как неназванный мной поэт, который превзошел всех в меркантильстве. У нас здесь говорят *user*. То есть меркантил — есть такое слово? Почище Наймана. С ножом к горлу, хоть и тихой сапой. Попрошай и шантажер. Вымолил вступительное слово, а потом упросил выдать ему в печатной форме, и ты в качестве почтальона использовал Довлатова, только чтобы самому не встречаться еще раз. Корил тебя Ростроповичем — что тот регулярно наведывается в Россию и меценатствует с купеческим размахом; попрекал Гамлетовой медлительностью, измышлял все новые поводы для приезда, не терпящие отлагательств.

— Одной поездкой тут не обойдешься. Рука дающего не скудеет.

Уже была образована комиссия по торжественной встрече и устройству твоих вечеров, которую он же и должен был

возглавить. Прижизненная комиссия по наследству, считай. И даже когда ты совсем уже был плох, всего год тебе остался здесь, на земле, снова затеял с тобой долгий и теперь уже очевидно бессмысленный разговор о поездке, а когда ты сослался на здоровье, ткнул тебя поездками в Европу: «Даже в Финляндии был — до Петербурга рукой подать!»

И вот на этого приблатненного гэбухой литератора ты обрушил каскад похвал, хотя прочел текст скороговоркой, чтобы скорее отвязаться, сам чувствуя фальшь и стыдясь сказанного. И сразу смылся.

Имени не называю — не заслуживает. Кому надо — и так поймет. Прозрачно.

— Ты с ума сошел! — изумилась тогда мама. — Разве не о нем ты говорил, что серый, как вошь? Что любовь к его стихам — стыд, позор и падение русского читателя?

— Я что, спорю? — огрызнулся ты. — Звезд с неба не хватает, да еще трусоват в придачу. Бздун.

— Трусоват — это в лучшем случае, — сказала мама. — Я бы сказала: подловат. Хуже Евтуха с Андрюхой — у тех хоть общественные заслуги, Бабий Яр, то да сё.

— Я что, дегустатор дерьма, чтобы сравнивать их амбре?

— «Сидит в танке и боится, что ему на голову свалится яблоко», — процитировал папа Юнну Мориц.

— «Пьет бессмертие из десертной ложки». — Это я, без ссылки на «Трех евреев».

— Противноватый, — согласился ты. — Слюнявчик. Самая выдающаяся посредственность русской поэзии. Знаешь, я всегда предпочитал плохих поэтов, но настоящих — хорошим, но ненастоящим. По гамбургскому счету, он не поэт вообще, а компилятор. Лучшие стишки у него — пересказ или имитация других. Паразитирует на чужой поэзии и чужих мыслях. Плагиатор. То есть воришка, да? Антология русской поэзии и мировой литературы. Без сносок. Но кому охота гонять по книгам в поисках первоисточника — что и у кого он с**здил? Чтобы быть поэтом, необходима как минимум личность, да? У него она отсутствует начисто. Это с одной стороны, до которой никому нет дела. А с другой — ну как не порадеть родному человечку! Как-никак еврей.

— Непостижимо! — воскликнула мама. — При чем здесь еврей?

— Придворный еврей, — уточнил папа. — Единственный на моей памяти, кому еврейство в помощь. Как что: еврея обижают. Любую критику в свой адрес объявляет антисемитизмом.

— А если критик сам еврей? — спросила я.

— Значит, клеветник и кагэбэшник, — сказал папа. — Как, к примеру, Соловьев.

— На самом деле он много мельче и гаже, чем Соловьев дал в «Трех евреях», — сказал ты, которого раздражало само сопоставление тебя с ним, пусть и в твою пользу, но как бы вровень. — Чему свидетельство как раз его носорожья реакция на «Трех евреев», где весь наш питерский гадюшник разворочен. Если Соловьев кагэбэшник, в чем сам тебе спьяну признался, как ты теперь утверждаешь, то почему, поц моржовый, ты тут же его не разоблачил перед общими знакомыми, а продолжал держать в друзьях как ни в чем не бывало и приглашать на дни рождения и прочие Новые годы? Отстреливаться надо умеючи.

— А вся эта гнусь тебе вдогонку, что ты уехал с заданием! — подбросила добрая мама дров в костер, на котором у твоего мнимого друга уже лопались глаза от жара.

— Ну, на это я, допустим, положил. Тем более прием испытанный, а он небрезглив в средствах. Холера ему в бок!

— Как он приободрился, когда ты укатил за окоем! — Это опять мама. — *Vita nuova!* Еще бы лучше, если бы ты помер.

— Почему ты не помер? — спросила я.

— Потерпи немножко, детка, недолго осталось.

Твой рефрен в последнее время, который, увы, не выглядел кокетством.

Тут взял слово папа и доложил о поведении слюнявчика в твое отсутствие:

— Тогда гэбуха и стала лепить из него официального поэта, в противовес тебе антибродского. Понятно, с его ведома и согласия. Пример толерантности властей: талант, интеллектуал, еврей, и никто не ставит ему палки в колеса. А твои неприятности — по причине собственной неуживчивости. От чего страдает Гамлет — от эпохи или от себя? Ты — Гамлет, сам виноват в своих несчастьях. И в чужих — тоже. В частности: в его. Он, конечно, на тебе зациклился, ты у него как бельмо в глазу. Каждый виток твоей тамошней славы — его личное несчастье. Твоя Нобелька — наповал, еле очухался. Да тут еще гласность — серпом по яйцам.

— Зато слухи, что тебе здесь не пишется, для него как глоток кислорода. — Это мама. — А однажды — ты тогда лежал в больнице — позвонил нам и сказал, что вроде бы ты умер. По «Голосу» передавали. Тихий ужас.

— Кого преждевременно хоронят, тот долго живет, — выдал папа, не стыдясь, прописную, хоть и не абсолютную истину, но мы его тут же простили, ибо желали тебе того же. — Казнить горевестника не за что, тем более если весть не подтвердилась. Вряд ли он сам ее выдумал.

— Да, на выдумку не горазд, — согласился ты. — Чужое подбирает. Что плохо лежит.

— Или подворовывает, — сказала мама. — Гомункулус гэбухи, гомо советикус, поэт-совок.

Таков был ее окончательный приговор, обжалованию не подлежит.

Из нас единственная, мама была сторонницей смертной казни.

— Он не виноват, что я пережил слух о моей смерти, — вступился ты.

— Вот я и говорю: это ты во всем виноват, дядюшка Гамлет! Тебя не гложет твой еврейский *guilt,* комплекс вины? Теперь нам понятно, почему ты спел ему осанну.

— Может, я его таким образом унизить хотел, да?

— Унизить? — удивилась мама. — Да ты ему путевку в вечность выдал. Он теперь будет размахивать твоей индульгенцией перед апостолом Петром.

— Не думаю. Атеист до мозга костей. В потустороннюю жизнь не верит.

— Так он здесь, на Земле, свое возьмет, подключив тебя к своей славе. Ты еще будешь ему завидовать.

— Уже́, — сказал ты загадочно, но той же ночью все объяснилось — по телефону.

— А может, у тебя комплекс твоего библейского тезки? — предположила я и мысленно уже назвала эту главу, хотя тогда ее еще в помине не было (как и самой книги), «Иосиф и его братья», имея в виду его коллег по поэтическому цеху — Евтушенко, Вознесенского, Лимонова, Рейна, Кушнера и прочих, но потом переделала — может, зря — на «Иосифа в Египте», то бишь в Америке, в лучах всемирной славы.

Папан-маман на меня воззрились, полный апофигей, а ты, как всегда, с полуслова:

— О чем мечтал Иосиф в Египте? Простить своих предателей, — пояснил слова дочери ее родакам, хотя терпеть не мог пускаться в объяснения. — Пусть так. Что с того? Ноу хард филингс. То есть незлопамятный, камня за пазухой не держу. Я — поэт, а не читатель. Мне настолько не интересны чужие стихи, что уж лучше на всякий случай похвалю. Давным-давно всех обскакал, за мной не дует.

— Крутой лидер. Бродскоцентрист.

Мой подковыр.

— Простить предателя — это поощрить его на новое предательство, — сказала мама с пережимом в назидательность.

Как в воду глядела.

До тебя там, в новой среде, не дошло? Жаль все-таки, если покойники не знают, что о них пишут и говорят пока еще живые.

Среди твоих лжевспоминальщиков пальма первенства, безусловно, у него. Какая жалость все-таки, что у покойника нет возможности прочесть, что о нем вспоминают пока еще живые! Знаешь, что пишет этот махлевщик в своих фантазийных мемуарах? Только не переворачивайся, пожалуйста, в гробу, очень тебя прошу! Что ты носил его фотографию в бумажнике и та вся истерлась — так часто ты ее вынимал, чтобы еще раз глянуть в любимое лицо. Что даря транзистор «Сони», пообещал: «Я скоро умру — и все будет твое». Что на поздравление с Нобелькой ответил: «Да! Только в стихах — чернуха. И чем дальше, тем черней». Жаловался, что не с кем перекинуться словом, а тем более о стихах — только с ним. Ты у него в роли Державина, а сам он, понятно, Пушкин, тем более тезки, да и фамилии странным образом аукаются: Александр Пушкин — Александр Кушнер.

Фу, проговорилась!

Так вот, несмотря на то что старше тебя на четыре года, но именно ты, как Державин некогда Пушкина, благословляешь его, в гроб сходя, на царствование в русской поэзии. Может, он впал в детство? Или всегда был на таком ясельном уровне? Взгрустнувший даун, как ты его припечатал однажды. А все эти параллели между ним и тобой — не в твою, понятно, пользу: что он вынужден был ишачить школьным учителем в юности, а ты ради хлеба насущного учительствовал до самой могилы. Или описывает твою крошечную полуподвальную квартирку на Мортон-стрит — какое сравнение с его питерскими хоромами! И в том же роде. Вот и крещендо: мы-то думали, что у него там сплошь Нобелевские премии и оксфордские мантии, а ему — то есть тебе — было плохо, плохо! — повторяет он как заклинание.

Если будешь так ерзать, непременно угодишь в соседнюю могилу, а там сам знаешь кто: Эзра Паунд!

Тем более эту волынку — что тебе плохо — он затянул на следующий день после твоего отъезда из Питера: как доказательство, от обратного, своего *modus vivendi.* Понимаешь: чем тебе хуже, тем ему лучше. И наоборот.

Первое его везение — твой отвал из Питера, но главное — из жизни. Смерть как источник вдохновения. Но почему, почему, почему ты не умер раньше — до того как сочинил против него этот зло***чий стишок-диатрибу? Знал бы ты, как он теперь от него защищается! То есть от тебя. Какое бздо напустил!

— В чем дело? Я что же, избегал его? Забыл его после отъезда? Не посылал ему книг? Не хоронил его отца? А где был

он, когда меня громили в газете «Смена» и журнале «Крокодил»? Или в 1985 году, когда меня обругали в центральной «Правде», — и это было замечено всеми, только не им? Мог бы заступиться по западному радио.

А что, если он в самом деле не понимает истинных причин твоего стиха, а потому измышляет фиктивные, подтасовывая факты и приписывая тебе слова, которых ты говорить не мог даже стилистически? Так же как не понимает, почему Соловьев сочинил о ваших питерских контроверзах «Трех евреев»? Как пишет о нем мемуаристка в связи с его измывательством над затравленным Довлатовым в Таллине: «Был отвратителен. И этого не понимал совсем». Экземпляр еще тот, боюсь, на вербальном уровне общение с ним невозможно. Ему бы задуматься, почему у разных людей он вызывает схожие чувства, а он, как носорог, рвется в бой, обалгивая и клевеща критиков. Ты был прав: он прожил всю жизнь в оазисе, чему доказательство его агрессивно-защитные реакции. Мстительные, подлые, лживые насквозь воспоминания. Стыдно читать, неловко за автора, но чаще — жутко смешно. Иных, может быть, смех страшит и держит стыд в узде. Только не этого. Как был совок, так и остался. А теперь надеется, что всех переживет и уже некому будет опровергнуть его слабоумную брехню.

А еще ссылается на тебя через стих, подключив к борьбе с Соловьевым и произведя посмертно сначала в друга, хотя были заклятые, а теперь уже и в брата. Подожди: еще подселят его к тебе в могилу как родственника. Мало тебе Эзры!..

— Сдаюсь, — согласился ты вдруг и ткнул себя вилкой в щеку. Даже капля крови выступила, но не так все-таки, как когда ты вилкой проткнул насквозь руку одному нашему гостю, который по незнанию приударил за твоей нареченной. — Прокол вышел. Уломал. На коленях ползал. Прослезился, гад. Говорил, его из-за меня донимают. Соловьев в «Трех евреях» нас стравил, меня конфеткой, а его говном вывел, а потом и на меня наехал. Тоже хорош: чужой среди своих и среди чужих. Трикстер. Наоборотник. Стравив, поставил на одну доску. Отрицая, увековечил сравнением. Уникальный, однако, случай: ухитрился использовать свой страх, выжал его в «Три еврея», превратил в книгу. А я и дал слабину. Вот и вляпался. Промашка. Самому стыдно. Но — поправимо.

Скруглил разговор и тут же смылся.

Часа через три — за полночь — всех разбудил: прочел по телефону потрясающий стих, которым съездил тому по физии, сведя на нет собственные дифирамбы. Один из немногих у тебя в последнее время поэтических прорывов. Так подзавел тебя,

поганец. А потом прибыли послы из отечества белых головок и уговаривали повременить с публикацией. Когда не удалось, умолили снять посвящение. Ты даже хотел всю книгу, которой суждено было стать последней и которая вышла после твоей смерти, озаглавить по этому стихотворению, но один доброхот из твоей свиты — точнее Семьи, то есть мафии, — упросил тебя не делать этого: мол, слишком большой семантический вес придашь ты тогда этому стиху и тем самым уничтожишь его адресата. А какая гениальная вышла бы перекличка сквозь четверть века, какое мощное эхо, в твоем духе — одна книга отозвалась в другой, и круг замкнулся на пороге смерти:

«Остановка в пустыне» — «Письмо в оазис».

Литературный генерал, ты был окружен в последние годы не только приживалами и подхвостниками, но и идиотами. Во главе с питерцами, которые примеряли тайком твою мантию и крошили твой триумф, как рыбий корм в аквариуме. Как они спешили сделать тебя своим крестным отцом, загнать в могилу (чтобы ты не взял свои слова назад!) и усыпать ее цветуечками. Вот я и говорю, что слюнявчик в отчаянии — что ты не умер прежде, чем дезавуировал стихом дежурные комплименты, которые он у тебя выклянчил.

Ты сам окружил себя идиотами, когда у тебя притупилась художественная бдительность, атрофировался инстинкт интеллектуального самосохранения. Уж лучше твоя злость, даже злоба, чем умиленно-расслабленное состояние, которым не пользовался только ленивый. Вот почему мы так обрадовались тогда этому стиху, надеялись, что не рецидив, а возврат.

Ни то, ни другое: ты написал еще два таких злых стиха. Один — антилюбовный и несправедливый, но сильный — своей *femme fatale.* Другой — за пару месяцев до смерти — православным прозелитам, тем самым жертвам обреза, что целуют образа. Фактически, памятник собственному пенису, борозда от которого длинней, чем вечная жизнь с кадилом в ней.

— Ты ему должен быть благодарен, — сказала я. — Послужил тебе музой.

— То есть антимузой? Подзарядил севшие батареи? Ты это хочешь сказать? Нестыдный стишок, да? Это называется отрицательным вдохновением. В смысле: от паршивой овцы хоть шерсти клок.

Что со стишками полный завал и муза забыла к нему дорогу, скулил постоянно.

— Она тебе давала клятву верности?

— Верность, ревность — от перемены слагаемых и прочее, — и меланхолично, без никакого любопытства спрашивал: — С кем

она сейчас?

— А если ни с кем? Если она поменяла профессию?

— Стала б*****? Так эта девка всегда слаба на передок. Знаешь, Ахматова, когда узнала про мои любовные нелады понятно с кем, выговаривала мне, что пора бы уже отличать музу от б****. Она и Натали считала б***** — зря Пушкин с ней связался. Одно отдохновение — Александрина, свояченица… — Сделал паузу, а потом ответил на никем не заданный вопрос: — Да, в том числе. Ах, мне бы свояченицу! А я с тех пор разницы не вижу. Что муза, что б****…

О своем любовном поражении распространялся налево и направо в мельчайших деталях, хотя вроде бы не мазохист. Ставя в неловкое положение слушателей. Любовь — высокая болезнь, и, как больной, ни о чем другом говорить ты не мог, только о своей болезни, пока не перескочил на метафизику. Метафизика — как способ самолечения и преодоления самого себя.

— Тогда представь, она — я о музе, а не о твоей арктической красавице — с другим. Да, да — с тем самым. Ты так его тогда расхвалил, что и музу убедил. Вот она и переметнулась от исписавшегося пиита к фавориту. С твоей подсказки. Теперь он ее ублажает ежедневной порцией рифмованных строчек. У него стихи как вода из крана.

— Забытого закрыть. И не ублажает, а насилует, крошка. И терзает. Бедняжка! А надо наоборот.

— Невпродёр.

— Не поэт музу, а муза насилует поэта. Господи, какое это блаженство — быть изнасилованным музой!

— А может, дядюшка, ты все-таки мазохист? Коли ждешь насильницу. А представь, твоя муза пошла покакать.

— Так долго? У нее что — запор? Раньше полсотни стихов в год — норма, а сейчас дюжину с трудом наскребаю.

— А ты не дожидаясь вдохновенья.

— То есть без эрекции?

— Фу! Ты запутался в метафорах, — говорю на его манер.

Треп трепом, но иногда мне казалось, что музу, путая, ты отождествляешь вовсе не с блядью, а с мамашей всей этой великолепной девятки: Мнемозиной. Как говаривал поэт, с которым тебя сравнивают твои фаны: «Усладить его страданья Мнемозина притекла». А к тебе она перестала притекать, забыла адрес. Тем более ты его сменил: одну державу на другую. Вот твоя память и стала давать сбои. Не в буквальном, конечно, смысле. Все, что тебе оставалось теперь — следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья. В памяти, а не в душе! Может, потому тебе и Тютчев не по ноздре? Как реалист романтику?

Тогда вот тебе твой любимчик: «Дар опыта, мертвящий душу хлад». И не есть ли тот твой антилюбовный эпилог к любовному циклу, который ты писал всю жизнь, а тут решил опровергнуть, результат душевной амнезии? Она же — атрофия. Проще говоря — энтропия, с которой ты начинал борьбу, как только продирал глаза. Я ничего не путаю? Атропос, мойра, неотвратимая. Сиречь смерть.

Ты умер до того, как ты умер.

Поясняю: ты умер прежде, чем умерло твое тело. Привет Одену.

Стихотворение — точно труп, оставленный душой. Привет Гоголю.

А сколько таких трупов оставил ты?

Нобелевский синдром: злосчастной этой премией прихлопывают писателя как могильной плитой. Привет тебе.

Так говорил ты, дожидаясь Нобельки: хоть бы кто после нее сочинил что-нибудь стоящее! Ты — не исключение.

— Так что же, после Нобельки казнить? — поинтересовалась я.

Нобелька и есть казнь. Жертвоприношение писателя на алтарь поп-попсы.

Сиречь масскультуры.

А как, кстати, величать эту переметчицу — с заглавной или со строчной? муза или Муза? Одна из или единственная? Нисходящая метафора: муза — б****. Восходящая метафора: Муза — старшая жена в гареме поэта; не альтернатива любовницы, а ее предтеча, метафизический прообраз всех физических возлюбленных.

Ты писал Музу с большой буквы. Наперекор тебе я буду писать музу с маленькой. Понял почему?

— Ты пользуешься тем, что я не могу тебе ответить, — слышу замогильный голос.

Да. Пользуюсь. Ты забивал всех словами, обрывал на полуслове, слушал только себя, каждую вторую фразу начинал с «нет» — даже когда в конце фразы приходил к тому же, что утверждал собеседник. Собеседник! Тебе был нужен слушатель, а не собеседник. Ушная раковина — чем больше, тем лучше. В идеале, как у Диониса в сиракузских каменоломнях.

Ты привык к многолюдному одиночеству. Как говорил Довлатов, толпа из одного человека. Лучшие годы жизни ты прожил в стране, где у стен уши — даже когда один в своей питерской берлоге, у тебя был слушатель. Это твой идеал: слушатель, у которого нет голоса. И вот теперь безголосые берут реванш у монологиста за свое вынужденное немотство.

В том числе — я.

Выходит, главный предатель — это я, решившись на эту книгу незнамо для кого. Для тебя? За тебя? Написать то, на что сам ты так и не решился? Приходил в ужас от одной такой возможности — кто-нибудь обнаглеет настолько, что сочинит за тебя твое био. Присвоил себе эту прерогативу: о себе только я сам, биография поэта в его стихах. Отрицал биографов как вуайеристов.

А разве писатель не вуайерист по определению — за другими или за собой, без разницы? А вместе с ним — и читатель. Литература есть подглядывание за жизнью: сопереживание, возбуждение, катарсис. Театральная сцена, где отсутствует четвертая стена — наглядный пример массового вуайеризма. Или скрытая камера, как в Застеколье, когда миллионы телезрителей держат под колпаком как бы самих себя — таких же, как они, банальных человечков. Антитеза Зазеркалью: там все наоборот, шиворот-навыворот, а в Застеколье — все как есть. Пусть тавтология, а сама жизнь? Каждый день просыпаться и каждую ночь засыпать — не трюизм? Ты видел лето, осень, зиму и весну — больше ничего тебе не покажут, да? А разве весна равна весне? Ты даже секс находил монотонным — и ритм, и позы. Так и есть, коли без божества, без вдохновенья. А застекольщики — кто? Те, кто на экране, или те, кто перед экраном? Разве писатель не той же породы — мониторит в замочную скважину, хоть и устарелое понятие.

С кем спорю? Перед кем оправдываюсь? Почему не выложила все тебе при жизни?

Стихи — не единственное био поэта, даже такого в молодости настырно автобиографического, как ты. Поэзия — род реванша; твоя — особенно. Биография вперемешку с лжебиографией, плюс-минус — вот что такое твоя поэзия. Био в жанре фэнтези. Поэзия есть поэзия есть поэзия есть поэзия. То есть антиавтобиография. В зеркале мы выглядим иначе, чем в жизни: перед зеркалом мы неестественны. Не существование поэта в стихах, а сосуществование со стихами. Маскарад, маскировка, камуфляж, макияж. Ты примериваешь в стихах маски — какая самым правдоподобным образом скроет твое лицо. Лицо — и лик. Лица — лики — личи. Ты балансируешь на самом краю: сказать в стихах всю правду — сорваться в пропасть. Поэзия и неправда. Поэзия и вымысел. Вымысел как миф. Правдивая ложь. Лживая правда.

— Без мифа нет поэта, — утверждал ты. — Поэт — герой собственного мифа. Творчество есть мифотворчество. Чем мы хуже богов, которые творят о себе мифы? Поэт — не от мира сего.

То есть демиург. Не спорь, детка. Творчество того же корня, что Творец. Само собой, с большой буквы.

Знаю, презираешь меня из могилы за подглядывание, за вуайерство, за замочную скважину, за ковыряние в чужом носу, за предательство, за эту книгу-сплетню, которую пишу. А ты за мной сейчас не подглядываешь из-за гроба? Кто из нас соглядатай? Кто вуайерист?

Слышу твой шепот прямо мне в ухо:

— От кого, от кого, а от тебя, солнышко, не ожидал такой подлянки. Что ты там про меня накопала — и накропала, и наклепала? Сиречь наплела.

— Но ты же сам назначил меня Босуэллом, — хнычу я, стыдясь своей затеи.

— Вот именно — Босуэллом. Без права на собственное мнение. Тем более — на подгляд. Все вы одинаковы! Оден биографов за версту не выносил — боялся больше женщин. А Фрост решил перехитрить судьбу и нанял Томпсона, чтобы тот сочинил ему прижизненное био. Круто ошибся! Тот ему и вдарил по первое число: что был самодовольный эгоист, тасовал премии и награды, в глаза пел аллилуйю, за глаза говорил гадости и вообще отъявленный негодяй. А ты, знаешь, кто?

— Вуайеристка.

— Хуже, воробышек.

— Папарацци.

— Стукачка. Стучишь на меня читателям, вбивая гвозди в мой гроб своими домыслами. Пользуясь тем, что я лишен права голоса отсюда.

— У тебя была возможность. Наплел про себя в три короба. Теперь моя очередь.

Да, я — вуайеристка. Да, стукачка. А что мне остается? Я одна знаю о тебе то, что ты тщательно скрывал от всех. Как сказал не ты: сокрытый двигатель. Никто не просек даже, что ты имел в виду вовсе не пространство, а время, когда написал, что человек никогда не вернется туда, где был унижен.

Ты уже никогда не вернешься. Ни туда, где был унижен, ни туда, где был возвышен.

Время бесповоротно и безжалостно.

Ты хочешь житие святого, а не биографию смертного. *Hagiography but biography.* А то, что я пишу, даже не био, а портрет. Разницу сечешь? Можно написать био, а портрета не схватить, зато для портрета биография не так уж и обязательна, только фрагменты — не биографии, а судьбы. То, что задумала, — портрет Дориана Грея, но наоборот. Живя год за три, ты прожил за свою жизнь несколько жизней, сжигая сам себя

интенсивностью проживания. Физически ты одряхлел, состарился прежде времени, выглядел много старше, чем был, а был много моложе, чем был. Что есть старость? Это несоответствие самому себе. Ты бы узнал себя, повстречай тридцать лет назад мгновенного старика? А если бы узнал, не пришел бы в ужас?

Ужас, ужас, ужас.

Сослагательные вопросы, из области ненаучной фантастики. А вот реальные — на затравку.

Признал бы мгновенный старик самого себя в том городском сумасшедшем, влюбчивом, отчаянном, гениальном, каким ты был тридцать лет назад в трижды поименованном городе? Беспризорный гений — опять ссылка на Довлатова — вот кем ты был, а кем стал? Ты уже не понимал собственных чувств, которые тогда тобой — то есть не тобой, а им — двигали. Заматерел, зачерствел, усох. Отсюда твой антилюбовный мадригал, постскриптум к любовному циклу, лебединая песнь песней, могильная плита, которой ты прихлопнул молодость и любовь. Но ведь к тебе самому можно обратить твои же слова, изменив гендерный адрес: где еще, кроме разве что в фотографии, ты пребудешь всегда без морщин, молод, весел и глумлив? Да, время бессильно перед памятью, а поэзия — вот где вы круто ошиблись, сэр! — есть слепок именно памяти, а не времени.

Нет, одной метафизикой, боюсь, не обойтись. Физикой — тем более. Я пишу двойной портрет: физический и метафизический, молодой и дряхлый, гениальный и бессильный. Чтобы они скрестились в тебе одном, как солнечные лучи в увеличительном стекле. Ладно, пусть будет лупа. Хотя старомодно плюс непристойная рифма. Вот именно.

Вопрос не в жанре, а по сути: как быть с табу? Идеальный биограф, считал ты, должен быть как переводчик: конгениален оригиналу. То есть призывал других к тавтологии, которой сам же боялся. А портретист?

— У портретиста, детка, — грассируешь ты из сан-микельской могилы на еврейско-французский манер, — и вовсе нет выбора. Что ему противопоказано, так это буквализм. — И цитируя анонимно уже самого себя: — Шаг в сторону от собственного тела — вот что есть автопортрет. Кто изобразил Ван Гога лучше самого Ван Гога? Искусству портрета следует учиться у автопортретистов.

— Как же, многому у тебя научишься! Чей это синий зрачок полощет свой хрусталик слезой, доводя его до сверкания в «Римских элегиях»?

— Синий зрачок — мой. Уж не знаю, какой он там у меня на самом деле — синий, серый!

— Зато я знаю, сероглазый король! А ты и в рисунках изображал себя синеглазкой! Таково твое представление о себе самом, но у меня-то о тебе представление другое. И серое от синего я отличить в состоянии. В отличие от тебя. Да и не такой уж ты огненно-рыжий, как в собственной мифологеме, а скорее рыжевато-русый. Или, как истый романтик, цветовые контрасты ты предпочитаешь полутонам, а нюансы и вовсе не воспринимаешь? Ты, дядюшка, слеповат и глуховат, сам знаешь.

— Ты еще скриблографией займись, детка! Полный вперед!

— А что! У тебя рисунков на полях не меньше, чем у Пушкина. Автопортреты включая. В лавровом венке, в римской тоге, с синим глазом. Вот только не знаю, подсознательные это рисунки или вполне сознательные.

— Знаешь, сразу же после смерти Пушкина его друзья спорили, какого цвета у него глаза.

— А твои питерские друзья уже не помнят, где ты там жил — на Рылеева или на Пестеля. Ты хочешь превратить прижизненный миф в посмертный?

— Помнишь кривого владыку, которому никак было не угодить: одного художника казнил за правду — что нарисовал его без глаза, другого за лесть — что с двумя глазами, зато одарил милостями того, кто изобразил его в профиль. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Федериго да Монтефельтро помнишь? Который в Уффици? Вот и пиши меня, как того — Пьеро делла Франческа. Если не хочешь быть казненной. В профиль, детка!

— Который из?

— Хороший вопрос. У меня теперь есть время подумать. Конец связи.

Или ее начало?

— Гальюн! — гогочешь ты, как помешанный.

Какой у меня выбор? Выполнить твою волю и оставить современников и потомков в тумане невежества о самой яркой литературной фигуре нашего времени? Или продолжать говорить правду, нарушив волю самого близкого мне человека, а ты доверял мне, как никому? Лояльность мертвецу или ответственность перед истиной? Платон мне друг иль истина дороже?

А как бы ты поступил на моем месте? Нет, не на своем, а именно на моем: сокрыть истину согласно волеизъявлению покойника или наперекор — сказать все как есть?

Эта книга как первое соитие: наперекор стыду и страху.

Нам легче дитя в колыбели убить, чем несытую похоть утишить.

Вильям, но не Шекспир.

Комплекс графа Монте-Кристо

Со стороны могло казаться, что ты добился чего хотел и должен быть если не счастлив (на свете счастья нет и проч.), то хотя бы доволен. Вышло наоборот. Именно осуществление большинства твоих желаний и привело тебя к беспричинной, казалось бы, тоске, а молодая жена еще больше усугубила преследующее тебя всю жизнь чувство неудачи: тебе снова пришлось доказывать себя без никакой надежды доказать.

— Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты, — напел ты мне как-то на ухо словно по секрету.

Сделала большие глаза.

— Всю жизнь я чего-то ждал: каникул, женщины, публикаций, переводов, заграницы, профессуры, гонораров, Нобельки, наконец. Я прожил в неосуществимых, фантастических, диких мечтах-прожектах и все, представь, осуществил.

— Так в чем же дело?

— Удачи не так радуют, как огорчают неудачи.

— Какие у тебя неудачи, если ты всего добился? Вроде бы ты из самореализовавшихся, нет? Если жизнь — экспансия, то тебе дальше некуда.

— Вот именно! Если Бог хочет наказать человека, Он исполняет все его желания. Признание есть прижизненная смерть.

— Верни Нобельку, — предложила я.

— Знаешь, что говорил самый знаменитый венецианец?

— Марко Поло?

— Да нет! Куда ему до Джакомо Казановы, которому твой Шемяка мастерит памятник в Венеции. Человек может добиться чего угодно, писал этот старый враль и трахаль, стать папой Римским или свергнуть короля, стоит только захотеть по-настоящему, и только возраст ставит естественную преграду всемогуществу желаний. Ибо человеку уже ничего не достичь, коли он в возрасте, презренном для Фортуны, а без ее помощи надеяться не на что. Цитирую близко к тексту. Бог от меня отвернулся. Мой бог. Личный. Я потерял своего бога. Живу теперь один. Что говорил Бэкон о надежде?

— Надежда умирает последней, — брякнула я.

— Надежда умирает предпоследней. Последним умирает человек, который надеется. Мы день за днем шепчем «завтра, завтра», а у меня завтра уже нету. Старость — это девичьи грезы без никакой надежды на их осуществление. Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин, как говорил Бэкон. Фрэнсис, а не

Роджер. Не путай, птенчик. Как и братьев Шлегелей, Гримм, Гонкуров, Стругацких, Вайнеров и даже Тур, хоть те вовсе и не братья. Жисть удалась, да? У меня все уже позади, ждать больше нечего, источники радости иссякли, воспоминания угасли, пропал интерес к жизни, я в ней уже все сделал. Достиг предела. То есть конечного пункта. Гёте в «Поэзии и неправде» знаешь, что написал? Отвращение к жизни может иметь причину физическую и нравственную. Так вот, у меня — обе. Немчура этот рассказывает, как один англичанин удавился для того, чтобы не иметь больше необходимости всякий раз переодеваться.

— Слава богу, ты у нас не англичанин.

— Намек понял. А все равно… От собственного голоса устал. Не удовлетворение, а пресыщение. Знаешь про меня хрестоматийный стишок? Все, что мог, он уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Не слабо, да?

— И никаких больше желаний? Ни одной мечты?

— Ну уж, никаких! Кое-какие остались на самом донышке. Как сказал не скажу кто: Фортуна, случается, дает слишком много, но достаточно — никогда. Реальные мечты — все сбылись, а нереальные, неосуществимые — затаились. Как у большевиков: программа-минимум и программа-максимум.

— И какая же у тебя программа-максимум, дядюшка?

— Сколотить капитал и обрести бессмертие.

— Первым условием бессмертия является смерть, как сказал Ежи Лец.

— Нежилец, — скаламбурил ты.

«Как и ты», — промолчала я, глядя на твою старообразную мордочку.

— Еще какой жилец! — сказала я вслух, вспомнив, как Лец лопатой, которой копал себе могилу, треснул по шее немца, приведшего его на расстрел, а потом прошагал в мундире эсэсовца через всю Польшу.

— Тебе воздвигнут мавзолей на Дворцовой площади, — добавила я. — В зеркало глянь — ты и так уже мумия: и сам по себе, и во что тебя превратили литературные иждивенцы. У питерцев давно уже московский комплекс, и они помирают от зависти: у тех есть, а у нас нет. А кого всунуть в мавзолей — им без разницы. Был бы мавзолей — тело найдется. Сначала ниша, потом статуя.

— Меня зароют в шар земной, — процитировал ты незнамо кого, и спросить уже не у кого.

— Бог отвратил свое лицо от меня. — И тут же — от высокого к низкому: — Знаешь такого грузинского поэта по имени Какия?

— Ни то ни другое тебе не грозит, — возвратила я тебя к

мечтам о башлях и бессмертии.

— Не скажи! Рубль доллар бережет.

— Так то в России!

— Ты спрашивала о мечтах, а мечты, по сути, и должны относиться к сфере несбыточного. Как сказал твой Нежилец, сумма углов, по которым я тоскую, явно превышает 360 градусов. А сбыточные, укороченные — лажа. Суета и хлопоты, а не мечты. Плюс-минус несколько лет без разницы тому, для кого мера времени — вечность. А вечность не за горами. Как сказал сама знаешь кто, мы существуем во времени, которое истекает, но стараемся жить *sub specie aeternitalis,* под знаком вечности. Он же: быть всегда, но не собою снова. Не дай бог! Отсюда: вечность не есть бессмертие. Бессмертие есть память, тогда как вечность есть пустота.

— Так ты, дядюшка, больше не хлопотун?

— Не о чем больше хлопотать, воробышек. У людей я уже все выхлопотал. А Бог еще никому не делал поблажки. Зловредина.

Но я-то знала, что гложет тебя нечто другое.

Несмотря на все свои внешние успехи, с собственной точки зрения ты недоосуществился, не успел, а потому и считал свою жизнь неудачей — от измены любимой женщины, пусть ты сам назначил ее любимой, не спросив у нее, и предательства друга (совместный акт) до — трудно поверить, но так — эмигре. Твои собственные слова:

— Отвал за окоём был, наверное, ошибкой. Ошибкой, в которой никогда не признаюсь. Даже самому себе. Там — тоска по мировой культуре, здесь — тоска по русскому языку. Для карьеры — ОК, зато стишкам — капут. С памятью вот перебои: там помнил всё до мельчайших деталей, на какой стороне раскрытой книги прочел то или иное предложение. А здесь не могу вспомнить, чем был занят утром. Нет, не в возрасте дело. Мозг перегружен и изнурен, вот и отказывает служить. Две жизни на одного человека — чересчур, да? А премию так и так отхватил бы. Жил бы в Питере — еще раньше б дали. КГБ — мой главный промоутер.

Пару секунд спустя:

— Шутка.

Твой постоянный рефрен — то ли из страха быть непонятым, то ли из кокетства.

В разгар борьбы за Нобелевку возбужденный Довлатов передавал всем по секрету слова Сьюзанн Зонтаг, твоего друга, а поговаривают, что и любовницы, несмотря на лесбийские утехи:

— Им там дали понять, в их гребаном комитете, что у него с сердцем швах и он не доживет до их возрастного ценза.

Вот тебе и поспешили дать премию, отступя от геронтологического принципа. В связи с чем один из комитетчиков вспомнил голливудскую формулу: мы ему переплачиваем, но он того стоит.

Больше, чем не дожить, ты боялся, что Нобелевку получит Евтух или кто-нибудь из той К°.

После премии ты прожил еще восемь лет.

А Довлатов, так и не дождавшись твоей смерти, на случай которой собирал о тебе анекдоты и варганил книжку, сам помер, когда его растрясло в «скорой» и он захлебнулся, привязанный к носилкам. Кто бы догадался перевернуть его на бок! Или сама судьба выбрала в качестве исполнителей двух дебилов-латинос? «Как грудной младенец помер» — так отреагировал на его смерть ты, который из всех смертей интересовался только своей.

— Слишком большое ты ей придаешь значение.

Так и сказала.

— Цыц, малявка! Это я своей жизни придаю значение, потому что исказят до неузнаваемости. Уже сейчас, а что будет, когда стану хладный труп! Покойник не желает, чтобы под его именем фигурировал самозванец.

Хотела сказать, что и своей жизни он придает излишнее значение, но вспомнила: «Берегите меня — я сосуд…» Что-то в этом роде у Гоголя, от тебя же узнала, точно не помню. В том смысле, что не само по себе бренное мое тело («Уж слишком оно бренное. Там бо-бо, здесь бо-бо» — твоя рефренная жалоба), а огонь, мерцающий в сосуде, хоть это уже и не Гоголь. Пусть не огонь — Божья искра. И еще говорил, что Бог шельму метит, имея в виду свой дар. Гению мстит сама природа. Сиречь он сам.

Неоднократно предсказанная в стихах и разговорах, долгожданная тобою смерть грянула, тем не менее, как гром среди ясного неба. Убил бы меня за клише. «Не чужесловь — своеобразен гений»: изобрел свой афоризм из двух чужих.

— Страх толпы. Панургово стадо: один за всех, все за одного. Демофобия, как говорят у нас в деревне. Извне и изнутри. Хуже нет, когда толпа толпится в самом тебе. Один человек может быть толпой так же, как толпа — одним человеком.

Твое собственное объяснение. А довлатовское — см. выше: толпа из одного человека.

— Он так часто прощался с читателями, что грех было бы обмануть их ожидания, — откомментировал его смерть один пох**ст из твоих друзей, ставший врагом номер один.

Этот твой бывший друг, который увел у тебя фемину (точнее, брал взаймы во временное пользование, чтобы тебе досадить), единственный из ахматовского квартета никак печатно не

отреагировал на твою смерть, хотя когда-то, пока не стряслась беда, вас связывала почтительная дружба на бытовом, литературном и даже метафизическом уровне. Прямым доказательством чему — вы так и остались на «вы», несмотря на тесноту общежития в вашей питерской ложе, все дивились этому вашему «выканью». (Довлатов не в счет — он из дальнего окружения.) Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв, как сказал бы ты, анонимно сам себя цитируя. А потом, с разрывом, ваша связь тайно упрочилась: уже на физиологическом уровне, через общую… «вагину» зачеркиваю и вставляю «минжу», из любимых тобой словечек, хотя лично мне больше нравится «разиня». Не знаю, надолго ли хватит его молчания. Коли даже великий немой заговорил.

Понятно я говорю?

К кому этот вопрос?

Ты бы понял с полуслова. *Sapienti sat,* понимающему достаточно, — из твоих присловий, хоть и жаловался, что латынь у тебя паршивая, но какая есть: от тебя и поднабралась. Прерывал на полуслове: «Мы это уже проходили», разъяснение равнял с тавтологией, считал, что повторы сокращают жизнь.

Папа говорит, что Бобышев войдет в историю, как Дантес, зато мама настаивает на свободе любовного волеизъявления, тем более что тебя самого заносило в сторону: «Да стоило ему поманить — никакой катастрофы не случилось. Почему он не женился, когда родился ребенок?» В самом деле — почему? Когда родился Андрей, мой папа предоставил незарегистрированной семье один из двух принадлежащих ему в коммуналке на Герцена пеналь чиков, но ты сбежал от семейного счастья на третий день. «Побег от тавтологии, от предсказуемости», — объяснял ты друзьям. Спустя год в эти спаренные крошечной прихожей комнаты вселилась мама на четвертом месяце. Здесь и состоялось наше первое с тобой свидание, которое не удержала моя младенческая память, тогда как ты помнил и рассказывал подробности. От этой встречи сохранилась фотография, которой я всегда стыдилась: ты, при галстуке и в черном парадном костюме, держишь на руках голую девочку с гримасой младенческого идиотизма на рожице и внятной половой щелью между ног. Стыдно мне, само собой, первого.

А мама и Дантеса защищает — того, настоящего, пушкинского, — полагая, что настоящим монстром был Пушкин. Бобышева — тем более. В том смысле, что легче всего его какашкой объявить, а он с твоим ребенком возился как со своим, когда ты сделал ноги.

— К интервью готова? — спросил меня этот бывший друг, а

теперь уже и бывший враг.

— Всегда готова, — в тон ему ответила я, хотя про меня никто не вспомнил, пока не вышел тот последний, дополнительный том академического собрания сочинений, куда тиснули, уж не знаю где раздобыв, твой шуточный стишок мне на день рождения, в котором сравнивал меня со «смышленым воробышком, что ястреба позвал в гости».

Ястреб это, понятно, ты. Всегда относился к себе романтически и даже слегка демонизировал, но в ересь не впадал и жалел себя яко сосуд скудельный.

Что такое, кстати, скудельный?

Полезла в словарь, а там в качестве иллюстрации слова Гончарова, которые подошли бы эпиграфом ко всей этой штуковине, которую сочиняю, да только там возраст другой указан:

«Надо еще удивляться, как при этой непрерывной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде жизнь могла прогореть почти до сорока лет!»

О ком это он? Про Обломова?

Хоть я и ждала этого звонка, подготовилась, отрепетировала до мелочей, что скажу и о чем умолчу, застал меня врасплох. Так долго ждала, что перестала ждать. Вот и растерялась, когда до меня дошла очередь.

Этот — употребляя ненавистное тобою слово — текст взамен интервью, от которого пришлось отказаться. Ответы зависят от вопросов, а вопросы задают чужие люди — чужие мне и чужие тебе. И вопросы — чужие и чуждые, то есть никчемные. А так я сама себе хозяин: задам себе вопросы и сама же на них отвечу. Если сумею. Или не отвечу. Тогда задам тебе. Хоть ты и играешь в молчанку. Бог с ними, с ответами. Главное — вопрос поставить верно.

Опять слышу твой голос: не вопросы требуют ответов, а ответы — вопросов.

Вопрошающие ответы.

Стыдно мне вдруг стало покойника, беззащитного, беспомощного и бесправного перед ордой профессиональных отпевальщиков.

Точнее, плакальщиков.

То есть вспоминальщиков.

В том числе лже-.

Профессия: человек, который знал Бродского.

И еще одна: человек, который знал Довлатова.

Даже тот, кто знал шапочно либо вообще не знал: ни тебя, ни Довлатова.

Индустрия по производству и воспроизводству твоего образа.

Бродсковеды, бродскоеды, бродскописцы.

Довлатоведы, довлатоеды, довлатописцы.

Борзописцы и трупоеды.

В первую очередь брали интервью у тех, кто рвался их давать. Потом пошли поминальные стихи, мемуары, альбомы фотографий, анализы текстов — Гутенбергова вакханалия, а ты бы сказал «прорва», доведись тебе заглянуть за пределы своей жизни. Хотя кто знает.

Даже те, кто знал тебя близко по Питеру и часто там с тобой встречался, вспоминают почему-то редкие, случайные встречи в Америке и Италии — блеск нобелевской славы затмил, заслонил того городского сумасшедшего, кем ты был, хоть и не хотел быть, в родном городе. А про Питер или Москву — опуская детали и путаясь в реалиях. Потеря кода? Аберрация памяти? Амнезия? Склероз? Маразм? Прошлое смертно, как человек, который теряет сначала свое вчера и только потом свое сегодня. А завтра ему и вовсе не принадлежит, хоть и тешит себя иллюзией.

Соревнование вспоминальщиков — а те как с цепи сорвались, не успело остыть твое тело, — выиграл помянутый трупоед из волчьей стаи, издавший на нескольких языках пусть не два, как грозился, но один довольно увесистый том мнимореальных разговоров с покойником, дополнив несколькочасовой треп стенограммами твоих лекций в Колумбийском, которые разбил вопросами и выдал за обмен репликами. Униженный и изгнанный своим героем, он таки взял реванш и, нахлебавшись от тебя, тайно мстил теперь своей книгой. Ходил гоголем, утверждая равенство собеседников, что ты получал не меньшее удовольствие от бесед с ним, чем он — с тобой, и даже что послужил тебе Пегасом, пусть ты его порой и больно пришпоривал, но он терпел во имя истории и литературы — именно его мудрые вопросы провоцировали покойника на нестандартный, парадоксальный ход мышления, и кто знает, быть может, эти беседы потомки оценят выше, чем барочные, витиеватые, перегруженные, манерные, противоестественные и противоречивые стихи. В самом деле, зачем обливаться слезами над вымыслом, когда можно обратиться напрямик к докудраме, пусть драма спрямлена, а документ — отчасти фикция? Зачем дуб, когда есть желуди?

Между прочим, с Довлатовым произошла схожая история, когда посмертно он стал самым знаменитым русским прозаиком и начался шабаш вокруг его имени. А так как он жил, в отличие от тебя, не в гордом одиночестве на Олимпе — «На Парнасе», слышу твою замогильную поправку, — но в самой гуще эмигре, то и вспоминальщиков о нем еще больше.

Одних вдов — несколько штук: питерская, эстонская и две американские, хотя женат он был всего дважды. Точнее, трижды, но жен — только две. Когда Сергуня сбежал в Эстонию, чтобы издать там книжку и поступить в Союз писателей, не учтя, что руки гэбухи длиннее ног беглеца, то да — прижил там дочку от сожительницы. Да еще на Брайтон-Бич к одной доброй душе уползал во время запоев, как в нору, чтобы просохнуть и оклематься, но женат на ней не был, да та и не претендует на вдовий статус. Попробовала бы она! Даже ее попытка поухаживать за Сережиной могилой на Еврейском кладбище в Куинсе была в корне (буквально!) пресечена его аутентичной вдовой: высаженный брайтонкой куст азалии был с корнем вырван его главной, последней, куинсовской женой, которую можно обозначить как дваждыжена. Ибо вторая и третья его жены — на самом деле одно лицо, хоть и перемещенное в пространстве через Атлантику. На этой своей жене он был женат, разведен и снова женат уже в иммиграции. Что касается первой, то та была, по его словам, жена-предтеча, *femme fatale,* присуха и роковуха, которая оттянула все его мужские и человеческие силы, выхолостила и бросила, а потом, уже после его смерти, объявила свою дочь, которая родилась незнамо от кого несколько лет спустя после того, как они расстались, Сережиной. В жанре племянников лейтенанта Шмидта. В общей сложности, вместе с самозваной, Довлатов стал отцом трех дочерей (уверена, что еще объявятся), а тосковал по сыну, который у него и родился после его смерти. Интересно: пол ребенка он хоть успел узнать?

«Что ты несешь, воробышек?» — слышу возмущенный голос с того света.

«А художественный вымысел? — отвечаю. — Мечтать о сыне, который родится только после его смерти, куда эффектнее, чем умереть, когда твоему сынку уже восемь и радость отцовства нейтрализована запоями, халтурой и „не пишется“».

Как и было на самом деле.

Сергуне, однако, удалось — уже из могилы — отмстить неразумным хазарам (сиречь евреям): и тем, кто успел сочинить о нем воспоминания, и тем, кто только собирался это сделать. Один из его адресатов опубликовал том переписки с ним, несмотря на завещательный запрет Довлатова на публикацию писем. Вот где злоязыкий Сережа отвел душу и всем выдал на орехи, не пощадив отца родного, а о посмертных вспоминальщиках и говорить нечего. Скандал в благородном семействе. Кто бы повеселился от этого скандала, тайно ему завидуя, так это ты!

Не будучи так эпистолярно словоохотлив, как Довлатов, ты,

наоборот, оставил после себя сплошные дифирамбы и панегирики, хотя мизантроп был не меньше, чем тот. Или мизогинист? Несмотря на позднюю женитьбу. Женатый мизогин. Мизогиния как часть мизантропии. Мизантроп как скорпион — кончает тем, что жалит самого себя: объект человеконенавистничества — любой человек, включая субъекта.

В твоей гомофобии мы еще разберемся — воленс-неволенс, как ты бы выразился. Равнодушный ко всей современной русской литературе, ты раздавал налево и направо, в устном и письменном виде, комплименты литературным лилипутам, и те пользуются ими теперь как пропуском на тот самый литературный Олимп (он же Парнас), где ты восседал в гордом одиночестве, зато теперь там тесно от вскарабкавшихся — в том числе с твоей помощью — пигмеев. Вообще, после твоей смерти они сильно распоясались. Как после твоего отвала за бугор — питерцы. А тем более после твоего окончательного отвала: отсюда — в никуда. Само твое присутствие держало всех в узде. Ты бы их не узнал.

Кого ты терпеть не мог, так это соизмеримых, то есть конкурентноспособных авторов. Кого мог, мордовал, давил, топтал. Даже тех, кому помог однажды, мурыжил и третировал. «Унизьте, но помогите», — сказал тебе Сергуня в пересказе «Соловьева и Вовы» (опять твоя кликуха — она же автоцитата, а Довлатов называл его Володищей, подчеркивая, от обратного, малый рост). Мол, ты и помогал Довлатову, унижая, и унижал, помогая. Как и все у Соловьева, с касаниями, но по касательной, без углублений. Нет чтобы копнуть, но его листочки интересуют, а не корешки. Спасибо дяде Вове: мне и карты в руки.

Чего больше было от твоей помощи — пользы или вреда? Не знаю. Практически — да, пользы. А в остальном? После каждой такой просьбы Довлатов ударялся в запой. Такого нервного напряга стоила ему любая.

Как и само общение с тобой.

Классный рассказчик, он терял дар речи рядом с тобой.

— Язык прилипает к гортани.

— Он тебя гипнотизирует, как известно кто известно кого, — говорю Сергуне.

Он и тут тебя оправдал:

— Его гипноз — это мой страх.

А тебе забавляло, что такой большой и сильный у тебя на посылках.

Я бы, однако, избегла тут обобщений, хоть ты и тиранил свой кордебалет, держал в ежовых рукавицах свиту, третировал литературных нахлебников. У тебя была своя держава, коей ты

был державный владыка, и державил круто, яко тиран. Зря, что ли, тебя назвали в честь вождя всех народов? «Все в этом мире неслучайно», — картавил ты и в качестве примера приводил Державина, самого державного из русских поэтов. В тебе самом умер поэт-державник — власть чуралась одо— и гимнописцев, чей язык им невнятен. Фелиция отвергла твои притязания, а так бы какой шикарный ряд: Державин — Гёте — Киплинг — Бродский. «За державу обидно», — повторял ты, когда та поползла по швам, слова генерала, которого прочил в российские президенты, а победил полковник госбезопасности, с которым дружит мой Мишель, но это уже за пределами твоего жизненного пространства, да и вряд ли тебе интересно. Недаром и Рим твой идеал. Однако с Довлатовым у тебя был свой счет — с питерских времен. Двойной: женщина и литература. Память о юношеских унижениях. Как сказал известно кто: травмах.

В одной ты признался, но иронично, свысока, равнодушно, уже будучи мизогином: что осаждали с ним одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость, но из-за поездки в Среднюю Азию, чтобы хайджакнуть там самолет (все равно куда — не **в**, а **из**), ты вынужден был снять осаду, а когда вернулся после самолетной неудачи, крепость уже пала. То есть дело в отсутствии и присутствии: останься ты на месте поединка, его исход не вызывал никаких сомнений. А вообще — не очень-то и хотелось.

Хорошая мина при проигранной игре.

На самом деле другая мина: замедленного действия.

Боясь твоей мести, Довлатов официально, то есть прилюдно, отрицал свою победу, но как-то шепанул мне, что победил в честном поединке еще до того, как ты отправился на хайджак.

На роль этой миловидной крепости претендует теперь с полдюжины семидесятипятилетних дам, и каждая сочиняет воспоминания.

Равнодушие и ирония вовсе не означали, что ты забыл и простил Довлатову тот свой проигрыш. Точнее, его выигрыш. А ты бы предпочел, чтобы это был твой проигрыш, а не его выигрыш. Что и дикобразу понятно. Тем более, этот Сережин выигрыш — не единственный. Ваш с ним питерский счет: 2:0.

Ты не забыл ни этот сухой счет не в твою пользу, ни тесную связь между двумя его выигрышами, но о том, другом, предпочитал молчать — ни одного печатного да хоть просто изустного проговора. Тем более молчал в тряпочку Сергуня, который предпочел бы, чтобы того выигрыша, который вы оба скрывали, и вовсе не было. Очень надеялся, что ты о нем позабыл, хотя и знал, что помнишь.

Довлатов боялся не гения русской литературы, а распределителя литературных благ.

Он погружался в пучину ужаса, когда думал, что нобелевский лауреат и литературный босс помнит, как, когда и, главное, кем был освистан на заре туманной юности.

Помнили — оба.

Еще вопрос, какое унижение для тебя унизительней — любовное или поэтическое?

У кого самая лучшая, самая цепкая память?

У злопамятного графа Монте-Кристо.

Память у него — злое**чая.

Как у тебя.

Ты и был граф Монте-Кристо во плоти и крови. Со всеми вытекающими последствиями. Ты помнил все свои унижения, и было их не так мало. А может, Дантес Бобышев и не преувеличивал, когда говорил, что ты ему перекрыл кислородные пути?

— Обида — женского рода, унижение — мужеского, — вспоминаю чеканную твою формулу.

— А месть?

— Месть — среднего.

И еще:

— Странная штука! Любое унижение — все равно какое, без этнической окраски, — напоминает мне, что я жид. Сам удивляюсь. Моя ахиллесова пята? Уязвим, как еврей?

Папа считал, что ты бы меньше, наверное, переживал ту, главную, измену, которая перевернула твою жизнь и сделала нечувствительным ко всем прочим несчастьям, включая арест, психушку и ссылку, если бы твоим соперником был соплеменник, но мама отрезала: «Чушь!», с ходу перечеркнув саму гипотезу. А я так думаю, что даже антисемитизм твоего соперника, если он есть на самом деле, в чем сильно сомневаюсь, связан с вашим соперничеством.

Осторожней на поворотах! Евреи давно уже из меньшинства превратились в большинство во всем мире, а с большинством воленс-ноленс приходится считаться. Тем более здесь, в жидовизированной, как ты говорил, Америке, где обвинение в антисемитизме равносильно доносу — как там когда-то в антисоветизме. Вредный стук, как сказал Довлатов. На него стучали, что лжееврей, только притворяется, на самом деле — антисемит. Даже Парамоху оставим в покое с его тайными страстями. Тебя самого попрекали, что так ни разу не побывал в Израиле. Мой Шемяка, тот и вовсе ходит в махровых, ты ему даже обещал дать в рыло при встрече, хотя все куда сложнее. Может,

вы не поделили Манхэттен? Ты обосновался в Вилледже, а Шемякин рядышком, в Сохо, пока не свалил в свой Клаверак от греха подальше. Мама говорит, что и на своих питерских тещу и тестя, которые ими так и не стали, ты возвел напраслину — они не любили тебя лично, а не как еврея. Никто же не обвиняет твоих парентс, что они не любили свою несостоявшуюся невестку как шиксу, а тем более в русофобии. Условие твоих встреч с сыном было — чтобы тот не знал, что ты его отец. «Гнусность, конечно, но почему антисемитизм?» — спрашивает мама. «А Гитлер — антисемит?» — слышу глухой голос из Сан-Микеле, где ты лежишь рядом с антисемитом Эзрой Паундом.

Никуда тебе не деться от антисемитов.

Как Эзре — от евреев.

Еврей притаился в тебе где-то на самой глубине, но время от времени давал о себе знать.

Неужели и тогда, в той огромной, в одно окно, довлатовской комнате в коммуналке на улице выкреста Рубинштейна, освистанный после чтения поэмы, ты почувствовал себя жидом?

В оправдание Сергуни хочу сказать, что в тот злосчастный для обоих вечер он был литературно искренен, а не из одних только низких побуждений, коварства и интриганства, пусть интриги и были всю жизнь его кормовой базой: он не любил твои стихи ни тогда, ни потом. Не мог любить — вы противоположны, чужды друг дружке по поэтике. Ты, как экскаватор, тащил в свои стихи все, что попадалось на пути, а Серж фильтровал базар — отцеживал, пропускал сквозь сито, добиваясь кларизма и прозрачности своей прозы. Литература была храм, точнее мечеть, куда правоверный входит, оставив обувь за порогом. Главный опыт его жизни был вынесен за скобки литературы, да так и остался невостребованным за ее пределами. Для Довлатова проза — последний бастион, единственная защита от хаоса и безумия, а ты, наоборот, мазохистски погружался вместе со стихами в хаос. Не думаю, чтобы Сергуня был среди твоих читателей, а тем более почитателей. То есть читал, конечно, но не вчитывался — через пень колоду. Не читал, а перелистывал — чтобы быть в курсе на всякий случай.

Зато ты его прозу читал и снисходительно похваливал за читабельность: «Это, по крайней мере, можно читать». Потому что прозу не признавал как таковую, а редкие фавориты — Достоевский, Платонов, ты их называл старшеклассниками, — были полной противоположностью Довлатову.

Наверное, тебе было бы обидно узнать, что у нас на родине Сергуня далеко обошел тебя в славе. Мгновенный классик. И никакие Нобельки не нужны. Еще одно твое унижение:

посмертное. Не только личное, но еще иерархическое: телега впереди лошади, торжество прозы над поэзией. Ты считал наоборот и в посмертной статье о Довлатове — том самом некрологе, который ты сочинил о нем, а не он о тебе! — написал о пиетете, который тот испытывал перед поэтами, а значит, перед поэзией. Никогда! Довлатов сам пописывал стишки, но не придавал значения ни своим, ни чужим, а проза стояла у него на таком же недосягаемом пьедестале, как у тебя поэзия. Цеховое отличие: вы принадлежали к разным ремесленным гильдиям. Среди литературных фаворитов Довлатова не было ни одного поэта. А оторопь — точнее, страх — он испытывал перед авторитетами, перед начальниками, перед паханами, независимо от их профессий. Таким паханом Довлатов тебя и воспринимал — вот причина его смертельного страха перед тобой.

В Питере ты им не был — в Нью-Йорке им стал.

Литературный пахан, не в обиду тебе будет сказано, дядюшка.

Тем более нисколько не умаляет твой поэтический гений.

Случалось и похуже: Фет — тот и вовсе был говнюшонок.

Поэт — патология: как человек мыслящий стихами. Нелепо ждать от него нормальности в остальном. Тем более предъявлять претензии.

Ссылался на Шекспира: совесть делает человека трусом.

Твоя собственная железная формула: недостаток эгоизма есть недостаток таланта.

У тебя с избытком было того и другого.

Были и вовсе некошерные поступки, но я еще не решила, буду ли про них.

Даже если не Довлатов был организатором и застрельщиком остракизма, которому тебя тогда подвергли, все равно ты бы не простил ему как хозяину квартиры. Точнее, комнаты. Ни от тебя, ни от Сергуни я той истории не слышала. Как говорит, не помню где, Борхес, все свидетели поклялись молчать, хотя в нашем случае ни один не принес клятвы, а просто как-то выветрилось из памяти, заслоненное прижизненным пиететом Довлатова к тебе и посмертной твоей статьей о нем. Да и как представить сквозь пространство и время, что самый великий русский поэт и самый известный русский прозаик, дважды земляки по Питеру и Нью-Йорку, были связаны чем иным, нежели дружбой и взаимоуважением?

Информация о том вечере, тем не менее, просочилась.

«Сегодня освистали гения», — предупредил, покидая благородное собрание, граф Монте-Кристо.

Так рассказывает мама, которая увидела тебя там впервые.

Еще до того, как познакомилась с папой, который зато был знаком с твоей будущей присухой, когда ты не подозревал о ее существовании, — причина моих невнятных, в детстве, подозрений. Читал ты, облокотясь о прокатный рояль, главную достопримечательность той комнаты, если не считать высокой изразцовой печи малахитной окраски с медным листом на полу. «Гением он тогда еще не был, — добавляет мама. — А поэма была длиной в Невский проспект вместе со Старо-Невским». Папа не согласен: «Гениями не становятся, а рождаются». У меня своего мнения на этот счет нет. Что знаю точно — не в поэме дело. А в миловидной крепости. Хотя нужна тебе была вовсе не крепость, а победа. Победа досталась другому. Вдобавок этот другой освистал поэму. С тех пор ты и сам ее разлюбил — поэму, я имею в виду: «Шествие». Двойное унижение. Такое не забывается.

Дружбы между вами не было — никогда. И не могло быть. Наоборот: взаимная антипатия. Да и встречи с той поры нечастые: случайные в Питере и подстроенные либо выпрошенные Сережей в Нью-Йорке. Что же до чувств: у одного — страх, у другого — чувство реванша. Говорю об Америке. Униженный в Питере унижает в Нью-Йорке. Человек есть не то, что он любит, а совсем наоборот. Помощь — это зависимость, зависимость — подавление, подавление — унижение. Вот природа твоего покровительства Довлатову, и вы оба об этом знали. А теперь, разобравшись, — спасибо, старый добрый Зигги, — знаю я.

P.S. Тайна любовного треугольника. Исследование-расследование

Воленс-ноленс здесь мне придется покаяться перед читателем за то, что я, возможно, ввел его в заблуждение. Может быть, и нет, но к предложенной мной версии должна быть добавлена альтернативная, чтобы у читателя был выбор. Речь пойдет о любовном треугольнике. Собственно, их было два — один у Бродского, другой у Довлатова. Фигурантами в обоих были люди творческие: два поэта, писатель и художник. Нет, это не ошибка, что в двух любовных треугольниках не шесть, как положено, а только пять человек. Два этих треугольника странным образом соприкасались. В обоих был один и тот же участник — Иосиф Бродский. Хотя играл в них две разные роли: в одном он был лицом страдательным, зато в другом — совсем наоборот. Пусть и невольно. Говорю загадками? Сейчас все станет на свои места.

Оба треугольника — трагические. Любовный опыт для обоих — Довлатова и Бродского — был травматическим. Однако эти душевные травмы, сублимируясь, стали источником и драйвом

великолепного любовного цикла, посвященного МБ — инициалы Марины Басмановой, и классного любовного романа «Филиал», где под прозрачным псевдонимом «Тася» проходит Ася Пекуровская. Две музы, или анти-музы, а ААА пошла еще дальше и говорила про Бродского, что он путает музу с б*****. Не слишком ли Ахматова была сурова к МБ и можно ли отнести это определение к Тасе? Академический вопрос. Точнее, физиологический. Не мне судить, я знаком с обеими шапочно, да и не больно интересно. Меня занимает не физиология с моральным уклоном, а психология — с психоаналитическим.

Треугольник трех «Б», как я его назвал в запретной книге о Бродском «Post mortem», можно упрощенно свести к следующему: Дима **Б**обышев, уступая таланту и славе Оси **Б**родского и весь обзавидовавшись, уломал зато его подружку Марину **Б**асманову, хотя и уламывать, думаю, было нечего: секс — это улица с двусторонним движением, насильно мил не будешь. Настоящий мужик всегда добьется от бабы, чего она больше всего хочет. Бывает и наоборот: настоящая баба и так далее. Если женщина кому не отказывает, то это она не отказывает самой себе. А ревность — негативное вдохновение, вот Бродский и выдал с пару дюжин великих любовно-антилюбовных стишков, вместо того чтобы придушить свою герлу, как Отелло Дездемону. Опять-таки сублимация. Не о том речь, что такое хорошо и что такое плохо. А о том, к чему приводит такой вот *ménage à trois* — к великой поэзии и ранней смерти. А прикончил бы Ося изменницу — и всех делов: мог жить и жить. Пусть в тюрьме. На любовный треугольник наложился квадрат тюремной камеры, да? Нет, не мои слова, а Бродского — из его интервью Свину Биркерсту.

> Моя невеста полюбила друга.
> Я как узнал, то чуть их не убил.
> Но кодекс строг. И в чем моя заслуга,
> Что выдержал характер. Правда, пил.

Нет, Бродский не пил — он писал стихи. Убей он изменницу, поэзия лишилась бы нескольких шедевров любовной лирики. А так что получилось? Триумф и трагедия. Трагедия и триумф.

Более подробно и более серьезно см. об этом мои книги о Бродском — упомянутую «Post mortem» и будущую, юбилейную «Апофеоз одиночества». Одна вышла в 2006-м и переиздана в 2007-м в составе моей книги «Два шедевра о Бродском», а другая должна выйти в составе сериала «Фрагменты великой судьбы».

Куда менее известен, а тем более изучен любовный треугольник, в котором были задействованы Сергей Довлатов &

Иосиф Бродский & Ася Пекуровская. Я уже затрагивал его в этой книге, но по касательной и скорее с точки зрения Бродского, а герой этой книги — Довлатов. Вот почему придется несколько сместить акцент в его сторону:

Du côté de chez Dovlatov.

Я уже писал, что наши с Сережей прогулки были по преимуществу мужскими, когда мы вышагивали по 108-й улице, главной эмигрантской магистрали Куинса, угол которой с 63-й Drive переименован теперь в честь Довлатова. Можно и так сказать, что мы с Довлатовым ходили по будущей улице Довлатова. Соответственно, и разговоры наши были по преимуществу мужскими. Не то чтобы трепались только о бабах — отнюдь. Америка и Россия, литература и писатели, рестораны, автомобили, кино — да мало ли, хоть сплетни.

Тогда, помню, болтали о женщинах. Я уже приводил этот наш треп, а теперь вынужденно перескажу, дабы поместить в новый контекст.

Меня повело на неизбывно актуальную для меня тему дефлорации, и — вот, только сейчас вспомнил — я процитировал Бродского:

Я знал ее такой, а раньше — целой.

— Не пришлось, — сказал Сережа.

Тогда я назвал имя женщины, которую Сережа любил в юности.

— Это она меня скорее дефлорировала, — ответил Сережа и пожаловался, что в лучшем случае он у женщины второй.

— Это что! — сказал я. — Куда хуже, когда не знаешь, первый ли ты. Вот это незнание и шизит больше всего.

Вот тогда, чтобы уйти от излишнего серьеза — что-то его мучило тоже, — он и сказал про подслушанный им девичий разговор по международному телефону, а потом уже перенес в свою книгу:

— Тут совсем нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнувши!

— Несолоно е*****, — ввернул ему в тон.

Сережа прыснул в кулак, но потом, продолжая смеяться, сказал:

— Грубо. — И тут же добавил: — Грубо, но точно.

Потом мы долго еще рассуждали о сексе, о ревности, о любви. И о том, как трудно женщину удовлетворить.

— Не только физиологически, — сказал Сережа.

— Я имел в виду *уестествить,* — уточнил я.

Слово прижилось, мы еще немного побросали его друг к другу, как мячик.

— Не можешь уестествить, так хотя бы возбуди, — сказал Сережа.

— Не можешь уестествить, так хотя бы рассмеши, — сказал я.

— Это нам запросто! — обрадовался Сережа.

Тут он снова заговорил о женщине, которую Бродский, уже после смерти Довлатова, в своем эссе о нем назовет «коротко стриженной, миловидной крепостью», — они оба осаждали ее. Это было еще до роковой — ну ладно, судьбоносной — встречи Бродского с Мариной Басмановой, и, кто знает, может, никакой тогда *femme fatale* в его жизни не было бы, хотя кто знает — опять это релятивистское и гипотетическое «кто знает»! — какая из этих женщин больше подходит на роль негативного импульса для гения: самовлюбленная фригидка (шире, чем в медицинском смысле) или интровертка-ледяшка? По-любому, у обоих — Довлатова и Бродского — была неразделенная любовь, которая, однако, и послужила не просто сюжетным драйвом и творческой подкормкой, но по принципу компенсации, а по Декарту — творческим толчком, а после без надобности, все и так завертелось. Ну да, той самой антимузой, которую Анна Андреевна, раскрывая эвфемизм, как Сталин псевдоним, именовала б*****.

Лицом к лицу лица не увидать? У каждого свой вкус? Для слуг и жен нет великих людей?

Упростим (за вычетом слуг) и обобщим (вместо жен — женщины) эту формулу, как это сделал Хосе Ортега-и-Гассет, с его помощью. Цитирую его чудесные — не хуже, чем у Стендаля — «Этюды о любви»:

«Гениальность отталкивает женщин. Кто знает, не таится ли глубокий смысл за этой неприязнью женщины к самому лучшему? Быть может, в истории ей и предназначена роль сдерживающей силы, противостоящей нервному беспокойству, потребности в переменах и в движении, которыми исполнена душа мужчины. Если взглянуть на вопрос в самой широкой перспективе и отчасти в биологическом ракурсе, то можно сказать, что основная цель женских порывов — удержать человеческий род в границах посредственности, воспрепятствовать отбору лучших представителей и позаботиться о том, чтобы человек никогда не стал полубогом или архангелом».

Круто сказано, да? Предвижу не только ликование моих мужеских читателей, но и возражения со стороны женских. Ну, само собой, природа отдыхает на детях гениев, а от спермы нобелевских лауреатов пошли вполне заурядные отпрыски. О

нашем нобельце — молчок, хотя, конечно, Андрею Басманову куда как далеко до Иосифа Бродского — дальше некуда. И прочее, и прочее. Да мне и самому есть что возразить любимому автору, но разве в том дело? Ортега-и-Гассет приводит в качестве примера Наполеона, которого не любила ни одна женщина, и Жозефина озвучила их мнение на словах и в деле, перетрахав чуть ли не всю его победоносную армию. (Конечно, преувеличиваю, хотя кто знает?)

Касаемо наших героев — и героинь — есть иная точка зрения, которую я озвучиваю безотносительно, согласен с ней или нет. Что Бродский назначил Марину Басманову без ее ведома — нет, не своей музой, но любимой женщиной, потому что какой же поэт без возлюбленной, да? Это мнение человека, близко знавшего обоих любовников. Другой — точнее, другая, опять же из близких либо приближенных, — сомневается, что брак Довлатова с Пекуровской, выразившийся лишь в проставлении штампов, был такой уж трагедией: «Не надо излишней красоты. Обыкновенный уязвленный в своем эгоизме мужчина, который уязвлен эгоисткой женщиной. К тому же мне кое-что известно о том, как на самом деле обстояли дела у Сережи на женском фронте. Именно во времена его трагической любви к Асе».

Как говорится, примем к сведению — не более того.

В отличие от Жозефины, на женской совести которой один только Наполеон, Асетрина — как звали друзья-товарищи-любовники Асю Пекуровскую — ухитрилась/умудрилась прохлопать и профукать сразу двух — самого-самого поэта и самого-самого прозаика. Что заставляет усомниться не только в ее женской чуткости, но и в литературном чутье, хотя литературовед она сносный и даже занятный, но скорее в схематических и схоластических построениях, чем в анализе текста. Освистанному Бродскому она до сих не может простить, что освистала его — ну, да, мы ненавидим людей, которым приносим зло, — а с Довлатовым продолжает *post mortem* борьбу, что твой Дон Кихот с мельницами, вчистую отрицая за ним литературный дар. Вот из ее совсем недавнего питерского интервью:

«Довлатов был по-человечески талантлив, а все остальное было второстепенным: ну, несколько рассказов, в общем-то и все. А Бродский абсолютно не был по-человечески талантлив. Он был закомплексованным, довольно трудным, а когда выбился наверх — и высокомерным, то есть во всех смыслах тяжелым… Довлатов еще ничего не писал, Бродский тоже был в начале пути. То, что он вывез из России, не было заявкой на тот уровень мастерства,

которого он впоследствии достиг. Как поэт он тоже состоялся уже в Америке. Бродскому, как мне кажется, помогли его амбиции. Нобелевскую премию ему же дали не за поэзию».

Прости ей, Господи, ибо не ведает, что глаголет!

Третьим Асиным литературным любовником был Аксенов, который к тому времени купался в славе и был в фаворе у советской молодежи. Проблема личного выбора для Асетрины Пекуровской не стояла — она плыла по воле волн в фарватере тогдашней моды. В каком-то отношении она походила на мадам Помпадур — с той только разницей, что в ее любовниках не было короля, зато она была любима тремя кумирами нации: одним наличным, в то время вровень с Евтушенко, и двумя будущими. Что я плету? Вот признание самой Аси Пекуровской, которая поучаствовала под музыку в концерте под названием «Довлатов, Бродский и Аксенов любили Асетрину». Не хило, да? Читатели попадали со стульев и даже с кроватей и лежат в лежку? А зря. Здесь надо малость поколдовать над семантикой выбранных профессиональным филологом слов. Да и колдовать особенно не придется.

Почему Асетрина Пекуровская не написала про трех этих знаменитых мужей, что они были влюблены в нее? И в каком смысле употреблен глагол «любить»? Если в смысле высокой любви, то есть «высокой болезни», то ни Аксенов, ни Бродский ее так не любили, а только Довлатов. К Аксенову она, может, и ушла как к знаменитости, но со стороны Васи приглашения не было и быть не могло — эмоционально, человечески, матримониально, как угодно он был абсолютно предан Майе Кармен. А гулял налево только в ее отсутствие, как это и случилось с Асетриной в Ленинграде: любовь-морковь! Кстати, редактор «Русского базара» Наташа Шапиро объяснила мне недавно этимологию этого выражения. Согласно православному канону, который мало где теперь соблюдается, в церкви была принята гендерная топография: мужчины справа, женщины слева. Если мужчина оказывался на женской половине, то про него говорили, что он пошел налево. С тех пор и повелось.

К Аксенову Сережа сильно взревновал и, помимо семейных сцен, много лет спустя мстил своему сопернику в литературе — прямо, как Аксенову («…прозу Аксенова не могу прочесть — изнемогаю от скуки»), и косвенно, как списанному с него и легко узнаваемому персонажу Ваньке Самсонову, — само собой, в любовном автобиографическом романе «Филиал», главная героиня которого Тася-Ася-Асетрина.

Опускаю подробности, которые довольно внятно изложены

самой Асей Пекуровской в ее мемуарной книге о Довлатове. Включая питерский еще эпизод, когда она застает Сережу, рассматривающего подаренную ей фотографию Аксенова с любовной надписью:

Перед Вами снимок с Васи,
Борода висит до чресел.
Он влюблен ужасно в Асю.
Этим он и интересен.

— Аксенов всегда представлялся мне в первую очередь женатым человеком, — говорит Сережа, — а тебе, должно быть, не давали покоя его лавры знаменитого прозаика.

Довлатову тоже не давали покоя — и не только лавры знаменитого прозаика, но и мужские похождения с его женой. Тем более аксеновское «борода висит до чресел» не может быть понято иначе, как в том же смысле, что «от пейс до гениталий» Бродского, хотя первоисточник у классного ленинградского поэта-самоубийцы Леонида Аронзона.

Все постепенно становится на свои места, как в пазле. По крайней мере, в отношении к Довлатову и Аксенову: учитывая брак первого с Асей и кратковременный роман с ней второго, «любили» следует понимать в единственном смысле — ну, скажем так, эвфемистически выражаясь: «спали». Но как в эту компанию полюбовников Асетрины затесался, Христа ради, Бродский? Список составлен не в алфавитном порядке — значит, в хронологическом, да? Не по старшинству же и не по месту в русской литературе!

Это все, однако, теория, а как было на деле? В том-то и дело, что свидетельские показания о любовном треугольнике Бродский — Довлатов — Пекуровская разнятся до противоположности. Врет, как очевидец? В данном случае врет один из очевидцев, но кто именно? Сергей Довлатов или Иосиф Бродский?

Сережа рассказывает, как еще в Ленинграде они с Бродским приударили за одной девицей, но та предпочла Бродского. Бродский дает противоположный исход этого любовного поединка, правда объясняя поражение своим отсутствием: «Мы осаждали одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут перечислять, осаду мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».

Ну, назвать женщину крепостью, положим, романтическое преувеличение. Тем более ту, о которой речь. Иносказание прямо-

таки в метафорическом стиле «Тысячи и одной ночи». Помните: «…обнял ее и велел ей охватить себя ногами, а потом он забил заряд, и пушка выстрелила и разрушила крепость, и увидел он, что она несверленая жемчужина и не объезженная другим кобылица. И он уничтожил ее девственность и насытился ее юностью…» (Русский переводчик предупреждает, что в этих сказках «вещи наивно называются своими именами, и точная передача подлинника была несовместима с нормами русской литературной речи». Когда это было! Сейчас бы перевели почище, чем в оригинале, — еще непристойней и скабрезней.)

Здесь важно отметить, что Бродский, который называл себя мономужчиной, нисколько не сомневается в исходе любовного поединка: победа досталась ему, если бы не пришлось укатить в Среднюю Азию, чтобы — причины хоть и диковинные, но теперь известные — хайджакнуть там самолет: все равно куда — не **в**, а лишь бы **из**! Безумная та попытка не удалась, и Осе пришлось ждать еще дюжину лет, чтобы легально осуществить свое ярое, сводящее с ума желание — покинуть пределы любезного отечества, сменить географическую родину на запасную.

Были ли у Бродского основания для такой мужской самоуверенности, коли он сводил дело к присутствию и к отсутствию? К присутствию Довлатова и к отсутствию Бродского. Может, и были, не мне судить, но, безусловно, у Бродского была мужская харизма и действовала на женщин гипнотически, неотразимо. Сам тому свидетель у нас на совместном с Леной Клепиковой дне рождения. Народу собралось много, вешалки не хватило, «польта» побросали как попало на стоявший в коридоре старинный сундук. И вот застаю такую мизансцену: на сундуке возлежит пьяненькая Марина Р. — та самая, которой Андрей Битов однажды сказал: «Почему у тебя такие кривые зубы?» — и умоляет стоящего перед ней Бродского:

— Ну, пожалуйста, Ося! Прошу тебя! Прямо здесь! Ну, что тебе стоит? Соловьев, выйди! — Ретировался задом, но успел услышать, не подслушивая: — Ладно, Ося, не хочешь здесь, поехали ко мне, Игорек в Москве…

И то сказать, Бродский остался непреклонен. Не только потому, что у Марины были кривоватые передние зубы, а потому, что взял за железное правило не трахаться с женами приятелей — типа, табу на инцест. Тем более сам крупно на этом подзалетел, когда его любимая сошлась с его другом. Правда, один раз Ося изменил этому правилу, о чем очень и очень жалел. И покаянно рассказывал об этом досадном эпизоде не только мне. «Помню, когда у него что-то произошло, вряд ли по его инициативе, с женой одного художника, он угрызался и явно раскаивался», —

пишет Андрей Сергеев, лучший друг и лучший мемуарист Бродского.

Отмечу попутно, что друзьями Довлатов и Бродский никогда не были. Ни в ту зимнюю пору, когда восемнадцати-, девятнадцатилетними юношами павлинились перед Асей Пекуровской, а той только того и надо было, — кто кого опередил под вопросом. Ни тем более позже, когда гений был освистан в комнате своего бывшего соперника на Рубинштейна, 23, где Довлатов проживал с Асей Пекуровской, что для Бродского было еще унизительней, если учесть, что павшая на волю победителя крепость на правах хозяйки участвовала в этом художественно-антихудожественном свисте. Позже с Бродским случались такие провалы — к примеру, когда ему не удалось прошибить своими стихами аудиторию на переводческой секции Союза писателей в Москве, — это его сильно подавляло, но и вдохновляло на новые подвиги на ниве изящной словесности. Сила его духа и таланта была такова, что он выпрямлялся под давлением пресса. Само собой, до известных пределов: сталинский пресс никому было не выдержать, но брежневские времена — пока они еще не стали андроповскими — были сравнительно вегетарианскими.

А уж тем более не стали эти бывшие питерцы друзьями в Нью-Йорке, где их тусовки и вовсе не совпадали, разве что на днях рождения поэта: нобелевская у Бродского и эмигрантская у Довлатова. «Даже виделись с ним не так уж часто», — пишет Бродский в своем мемуаре о Сереже. То есть на проходах. Тому свидетельство — эти путаные воспоминания, пишет ли Бродский, что был на пару лет старше, хотя всего на год, либо — что не помнит Довлатова бородатым, что может быть опровергнуто любым довлатовским фэном, который, не будучи лично знаком с ним, знает любимого писателя по фотографиям. Лично я его видел то бритым, то заросшим, то бородатым. К слову, на одной из фоток в этой книги засняты оба-два, глядящие друг на друга, и Бродский в упор не видит, что Довлатов с бородой.

Зато Бродский довольно тонко замечает, что Сережа тяготился своим обличьем и даже своего роста стеснялся, относясь к нему иронически, как бы со стороны: бугай хотел выглядеть типичным интеллигентом, каковым и был в душе, гигант-детина косил под классического «маленького человека».

Человек закомплексованный, Довлатов хотя и комплексовал из-за своего роста — в обратную сторону, чем пеньки, — но с ростом ничего поделать не мог, разве что ему повстречался бы царь Прокруст. Зато со своим лицом постоянно проделывал метаморфозы: то зарастал щетиной, а потом и черной бородой, которая с годами становилась все больше и больше седой. Однако

на редкие встречи с Бродским чаще всего являлся чисто выбритым. Не сравниваю, но сужу по себе: по лени я тоже не так уж часто бреюсь, а только когда иду в гости или на встречу. И то по настоянию Лены Клепиковой, которая считает, что борода меня старит и делает похожим на раввина. Вот именно: ряд волшебных изменений милого лица. А Сереже я как-то сказал, что коли душу нам не дано изменить, то хотя бы внешность. Довлатов хмыкнул, а что ответил, никак не могу припомнить, хоть убей. Может, на смертном одре?

У Сережи все-таки было иначе, чем у меня. Он даже в присутственные места являлся с бородой, которая ему шла, — скажем, в редакцию «Нового американца» в бытность его там главредом. Впрочем, и без бороды был хорош, как бы ни третировала его Ася Пекуровская при жизни и посмертно, обзывая Аполлоном Безобразовым. Так вот, вчистую брился Довлатов, чтобы предстать пред светлый лик Бродского, из пиетета перед гением и страха перед паханом. Представляю на суд читателя как гипотезу, дабы избежать ненужных споров.

Хотя тому есть и прямые доказательства. Потому как этим страхом пронизаны все высказывания Довлатова о Бродском — печатные, эпистолярные, оральные. От его нелепого, бессмысленного и самоуничижительного замечания в «Записной книжке», что Бродский не первый, а, к сожалению, единственный (а как же сам Довлатов, да и остальные?), до ни к селу ни к городу концовки вполне невинной, с толикой дружеской усмешки над Бродским миниатюры: «Все равно он гений». Куда смелее Довлатов был в письмах:

«Тут состоялся вечер Бродского. Впечатление прямо-таки болезненное. Иосиф был ужасен. Унижал публику. Чем ее же и потешал. Прямо какой-то футуризм. Без конца говорил, например: „…в стихотворении упоминается Вергилий. Был такой поэт…“И так далее. Зло реагировал на аплодисменты… Допускал неудачные колкости…»

***

«Абсолютно ненавистный мне тип человека — неорганизованный, рассеянный, беспечный трепач… Вообразите себе Бродского, но без литературного дара…»

Что до изустных замечаний Довлатова о Бродском, то они разбросаны по всей этой книге. Читатель имел возможность

выучить их наизусть.

Сам Бродский никогда не стремился к сближению и даже осадил Довлатова и поставил его на место, когда тот при первой встрече в Америке обратился к нему на «ты», а снисходил до него и покровительствовал ему, хотя далеко не всегда был доступен, скорее из мстительных чувств, пусть кой для кого и прозвучит парадоксом: такой сдержанный патронаж был куда более утонченным реваншем, чем прямая вендетта. Довлатов все это чувствовал не только на уровне подсознания, но и на поверхности, коли вывел свою гениальную формулу: «Иосиф унизьте, но помогите». Можно еще короче, по латинскому образцу: «Помоги, унижая».

Согласно печатным версиям Сергея Довлатова и Аси Пекуровской, первое соитие будущих супругов произошло в отсутствие Бродского и даже благодаря его отсутствию (согласно его версии), в новогоднюю ночь на траве Павловского парка, по женской инициативе:

«Ну что ты? Совсем неловкий, да? Хочешь, все будет очень просто? У тебя есть пиджак? Только не будь грубым…»

По версии Аси Пекуровской, она просто пожалела Сережу. По этому поводу я уже выражал свои сомнения, обобщая их до всего женского племени: кого они жалеют в этот момент — нас или себя? В этом смысле мне кажется ошибочным и мнение поэта Андрея Вознесенского:

> За что нас только бабы балуют
> И губы, падая, дают…

Опять-таки кого они балуют, падая, — своих сексуальных партнеров или самих себя?

— Я аморальная, да? Это плохо?
— Нет, — говорю, — что ты! Это как раз хорошо!

Довлатов: «Это был лучший день моей жизни. Вернее — ночь. В город мы приехали к утру».

Однако после этого и началось хождение Довлатова по мукам и длилось всю их совместную жизнь. Он что же, ожидал встретить несверленую жемчужину? необъезженную кобылицу? О, эта наша мужская мечта первым распечатать запечатанную Богом женщину!

Продолжаю цитировать «Филиал», где не просто авторский

герой, но автопортрет Сережи Довлатова. Тем этот любовный роман и хорош.

«Ты должна мне все рассказать. Абсолютно все.

— Не спрашивай.

А я и рад бы не спрашивать. Но уже знаю, что буду спрашивать до конца. Причем, на разные лады будет варьироваться одно и то же:

— Значит, я у тебя не первый?

— Ты второй.

Вопрос количества тогда стоял довольно остро. Лет до тридцати я неизменно слышал:

— Ты второй.

Впоследствии, изумленный, чуть не женился на девушке, у которой, по ее заверениям, был третьим.

— Я хочу знать, кто научил тебя всем этим штукам?!

— Что? — произнесла она каким-то выцветшим голосом. — Сумасшедший… Сумасшедший…»

Довлатов: «Я полюбил ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она — жестока, эгоцентрична и невнимательна». А за два года до смерти Сергей Довлатов писал Асе Пекуровской о ее равнодушии и своих обидах: «…Я считал себя жертвой, а тебя — преступницей».

А может, Асетрина из породы богомолов, самка которых уничтожает самца после соития?

Возвратимся к крепости, которая оказалась не такой уж неприступной, а по собственному велению и хотению отдалась на волю победителя и кое-чему его научила, не просто оставив осадок, но отравив ему всю победу. Их супружество сопровождалось ее изменами, о чем пишут оба, а вдобавок сторонние наблюдатели, типа великого путаника и биографа-подмалевщика Валеры Попова. Однако Довлатова сводили с ума не соперники, а предшественник. Почему я пишу в единственном числе? Да потому что Сережа произвел в уме некоторую генерализацию, сосредоточившись на одном человеке, без разницы, сколько их было на самом деле. Богатый и лощеный адвокат Фима Койсман, который всюду сопровождал Асю Пекуровскую, до того как на ее небосклоне появились более родственные ей как филологу, пусть и непризнанные, поэт и прозаик, появились и стали соперниками, и, кто знает, может, это соперничество подстегивало, подхлестывало, возбуждало

любовное чувство каждого?

Какая любовь без соперника! Как в том анекдоте: «Пока я был в командировке, к моей кто-нибудь заходил? Нет? Ну так и я не пойду». О латентном гомосексуализме промолчу. Не до такой все-таки степени!

Соперничество в порядке вещей, а кой-кому позарез. Варианты могут быть самые разные: у меня здесь, в Нью-Йорке, приятель, который предпочитает платить за любовь, чем получать ее даром. Да мало ли! Но чтобы в спорной ситуации, постфактум и ретро, каждый приписывал победу другому? Извиняюсь, что-то я не секу. Странно, правда? В таких случаях ошибаются обычно в другую сторону. Кто из них опередил другого на деле? И в деле? Кто-то из них запамятовал, но кто? Лучше уж искажение памятью, чем стертость забвением. А спросить теперь не у кого. Разве что у бывшей девицы, но женщины в таких случаях предпочитают фантазии. Тем более бывшая девица склонна к сочинительству.

Или полуправде.

Половина правды есть целая ложь.

В этой невнятной, оксюморонной, гипотетической ситуации, когда я строчил свой шедевр о Бродском «Post mortem», я и предположил, что Довлатов официально, то есть прилюдно отрицал свою победу, боясь мести, хотя победил в честном поединке еще до того, как Бродский отправился на хайджак. А здесь, в Нью-Йорке, Довлатов боялся не поэта-лауреата, а пахана Монте-Кристо, коим стал в изгнании рыжий гений и городской сумасшедший, беря реванш за все свои прежние унижения и поражения. К такому опрометчивому пришел я выводу. См. приведенные в этой книге соответствующие главы из той заветной, о Бродском, а какой получится эта — пока не знаю. Хотя догадываюсь.

А теперь мысленно перенесемся из одного любимого города в другой любимый город, паче у Нью-Йорка и Санкт-Петербурга был один голландский прототип — Амстердам, по образу и подобию которого оба города возводились. Увы, из-за крутой занятости этой книгой не удалось мне слетать на крыльях любви в «отечество белых головок», дабы поспеть на Васильевский остров, где в пятницу 4 апреля 2014 года состоялся вечер, одно название которого привело меня в содрогание и заставило пересмотреть собственную концепцию отношений вершинных фигур изящной русской словесности с вышеупомянутой девой, что на старости лет тоже подалась в ту самую изящную словесность, где мы с тобой, читатель, сейчас находимся. Что делать, придется ограничиться анонсом о визите старой дамы в родной город.

Музей-галерея современного искусства Эрарта и Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ приглашают на **литературно-музыкальный вечер «Довлатов, Бродский и Аксенов любили Асетрину»,** с участием самой дамы сердца выдающихся литераторов — Аси Пекуровской (США). Партию фортепиано исполняет дипломант конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе Анна Борисова (Москва).

Центром события будет сама личность, легенда и первая красавица Ленинграда 70-х Ася Пекуровская — филолог, писатель, создатель и руководитель книгоиздательства *Pekasus* (США). Ася — непосредственный участник литературной жизни 70-х, ее любви добивались наши литературные титаны: Бродский, Довлатов, Аксенов и др. «Суперприз» достался Сергею Довлатову, от брака с которым у Аси родилась дочь Маша. Это первый визит Пекуровской в родной город после 40 лет уединенной жизни в Северной Америке.

Творческий вечер будет строиться вокруг обсуждения трех тем, восходящих к трем публикациям, вышедшим в России: «Довлатов — псевдодокументалист», «Достоевский — механизмы желаний» и «Герметический мир Иммануила Канта: Кант и Кафка». Также в программе состоится презентация серии из шести детских сказок для взрослых «Спарк, каменный мальчик», опубликованных в Америке на двух языках. В настоящий момент авторский коллектив, творческая группа *Pekasus* (Ольга Титова, художник, и Вадим Клоков, композитор) работают над созданием мюзикла, о чем будет небольшой рассказ в присутствии членов группы.

Ну, что за прелесть, право! Только не надо ловить блох в этом анонсе, составленном, несомненно, при участии центрового персонажа этого музыкально-литературного перформанса. Что с того, что Ася Пекуровская не могла быть непосредственным участником литературного процесса, не написав на тот момент ни одной литературной строчки, разве что генитальным образом, да простится мне такое предположение, но оно проистекает из самого названия этого авторского вечера и никак иначе истолковано быть не может. Либо такая и вовсе мелочовка, что у Аси родилась дочь Маша от брака с Довлатовым. О вероятном лжеотцовстве Довлатова я уже писал — со слов самого Довлатова и опираясь на факты, но уж совсем нонсенс сказать, что означенная дщерь — от его первого брака, тогда как этот брак распался за пять лет до ее рождения, и Кате, законной дочери Довлатова от второго брака с Леной Довлатовой, было к тому

времени четыре года. Не стоит, право, делать из Довлатова Казанову.

А вот что стоит, так это обратить внимание на характеристику самовыдвиженки — легенда и первая красавица Ленинграда. Ну, относительно порядкового номера в тогдашнем конкурсе красоты: кто считал? Или на нынешний лад: какое жюри присудило ей звание «Мисс Ленинград»? А называть саму себя «суперпризом», который достался Довлатову, — это супер-пупер смело для дамы, которая скоро будет справлять свое 75-летие, с коим заранее ее поздравляю. Все, однако, становится на свои места, когда мы с фрейдистской лупой в руках всмотримся в оброненное Асей Пекуровской слово «легенда». Да, да, читатель, та самая оговорка или описка, сквозь которую, по Фрейду, проглядывает истина. Весь этот анонс, за исключением разве что названия шоу, если вкладывать в глагол «любить» не сокровенный смысл, а куда более элементарный (см. выше), следует определить как самосозданную и саморастиражированную легенду. То, что здесь у нас зовется **self-myth**.

Вот мы и подходим к концу нашего мини-исследования.

Осталась самая малость.

Мне кажется, в чем мы должны довериться Асе Пекуровской, так это в мужском списке победителей, а скорее, согласно вышеизложенной теории, в списке побежденных ею литераторов, ибо она была падка именно на литературных знаменитостей, будь то суперстар Аксенов или широко известные в узких кругах Бродский и Довлатов. Пусть только не брешет: Сережа к тому времени уже писал рассказы, а Ося конечно же написал лучшие стихи и достиг поэтических высот еще в России, а Нобелевскую премию получил не за амбиции и не за нахрап, но именно за поэзию. Жаль, право, что филолог Ася Пекуровская по сю пору отрицает самоочевидные литературные достижения.

Возвращаясь к сексуальной сфере ее деятельности, не думаю, чтобы она прихвастнула своими женскими победами — есть пусть не очевидцы, со свечой никто не стоял, но свидетели, хоть они и сходят постепенно со сцены — в могилу, оставляя после себя противоречивые воспоминания. В том же анонсе, через несколько строчек после названия шоу, донжуанитский список Аси Пекуровской немного меняется: имена те же самые, два первых фигуранта махнулись местами: Бродский, Довлатов, Аксенов. Опять не в алфавитном порядке, но все-таки и не по чину. Хоть первым идет наш нобелевец, но дальше бы в таком случае пошел Аксенов — ввиду несравнимо большей его популярности, чем у Довлатова, в годы, когда все трое романились с Асей, и при явной — до сих пор! — недооценке ею таланта своего первого мужа. Как

филолог и писатель, она не поставила бы Довлатова раньше Аксенова, если бы располагала их по литературной значимости. Остается хронология. Точка.

А что касается двух противоречивых показаний ее любовников, то нам ничего не остается, как поверить Довлатову и не поверить Бродскому. Пусть его и «обвиняли во всем, окромя погоды». Но что за ним не водилось, это хвастать своими мужскими победами и подводить своих пассий, а их было немало. Он не принадлежал к тому типу мужиков, для которых честь — только слова: *«Che dunque l'onore? Una parola!»,* отсылая к Фальстафу. Напротив, Бродский был человек чести — рыцарской чести, вел себя кошерно, этого у него не отнимешь. Да и зачем? Его мужская харизма была всем очевидна — как женщинам, так и мужчинам. Тем более что его бывшая краля вышла замуж за знакомого, пусть шапочного, и коллегу, пусть из другого литературного цеха, по мнению Бродского, рангом ниже: «…я был на пару лет старше, а в молодости разница в два года весьма значительна: сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника; если вы пишете стихи, вы еще в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику». Оставим на совести Бродского эту весьма спорную, хоть и императивную иерархию литературных жанров.

Сомнения отпадают: Бродский был первым. Нет, не в смысле, конечно, несверленой жемчужины и необъезженной кобылицы, а в хронологическом порядке очередности. В смысле предшественника, а не первопроходчика. А эвфемизм «крепость пала» следует понимать не только в смысле рыцарского поведения по отношению к бывшей сопостельнице и чтобы не причинить боль ее будущему мужу, а и в буквальном смысле: что его девушка не дождалась ИБ и стала герлой СД.

Вот что мучило и терзало Довлатова всю жизнь, а не только супружескую. Куда больше, чем измены первой жены. Ретроспективная ревность сильнее любой другой.

Довлатов подозревал, догадывался, знал. Не ревновать же в самом деле к какому-то ничтожному, пусть богатому и успешному, адвокату Фиме Койсману. Довлатов был до мозга костей писателем, и любой поединок имел значение для него прежде всего на литературном поле. В мандельштамовском смысле: «И меня только равный убьет». Аналогия с литературным — скорее, чем любовным, — *ménage à trois* трех «Б» напрашивается, но не так чтобы обязательна, да и не в контексте моего исследования. Оно же — расследование. Вот что является главной составляющей отношений Довлатова и Бродского, а вовсе не то, что гения освистали в той самой комнате в одно окно с

камином и роялем в доме № 23 на улице Рубинштейна.

Довлатов все это знал, не мог не знать, а теперь знаем мы.

Бродский & Довлатов: Запретные тексты

Честно, работая над этой книгой, авторы хотели предварить публикацию запрещенной в России статьи Сережи Довлатова из «Нового американца» коротенькой преамбулой, прямо к ней относящейся. Но тут один из авторов напомнил другому, что, помимо запретной статьи Довлатова, существует еще запретное стихотворение Бродского — представьте себе! Общепризнанные писатели, блестящая статья одного, прекрасное стихотворение другого — и оба под запретом! В чем дело? А фишка в том, что причина запрета на современных классиков русской литературы — одна и та же. Именно эта причина и объединяет эти во всем остальном несхожие и разножанровые произведения двух разных, хоть и хорошо знакомых друг с другом по Питеру и Нью-Йорку писателей — Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Загадка, да? На каждую загадку есть отгадка. Потому как загадка не то же самое, что тайна.

Иосиф Бродский. Лене Клепиковой и Вове Соловьеву. С комментами

Сколько я о нем написал! С дюжину портретных эссе и критических статей, юбилейный адрес к его пятидесятилетию, два докуромана: один прижизненный, «Три еврея», а другой посмертный — «Post mortem», — не пора ли остановиться? Почему он является мне в моих сновидениях, а наяву в моем мозгу звучат стихи в его собственном исполнении — нараспев, речитативом, бормоча, картавя, с пропусками слов и строк, раскачиваясь и потея. То ли шаман, то ли кантор, я знаю? Неумолчный голос. А теперь вот алчет из своей могилы на острове мертвых в Сан-Микеле, проборматывая свой наказ, чтобы я снова писал о нем. Или это «игра ложного воображения», как выразился однажды Платон. И был не прав: какое воображение не ложное? На то оно и воображение, чтобы дополнять и исправлять реальность, потому хотя бы, что та не дотягивает до наших желаний и фантазий. Где кончается реал и начинается фэнтези? В моих сновидениях мне являются один из моих покойных котов (сиамец-шизик), папа с мамой и Бродский, в которого я был влюблен, как в женщину. Вот, наконец, я и просек: любовь не проходит со смертью любимого человека или животного. Пусть некрофильство, но не в медицинском значении этого слова. В другом смысле: «Явись, возлюбленная тень!» Мой разговор с

Бродским продолжается, как его разговор с Небожителем, хоть сам он не Бог, но заместитель Бога, а Виктор Гюго, тот и вовсе считал, что поэт творит наравне с Богом. Кто знает. Устанавливает ли смерть пределы общению живого с покойником? Или прав Ваш любимый поэт, Ося, которого Вы не только ставили выше Пушкина, но и больше любили:

Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

Почему не найдет? А если попробовать? Не случайно же я слышу во сне Ваш картавый голос. Принимаю заказ от покойника с того света, из могилы. А пробиться к Вам, Иосиф Бродский, можно только с помощью Вашей поэзии, на стиховом, то есть Вашем, языке. Вот я и возьму одно Ваше шестистрофное стихотворение, сочиненное Вами на случай в конце февраля 1972-го, за три месяца до эмиграции, и помещу его в контекст нашего с Вами питерского времени.

Сначала повинюсь. Это из-за меня страдает не только Бродский, но и Довлатов — два классика современной литературы. С обоими я был близок, но с Бродским больше по Питеру, а с Довлатовым больше в Нью-Йорке, где мы виделись ежевечерне в течение нескольких лет, отчасти — но не только! — по топографической, как я уже говорил, причине, ибо были соседями, но я бы это назвал «соседством по жизни», если воспользоваться выражением Пастернака. Правда, и в Ленинграде мы виделись часто, хоть и не регулярно, принадлежа к разным кругам молодой интеллигенции. Да, оба были местными знаменитостями, и вот недавно на чьем-то людном юбилее в нью-йоркском ресторане «Севан» ко мне подошла дама родом из Питера и стала перечислять, где встречала нас, большого и маленького, не будучи с нами знакома: на Невском у Елисеевского магазина, у Дворца искусств, у Малого зала Филармонии: «На вас показывали пальцем, вы бросались в глаза». По-любому, именно я делал вступительное слово к единственному сольному вечеру Довлатова в России — в Доме писателей имени Маяковского на улице Воинова, о чем сохранилось свидетельство на фотографиях архивариуса питерского андеграунда Наташи Шарымовой, которая продолжила свою фотолетопись, переехав вместе со своими героями в Нью-Йорк (см. вкладки). Уже здесь я опубликовал юбилейный адрес на 50-летие Бродского, который начинался с первой страницы «Нового русского слова», тогдашнего флагмана русскоязычной прессы в эмиграции, а внутри газеты занимал еще

целую полосу. Ну и так далее, о чем читатель уже знает, читая эту книгу.

Так вот, я безвинно виноват, что два отличных текста этих наших классиков не печатаются в их книгах, на них наложено табу, они находятся под запретом, хотя сам я, елико возможно, восполняю пробел и публикую их в своих книгах и эссе.

Если с Бродским я веду разговоры во сне, то с Довлатовым наяву, когда проезжаю или прохожу — благо живу неподалеку — мимо еврейского кладбища *Mount Hebron,* где он лежит. «С кем ты разговариваешь?» — спрашивала поначалу Лена Клепикова, а теперь уже попривыкла. Иногда я захожу внутрь, когда один, когда с сыном, который тинейджером был знаком с Сережей, и тот ему даже удочку подарил, и когда вожу приезжих из России, где Довлатов — самый популярный из современных писателей: из настоящих и стоящих. На могиле Довлатова всегда свежие цветы, а на памятнике много камушков — свидетельство, что здесь часто бывают люди — как эллины, так и иудеи. Именно с этого кладбища, с Сережиной могилы, я начал свой двухчасовой о нем фильм, а потом развернул свой рассказ ретроспективно — от нелепой его смерти в машине «скорой помощи» обратно к его мученической жизни.

Ладно бы Довлатов и Бродский пострадали от цензуры, а тут от людей, которые ходят чуть ли не в его друзьях и занимаются составлением его книг и собраний сочинений. Раскрываю, к примеру, внушительный 400-страничный том Сергея Довлатова «Речь без повода… или Колонки редактора», в составлении которого принимал техническое участие: ездил с Леной Довлатовой в специальную копировальную контору на Куинс-бульваре, чтобы сканировать Сережины статьи из «Нового американца», коего он был главредом, и нас с Леной Клепиковой в нем печатал. Мало того, выступил в мою защиту с прекрасной статьей «Вор, судья, палач…» — шедевр его журналистской практики: не потому что про меня, а объективно, говорю это как литературный критик. И вот получаю в подарок от Лены Довлатовой эту книгу с милым автографом: «…в память о временах, которые прошли в близком соседстве». Книга носит академический характер: в ней собраны все — подчеркиваю: **все** — его публикации в «Новом американце», а лучшей его статьи не нахожу. Звоню вдове — она тоже вся обыскалась и, к своему несказанному удивлению, этой статьи не нашла. Можно не любить Соловьева, но не настолько все-таки, чтобы цензурировать Довлатова. Неуважение к классику.

Как и к Бродскому, а он не просто классик, а большой русский поэт, один из этого великолепного трио, сразу же вслед

за Мандельштамом и Пастернаком: в его полном собрании сочинений нет стихотворения, которое он преподнес нам с Леной Клепиковой на совместный день рождения, хоть оно и упомянуто где-то там в примечаниях мелким шрифтом. Не за себя обидно — это великое стихотворение уже никогда не умрет, несмотря на козни трупоедов, которые делят славу Бродского себе в карман — за гения обидно! Замалчивать такое стихотворение — не только стыд и срам, но и преступление перед русской поэзией. Нет оправдания всем этим гординым и кушнерам! Впрочем, спасибо им за этот детективный и поучительный сюжет.

Готовя в 1990-м году первое нью-йоркское издание «Трех евреев» (еще под названием «Роман с эпиграфами»), я спросил Осю разрешения на публикацию посвященного нам стихотворения и получил в ответ: «Валяйте. Я же вам его подарил. Теперь оно ваше». С тех пор я печатал это стихотворение в своих сочинениях неоднократно — при жизни Бродского и после его смерти.

В «Трех евреях» я разорвал стихотворение пополам — три первые строфы поставил эпиграфом к главе «Три поэта» и три последние привел в тексте. Может, это и нехорошо по отношению к автору (не знаю, как к этому отнесся Бродский), но мне надо было объяснить читателю, что к чему, и поместить этот заздравный «стишок» (так Вы, Ося, сами называли любое Ваше стихотворение) в контекст времени. Сейчас я сделаю еще хуже — разделю стихотворение построфно, но, прочтя это эссе, в воле читателя собрать его вместе, опустив мои комменты.

Стихотворение начинается в шутливом тоне, ему нужен разбег, чтобы достичь заоблачных высот настоящей поэзии:

> Позвольте, Клепикова Лена,
> Пред Вами преклонить колена.
> Позвольте преклонить их снова
> Пред Вами, Соловьев и Вова.
> Моя хмельная голова
> Вам хочет ртом сказать слова.

Все не так! «Коленопреклонение», понятно, имеет только иносказательное значение, и никакой хмельной головы не было — Бродский писал все свои стихи на трезвую голову. Он был охоч до водяры, но лично я пьяным его никогда не видел. Зато он меня — да, пусть и однажды. А напился я на каком-то юбилее молодежного журнала «Аврора», где Лена Клепикова работала редактором, а я был автором. Понятно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и я потребовал от моей жены и тогдашнего

моего друга Саши Кушнера вести меня к Бродскому. Было уже за полночь, редакция «Авроры» находилась на Литейном, недалеко от Большого дома в одну сторону, а в другую — в пяти минутах ходьбы от дома Мурузи на углу Литейного и Пестеля, где в большой коммуналке у Бродского была своя «берлога» — разделенная пополам шкафами комната. Я бывал там часто, последний раз вместе с Леной, за два дня до его отвала за кордон. Он тогда был в абсолютном раздрызге: когда на лестнице мы прощались навсегда (так тогда казалось), Лена обняла его и поцеловала, Ося заплакал. В первый и в последний раз видел я этого вечно усмешливого, ироничного человека плачущим. Что скрывалось за этими Вашими ухмылками? Душевная ранимость? А Вам досталось от жизни — нет, от судьбы: от психушки и тюрьмы до — что Вы переживали намного сильнее — измены любимой (единственной!) женщины и предательства близкого друга. А Лена Клепикова всегда ведет себя более адекватно обстоятельствам, чем я: по жизни она — мой учитель, хотя мне до нее далеко. Я последовал ее примеру и обнял друга, чмокнул его в небритую щеку. Снова мы увиделись только через пять лет — в манхэттенском отеле «Люцерн» на следующий день после нашего приезда.

Но это — забегая вперед, а тогда Лена и Саша не без удовольствия, мне кажется, вняли моей пьяной просьбе: Лена — потому что, как и я, была влюблена в Бродского, а Кушнер, «придворный еврей», которого вовсю печатали и противопоставляли непечатному «городскому сумасшедшему», — потому как иной возможности увидеть своего соперника (хотя какое там соперничество!) у него не было, зато любопытство, не без злорадства, к горемычной судьбе Рыжего было. Наивняк, Саша мыслил в узких пределах «отечества белых головок» и даже не подозревал, что Бродского ждет мировая слава, которая потом рикошетом возвратится посмертно в Россию.

Короче, далеко за полночь мы ввались в Осину берлогу. Ося оставил меня на диване в предбанничке, предусмотрительно вручив мне тазик, в который я вцепился, с ним заснул и с ним проснулся наутро, а о ночной встрече Бродского, Кушнера и Клепиковой знаю только с ее слов. Пусть Лена и вспоминает — ей карты в руки.

Взяв разгон первой шутливой строфой, Бродский выдает очень сильную следующую:

> Февраль довольно скверный месяц,
> жестокость у него в лице.
> Но тем приятнее заметить:

вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

Теперь потребуется биографическое пояснение. Мы с Леной Клепиковой родились с разницей в пять дней, а потому справляли один день рождения на двоих, где-то между 20 и 25 февраля, чтобы званый вечер пришелся на субботу, с чем и связана третья строфа посвященного нам Бродским стихотворения:

На свет явившись с интервалом
в пять дней, Венеру веселя,
тот интервал под покрывалом
вы сократили до нуля.
Покуда дети о глаголе,
вы думали о браке в школе.

Ни о каком браке никто из нас, конечно, в школе и не помышлял, тем более любовь была односторонней, но я утешал себя тем, что такой огромной любви, как моя, вполне хватит на двоих, и вообще, один любит, а другой позволяет себя любить, один целует, а другой подставляет щеку, а в высоком регистре — у Аристотеля — влюбленный божественней любимой. Так-то!

Некоторые бродсковеды-шутники и вовсе полагают само слово «брак» в этом контексте эвфемизмом, и одни подставляют на его место «секс», а иные, исходя из текстологически-аллитерационного анализа двух этих злосчастных строчек со всякими «ле» и «ли», выдают лексически непристойный вариант: «Покуда дети о глаголе, вы думали о е*** в школе».

А что Вы скажете, дорогой мой покойник?

Бродский являлся к нам на день рождения всегда с опозданием и всегда без подарка, на который у него не было денег. Подарком был он сам. Не сам по себе, хотя мы с Леной питали к нему нежные чувства, совместные и сольные, а коронное его выступление с чтением новых стихов — обычно под конец вечеринки, за полночь. На улице мерзли топтуны, кагэбэшная свита Бродского, и Ося как-то предложил пригласить их в дом или, на худой конец, вынести им по чарке горючего.

Однажды Ося спел солдатскую песенку про Лили Марлен в собственном переводе, аккомпанируя себе постукиванием ладони по столу, — это был триумф на периферии. Как и его рисунки — идеализированные автопортреты и дружеские шаржи на приятелей и самого себя. Сходство схватывал верно, но нос слегка

преувеличивал. Так случилось с его лиссабонским портретом Довлатова.

— У тебя нос другой, — сказал Сереже редактор, которому он похвастал рисунком.

— Значит, надо сделать пластическую операцию, — ответил Сережа.

Шутки шутками, но при всем своем пиетете к Бродскому Довлатов перерисовал себе нос на его лиссабонском рисунке.

В «Трех евреях», которых я сочинил по свежим следам осенью 75-го в Москве, я описал эти наши питерские дни рождения и другие встречи у нас дома. В том числе турнир поэтов — официально диссидентствующий Евтушенко, ливрейный еврей Кушнер и непризнанный гений Бродский: за глаза его называли Рыжим, а мы, его близкие друзья, — Осей. Так вот, Ося легко этот средневековый турнир выиграл и торжествовал, хотя никто не сомневался в его победе — менее всего он сам. Сервильного Кушнера с его советской судьбой Бродский терпеть не мог, и его предсмертный брезгливый стишок о нем — редкий взлет в его поздней поэзии: «Теперь в твоих глазах амбарного кота, хранившего зерно от порчи и урона, читается печаль, дремавшая тогда, когда за мной гналась секира фараона», и проч. Зато, как это ни странно, на том самом турнире поэтов у нас дома он если не благоволил, то дружбанил с московским гостем — может быть, ввиду его всесоюзной и всемирной славы, — но, переехав в Америку, всячески его третировал и даже демонстративно вышел из здешней Академии искусств, когда в нее приняли Евтушенко на правах иностранного члена. Отсылаю читателя к моим книгам-апокрифам о Бродском, которые неоднократно издавались по обе стороны океана. Либо к следующей, юбилейной книге нашего с Клепиковой сериала «Фрагменты великой судьбы»: анонсирую заранее — «**Быть Иосифом Бродским: Апофеоз одиночества**». А сам возвращусь к его стихотворению:

Куда те дни девались ныне —
никто не ведает — тире, —
у вас самих их нет в помине
и у друзей в календаре.
Все, что для Лены и Володи
приятно, — не вредит природе.

Очень любезная адресатам строфа, согласитесь! На тех наших ленинградских днях рождения случались разные приколы, я описал их в «Трех евреях». Вот один из них. Когда это было? В 70-м или 71-м? Убей бог, не припомню. Хотя стоит перед моими

глазами, как будто это было не сто лет назад, а вчера: память иногда выделывает со мной еще те кульбиты! Помню, как Ося оттолкнул других претендентов (включая мужа) и, взгромоздив на руки, задыхаясь, попер пьяненькую Лену к нам на четвертый этаж, после того как мы приводили ее в чувство на февральском снегу. Это при его-то больном сердце! На месте Лены я бы переживал: не тогда ли он надорвал себе сердце, таща ее по нашей крутой лестнице? Странно, что ей это не приходит в голову. Или *mea culpa* — сугубо мужское переживание?

Иногда советую Лене сочинить мемуар о Бродском под броским названием «Он носил меня на руках», хотя было это — насколько мужу известно — всего один раз.

Как раз в тот раз, когда он сочинил про нас и нам в подарок свой заздравный стих, Ося прийти к нам не смог. Или не захотел нас подводить — к тому времени он стал персона нон грата и спустя три месяца покинул страну. А тогда, через пару дней после нашего дня рождения, он зашел к Лене Клепиковой в редакцию журнала «Аврора», сел напротив и тут же настрочил это стихотворение. Конечно, он сочинил его заранее, но было ли оно у него записано или он держал его в памяти — не знаю.

Не обошлось в этом стихе и без шутливого под**ба, когда Бродский обыгрывает нашу неприличную тогда, в сравнении с остальными, молодость: «Они, конечно, нас моложе и даже, может быть, глупей…», но дружески, ласково, нежно, как старший брат. Честно, мы с Леной купались в этой его с нами ласковости, которая вызывала ревнивое, завидущее раздражение у наших общих знакомых, типа Яши Гордина. Увы, с годами эти их чувства не прошли, а, наоборот, приумножились в разы, став патологической чертой характера. Так я стал для мафиозного литературного истеблишмента Ленинграда — Петербурга персона нон грата, а со мной и бедная Лена, но кто мог думать, что туда же подзалетят два классных текста Бродского и Довлатова!

Они, конечно, нас моложе
и даже, может быть, глупей.
А вообще они похожи
на двух смышленых голубей,
что Ястреба позвали в гости,
и Ястреб позабыл о злости.

Небрежно брошенное в заздравном стихе сравнение себя с ястребом Бродский вскоре разовьет в длинный — 120 строк — стиховой сюжет: написанное уже в Коннектикуте стихотворение

«Осенний крик ястреба», которым он очень гордился. Само собой, «ястреб» был авторским, автобиографическим персонажем.

И наконец, последняя обалденная строфа, которая выводит этот стих в разряд высших поэтических достижений Иосифа Бродского:

К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!».

А теперь пусть читатель соберет это стихотворение воедино и прочтет целиком, минуя мои комменты.

Ну, как? Великий стих!

Сергей Довлатов. Вор, судья, палач…

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело!

Из статьи Г. Померанца

Помните такую детскую игру? На клочках бумаги указывается: *вор, судья, палач*… Перемешиваем, вытаскиваем… Судья назначает кару: три горячих, пять холодных… Палач берется за дело… Вор морщится от боли… Снова перемешиваем, вытаскиваем… На этот раз достается от бывшего вора судье. И так далее.

К этой игре мы еще вернемся.

Теперь — о деле. Есть такой публицист — Владимир Соловьев. Пишет на пару с женой, Еленой Клепиковой. Оба — бывшие литературные критики, причем довольно известные. Эмигрировали года четыре назад.

В центральной американской прессе опубликованы десятки их статей. Книга «Русские парадоксы» выходит на трех языках.

В «Новом американце» Соловьев и Клепикова печатались трижды. То в соавторстве, то поодиночке. Каждый раз их статьи вызывали бурный читательский отклик. Мне без конца звонили самые разные люди. Были среди них весьма уважаемые. Были также малоуважаемые, но симпатичные и добрые. Были, разумеется, глупые и злые. Знакомые и незнакомые. И все ругали

Соловьева.

Наконец позвонил один знаменитый мим. Признаться, я несколько обалдел. Миму вроде бы и разговаривать-то не полагается. Да еще на серьезные темы. Впечатление я испытал такое, как будто заговорил обелиск.

Мим оказался разговорчивым и даже болтливым. Он начал так:

— Вы умный человек и должны меня понять… (Форма совершенно обезоруживающая, как подметил Игорь Ефимов. Кстати, тоже обругавший Соловьева.)

Задобрив абонента, мим начал ругаться. Затем, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

И тут я задумался. Раз уж мим заговорил, то, видимо, дело серьезное. Надо что-то делать. Как-то реагировать…

Так я превратился в коллекционера брани. Я записал все, что мне говорили о Соловьеве. Получилось шесть страниц убористого текста.

Подражая методичности литературных критиков Вайля и Гениса, я решил систематизировать записи (Генис на досуге вывел алгебраическую формулу чувства тревоги, охватывающей его перед закрытием ликерного магазина).

Я разбил все имеющиеся данные на группы. Несколько обобщил формулировки. Получилось девять типовых вариантов негодования.

Затем, чтобы статья была повеселее, я решил ввести дополнительное лицо. Нечто вроде карточного болвана. Причем лицо обобщенное, вымышленное. Чтобы было кому подавать реплики. Я решил назвать его условно — простой советский человек. Сокращенно — ПСЧ. Я не думаю, что это обидно. Все мы простые советские люди. И я простой советский человек. То и дело ловлю себя на атавистических проявлениях.

Так состоялся мой обобщенный диалог с ПСЧ. Нецензурные обороты вычеркнуты Борисом Меттером (воображаю презрительную усмешку Юза Алешковского).

Итак, ПСЧ:

— Зачем вы печатаете Соловьева?

— А почему бы и нет? Соловьев — квалифицированный литератор. Кандидат филологических наук. Автор бесчисленного количества статей и трех романов. Мне кажется, он талантлив…

— Талант — понятие относительное. Что значит «талантлив»?

— Попытаюсь сформулировать. Талант есть способность придавать мыслям, чувствам и образам яркую художественную форму.

— Но идеи Соловьева ложны!

— Допускаю. И отчасти разделяю ваше мнение. Возьмите перо, бумагу и опровергните его идеи. Проделайте это с блеском. Ведь идеи можно уничтожить только с помощью других идей. Действуйте. Сам я, увы, недостаточно компетентен, чтобы этим заняться…

— А знаете ли вы, что он критиковал Сахарова?! Что вы думаете о Сахарове?

— Я восхищаюсь этим человеком. Он создал невиданную модель гражданского поведения. Его мужество и душевная чистота безграничны.

— А вот Соловьев его критиковал!

— Насколько я знаю, он критиковал идеи Сахарова. Уверен, Сахаров не допускает мысли о том, что его идеи выше критики.

— Но ведь Сахаров за железным занавесом. А теперь еще и в ссылке.

— Слава богу, у него есть возможность реагировать на критику. Кроме того, на Западе друзья Сахарова — великолепные полемисты, благороднейшие люди. О Сахарове написаны прекрасные книги. Он, как никто другой, заслужил мировую славу…

— Значит, вы не разделяете мнения Соловьева?

— Повторяю, я недостаточно компетентен, чтобы об этом судить. Интуитивно я покорен рассуждениями Сахарова.

— Не разобрались, а печатаете…

— Читатели разберутся. С вашей помощью. Действуйте!

— А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей?! Есть у него такой «Роман с эпиграфами». Там, между прочим, и вы упомянуты. И в довольно гнусном свете… Как вам это нравится?

— По-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман еще не опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим.

— Вы считаете, его нужно печатать?

— Безусловно. Если роман талантливо написан. А если бездарно — ни в коем случае. Даже если он меня там ставит выше Шекспира…

— Соловьев говорит всякие резкости даже о покойном литературоведе Б. Знаете пословицу: «О мертвых — либо хорошее, либо ничего»?

— А как же быть с Иваном Грозным? С Бенкендорфом? С Дзержинским? Дзержинский мертв, а Роман Гуль целую книгу написал. Справедливую, злую и хорошую книгу.

— А знаете ли вы, что Соловьев работает в КГБ?

— Нет. Прекрасно, что вы мне об этом сообщили. У меня есть

телефоны ФБР. Позвоните им не откладывая. Представьте документы, которыми вы располагаете, и Соловьев будет завтра же арестован.

— Документов у меня нет. Но я слышал… Да он и сам писал…

— Соловьев писал о том, что его вызывали, допрашивали. Рассказал о своей неуверенности, о своих дипломатических ходах…

— Меня почему-то не вызывали…

— Вам повезло. А меня вызывали, и не раз. Честно скажу: я так и не плюнул в рожу офицеру КГБ. И даже кивал от страха. И что-то бормотал о своей лояльности. И не сопротивлялся, когда меня били…

— Хватит говорить о высоких материях. Достаточно того, что Соловьев — неприятный человек.

— Согласен. В нем есть очень неприятные черты. Он самоуверенный, дерзкий и тщеславный. Честно говоря, я не дружу с ним. Да и Соловьев ко мне абсолютно равнодушен. Мы почти не видимся, хоть и рядом живем. Но это — частная сфера. К литературе она отношения не имеет.

— Значит, будете его печатать?

— Да. Пока не отменили демократию и свободу мнений.

— Иногда так хочется все это отменить!

— Мне тоже. Особенно когда я читаю статьи Рафальского. Он называет журнал «Эхо» помойкой. Или даже сортиром, если я не ошибаюсь. А сочинения Вайля и Гениса — дерьмом.

— О вас Рафальский тоже писал?

— Было дело, писал. В таком же изящном духе. Что поделаешь?! Свобода мнений…

— А Рафальского вы бы напечатали?

— Безусловно. Принцип демократии важнее моих личных амбиций. А человек он талантливый…

— Вот бы отменить демократию! Хотя бы на время!

— За чем дело стало? Внесите соответствующую поправку. Конгресс ее рассмотрит и проголосует…

— Знаю я их! Вычеркнут мою поправку.

— Боюсь, что да.

— Однако вы меня не убедили.

— Я вас и не собирался убеждать. Мне бы сначала себя убедить. Я сам, знаете ли, не очень-то убежден… Советское воспитание…

— Значит, то, что вы мне говорили, относится и к вам.

— В первую очередь…

На этом разговор закончился. Выводов я постараюсь

избежать. Выводы должен сделать читатель. А теперь вернемся к злополучной детской игре, которая называется «Вор, судья, палач».

Я не люблю эту игру.

Я не хочу быть вором. Ибо сказано — «Не укради!».

Не хочу быть судьей. Ибо сказано — «Не судите, да не судимы будете!».

И в особенности не хочу быть палачом. Ибо сказано — «Не убий!».

Обречь писателя на молчание — это значит убить его.

А Довлатов еще никого не убивал.

Меня убивали, это было. А я — никого и никогда.

Пока.

«Новый американец»,
29 шюня — 4 шюля 1980 года

Раздел III. В защиту Довлатова: трупоеды

Вакханалия вокруг покойника

Сначала нужно уговориться о терминах, хоть слово «трупоед» и мелькало уже в этой книге. Совсем не то же самое, что некрофил, — нечто ему противоположное. Трупоед, наоборот, умершего ненавидит — скорее некрофоб, зато живет за счет покойника, паразитирует на нем. Однако назвать его паразитом потребовало бы пояснения, что это особый паразит — паразит кладбищенский. Если бы такой был один, то не следовало и разговор затевать. Имя им — легион. Здесь — токмо о литературных трупоедах и исключительно в наших палестинах.

Самый яркий пример последнего времени — довлатовские трупоеды. Вокруг бедного Сережи — настоящий посмертный шабаш. Речь не просто о тех, кто присосался к Довлатову и наживается на его славе себе в карман либо просто тщеславится своим с ним, пусть шапочным, знакомством, как герои упомянутого и пересказанного в нашей книге шаржа Миши Беломлинского «Довлатов и его окрестности». А то и вовсе тем, что его имя упомянуто Довлатовым. Такой вот анекдот, вполне невинный. Периодически к Лене Довлатовой подходит на улице человек, чтобы каждый раз задать один и тот же вопрос: «Скажите, почему Сергей назвал мое имя в своей книге?» И оглядывается по сторонам — слышат ли его? Его имя — Гурфинкель, а у Довлатова в его чудесном романе «Филиал» есть вымышленный маргинальный герой Гурфинкель — не только не родственник, но даже — шутка! — не однофамилец реальному Гурфинкелю.

Это-то как раз в натуре — вокруг такой культовой и даже китчевой фигуры, как Довлатов, неизбежно клубятся и тусуются вспоминальщики. Не о гурфинкелях разговор, паче мы сами в какой-то мере гурфинкели, хоть и знали Сережу с ленинградских времен, а здесь, в Нью-Йорке, тесно общались и дружили. Да и особенно не разживешься на российских скромных гонорарах, и эта книга пишется из альтруистических соображений — чтобы защитить доброе имя известного писателя и близкого человека от лжи, наветов и диффамации. Зародился особый антидовлатовский жанр — злобствующие, завидущие, реваншистские тексты о нем, да еще — зачастую — помноженные на склероз и маразм. Целая книжно-статейная индустрия, цель которой не просто добрать за счет покойника славы и соорудить себе пьедестал, благо Довлатов был гигантского роста. Нет, цель таких сочинений — поквитаться с Довлатовым, отомстить ему, взять у него посмертный реванш.

Начало этой злостной вакханалии вокруг покойника положил Игорь Ефимов, издав в 2001 году сильно под себя купированную переписку и выдав фальшак за документ, ибо сполovиненная правда есть целая ложь, да еще назвав ту книгу «Эпистолярный роман», хотя Сережа порвал с ним все отношения, поймав на жульничестве, и за версту не выносил. Дальше пошло-поехало. Неистовствующие ниспровергатели Довлатова — сплошь его земляки: ленинградцы. Спустя десятилетие антидовлатовская кампания достигла своего апогея в сатанинской книге его питерского знакомца Валеры Попова, который — ну не жуткий ли парадокс? — выпустил свой злобный пасквиль в серии «Жизнь замечательных людей».

Начнем, однако, с Ефимова — пальма первенства принадлежит ему.

В. С.

Владимир Соловьев
Крошка Цахес Игорь Ефимов. Опыт психоанализа

Конечно, надо сделать поправку на возраст, когда «мозга уже не та», как жаловался один мой знакомец, хотя он был тогда на восемь лет моложе Игоря Ефимова, а тому стукнуло уже 77, — дай бог долгих лет жизни, хотя куда дальше — он и так долгожитель. Наверное, в молодости, когда мы жили в Питере и тесно дружили, ничего подобного он написать бы не решился — не застыдят, так засмеют! Как говорится, «смех страшит и держит стыд в узде». Иные были времена. Увы, теперь все эти моральные препоны и табу отменены за ненадобностью. А в эмиграции, да еще в медвежьем углу, где наш герой ныне обитает, «вдали от шума городского» (например, нью-йоркского), можно и вовсе так одичать, что крыша поедет.

Однако списывать все на преклонный возраст либо меняющее кожу время было бы все-таки неверно. Возраст — дело наживное и, увы, неизбежное, и многие до самой смерти по естественным причинам доживают в здравом уме и твердой памяти, а касаемо времени, как сказал наш когда-то общий друг Саша Кушнер:

> Времена не выбирают,
> В них живут и умирают.

Пусть это и не совсем так. Время времени рознь, и как существуют разные временные пояса, так и в политическом и метафизическом смысле в разных местах действия — разные времена. В отличие от классической драмы, где место и время действия должны быть едины. Когда общество делится на малую колонну № 5 и большую палату № 6, это отбрасывает страну из настоящего в прошлое.

Речь пойдет о непомерно завышенной самооценке средней руки литератора вне культурного, литературного, философского, политического и экономического контекста, будто Игорь Ефимов живет на необитаемом острове, как Робинзон Крузо — еще до его встречи с Пятницей, а тот какой ни есть, а социум. Почему так много эпитетов? По той причине, что, как неудержимо пишущий человек с графоманским уклоном, этот автор подвизался в самых разных областях сочинительской деятельности: прозаические, политологические, философические, экономические и прочие

труды и даже афоризмы, не говоря уже об издательской деятельности в Америке. Хотя его «Эрмитаж» был известен как *self-publishing vanity press,* самиздат тщеславия, и выпускал проплаченные авторами книги, иногда по нескольку — кто побогаче — одного и того же литератора.

Все эти изданные на деньги авторов книжки и превращали «Эрмитаж» в самиздат тщеславия. Когда Довлатов вынужденно, под давлением Ефимова, сделал передачу про его издательство для радио «Свобода» и, не удержавшись (не первый раз!), перечислил авторов, которые издавали книжки на свои деньги, Ефимов «испустил вопль протеста» — его собственные слова. Вот его умоляюще-императивное письмо Довлатову:

«…Одно я прошу, прошу, прошу: исключить навсегда, даже если удобно вырезать из старой статьи-передачи и вставить в новую (?), любые упоминания о вэнити-пресс, об „издательстве тщеславия“… Самое ужасное: вы начинаете перечислять, кто издавался за свои деньги… Сережа, это не втык, а вопль-мольба на будущее: исключите эту тему из своих писаний и разговоров».

Довлатов делал попутно эти вынужденные, оброчные радиорецензии на книги «Эрмитажа», даже не утруждая себя их прочтением, — ради денег плюс находясь в некоторой зависимости от издателя как писатель: из дюжины его русских книг в Америке пара-тройка вышла в «Эрмитаже». Несмотря на все уговоры Ефимова и на возможность добавки к заработку, в котором остро нуждался, печатать их заодно в газетах Сережа наотрез отказывался — чтобы «не позориться», как он сам говорил. За другие свои скрипты стыдиться ему не приходилось, и он публиковал их в «Новом русском слове», как и мы с Леной Клепиковой — свои.

Что же касается ефимовского vanity press, то были и редкие исключения, когда ни автор не платил издательству, ни издательство — автору. Как, например, Довлатов, приносящий издателю доход, который тот утаивал от автора, а по словам Сережи, «сжуливал», что и послужило причиной, хоть и не единственной, окончательного и полного разрыва отношений с Ефимовым. Вот, кстати, одна из причин, почему Довлатову было важно перечислить проплаченные авторами книжки, чтобы с ними не спутали его собственные, которые Ефимов издавал ради выгоды. Был ли тот действительно «нечист на руку», как считал Довлатов, не мне судить, это потребовало бы дополнительного журналистского расследования, но то, что именно эта **темная история** (уже со слов Ефимова) стала для Довлатова последней

каплей, видно — и очевидно — не только из опубликованной контрабандно, несмотря на протесты правообладательницы, вдовы писателя, переписки «Довлатов — Ефимов», но также и из утаенных, неопубликованных писем самого Ефимова:

«Разрыв отношений, устроенный Сергеем… нанес серьезный ущерб моей репутации… У каждого должно зародиться в уме представление о том, что „тут должно было таиться что-то такое гнусное, о чем и говорить-то стесняются“… Будто чья-то невидимая рука убирает всякое упоминание моего имени в рассказах о Довлатове… Очень хорошо представляю, как какой-нибудь свежий читатель, начитавшийся Веллера и Виктора Топорова, может обронить: „Ефимов? А, это та гнида, с которой Довлатов порвал из-за какой-то темной истории*“».*

«Нельзя сказать, что это пятно на моей репутации стало бледнеть после смерти Сергея. Будто чья-то невидимая рука убирает всякое упоминание моего имени в рассказах о Довлатове. За девять лет не было ни одного случая, чтобы кто-то из бесчисленных журналистов, кинодокументалистов, литературоведов, занимавшихся им, позвонил мне и сказал: „Вот тут родственники Довлатова говорят, что вы были с ним в близкой дружбе двадцать лет, так не поделитесь ли с нами своими воспоминаниями?“ …Надо было бы стать выше всего этого, „взять нотой выше“. Но я „становился выше“ вот уже 14 лет. И наступила усталость».

«…Все это представляется мне настолько важным — для моей судьбы, для моей репутации…»

Помимо такого популярного, а потому доходного автора, как Довлатов, добытчивый, пусть и по эмигрантским стандартам, Игорь Ефимов также печатал халявно, то есть бесплатно, сочинения мало кому известного и недоходного автора Игоря Ефимова, выпустив подряд шесть своих книг. Пишу это вовсе не в укор ни издателю, ни писателю, пусть и одно лицо. В данном случае издательство «Эрмитаж» выступало под псевдонимом издательства «Тенафлай» (по названию городка в Нью-Джерси). Как сам Игорь Ефимов выступал под псевдонимом Андрей Московит. Надеюсь, читатель простит меня за это раскрытие псевдонимов. Ну как не порадеть родному человечку, а кто может быть этому человечку роднее, чем он сам? Особенно при таком гипертрофированном авторском честолюбии, как у Игоря Ефимова… Чуть было не написал «его эго», но вовремя уразумел,

что для уха — два разных слова, а на глаз — два почти одинаковых. Ладно, слегка переиначим: чье литературное эго на несколько порядков превышает его литературные возможности.

Не хочу быть голословным, а потому сошлюсь на сторонние мнения. Довлатов не без удовольствия — чтобы не сказать, со злорадством — цитировал отзыв Бродского об очередной книге Ефимова:

«Как он посмел перейти со второго абзаца на третий?!»

Я уже писал, что еще в Ленинграде Ося весьма пренебрежительно отзывался об Игоре: «Вы что, думаете, я не знаю ему цену?», хотя однажды удивил меня обоснованием: «Что вы хотите от человека, который выше всех ставит этого немчуру», имея в виду Томаса Манна, чей роман «Иосиф и его братья» был в это время модным чтивом в обеих русских столицах. Чтобы Сережа приписал собственную характеристику романа Ефимова мэтру — не думаю: не посмел бы. В «Записных книжках» Довлатов приводит слова Бродского, но дает незадачливому автору романа прозрачный псевдоним «Ефремов» — чтобы не подвести и не прогневить Бродского и одновременно чтобы самому Ефимову и общим знакомым было понятно, о ком речь. Так он мне сам объяснял. Секрет Полишинеля. Потому что никакого писателя Ефремова у нас здесь, в эмиграции, не было и нет. Зато писатель Ефимов есть, и, будучи человеком злопамятным и мстительным, он не простил этот отзыв ни Бродскому, ни Довлатову, а последнему внес в список обид, каковые тот ему нанес, еще одно «пятно на моей репутации», пользуясь его же словесами.

Довлатов пытался по дружбе — до того как она превратилась в смертельную вражду — заинтересовать книгами Ефимова своих переводчиков и редакторов, но безуспешно — от ворот поворот, а его литагент Эндрю Уайли, прочтя синопсис книги Ефимова, так раздражился, что категорически попросил Сережу никого впредь ему больше не рекомендовать.

Либо еще такая история, известная мне со слов других литераторов, включая Довлатова, которые злорадствовали (не без того) в связи с тем, что Ефимова не пригласили на конференцию «Русские писатели на Западе» в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, но опять-таки лучше, мне кажется, объективности ради, обратиться к пострадавшей стороне. Ефимов так и называет в своих нью-йоркских мемуарах главу про эту свою кровную обиду — «Обнесли пирогом».

Тогда Игорь Ефимов работал у Карла Проффера в его издательстве «Ардис-пресс», которое специализировалось на

русских книгах. Не токмо редактором, как он надеялся, а наборщиком, упаковщиком, грузчиком, курьером и мальчиком на побегушках. Тем не менее именно здесь он сам набрал и издал три свои книги. Первым сообщил Ефимову об этой писательской конференции Довлатов. А потом упоминал неоднократно письменно и устно.

«Карл — один из устроителей. Неужели он вам еще не сказал? — удивлялся Довлатов. — *Среди участников, я знаю, будет народ не только из Америки, но также из Европы, Израиля, Канады. Всем оплачивают дорогу и три дня пребывания там. Странно, что вам еще не сообщили».*

Довлатов, понятно, поддразнивал Ефимова писательской конференцией. Это было в его манере — Бог ему судья. Точно так же, спустя еще пару лет, Сережа язвил Ефимова нашим с Леной шестизначным авансом за книгу об Андропове. Что для Игоря было ножом по сердцу, потому что мы с Леной не первый раз перебегали ему дорогу: почти сразу по приезде нас взяли *scholars-in-residence* в Куинс-колледж (и одновременно *visiting scholars* в Колумбийский университет), я уже упоминал обе эти синекуры, хотя уж как только Игорь не обхаживал профессора Куинс-колледжа Генри Мортона еще в Ленинграде! А вскоре израильский журнал «22» анонсировал мой роман-эпизод «Не плачь обо мне…», и Ефимов послал в редакцию письмо, чтобы мой роман не печатали ни в коем разе, а взамен предложил свой! Я и об этом уже писал, а здесь напоминаю, дабы объяснить комплексы Игоря Ефимова, который из везунчика в России — но все ему было мало, тем более конкуренции с Андреем Битовым он не выдержал и наивно надеялся взять реванш за бугром — попал в Америке в тот еще замес и превратился в неудачника, пока этот трупоед-некрофил не присосался к мертвому Довлатову, чтобы восстановить свой авторитет в собственных глазах, а потом и в глазах тех, кто от него прямо зависел как от издателя.

Тут, правда, надо сделать сноску прямо в тексте. Таких «кровных обид» скопилось у Ефимова вагон и маленькая тележка — ему можно посочувствовать. Лена Довлатова так и называет американскую часть его воспоминаний — «Жалобная книга». Это название куда более адекватно ее содержанию, чем банальное до пошлятины «Связь времен». Справедливо, несправедливо, но Ефимов жалуется буквально на все в своей новой жизни — от американской Фемиды до американского *modus vivendi.* И прежде всего на свои профессиональные неудачи:

что его скрипты не подходят для радио «Свобода»;

что его с женой не взяли на «Голос Америки», да еще объявив, что результаты их тестов ниже требуемого уровня;

что его книга об убийстве американского президента Джона Кеннеди кубинским президентом Фиделем Кастро не только не произвела ожидаемой автором мировой сенсации, но ему пришлось самому издать ее русский оригинал в «Тенафлае-Эрмитаже», а для английского перевода он и вовсе не нашел по всей Америке ни одного не то чтобы приличного, а никакого издательства и вынужден был довольствоваться весьма сомнительной организацией кубинских эмигрантов во Флориде *(Cuban American National Foundation, Miami);*

что его роман «Архивы Страшного суда» так и не был взят Голливудом, как надеялся автор;

что еще одна его книга, «Без буржуев», о советской экономике, не открыла ему двери американских университетов, как он рассчитывал, а плоды его полуночных трудов «Практическая метафизика» и «Метаполитика» — два «новых слова в философии» — вообще никак не прозвучали, хотя одна из них была написана Ефимовым под Нобелевку, коли он так несказанно обрадовался ее изданию по-английски в *Philosophical Library,* потому что «в списке авторов (этого издательства) двадцать два нобелевских лауреата!»

Не стану касаться самих этих трудов (пытался прочесть только один и не одолел), но их автора, несмотря на преклонный возраст, можно назвать тем самым русским мальчиком, которому дай карту звездного неба, и он вернет вам ее исправленной.

Мания величия маленького человека.

Гигантомания Крошки Цахеса по прозванию Циннобер.

А в злополучной истории с неприглашением на писательскую конференцию окончательно добило Ефимова письмо из того самого южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который ее устраивал. Легко представить его нетерпение, когда он открывал конверт. Увы, вместо вожделенного приглашения на конференцию там оказалось письмо от сотрудницы кафедры славистики, которая обращалась к нему по совету Карла Проффера с просьбой порекомендовать талантливых писателей, которые еще не получили приглашения. Плюс ко всему вернувшийся с конференции Карл Проффер два часа кряду делился с Игорем Ефимовым своими впечатлениями. Обиженный Ефимов видит в этом лицедейство, не допуская себя до мысли, что его не взяли на конференцию по той простой причине, что никто в Америке всерьез не считал его писателем. Ведь на другие писательские конференции — включая международные в Вене и Лиссабоне — Ефимова тоже не брали, хотя русские писатели, в

том числе Довлатов, попадали на них по рекомендациям Бродского, но тот, как и Проффер, прохладно (мягко говоря) относился к художествам Ефимова, хоть и приятельствовал с ним. Платон мне друг, но истина дороже.

А тогда, после неприглашения его на писательскую конференцию в Лос-Анджелесе, не выдержав такого удара по самолюбию, Ефимов порывает с Карлом Проффером и организует свое собственное издательство «Эрмитаж». Впрочем, хитрован Ефимов тайно создавал свой «Эрмитаж», находясь еще под одной крышей с «Ардис-пресс».

Ну да, *самиздат тщеславия,* в том числе для самого себя, но им, однако, чрезмерное эго Игоря Ефимова не ограничивается. Чтобы воздвигнуть самому себе «рукотворный» памятник под стать этому непомерному, уязвленному и ненасытному эго и при такой писательской гигантомании, необходим сообразный пьедестал. В качестве оного внаглую был использован Довлатов, который подходил не только своим огромным ростом (1 м 96 см), но и своей изрядной славой. Единственный и последний шанс закрепиться в русской литературе. Хотя бы в качестве сноски к ее основному корпусу.

Хотя довлатоведение далеко не единственное поприще многостаночной деятельности этого литератора, но именно здесь он обрел наконец некоторую, пусть и скандальную, известность, правда, за счет Довлатова — таков был расчет этого человека с заурядной фамилией и усредненным талантом. Если он кому теперь и известен в узких и все больше сужающихся, что шагреневая кожа, литературных кругах, то исключительно как корреспондент Довлатова, хотя, понятно, читатель листает этот эпистолярий (не читать же его насквозь!), опуская деловые, меркантильные, сухие, скучные — в лучшем случае жалобные, кляузные, сквалыжные — цидули Ефимова, который уступает Довлатову в «письменном» мастерстве в той же мере, что и в прозаическом даре: никакого сравнения! Тем не менее находятся авторы — опять-таки из зависимых от Ефимова-издателя, — которые этот том называют «романом Ефимова». (Белла Езерская, которая выпустила в «Эрмитаже» на свои деньги две книги интервью.)

Помимо прочего, ввиду текстологических подделок, эту переписку следует считать псевдодокументом, то есть фальшаком, если называть вещи своими именами. Я уже говорил о том, как мы с Леной Довлатовой страница за страницей сравнивали изданную Ефимовым переписку с реальными письмами в Сережином архиве, аккуратно разложенными хронологически. Некоторые письма опущены вовсе, а другие

отцензурированы Ефимовым в «правильном направлении». Впрочем, он сам в этом признается, ссылаясь на то, что отсутствующие письма в архиве не сохранились. В ефимовском — может быть, хотя точно не знаю, зато в довлатовском они есть!

Что же касается ефимовской цензуры, то вот признание доморощенного цензора:

«Купюры же, безусловно, сделаны мною… и все они подчинены одной цели: не дать прорваться в книгу неправде про живых людей, порой и обидной правде, а иногда — прямой клевете, на которую Довлатов в художественном азарте был вполне способен. (Мне ли не знать, коли я сам стал жертвой этой его страсти?)»

К сожалению, это игра в порядочность и благородство. Потому как Ефимов весьма выборочно охраняет живых людей от обидной правды либо неправды. Включая самого себя. А «обиженных» после выхода этой переписки — несчитано. И не только в довлатовских письмах — пусть не брешет! — но и в ефимовских. Того же Гришу Поляка, издателя, архивиста, энтузиаста и бессребреника, каких поискать, самого близкого и самого преданного друга Лены, Сережи и Норы Сергеевны Довлатовых, мало того что обжуленного Ефимовым, так еще ошельмованного и оклеветанного им! А вот несколько опубликованных Ефимовым обидных довлатовских характеристик — наугад:

Вайль & Генис — бандиты и алкаши;
Соломон Волков — повредился в рассудке;
Александр Глезер — взбесившаяся мандавошка;
Эдуард Лимонов — жалкий, тихий и совершенно ничтожный;
Владимир Максимов — интриган и баба;
Андрей Седых — негодяй и крупный уголовный преступник;
Андрей Синявский — проклятый юдофил;
Людмила Штерн — опасна.

Выписываю не из самой книги, а из остроумной рецензии на нее Александра Гранта в «Новом русском слове». «Креста на вас нет, Игорь Маркович!» — не выдерживает этот классный русско-американский журналист и с удивлением вдруг замечает, что «блистательный и безжалостный юмор Довлатова как-то обошел стороной самого Ефимова», который, наоборот, в письмах, обращенных к нему, представлен сугубо положительно. И это — несмотря на полный разрыв с ним всех отношений. Понятным теперь становится казавшееся загадочным грозное предупреждение — скорее даже, заклятие — Игоря Ефимова не печатать выброшенные им места из писем Довлатова:

«Поэтому очень прошу: если даже Г. передаст вам фотокопии писем, с которых делался набор, ни в коем случае вычеркнутые мною куски не восстанавливать».

Вот какой страх и ужас испытывал — и, судя по его мемуарам, продолжает испытывать — Игорь Ефимов перед Сергеем Довлатовым! Мог бы, да нет, не стану умножать число «обиженных», восстанавливая опущенные Ефимовым имена.

Побоку моральную и юридическую сторону этого вопроса, хотя Лена Довлатова выиграла суд у издателя этих писем, а что лично меня смущает, так это именно цензурирование публикатором как собственных, так и Сережиных писем. Особенно довлатовских! Не кто дал ему право их публиковать, а кто дал ему право их цензурировать? Как у него рука поднялась корежить текст замечательного русского прозаика? Вот этот юридически ненаказуемый поступок кажется мне самым кощунственным, самым отвратным. К сожалению, это относится не только к Ефимову, но и к другим «редакторам» довлатовских текстов, независимо от их намерений. Не всегда благих, а часто во имя выпрямления судьбы писателя и облагораживания его образа, в чем, по глубокому моему убеждению, Сережа Довлатов не нуждается. Хотя и благими намерениями известно куда дорога вымощена. Точка.

Касаемо же самого факта юридически незаконной публикации писем Довлатова наперекор воле его наследников, то здесь как раз у меня нет определенного мнения. По-любому, никогда не вредно, а иногда просто позарез поставить вопрос: а как бы я поступил на его месте? Даже если речь идет о человеке, с которым мы давно разбежались, и отношение у меня к нему не то чтобы негативное — скорее безразличное. Я все еще про этого литератора-многостаночника (в смысле жанров), с которым мы одно время дружили в Питере, а здесь, в Америке, я его ни разу не видел и не интересовался его кипучей графоманской деятельностью, хотя изредка у него и попадались удачи — ну, как сломанные часы два раза в день показывают верное время. Зато мы близко здесь сошлись с Довлатовым, за что я благодарен судьбе, а в Питере только приятельствовали и встречались на проходах либо квартирниках, у того же Ефимова на днях рождения, куда приглашались без жен, чтобы выровнять гендерный баланс гостевого контингента. Я уже упоминал, как мы с Сережей скрашивали существование друг друга, сидя рядом в самом конце праздничного стола. С Ефимовым мы разошлись еще в России, а Довлатов разругался с ним в пух и прах уже здесь,

принимая близко к сердцу его, мягко говоря, неджентльменские поступки, касаться которых больше не буду: читатель может о них судить сам по выпущенной Ефимовым их переписке.

Так вот: как бы я поступил на месте Ефимова, имея у себя в архиве письма Довлатова? Если бы опубликовал, то, безусловно, без всяких купюр и пропусков — из уважения хотя бы к покойнику. Да и как писатель не посмел бы: купировать и цензурировать коллегу? Этого еще не хватало! Другой вопрос — стал бы я их публиковать, несмотря на протесты правообладателей?

Вот мой собственный опыт — недавний. Работая над этой книгой о Довлатове, мы с моим соавтором хорошо и тесно сотрудничали с Леной Довлатовой, которая нам очень-очень помогала. Одно столкновение, однако, случилось — как раз из-за писем Сережи. Не просто неопубликованных, а уничтоженных адресатом — Юнной Мориц. Сюжет детективный и сенсационный: хотите — верьте, хотите — нет, но мне удалось эти уничтоженные письма восстановить, считай, из пепла. Я к этой истории возвращаюсь и еще возвращусь — поневоле. Увы, рукописи горят, но эти — не сгорели! Письма изумительные! Я отобрал большие фрагменты и сбросил Лене Довлатовой по электронке. Она тут же ответила:

«Спасибо за письма. По-моему, замечательные. И кокетство очень мужское и тонкое одновременно. Простите, вы их будете приводить в своей книге?.. И они пока нигде не мелькнули. Очень-очень жаль».

Спустя сутки Лена вдруг, ни с того ни с сего, сделала *U-Turn* и стала возражать против публикации этих писем, как будто злой дух ей нашептывал возражения. В конце концов мы сошлись на том, что дам в книге несколько цитат. Но мне все равно было ужасно жаль, что не могу привести эти лично мной спасенные из небытия письма полностью из-за моих дружеских отношений с Леной Довлатовой. А так как эти редкостные письма были уничтожены, а копии наличествуют только у меня, то я решил посоветоваться с одним моралистом, человеком «самых строгих правил», и еще с одним адвокатом из нашего американского литагентства, большим докой именно по вопросам авторского права. И совместно мы нашли юридически и морально безупречный способ их опубликовать. В чем читатель этой книги сможет вскоре сам убедиться. Вот я и говорю честно, что не знаю, как бы поступил на месте Ефимова.

Меня сейчас интересует другое. Не юрисдистика и не этика, а

психология. Начиная с побудительных причин публикации писем Довлатова, которая была предпринята вовсе не из любви к его эпистолярному стилю, а тем более не из любви к самому Довлатову, которого Ефимов, судя по письмам, в конце концов возненавидел, а главным образом чтобы отметиться в качестве знакомого этого прославленного посмертно писателя и приобщиться к этой сияющей славе. Другими словами, взять реванш у покойника за все испытанные от него муки и унижения и пользуясь им как постаментом (благо Довлатов был таким огромным) для памятника самому себе — рукотворного и самодельного.

Так и случилось, как было рассчитано. Благодаря этому отцензурированному в свою пользу «эпистолярному роману» (хотя на самом деле — антироман) публикатор не только живет в отраженных лучах чужой славы и почует на чужих лаврах — он еще производит манипуляции и трюки, каким позавидовал бы Чичиков. У того «мертвых душ» были сотни, а у этого одна-единственная, зато какие он проделывает с ней фокусы-покусы. Судите сами.

Казалось бы, само собой, своей небывалой *post mortem* славе Довлатов обязан своим собственным книгам. Аксиома, не требующая доказательств, да? Не факт. «Ни про одну его книгу мне не довелось услышать „был потрясен“ „не спал всю ночь“, „ошеломлен яркостью переживаний“, „сердце болит“ — только про „Переписку“», — пишет Ефимов в своих американских воспоминаниях. Поди проверь, были такие отзывы на самом деле или сочинены мемуаристом. Я склонялся к последнему, потому что в другом месте Ефимов приумножает как число восторженных отзывов, так и хвалу книге — самой-самой у Довлатова:

«Это самое крупное произведение Довлатова и, по мнению многих читателей рукописи, самое искреннее и драматичное. Переписка покрывает годы 1978 — 1989-е и по сути представляет собой эпистолярно-автобиографический роман. Вот отзывы некоторых читателей: „ошеломительная книга“; „лучшее из написанного Довлатовым“; „не мог заснуть всю ночь“; „читаешь на одном дыхании“; „стилистически, художественно материя писем неотличима от лучших страниц довлатовской прозы… заставляет заново полюбить творчество Довлатова, расширяет представление о нем“».

Странно даже, что это однообразно-тенденциозное перечисление обрывается — таких отзывов можно настрогать бесчисленно. Точнее, насочинять на голубом глазу. Хотя есть и

реальные авторы — из зависимых от Ефимова-издателя. Например, Вика Беломлинская, чьи три книжки выпустил «Эрмитаж», отрицает Довлатова как писателя, а заодно и как мужчину: «Не был половым гигантом». А что, если это написала нимфоманка, ну, типа героини последнего фильма Ларса фон Триера? Как в том анекдоте: всех удовлетворяет, а ее не удовлетворяет, — да ее никто не удовлетворяет! Вика ставит в заслугу Довлатову единственное произведение: «Потрясающее — последнее — письмо Игорю Ефимову. Рядом с ним все остальное — в весе пера». Что же получается? Что Довлатов стал настоящим писателем только в этом письме Ефимову — и благодаря Ефимову, который выступает в новой для себя роли музы самого популярного в России прозаика? Господи!

То, что письма у Довлатова, в отличие от писем Ефимова, замечательные, спору нет. Вот с разрешения автора письмо о письмах Довлатова, которое я получил от Наташи Шапиро, главреда «Русского базара», и с которым по сути хотя не во всем согласен, но привожу в доказательство своей объективности:

«В отличие от вас, я очень благодарна Игорю Ефимову за публикацию переписки. Вам повезло, вы знали Довлатова лично, а мой — мой — Довлатов родился от чтения его писем.

Раньше я думала, что понятие „настольная книга“ — это лишь образное выражение. Переписка же в буквальном смысле стала моей настольной книгой — на много лет. Вы, его современники, даже не представляете, насколько живым он предстает в этих письмах. Ведь у него весит (как в компьютере байты и килобайты) каждое слово! Каждое!

Да, он многих задел и даже обидел в этих письмах, но если пропустить эти места, не обращать на них внимание (а кто не обижал и не обижался сам?), то именно в этих письмах Довлатов и есть настоящий, поверьте мне. Чего только стоит его рассказ о подготовке первого выпуска „Нового американца“! У меня дух захватывало, настолько реальную картину он рисовал несколькими строчками. А его работа с текстами рассказов? Все эти слова-замены… Эта деликатность и в то же время — настойчивость. И о себе: „У меня тут случился запой…“Это ли не гениально?»

Что мне не по душе, так это противопоставление довлатовских писем довлатовским книгам. Кто бы обратил внимание на эти письма, если бы не книги Довлатова! Убежден, что Довлатов в первую очередь прозаик и только потом эпистолярист, хотя художественную планку в своих письмах держит высоко — вровень с Чеховым и Флобером.

Вроде бы все расставлено по полочкам благодаря этому спасительному мифу. Получается, что обыдленная, обывательская, китчевая, плебейская, масскультурная проза Довлатова меркнет по сравнению с его шедевральным «эпистолярным романом с Игорем Ефимовым», который, к слову, наполовину (на глаз) принадлежит самому Ефимову, а значит, тот не просто муза, но и соавтор этого пикового, апогейного, кульминационного произведения современной русской литературы. Притом из двух автобиографических фигурантов этой переписки положительный, правильный и потому поучающий — Ефимов, а Довлатов — сплошь негатив и монстр, которому ничего не остается, как каяться во всех своих смертных грехах и мелких прегрешениях. Пусть ложь во спасение (ефимовское), но одновременно и ложь на длинных ногах, ибо довольно широко распространяется опять-таки зависимыми от Ефимова-издателя клевретами, а от них уже и сторонней публикой. Пока угодливый Валера Воскобойников с его сильно подмоченной репутацией не доводит хвалу Ефимова до полного абсурда:

«…У Сережи было одно не очень приятное качество: он обожал злословить и сплетничать. Это, кстати, уже в Штатах стало причиной его ссоры с глубоко порядочным человеком Игорем Ефимовым, который, будучи издателем, ввел Сергея в мировую литературу… Сережа мог несколько часов подряд рассказывать малоприятные вещи о своих ближайших друзьях (я представляю, что он говорил обо мне!)».

А чего тут представлять, общеизвестно: Довлатов говорил о Воскобойникове то же самое, что говорили все. О его тесных связях с гэбухой — см. мой исповедальный роман «Три еврея». Хвала от такого человека автоматически меняет знак с плюса на минус и превращается в хулу. В порядочности Ефимова у Довлатова были основания усомниться — именно из-за его непорядочности Сережа и порвал с ним. А что касается утверждения, что Ефимов ввел Довлатова в мировую литературу, то это и вовсе фигня и дичь. Ну, прежде всего нельзя никого ввести туда, куда сам не вхож. Не говоря уже о том, что, несмотря на Сережины регулярные публикации в таких престижных журналах, как «Нью-Йоркер», и переводы его книг на 36 языков, он не занял почетного места в мировой литературе, как Солженицын и Бродский, но таковое несомненно и по заслугам занимает в русской литературе.

Если читатель думает, что это последний финт, который

проделывает Ефимов с Довлатовым, то глубоко заблуждается. Как и культурологу Боре Парамонову, не дает ему покоя покойник. Но если у Парамонова есть другие страсти и таланты — от культурологической эссеистики до идеологического антисемитизма, то у Ефимова все остальные тараканы в его бедной головушке отступают на задний план перед тараканом-тараканищем Довлатовым. И чтобы избавиться от этой идефикс, чтобы излечиться от комплекса неполноценности, причиной которого является лютая зависть к покойнику, мало присосаться к нему, как упырь, мало присвоить его достоинства, как Крошка Цахес, необходимо еще задействовать Довлатова в ефимовском апофеозе, приписав ему собственные пороки.

Казалось бы, причина разрыва Довлатова с Ефимовым очевидна из этой их переписки из двух углов Америки, да и изустно Сережа вещал об этом *urbi et orbi,* поймав издателя Ефимова на мошенничестве с его книгами. Вовсе нет! Оказывается… Нет, лучше опять дать слово самому комплексанту:

«В свое время, ломая голову над тем, что могло заставить Довлатова порвать со мной, я совершенно исключил зависть из списка возможных мотивов. Его печатал журнал „Нью-Йоркер“ и платил солидные гонорары, книги выходили в престижных американских издательствах и переводились на иностранные языки — о какой зависти ко мне, безвестному, могла идти речь? Но был один момент, который я упускал из виду. Ведь его детище, газета „Новый американец“, и мое, издательство „Эрмитаж“, возникли в одном и том же, 1980 году. Однако газета продержалась всего полтора года, а „Эрмитаж“ готовился отпраздновать пятилетний юбилей».

Довлатов завидует Ефимову! Такого нарочно не придумаешь: нонсенс! Типичный перевертыш. Или в психоаналитической терминологии — трансфер. Перенос испытываемой Ефимовым к Довлатову острой зависти на объект этой зависти. Это не я ему завидую, а он — мне. Нет, это уже не хитрость, а болезнь, разбираться в которой мне недосуг.

Стоп! Недосуг? А как еще объяснить недуг Ефимова? Если бы только он один сломался на Довлатове! Через дюжину страниц или около того читатель найдет эссе моего соавтора (и по совместительству жены) Елены Клепиковой про довлатовского биографа Валеру Попова, лютого завистника своего героя. По тяжести психического заболевания этот лжебиограф сравним разве что с питерским пиитом Кушнером, а тот на всю жизнь

сражен «синдромом Бродского». Конечно, Нобелевская премия рыжему изгнаннику тяжело переживалась всем поэтическим цехом в России, но именно по Кушнеру, которого власть противопоставляла «городскому сумасшедшему», всемирная слава Бродского проехалась асфальтным катком. Аналогично — с парой Довлатов — Попов. У Ефимова иной случай, психоаналитически, может, более сложный, а потому заслуживает более, что ли, пристального внимания.

А тогда, помню, я с Сережей не согласился, когда он сказал, что Ефимов жуликоват не только с ним, и в качестве примера назвал покражу у Карла Проффера адресов клиентов «Ардис-пресс», магазинов русской книги и университетских библиотек, благодаря чему и смог проторить путь своему «Эрмитажу». Не то чтобы я оправдывал воришку, но защищал его: «Жить-то надо». Но потом, когда Игорь, обворовав своего благодетеля, стал клеветать на него, обвиняя Карла Проффера (как, впрочем, и других славистов, и не одних славистов) в связях с КГБ, это было уже слишком. Я перестал защищать нашего бывшего приятеля от Сережи, хотя этот сюжет мне порядком надоел и я старался перевести разговор на более интересные темы. Что меня, признаться, удивило, в своем американском мемуаре Ефимов повторяет эти гнусные инсинуации.

И наконец, чтобы окончательно расквитаться с Довлатовым, Ефимов пишет ему эпитафию, которая косит под афоризм, а потому обладает неким гипнозом на читателя поверх своего смысла:

«…что бы ни было написано в свидетельстве о его смерти, литературный диагноз должен быть таков: „Умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к себе“».

Сам императив слова **должен**, которое имеет целью впарить в мозг читателя этот постулат, лично меня отвращает, как давление, не подтвержденное к тому же ни авторитетом, ни талантом автора. Прием силовой, дворовый, шпанистый. Ладно, оставлю в стороне этот непристойный приказной тон, но и вся эта эпитафия не просто неверна (за исключением глагола **умер**), но противоположна истине как таковой и конкретно личности и характеру Довлатова.

Никакой **нелюбви** к себе у Довлатова не было — ни заслуженной, ни незаслуженной. И быть не могло. Наоборот, он многое в себе любил и лелеял, вплоть до самовлюбленности, которой Довлатова попрекает его первая жена, а вторая жена беззлобно вспоминает, что к зеркалу было не подойти, когда

Сережа готовился к выходу в свет. Так он сам рассказывал.

А почему нет? Почему любовь к себе — в укор? Любите себя, эта любовь никогда не кончается, так? Ссылка на апологета самовлюбленности необязательна. А разве не сказано «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? Как можно любить других, не любя себя? Довлатову было за что себя любить. Прежде всего за свой дар любви, пусть это и покажется кой-кому очередным парадоксом Владимира Соловьева. А этим даром любви он был одарен природой и воспитанием щедро, чтобы не сказать — сполна.

Он умел любить, как редко кто: мать, обеих жен, своих детей, друзей, собак и прежде всего литературу, которой был предан душой и телом и за которую отдал жизнь, когда поставил литературу превыше всего и положил на ее алтарь все остальное. Чего Довлатов никак не ожидал, когда пускался на дебют, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой.

«Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература».

Лично мне, при всей долготе отношений — Сережа в «Записных книжках» насчитал нашей дружбе тридцать лет, — он не только не сделал ничего дурного, но не сказал мне ни одного дурного слова. Даже свою критику того или другого моего текста выражал в обтекаемой, деликатной форме: «Есть мнение, что эта статья не самая удачная у вас…» Во всех его конфликтах — за исключением семейных, когда я сохранял нейтралитет и не лез куда не следует, — я всегда становился на его сторону. А мне он делал только хорошее, я у него в долгу как в шелку. Из долга перед ним я и пишу свою часть этой книги.

Я всегда удивлялся его уважительной, благодарной, беззаветной любви к матери, словно пуповина между ними так и не была перерезана.

— А как же конфликт отцов и детей? — подкалывал я Сережу.

— Только не у нас с мамой.

Когда внезапно умерла в Нью-Йорке моя мама, я был в Москве и не поспел на ее похороны. Сережа меня за это осудил, а когда я начал оправдываться, сказал немного высокопарно:

— Это вам надо говорить Богу, а не мне.

Мне это показалось вмешательством в мои сугубо личные — внецерковные — отношения с Богом, но я промолчал. Без того

было муторно.

Помню, как он возмущался Ефимовым, — задолго до разрыва с ним, прочтя в рукописи его автобиографическую повесть о ненависти к родной матери. Повести я не читал, но Игоря защищал, ссылаясь на Фрейда: комплекс Ореста, который куда хуже поступил с матерью, чем Ефимов.

Этот сюжет имел продолжение. Дело в том, что Анна Васильевна Ефимова, мать Игоря, была героической, жертвенной русской женщиной — ну да, из тех, что описаны Некрасовым: одна-одинешенька поставила сына на ноги после расстрела его отца, которого Игорь никогда не видел. Актриса в прошлом, она стала талантливой художницей с редким уклоном — творцом праздничных, сказочных, прикольных кукол. Я был в курсе, потому что Лена Клепикова подружилась с Анной Васильевной еще в Ленинграде и напечатала восторженную статью о ее кукольном мире в популярном московском журнале «Детская литература», с которым мы оба сотрудничали.

Здесь, в Америке, Анна Васильевна Ефимова сблизилась с Норой Сергеевной Довлатовой, чему способствовало безъязычие в чужой стране, кромешное одиночество в эмиграции и не в последнюю очередь напряг в отношениях Ефимовой с Ефимовым. Игоря раздражали телефонные марафоны его матери с матерью Довлатова, да и сама их дружба была ему не по душе. Худшим ругательством у Норы Сергеевны были слова «жопа» и «говно» и производные от них «говнище» и «жопища». Именно эти слова она употребляла, характеризуя Ефимова. Можно и так сказать, что она раскусила его много раньше Сережи. И Ефимов это знал, а потому боялся Норы Сергеевны.

Пересказываю со слов Сережи и Лены Довлатовых.

Нора Сергеевна умерла в ночь на 3 марта 1999 года, около нее сидела Катя, держа за руку. Мать пережила сына почти на 9 лет и завещала похоронить себя рядом с Сережей. Это завещание было выполнено своеобразным образом — я об этом уже писал. Через несколько дней Лена Довлатова получила письмо от Игоря Ефимова, датированное 7 марта 1999 года.

«…Сейчас нужно было бы произнести все положенные слова — „все-таки жаль человека“, „хорошо, что недолго мучилась“, „мир праху“. Но сразу вслед за ними я должен признаться в неожиданном открытии: вдруг понял, что мое нежелание посылать письма Сергею в Форест-Хиллс было связано на 90 % с нею. Представить себе, что этот мучительно важный кусок моей жизни попадет под ее предвзятый, недоброжелательный взгляд — вот что было для меня неодолимым препятствием…»

А вот что сообщает мне Лена Довлатова:

«Если нужен мой комментарий к этому куску, то вот он. Не могу сказать точно, когда это было, но Игорь отказал прислать мне копию книги, названной „Эпистолярный роман“ (так ее назвал вроде бы издатель), задолго до Нориной кончины. Отказал мне! Сказав (я до сих пор не могу понять, что имелось в виду): „Это значит, ты будешь решать, что можно публиковать, а что нельзя?“ На утвердительный мой ответ сказал, что он так не считает. А когда я сказала, что по закону имею на это право, ответил: „Э, закон — как аккордеон“. При чем тут была Нора?»

Ладно, оставим все это будущим историкам, если таковые найдутся и если потомкам будет до нас дело среди своих неотложных дел. Нерв задет — с меня довольно. А вертая назад и возвращаясь к пароксизмам Сережиной мизантропии — в том числе обращенной к самому себе, — с кем не бывает? Довлатов не исключение. Коли так и перманентная нелюбовь Довлатова к себе — враки и обманка, то вроде бы не стоит говорить и о ефимовских эпитетах — **безутешная** и **незаслуженная**, да?

Сто́ит. И вот почему.

Опять-таки тот же самый симптом — трансфер, перевертыш, перенос собственной нелюбви (и это мягко сказано) к Довлатову — самому Довлатову: от субъекта — на объект. Ефимову было за что ненавидеть Довлатова, и эта ненависть прошла через всю его эмигрантскую жизнь и не кончилась со смертью Сережи, а, наоборот, ввиду беспрецедентной посмертной славы Довлатова в разы усилилась, обострилась, как неизлечимая, с рецидивами, болезнь, из одержимости и мании превратилась в гипертоксическую паранойю. Без этого диагноза я вынужден был бы заподозрить в Ефимове морального уродца и монстра, а так есть спасительная возможность списать эту ненависть на клинику — на затяжное, хроническое, безнадежное заболевание.

А синдром Крошки Цахеса, которого Сережа называл Крошкой Тухес, — не того же клинического происхождения? Разновидность гипертоксической паранойи? И где-то там, на глубине, на уровне подсознания этот лютый довлатофоб должен чувствовать — не может не чувствовать — всю чудовищную несправедливость испепеляющей его страсти. Все, что могу ему по старой дружбе посоветовать, хотя, боюсь, поздно и не впрок — словами поэта:

Жить добрее, экономить злобу…

А пока что всё стало на свои места. В том числе два этих загадочных эпитета к слову-эвфемизму **нелюбовь**. При обратном трансфере этой **безутешной** и **незаслуженной ненависти** с объекта (Довлатов) на субъект (Ефимов), из которого она исходит — и только тогда, — получаем объяснение обоих этих слов. В них искреннее, хоть и неосознанное признание пациента с той самой кушетки: моя ненависть к Довлатову **безутешна,** то есть — по Далю — безотрадна, никем и ничем не утешаема, отчаянна, невознаградима и **не заслужена**, здесь и Даль без надобности. Нет, не заслужил Довлатов такой Сальериевой ненависти — разве что своим талантом.

Талант — как деньги. Есть так есть, нет так нет.

Шолом алейхем — Шолом-Алейхему!

Владимир Соловьев
Некролог себе заживо. Пародия на шестидесятника-неудачника

Один только шаг между мною и смертью.

1 Цар. 20, 3

О своей смерти я узнал случайно. Гугульнул как-то по русскому Инету — и на тебе: в Москве в моем возрасте скончался я. Далее некролог с ошибками. Опущенных книг больше, чем мне приписанных: в минус. Главные, впрочем, названы, но и неглавных жаль. Рассказов — ни одного, хотя как раз в этом жанре я достиг мастерства, но рассказ никогда не был в чести в стране толстовско-достоевско-солженицынских кирпичей. А почему не указаны переводы? На языки народов СССР, стран народной демократии и один даже на финский — соседи удружили, санк ю, мерси боку, данке шон. А третья премия Союза кинематографистов за сценарий по моей повести? А спектакль в Уфимском театре по моей пьесе, который потом сняли с репертуара все равно за что? А мои поездки на дни русской культуры в Вильнюс, Тбилиси и Ташкент? А перевод романа классика казахской литературы? Вот я и спрашиваю: не пора ли мне самому, предваряя события, загодя сочинить собственный некролог? Кто знает меня лучше меня? А то хватит кондрашка, и так никто не узнает, кем был на самом деле покойник и какие надежды подавал. Ах, я и так уже покойник, коли верить Интернету. А кому еще верить в наше время? Царство безграничных возможностей, гипотетизма и релятивизма — виртуальное переходит в инфернальное, как в моем частном случае. Хвала Интернету!

Я родился… Боже, как давно я родился и как долго отсвечиваю на этом свете, томясь по вечерам и коротая оставшиеся мне годы, месяцы, дни, лежа с книжкой в руках, хотя все любимые давно уже перечитаны, а новые читать неохота. Тянет ко сну то ли к смерти, я знаю? Буквы опротивели, Кирилл и Мефодий давно уже не умиляют, пусть я и сочинил кириллицей миллион слов. Не перейти ли на глаголицу, которую знаю вприглядь?

Судьба мне выпала удачно появиться в тот памятный год русской истории, означенный, с одной стороны, Великим

Террором, с другой — рождением целой плеяды русских поэтов и прозаиков, которых впоследствии окрестили шестидесятниками, как будто сама природа, как во время чумы, позаботилась восполнить поредевшие ряды талантливых человеческих особей в России. Сначала мы были тридцатилетними шестидесятниками, потом сорокалетними шестидесятниками, пятидесятилетними шестидесятниками, шестидесятилетними шестидесятниками — еще куда ни шло, в этой тавтологии была даже какая-то изящная игра, но потом семидесятилетние шестидесятники и, наконец, семидесятипятилетние шестидесятники — пошли юбилеи маразматиков, а про мои три четверти века напрочь позабыли, как будто меня и не было в этой их клятой литературе. Молодые, и те опережают: одному пролазе полтинник отмечали во всех газетах, а о моем юбилее никто и не вспомнил. К интервью был готов, но никто не спросил — не самому же брать у самого себя! Хоть бы один жалкий оммаж, черт побери! Позабыт, обойден, проворонен, выпал из обоймы чернильного племени, как птенец из гнезда, а начинал вместе со всеми, числился в списках обруганных официальной критикой и полузапрещенных — был шанс, да сплыл. Тогдашняя брань теперь идет в обратный счет: чем больше прежде ругали, тем ныне больше хвалят. Пострадавшие победители, а меня как будто и не было, хотя я был, был, был!

И только сейчас вот вспомнили, но не по случаю юбилея, как остальных, а в связи с мнимой смертью. Куцый некролог с ляпами и пропусками — как будто и не про меня. Дичь какая-то! В отличие от других семидесятипятилетних шестидесятников, если и был тусовщиком, то в меру, в подковерных играх не участвовал — вот слава и обошла меня, и я только почувствовал на мгновение ее дыхание. И коррумпированные премии — мимо. А ведь я начинал вровень с остальными и подавал надежды, может, больше других. Одно время мое имя было на слуху, вровень с тем же Битовым, например, но где теперь он — живой классик, председатель русского Пен-клуба, по-английски шпарит, по заграницам разъезжает, и где я, средний, маргинальный фигурант этой чертовой русской литературы, исписавшийся литератор, бывший шестидесятник, недоосуществившийся и злобствующий на свою судьбу неудачник, да к тому же от бутылки не оторвать? А мог стать им, а он — мной: пил он тогда больше меня. Но вот — не стали друг другом. Не судьба? Судьба подставила? Фатализм, мать твою! Я написал книг не меньше, чем он, а по жанрам — разнообразнее: проза, публицистика, философия и прочее, а славы в разы меньше! Считай, никакой. В молодости сочинил не то чтобы нетленку, но с дюжину нестыдных рассказов,

разруганную критиками по идейным причинам повесть, абсурдистскую пьесу и философский трактат под псевдонимом «Игорь Питерец», чтобы не просекли ненароком, что автор москвич, и не вычислили: написал и струхнул — по жизни всегда был трусоват. А что лезть на рожон? Вот я и говорю — шли с Иксом вровень. У него буквочки, и у меня — буквочки. Почему же он — это он, а я — это я? Где справедливость?

Или Довлатова взять, который за бугор подался, когда у него набор двух сразу книжек рассыпали. Младший, так сказать, современник, в его глазах я мэтром был, на задних лапках ходил, а там зарвался совсем: публикации в престижных американских изданиях, переводы на всех главных языках, а когда преждевременно помер, так и вовсе обнаглел и туда же, в классики, подался, и теперь я отраженно живу в лучах его славы, вот даже книжку о нем тиснул с нашими разговорами и эпистолами, с под****м само собой, чтобы поставить покойника на место, — так вдова на меня через океан в суд подала, а иные обзывают трупоедом и завистником. Ну да, обзавидовался, комплексую, кто спорит, когда жизнь не задалась и все в обгон пошли. Даже молодняк, а теперь вот и покойники.

При близком знакомстве я разочаровываю, но не в этом дело. Если заглянуть внутрь человека, то там, на месте души и прочих высоких материй — точнее, антиматерий, — сплошные бактерии, микробы, глисты и прочие паразиты. Что есть человек? — вопрошал один средневековый монах и сам же отвечал: мешок с костями и дерьмом. Чего у меня нет, так это харизмы, за счет которой добирали в молодости наши будущие живые классики. При равенстве художественных сил я заметно отставал, так как рылом не вышел, хотя ростом выше среднего и бородку завел, а то лицо голое, как колено, и подбородок безвольный какой-то. Женщины меня не любили, а именно они своими восторгами и безапелляционностью создавали писательскую славу. А я сыч, каким уродился. Или стал таким по вине обстоятельств. Урод, анахорет, интроверт, скрытник, нелюдим, мизантроп, мизогин, тусился поневоле — какой из меня тусовщик! По углам сидел, тугодум, не догонял языкастых, зато за письменным столом расходился. Тогда был самым молодым, а теперь самый старый, не оправдавший надежд, напиваюсь в хлам. Побежденный среди победителей, но, кто знает, может быть, сегодняшнее поражение — это завтрашний триумф? Годы, увы, не те. К тому же глохну — какие там тусовки? Оттусовался.

Конечно, есть выход: слуховой аппарат. Тем более он не очень заметен — под цвет человеческой кожи: у негров черный, но я не негр. Носить аппарат, чтобы слушать всю эту лажу? С

моей юности не изменилась: одно и то же. Даже анекдоты те же самые: не беда, что слышу начало и середину, а к концу рассказчик говорит тише, но я и так помню концовку. Слух слабеет, зато память крепка, как орех. А людей теперь делю на тех, кого более-менее слышу и кого нет: тихие, приглушенные, хриплые, застенчивые, пропитые голоса. Почему нет такой слуховой виагры: принял за полчаса до встречи, и ОК: всё слышишь.

Сама виагра не нужна, а если и будет нужна, то ведь не мне, а жене, пока что мы вровень по угасанию желания, а она еще добирает на стороне. Ночная эрекция мучит, а спим мы в разных комнатах, но идти к ней через коленчатый коридор — боюсь, не застану, а если дома — не донесу, зря разбужу. Так уже было пару раз. Но при чем здесь эрекция, когда я глохну и мой телик лучше слышит бедняга сосед подо мной, чем я в трех метрах от ящика. Глохну. Контакт с миром истончается, сходит на нет, но все равно слуховой аппарат ношу, только когда по врачам, которых одних только не стесняюсь.

А слушать в лесу птиц? Соловей выводит свои рулады или воробей чирикает — не для меня, только если прислушаться. Это не я глухой, это лес немой. Остались птицы, которые кричат или стучат для меня, и прислушиваться не надо: кар-кар, тук-тук. Ку-ку — зависимо оттого, на каком расстоянии, да я и так знаю, что между мною и смертью один шаг. Есть птицы, которых я слышу, но не знаю, что за птица. Я и прежде, наверно, не знал. А дома моя муза мурлычет — только если приложить ухо к ее родной кошачьей шкурке либо палец сунуть под подбородок. Интересно: когда умру, слух восстановится? Или тот свет безмолвен, как нынче лес?

А как Москва изменилась — так долго я живу, а будто в раз: неузнаваемо. Все теперь на колесах, один я безлошадный, как все мы тогда. По миру разъезжают, вечера, выставки, книги за рубежом, один я — как был, так и остался невыездной. Инглиш и тот на нуле. Не обида, а досада: представляю ту мою повесть «Один как перст», переведенную на дюжину языков, — какой допинг, я бы и дальше из кожи лез, а так живу последние четверть века в ступоре. Пью, когда есть на что. Побираюсь. Опустился. Слава меня обошла, а коллеги злорадствуют — что ждет меня посмертная. А сами при жизни жируют.

Может, виной, что родился не в столице? Так не я же один! Союз нерушимый республик свободных — вот мы и понаехали со всех его концов, взяв столицу приступом. Я — в том числе. Помечен с рождения: родился в Ивано-Франковске на 2-й Вагинальной улице, хотя, видит Бог, никто из нас не знал тогда,

что такое вагина, а улицы так названы в честь местного революционера Якова Вагинального — партийная кличка, наверное. А вы что подумали? Красивое, кстати, латинское слово «вагина», чистая поэзия — предпочитаю русскому «влагалищу». Вот я и сочинил ту автобиографическую пьесу, которая по недосмотру цензуры была поставлена в Уфе. Так и называлась: «2-я Вагинальная, дом 24». За десятилетия до «Монологов вагины», которые обошли театры всего мира. Моя — лучше, к тому же была запрещена, когда до властей дошло что к чему, но начисто теперь забыта. Кому нужна моя «2-я Вагинальная», когда есть «Монологи вагины»? Дешевка! Тем более есть у Моравиа роман «Я и Он», пусть и про мужские, не женские органы. Как в том анекдоте, где мальчик в ванной рассматривает свои гениталии и спрашивает:

— Мама, это мои мозги?

— Пока еще нет, сынок.

Литинститут, первые публикации, женитьба по любви (моей), повесть «Один как перст» в «Новом мире», надежды вьюношей питают. Критика поливала нас за отступление от классических канонов, за влияние Запада и проч., а меня лично еще за эгоцентризм и подражание внутренним монологам Джойса, которого я тогда еще не читал ни строчки и даже имени не слышал. Нас не просто обругивали, но и печатать перестали, многие (я в том числе) передали свои рукописи за границу, вышел коллективный, с бору по сосенке, альманах в американском университетском издательстве, и там два моих рассказа. Нас тягали в КГБ, но распекали по-отечески, кое-кто (диссиденты со стажем) называл наш сборник провокацией гэбухи. Не успели по нам за него как следует вдарить, как наступила перестройка, прежнее негативное паблисити стали ставить в заслугу. Многие этим попользовались: переводы на языки, приглашения в иностранные университеты, а я не успел. Раскрыл свой псевдоним философского трактата, но он никого не заинтересовал — ни там, ни здесь. Там — это вчерашний день, а здесь такое стали печатать, что мои джойсовские внутренние монологи попахивали нафталином, а моя доморощенная философия — и вовсе не ко двору. Когорта шестидесятников тем временем была объявления предтечей гласности и перестройки, но вот беда: я в этой когорте уже не значился. Сочинил новую пьесу — никто не взял, написал пару рассказов — отовсюду отказ, издал на свои деньги избранное, а потом сам же скупал невостребованные экземпляры, чтобы дарить друзьям. Да только друзей не осталось. Друзья выбились в люди, какое им теперь дело до меня? Что им делать с подаренной книжкой? Вряд ли

когда раскроют, а скорее выбросят. Вот и стоят у меня коробки, захламляя и без того крошечную квартиру на Усиевича (после размена с тещей).

Отец-мать-жена — опускаю. Детей Бог не дал, но и без них тошно и хлопотно. Список публикаций и рукописей прилагаю. Итог моей писательской жизни: не состоялся. Жизнь не стала судьбой. А таланта Бог дал не меньше, чем другим. Не подфартило.

Мелькнул, было, луч надежды, когда пару лет тому телевизионщики вспомнили повесть «Один как перст» и заказали сценарий. Приличный аванс отвалили. Завязал с зеленым змием и с головой окунулся в работу. Не поверите: плакал над собственным текстом, как будто не я, а кто другой писал. Кто меня тогда подвигнул на эту печальную повесть о крутом меланхолике на грани самоубийства? Сам-то я как раз был тогда счастлив — по личным и литературным обстоятельствам. Как будто предчувствовал, что жена запрезирает и начнет шалавиться, да она и пошла не за меня, а за членский билет Союза писателей, вот и живем теперь открытым браком, а слава, едва задев своим крылом, улетит. Сопьюсь — чертики начнут являться гурьбой, и так прочно буду позабыт, что некролог напечатают при жизни: есть я, нет меня — без разницы.

Как и следовало ожидать, с телепостановкой сорвалось. Еще один упущенный шанс. Пошла мода на литературно-исторические реконструкции: «Доктор Живаго», «Колымские рассказы», «В круге первом». Снова меня обошли, но не свои, а предшественники и мертвецы. Оказался опять за бортом, ничего мне больше в этой жизни не светит. Жить неохота и умирать не хочется.

Вот что я думаю. Человек всю жизнь работает на свой некролог, а так ли уж он важен? Даже если там не черная дыра, а нечто нам неведомое, то и тем неведомо, что осталось здесь? Читают ли покойники свои некрологи? Какое им дело до их посмертной славы? Мне — никакого. Какого черта тогда пишу этот некролог? Кому он нужен, когда мне самому не позарез?

Хоть и набил руку на рассказах, но вот этот не вытанцовывается: повторяюсь с прежними. Можно бы так и оставить в жанре неоконченного рассказа, с отточиями, sapienti sat, а у меня рассказы есть стоящие, не на дураков рассчитаны, пусть будет — некролог себе заживо. Или подождать восьмидесятилетия? Восьмидесятилетний шестидесятник? Шестидесятники-октогенарии? Жалкий оксюморон. Да и кто выживет и доживет? Да и зачем? Или лучше шестидесятники-октогении? Ха-ха! Вот кого среди нас не было, так это гениев. Гений пришел потом и всячески открещивался от нас,

шестидесятников, принадлежа в самом деле к другому поколению — по рождению, по дебюту, даже по преждевременной смерти. А за ним уже не дуло: торичеллиева пустота. Ну да: Бродский. Хорошо хоть, я не пиит, а то вся поэтическая братия ударилась в трагедию, когда ему с Нобелькой подфартило, а не им.

До восьмидесятилетия не доживу — не выживу. Да и зачем? И так живу заемные годы — слямзил у Бога. А умру от цирроза печени, как и положено таким отпетым алкашам, как я.

Есть, правда, один выход, но самоубийством надо кончать в молодости.

Елена Клепикова
Валерий Попов: Жизнь не удалась. Из-за Довлатова

…Когда в России стали огромными тиражами издаваться его книги, у нас был шок… Он заменил собою всех нас.

Валерий Попов о Сергее Довлатове

Пусть Пушкин и оклеветал Сальери, обвинив литературного персонажа под этим именем в отравлении Моцарта, которое реальный Сальери, сам талантливый композитор и друг гения, не совершал, но его имя стало нарицательным, как обозначение черной зависти, а та толкает человека на самый смертный из смертных грехов: убийство живого человека. А можно ли из зависти убить мертвого человека? До недавнего времени это никому не удавалось, а потому предпринятую попытку убить овеянного всероссийской славой Сергея Довлатова спустя два десятилетия после его смерти следует счесть беспрецедентной.

Впрочем, все в этой истории из ряда вон.

Начать с того, что это попытка не первая. Покойник — мишень, каких поискать. Один здешний, как его метко назвал Бродский, радиофилософ — ну да, широко известный в узких кругах — так прямо и говорит: «Не дает мне покоя покойник» — и зачисляет Довлатова по разряду масскультуры.

Другой маргинальный литератор-юзер меркантильно утилизует вражду с Довлатовым себе в карман, публикуя свою переписку с ним.

Дилетанствующая и самоупоенная литературная дама тщеславится «нетривиальными отношениями» с Довлатовым, хотя что может быть тривиальнее секса, тем более сам Довлатов не придавал большого значения постельным отношениям «без божества, без вдохновенья»?

Куда дальше, если даже его первая жена выпускает разоблачительную о своем бывшем муже книжку, где перечеркивает его литературный дар, сводя его к эстрадному трепу, к тому же из вторых рук, а потому плагиат!

Самовосхваление за счет критики, а то и вовсе отрицания

Довлатова. Однако всех перещеголял и побил все рекорды — немедля в Книгу Гиннесса! — престижный и влиятельный у себя в Питере, из «литературных генералов», президент Санкт-Петербургского отделения русского ПЕН-клуба, лауреат местных премий, включая премию Довлатова, а теперь еще глава ее жюри Валерий Попов.

Наступление на Довлатова он начал вскоре после его смерти, поначалу в иронической форме. Когда его спрашивали, знал ли он, с каким великим писателем был знаком в Питере, отделывался шуткой, хотя зависть уже ела его поедом:

— Нет, это он после смерти так обнаглел.

Хорошая мина при плохой игре?

Потом, однако, эта маска была сброшена, Валерий Попов окончательно оборзел и повел планомерную атаку на литературного соперника с открытым забралом.

В 2010 году в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» появилась книга Валерия Попова «Довлатов». Раскрывая ее, читатель вправе ожидать, что получит тщательно документированную, объективную, пусть и с личными перекосами, критикой или оригинальной интерпретацией, но все же биографию, или, по-старинному, жизнеописание героя — писателя Сергея Довлатова.

Исчезнувший Довлатов

Читателя ждет сюрприз за сюрпризом. Книга беспрецедентна во всех отношениях — ни на обложке, ни внутри нет ни единого портрета Довлатова, но и в самой книжке, на всех ее 350 малоформатных страничках, нет ее героя — нет Довлатова.

Есть вымышленный завистью, злобой, ненавистью монструозный образ, который не имеет никакого отношения к Сереже, Сергею, Сергею Донатовичу Довлатову.

Да, реальный, документированный герой странным образом в этом скорее все-таки пасквиле, чем памфлете, отсутствует — вот почему, впервые за всю 120-летнюю историю серии ЖЗЛ, издательство пошло на то, чтобы выпустить книгу без портрета героя на обложке. А не только потому, что наследники писателя, ознакомившись с этой лжебиографией, отказались сотрудничать с издательством. Слишком велик был бы контраст между фотографическим образом и образом словесным.

Отчего случился, опять же впервые в этой издательской серии, такой уродливый, абсурдный перекос, когда биографом был назначен соперник и завистник главного героя? Мало того — еще больший абсурд! — каждой страницей своей ложной,

поддельной мемуаристики (биографии Довлатова как таковой нет и в помине) автор нацелен на уничтожение своего героя — а точнее, антигероя — как личности, так и писателя.

Дабы не быть голословной, приведу для начала только одну — из сквозных, типичных — цитату из Попова. Вот он пишет о Довлатове в Нью-Йорке в его последние добычливые годы, когда изданы все книги по-русски и уже выходят по-английски, а самый престижный литературный журнал в Америке — «Нью-Йоркер» — печатает один за другим его рассказы, и вот-вот засияет на родине Сережина небывалая, феерическая слава. И вот на этого Довлатова обрушивает его самозваный биограф яростные проклятия и остервенелую злобу:

«Мир Довлатова рушится! Мало ему сомнений в своих рассказах — выходит, что и как человек он — дерьмо? Причем все свои подлости он, оказывается, ловко маскирует, успешно использует! Этот „итог“ карьеры ему трудно принять спокойно. Утонули все „киты“, на которых прежде стояла его жизнь, — и оказывается, что и ему самому впору топиться! Полный моральный крах! Он был циничен достаточно, чтобы ловко делать дела…»

Спешу успокоить читателя — ничего ужасного Довлатов не совершил и не совершал, и здесь — как и по всей своей мнимобиографической книге — автор выдает горячо им желаемое за действительное. Как здесь у нас говорят, *wishful thinking*.

Замечу, что последнее предложение в этой ругачей анафеме относится к писательству Довлатова, который был «циник, виртуоз, злостный мистификатор», ловко выдающий хитроумное словесное трюкачество за талантливую прозу.

В отличие от завидущего Попова, Довлатов относился к своему будущему биографу — о чем, понятно, и подозревать не мог — дружески, как к коллеге, и с некоторым даже пиететом, о чем можно судить по его эпистолярным и устным отзывам. Сама свидетель, точнее, слушатель.

Вражда Попова пристрастна, и ведет он ее не с живым оппонентом, а с покойником, и даже не с ним, а с его посмертной великой славой.

Можно, конечно, и очень хочется махнуть рукой на эти злобные измышления и обложную клевету Попова, но это будет недобросовестно и нечестно по отношению к памяти, репутации и чести писателя Сергея Довлатова. Не забудем, что этот стопроцентный фальшак вышел в популярнейшей серии. И здесь есть опасность, что непредубежденный читатель, поклонник или

фанат Довлатова, жадно поглощающий все, что только можно разузнать о любимом писателе, примет на веру вымышленный и злоумышленный образ анти-Довлатова, сочиненный авторитетным автором.

Поэтому я хочу разглядеть эту книжку в упор.

Что случилось с Поповым?

Но сначала — и это важно — следует выяснить, что такое кошмарное сотворил покойный Довлатов с Поповым, что тот, через двадцать лет после смерти противника (именно так Попов его воспринимает), задыхаясь от ненависти, злобы и муки, пишет свой реваншистский, свой мстительный мемуар?

Как Валера Попов до такой жизни дошел? (Буду впредь звать его так, как все в Питере: Валерой.)

Гляньте еще раз на эпиграф к этому эссе и добавьте сюда дико враждебные, разносные отзывы о Довлатове, типа: «За ним довольно быстро утвердилась роль неудачника, увальня. Казалось, что он бежит в конце двадцатки».

Представьте постперестроечный Петербург, когда массовый интерес к литературе иссяк, престиж писательства слинял и тиражи издаваемых книг пали ниже некуда. И вдруг на всех книжных лотках завелась первая книга Довлатова в России — «Заповедник». С какой завистью писатель Валерий Попов, с его — нелегко и честно — заработанной славой «первого питерского прозаика», смотрит на мгновенно исчезающие с лотков экземпляры!

Но близкой беды, настоящей «катастрофы» еще не чует: «… той огромной довлатовской славы, что вскоре обрушилась на нас, я все еще не предвидел».

И вот — случилось: «Он заменил собою всех нас».

Можно посочувствовать Попову — удар был сокрушительный. По самолюбию, по репутации, по престижу, по его писательству, по всей его жизни, которая, оказывается, не удалась («Жизнь удалась» — победное название давней книжки Попова). То есть так: удавшаяся жизнь — имею в виду литературную жизнь — пошла под откос, судьба дала подножку, из гроба встал соперник и перекрыл ему все кислородные пути.

Чем дальше тем больнее уязвляется и страдает Попов. Надеялся, что огромная, как грозовая туча, слава Довлатова ограничится Питером (назвал его в интервью «лучшим питерским прозаиком»), оказалось — всенародная.

Вдруг «никчемный фельетонишка» лихо взлетает в «гении», а вот уже и в классики заделался — и каково было Валере Попову

получить в 1993 году, через какие-то всего три года после смерти заклятого врага, эту самую **премию имени Сергея Довлатова**!

Вот крыша у него и поехала.

Даже в родном Питере заметили, что Попов «свихнулся на Довлатове». Он все больше ругался в печати в адрес Довлатова — только что не плевался! Покойник был ему соперник и победитель, точнее — триумфатор. Зависть, обида (на судьбу), горечь нарастали, перерождались в тяжелую мучительную ненависть. Вот до нас дошла свежая питерская байка в связи с открытием музея Довлатова в Пушкинских Горах. Успеваю вставить в книгу в самый последний момент.

Прекрасные пушкинские, а теперь и довлатовские места!

Замечательный музей Довлатова.

Заходим мы с Поповым в лачужку Довлатова — прогнившие полы, низкий потолок.

— Должно быть, Довлатов входил сюда согнувшись, — говорю я Попову. — Он ведь был высокого роста, и потолок для него очень низкий.

И тут Попов встает на цыпочки и пытается достать потолок головой.

— И мне тоже, — заулыбался он, — и мне тоже он низок!

Увы, головой он все равно не касался потолка — светилась маленькая зазорина. Тогда Попов нашел на потолке выступающую балку и уперся в нее лбом.

— Вот! — торжественно произнес он.

Даже в такой мелочи, как рост, Валерий Георгиевич не хочет уступать Сергею Донатовичу.

Шутки шутками, но не мог никак Попов признать свое поражение от Довлатова! Необходимо было поквитаться с противником, взять реванш.

Вынести покойнику смертный приговор! Убить пересмешника!

И случай представился — так появилась в ЖЗЛ эта феноменальная книжка: «Довлатов» без Довлатова. Попов таки взял реванш, отомстил, но весь вопрос — кому?

Анти-Довлатов

Первая странность (скорее жанровая аномалия) — автор сочинил не биографию Довлатова, как следовало ожидать, а парные биографии — свою и своего смертельного врага. Быть может, он подражал Плутарху с его «сравнительными

жизнеописаниями» выдающихся исторических лиц, сгруппированных попарно, но, в отличие от сочинения Попова, по принципу сходства.

У нашего автора парные биографии съединены по принципу различия, супротивны друг другу, между ними — противоборство.

Это нонсенс, конечно, но факт — в книжке действуют два протагониста, и если по-честному, то на обложке должны были красоваться два портрета — Попова и Довлатова. Именно в такой очередности, потому что Валера в этой книжке главный, а Сережа — с боку припека, на обочине, изгой, каким и был в жизни. И если уж довести этот жанровый сюр до конца, портрет одного Попова более уместен в книжке, где авторская биография затмевает во всех отношениях довлатовскую — и по объему, и по заданию. Примерами из своей жизни, которая удалась, Попов поучает, назидает, бранит, обвиняет, подавляет, проклинает и в конце концов уничтожает неудачника и злодея Довлатова.

К сожалению, Попов считает возможным заполнять фактами собственной биографии лакуны в био своего героя — недостающие либо, с авторской точки зрения, ненужные звенья в жизни и судьбе Довлатова.

Впрочем, о каком у Попова Довлатове речь?

Его Довлатов — продукт авторских измышлений и зломышлений, та пресловутая боксерская груша, по которой автор лупит до полного изнеможения. Довлатов в этой книге о нем и шагу не смеет ступить без авторского соизволения и комментария. В лучшем, хоть как-то человечески вразумительном случае это будет анти-Довлатов, а то и вовсе подпоручик Киже, лицо в натуре отсутствующее.

Жизнь героя, начиная с детства, да что там — с рождения, если не зачатия (оба родителя, как-никак, причастны к культуре), обозревает хищно, мстительно, с маниакальной подозрительностью человек, потрясенный до глубины души посмертным триумфом своего героя. Прошлое, взятое под углом неминуемого будущего, неизбежно мистифицируется, теряет достоверность, верный тон жизни становится фальшаком.

Довлатов у Попова с младенчества одержим безумной идеей «делания себя», создания своей легенды, своего фантазийного неотвязного образа. На полном серьезе автор толкует забавную довлатовскую байку о встрече в Уфе младенца Сережи в коляске с писателем Андреем Платоновым как первую попытку олегендарить себя. «Да, рано начал наш герой!»

Приятно, что дальше, углубляясь в детство и школьные годы героя, Попов меняет (первый раз за всю книгу) саркастический

тон на благодушный и даже сентиментальный, пока не замечаешь, что это он умиляется собственным воспоминаниям, которые навязывает своему человечески невразумительному герою. Его не смущает очевидная нестыковка фактов, разница в три года не может не сказаться, и вот малыш Сережа, которого мама водила за ручку, прыгает, как школьник Валера, через пропасти с крыши на крышу!

Не в том, однако, дело.

Никогда не встречала таких судьбоносных, ощеренных будущим писательством воспоминаний детства. Символично всё. Детские обиды и горести: «Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти „шишки“, будущие сюжеты». Помеченный судьбой мальчишка и шагу не может ступить не литературно: «Вспоминаю, как в поисках зрителей (то бишь читателей) я однажды вышел в школьный двор…» Послевоенное ленинградское детство: «Лучший трамплин для творческого взлета трудно изобрести». Какие-то неестественные, с фальшивинкой, будто взнузданные мемории, да еще детские… Но Попову, униженному в своем писательстве триумфом Довлатова, важно самоутвердиться сызмала.

Мирное сосуществование двух этих био резко обрывается — и больше не возобновится. Срабатывает и запускается на всю книжку установка Попова на анти-Довлатова. Вот типичный пример разоблачения феноменальной расчетливости героя, его провидческой, с детства, подготовки к своему блистательному, пусть и посмертному, будущему.

Школьнику Сереже десять лет. Он приносит в класс фотографии знаменитого Раджа Капура с усиками, из «самого популярного тогда индийского фильма „Бродяга“ — популярней тогда не было ничего!» Оказалось — это не Радж, а загримированный Сережа. Казалось бы, невинный прикол. Тем более, как я тоже вспоминаю этого вездесущего в те годы Раджа Капура, сходство с Сережей было. И Сережа это тонко обыграл — шутки ради, для забавы. Но гремит приговор Попова: «Он уже жаждал сверхпопулярности!.. Фотографии те — первые из известных нам мистификаций, из которых были потом созданы как жизнь Довлатова, так и его литература».

Новое обвинение: «В школе он пытался делать и литературный журнал — первый опыт будущих головокружительных проектов». Ничему не верит маниакально подозрительный автор. И доводит до конца свою бредовую версию малолетнего Довлатова, свихнутого на самопиаре: «В школе довлатовская легенда не сложилась, да и не могла сложиться. Ему нужен был другой „полигон“… он словно ждал —

другого времени, другого, более заметного, места». Дошло? До меня не сразу, хотя и в курсе «довлатовской болезни» Попова. Вымышленный им Сережа, школьник-истукан, на котором автор оттачивает свою неуемную злобу, прозревает — минуя бесплодную молодость и зрелость — другое время и другой «полигон» для своего запоздалого писательского дебюта: 80-годы в Нью-Йорке. Неслабо для советского школьника в герметически замкнутой, за «железным занавесом» стране.

Настолько автор не хочет (или не может) разглядеть реального, хорошо документированного Сережу Довлатова, что дает ему в одном абзаце взаимоисключающие характеристики. С одной стороны, «советская школа вряд ли могла оценить его выпирающую из всех рамок личность». С другой, это робкий, «закомплексованный толстяк».

О достоверности персонажей «из жизни Довлатова» Попов явно не заботится. Даже Сережина мать, бесподобная Нора Сергеевна, «реконструируется» автором — чистый абсурд! — по типу «матери лучшего друга Попова» и впихивается в оголтелый типаж, ничего общего не имеющий с реальной, ярко и резко индивидуальной Норой Сергеевной.

Что же делает Попов с незнакомым ему персонажем? Как повсеместно в этой книжке, автор «сочиняет за Довлатова». Устраивает фиктивную реальность. Поддельный документализм. Самый частый прием узнавания фантомного героя — внезапная встреча с ним, обычно на углу улиц, близких к его местожительству. Главное — автор свидетельствует. Фальшь нестерпимая.

Но как утомительно часто Попов подстраивает Довлатову такие уличные безмолвные встречи с собой, свидетелем, но без свидетелей! Вот одна такая виртуальная встреча: «…наверно, в один из приездов Довлатова в город из армии я и встретил его на Литейном. Мы не были с ним еще знакомы… В тот раз мы переглянулись с Довлатовым — и разбежались. И он — ладный, в шинели с бляхой — весело побежал через Литейный».

И далее — одна за другой внезапные эти встречи-невстречи с «Серегой» на Невском, на Суворовском, на Литейном, а то и просто взгляд на него издалека или вблизи, зато — авторская уловка — с точным указанием места: вспышка реальности, манок правдоподобия в фиктивной, сочиненной и откомментированной автором «жизни» героя.

Кто же он?

Вперед, к Довлатову-студенту. Я тяну с этим его «байопиком»,

потому что только до писательства автор позволяет своему герою хоть как-то, пусть и превратно, с неизменным негативом, но личностно проявиться. Довлатов-писатель в книжке Попова — неодушевленный предмет, объект авторского презрения, негодования и мести. Поэтому не будем спешить.

Ничего, ну решительно ничего привлекательного и любопытного не находит автор в юном Довлатове. Наоборот. С самого начала — и это сквозной, по всем главкам, прием — автор подсыпает в характеристику героя «горстку негативчика».

«Сам Довлатов, с присущей ему желчностью, свое появление в университете откомментировал…» Да нет, хочу встрять, не был 18-летний остроумец, весельчак и насмешник желчным — да и никогда в жизни не был. Это Попов ему с ходу придумал. Или такой, ни с того ни с сего, разнос: «…все неприятные качества Довлатова — жестокость, конфликтность, коварство…» И наблюдательность-то у Довлатова, восхищавшая друзей, «издевательская», и склонности все хищные, своекорыстные, а истории, в которые он вляпывался, все «возмутительные», что объяснимо, конечно, «его темпераментом, амбициями и комплексами».

Ну да, снова анти-Довлатов на фоне его несуразной, «рыхлой и корявой жизни». Истукан, фантом, на который можно вешать любые и самые страшные пороки, вроде «моральных преступлений», которых у этого Довлатова не счесть.

Чем занят наш герой в университете? Всем чем угодно, только не учебой, брюзгливо сообщает автор. На полном серьезе он уличает высокомерного «белоподкладочника» Довлатова в злостном уклонении от студенческой повинности по уборке картошки, в прогулах, дурной учебе, переэкзаменовках, влюбленности в учебное время, в снобистском неучастии в бурной общественной жизни. Именно так раньше шельмовали нерадивого студента на комсомольском собрании. Спрашивается: зачем автор впаривает такую лажу любопытному до Довлатова читателю? Увы, по инерции злословия. Любой негатив, даже такой казенный, приветствуется в этой книжке. И не забудем, что у Попова — парные биографии: «разгильдяю» Довлатову противостоит правильное студенчество самого автора.

Нет, Сергей не бездействует на филфаке. Он занят своим привычным — с детства, как помните, — придуманным для него Поповым делом: властным самопиаром, созданием своего обворожительного образа и внедрением его в массы. Среди студентов «мифологию свою он стал создавать практически сразу… Его таинственное величие чувствовали все, кто сохранил еще чувства».

Не забудем, что герой у Попова связан по рукам и ногам своей реальной посмертной славой. На каждом этапе жизни он, с какой-то дьявольской прозорливостью озирая свое будущее, работает на него не покладая рук. А потому само это его умение создавать «необъяснимое, но властное поле влияния» (словами Попова) — только репетиция к американской суперкарьерной жизни: «В полной мере он продемонстрировал это в Нью-Йорке».

Невозможно пропустить еще одно — опять же провидческое — свойство, выисканное Поповым у юного Довлатова. Оказывается, Анатолий Найман язвительно прочил Довлатову статус «прогрессивного молодого писателя», но Довлатов «**с уже разработанной системой несчастий и провалов** сумел этого избежать». Слова Попова, выделено мной.

Беспрецедентное заявление! Бывают люди, которые притягивают к себе всякие беды, ну, типа «33 несчастья» или, как говорят французы, *faire les 400 coups,* откуда и пошло название прекрасного фильма Франсуа Трюффо «400 ударов». Ладно, пойдем дальше и переведем тему несчастья из бытового плана в литературный, когда личная трагедия становится подпиткой для художника. Дабы не растекаться мыслью по древу, сошлюсь на двух авторитетов.

Князь Петр Вяземский: «Сохрани, Боже, ему быть счастливым: со счастием лопнет прекрасная струна его лиры».

Иосиф Бродский:

> Но, как всегда, не зная для кого,
> твори себя и жизнь свою твори
> всей силою несчастья твоего.

Это как раз понятно, и сам Бродский тому яркий пример. Но чтоб сознательно устраивать себе трагедии, катастрофы, провалы и всяческие неудачи с целью использовать их потом в литературе? А именно так выходит у Попова с его «Довлатовым», который намеренно и прицельно идет на тягчайшие муки. Этакий расчетливый карьерный мазохист. Каких в природе не бывает, а только в болезненно скособоченном воображении автора.

Так спросим у Попова, отчего у его «Довлатова» такой самоистязательный настрой? И он ответит: для использования в прозе, чтобы «соорудить выигрышный сюжет». «…Довлатов сразу и до конца понял, что единственные чернила писателя — его собственная кровь». «Что за бред! — скажем мы. — Да никогда настоящий Довлатов, виртуозный выдумщик и блестящий стилист-лаконик, даже близко не подходил к „жестокому реализму“ или даже, по Попову, к крутой чернухе натуральной

школы!» Но что можно сказать автору, у которого зависть, ненависть и злоба застилают глаза.

Но мы еще не кончили с «хищными склонностями» Довлатова, с его «свирепой» прозорливостью. Оказывается — и это любимая, коренная, красной нитью идея Попова, — «изворотливый» мазохист Довлатов громоздил на своем жизненном пути всяческие трагедии и провалы с дальней четкой целью. В том числе тщательно разработал и стоически выдержал пятнадцатилетний мучительный искус непечатанием. Господи, что же получается? Выходит, это не советские печатные органы дружно пресекали все попытки Довлатова напечататься, а сам Довлатов ловко так все подстраивал, или судьба его так провидчески вела, или так отвратительно плохо писал — еще одна спасительная для автора идея, — что издать его было просто невозможно — ну, никак! В отличие от того же Попова, который оказался вполне ко двору.

А рвался Довлатов — через пропасть аж в 25 лет (по идее Попова, Сережа еще десять лет бездарно промучался в Нью-Йорке) — к своей небывалой славе, к писательскому триумфу, а тот мог состояться только в Америке, «когда Америка взяла его своей железной рукой». Отсюда — такой жертвенный, самоубийственный, такой, скажем прямо, нечеловеческий настрой. Безошибочный расчет. Ради такой, провидчески осязаемой, цели стоило пострадать по-крупному.

Так и пишет, ничтоже сумняшеся: «Я, в отличие от многих, считаю, что Довлатов не совершил ни одной ошибки… Ему надо было помучаться, совершить прыжки в Эстонию и в Америку, окрепнуть». Дикая, безумная и невероятно жестокая идея по отношению к трагическому — не по собственному выбору, а по жизни и судьбе — «литературному неудачнику» Довлатову. Но Попов неуклонно проводит ее по всей книжке с конечной — и тоже безумной — целью обесславливания писательского успеха Довлатова.

А потому где-то посередке этого реваншистского — во что бы то ни стало! — опуса действует уже не анти-Довлатов, этакий довлатовский антипод, в котором хоть что-то личностное, пусть и с трудом, но различается. Кто же тогда? Да именно «никто», скорее — нечто, уродливое детище клинической фобии Попова: монструозный истукан, конъюнктурный хищник, дьявольский расчетчик, феноменальный прозорливец, изверг рода человеческого…

По этой последней версии, главное достижение юного Довлатова — что он нашел в университете «друзей на всю жизнь… и притом достаточно сильных и успешных, на которых

можно было опереться в жизни. И друзья не подвели».

Нет, я не утрирую. Друзей своих дальновидный Серега именно (согласно Попову, вестимо) отбирал с точки зрения их «полезности» в будущем — «и эти друзья юности оставались с ним всегда, помогли состояться, а потом и прославиться». Андрей Арьев, например, оказался «главным редактором довлатовской жизни, больше всех помогая ему… И конечно, великая заслуга Арьева — бурный, великолепный финиш Довлатова еще при жизни и особенно после смерти…» Все это, конечно, гнусные домыслы Попова, но здесь впервые проводится мысль, что Довлатов не сам добился успеха в Нью-Йорке, а с помощью, а позднее — в тесном сотрудничестве и даже соавторстве с полезными и безотказными друзьями.

Но верного, хотя и не престижного и пока что совсем не влиятельного собутыльника Арьева и горстки студенческих друзей для корыстного Довлатова, целенаправленно «собирающего свою гвардию», было недостаточно. Попов прямо свидетельствует о «расчетливости» Сереги в выборе друзей: «Недурная компания Довлатова тем временем успешно и расчетливо пополнялась».

Главным козырем оказался олимпиец Бродский, сыгравший «в судьбе Довлатова решающую роль»: «Бродский помогал ему с самого начала до самого конца», без его сиятельной поддержки Довлатов «мог бы и не состояться». Поклеп, вранье и лажа ослепленного мстительной ненавистью. А куда тогда девался обаятельный, дружественный, мгновенно обрастающий друзьями-приятелями душа компаний Довлатов, бескорыстно щедрый и стоически верный своим закадычным, с юности, друзьям! Говорю это как свидетель защиты, ибо знала таким Довлатова по Ленинграду и Нью-Йорку. А вот и «полезные» друзья свидетельствуют: «…другом он оказывался всегда замечательным: отзывчивым, надежным и трогательным».

Опускаю историю несчастной женитьбы 19-летнего Сережи и его мучительной, без взаимности, истязательной, жизнедробительной, навсегда сломившей его юную самоуверенность, воистину роковой любви к Асе Пекуровской. Опускаю, потому что в глумливой подаче Попова влюбленность Довлатова была расчетливой и, опять же, карьерной: «Назвать любовь Довлатова к Асе Пекуровской несчастной можно, но уж неудачной — никак нельзя. Ася уже тогда была светской львицей, и оказаться с ней рядом — значило с ходу попасть в бомонд. И как бы после этого ни относились к Сереге, никто уже не мог сказать: „Не знаю такого“».

Что за гнусный фарс! Автора не колышет, что из-за пыточной

любви к Асе этот «расчетливый и циничный» Довлатов бросил на третьем курсе университет и тут же подзалетел — нет, не в бомонд, а в конвойные войска. Жизненная правда автора, подрядившегося писать «жизнь замечательного человека», не интересует вовсе. Главное для него — показать человеческую ничтожность молодого Довлатова и его суетливые попытки «создать свой неотразимый имидж» — или, в жаргоне Попова, «сфотографироваться» заранее, когда еще ничего нет за душой, для будущих поклонников.

Да, именно такой — шутовской — апофеоз устраивает Попов для этой, только что мелькнувшей перед нами дерганой, притворной и помпезной жизни «неизвестно кого» под псевдонимом Сергея Довлатова, еще дописательского героя. Отныне «чуть ли не каждый уважающий себя питерец может поделиться лестным воспоминанием: „Вот, помню, мы с Серегой“, — и лица светлеют, тут все удачливы и равны».

Вывод Попова: «Серега, еще ничего толком не написав — и уж тем более ничего не напечатав, — был уже знаменит, представал фигурой, с которой лестно запечатлеться на память, для вечности!..и авансов не обманул».

Представить, что подлинный Довлатов — щедро одаренная, ярко колоритная и неотразимо обаятельная личность, красавец гигант, блестящий рассказчик, уличный затейник, шутник и острослов — врезался в память своих земляков самим фактом своего — среди них — феерического существования, Попов никак не может себе позволить. Нет, Серега не выразительно и броско жил, а только ловко творил собственную легенду: «Его первым удачным сочинением был „Довлатов“».

Что ж, посмотрим, что стал сочинять писатель Довлатов. Согласно Попову.

«Просто наблюдательный человек»

Что может сообщить — достоверно и фактично — Попов о писательстве молодого Довлатова?

Очень мало, да почти ничего. Друзьями не были никогда — скорее шапочными знакомыми, как все питерские литераторы между собой. Знал ли Попов, что написал Серега за пятнадцать лет, интересовался ли вообще писателем Довлатовым, мучительно и старательно ищущим свой творческий метод?

Не только не знал, но и огульно отрицал: «Он писал какие-то средние рассказы на уровне фельетонов, что-то кому-то показывал». Ясно, что взыскательному писателю Попову (таким он себя видит в этих главках) «безнадежный во всех отношениях»

Довлатов не показывал ничего. Зато другим — показывал. К примеру, у нас дома не переводилась его проза, которую он давал по-приятельски Володе Соловьеву, а мне — как редактору «Авроры». Да и не только нам — существует множество отзывов, рассказов, воспоминаний о тогдашнем писателе Довлатове. Однако для Попова они как бы не существуют. Как и самого Довлатова. Куда дальше, если в своей книжке-биографии Попов даже не упоминает важнейшее событие в писательской жизни Довлатова — его единственный в России сольный вечер в Союзе писателей 13 декабря 1967 года. Почему такой беспрецедентный для биографа пропуск? Опять-таки из черной зависти — у него самого такого престижного вечера не было.

Это к тому, что необходимо критически относиться ко всем нападкам Валеры на своего — личностно и творчески невразумительного — героя. Вообще-то реальный Довлатов к концу его книжки блистает своим отсутствием, окончательно исчезая с горизонта. Сомневаюсь, что и сам Попов различает, какого «Довлатова» так яростно громит.

Вряд ли в то время, о котором он должен был объективно и непредвзято рассказать, молодой прозаик Попов относился так враждебно, с такой личной неприязнью к рассказам Сереги. Снова перед нами — анахронизм, вымышленный страстями и муками Попова.

Начисто забыв о своих обязанностях биографа, Попов целенаправленно, всеми правдами и неправдами, всеми подручными — годными и негодными — средствами уничтожает в зародыше писателя Довлатова. Нет такого писателя, и никогда не было. А был — «просто наблюдательный человек».

Впрочем, чем больше автор хулит и злобствует на своего героя, тем — от обратного — интереснее, заманчивее становится герой, коли сумел вызвать такое беснование, такие крученые страсти! Вот этого реального писателя Довлатова хочется различить и уяснить себе внутри бушующего облыжным отрицанием текста Попова.

И еще. Помните, что у Попова — двойничные биографии? В главках, где появляется «выдающий себя за писателя» Серега, его био похерено, зато авторское — спесиво выпячено. Вальяжный, самоуверенный и — что хуже — самодовольный, давно усвоивший азы писательства молодой Попов смотрит свысока на суетливого, вечно неуверенного в себе Серегу, презирает его, третирует как полное ничтожество — и еще больше самоутверждается.

Прием, надо сказать, низкопробный и убыточный, неизбежно бумеранговый, и это знает любой мало-мальски опытный

писатель. Торжествующий над своим героем автор вызывает у читателя обратную реакцию, и тот ставит под сомнение авторское самохвальство. Но многоопытный и когда-то умелый писатель Попов, в запале ненависти и огульного отрицания, уже не различает, что такое хорошо и что такое плохо в писательской технике. Все средства хороши для его задачи.

Попытаемся уяснить, чтобы понять его ярость, с кем он сражается, кого так запальчиво клеймит. Не с тем же Серегой, которого мало знал, не интересовался вовсе, никогда не держал за соперника, а токмо за неудачника. Нет, перед ним был все тот же «никчемный увалень» Довлатов, но с солидным довеском будущего, где он умудрился каким-то хитрым, ловким способом (Попов вычисляет — каким именно?) взлететь на олимп и добыть небывалую славу. Вот этого воображаемого, но четко различимого в воспаленном мозгу Довлатова, преуспевшего «больше всех нас», Попов ненавидит, презирает и сокрушает. Точнее: сводит с покойником личные счеты.

Книжка очень ругачая. Я говорю не о критическом отношении автора к герою, а о прямой ругани, брани, которая вдруг — ни с того ни с сего — появляется в тексте, так серчает Попов на своего безответного героя. Мало того что он упорно называет «ладного молодца» «увальнем» или «разгильдяем». Хуже (читать тяжело), когда прорывается его активная злоба: «…какой-то двоечник, вылетевший из университета, отслужит в армии, потом вернется, вытащит из драного рюкзака свой „дембельский альбом“ и что-то промямлит! Неужто он в своей глуши не соображает, что здесь, на олимпе, это не интересно уже никому?» Это о «бедном Сереге», застрявшем в армии, но уже набросавшем там вчерне «Зону» — рукопись, которая почему-то (потом я узнала — почему) неизменно вызывает бурное негодование Попова.

Усиливая «отчаянное положение» этого Сереги, мечтающего приникнуть к официальной, то есть печатной литературе, автор подмахивает ему всяческие творческие тупики, провалы и неудачи. И, подлаживаясь под Довлатова, бурно реагирует на них. Здесь мы видим фальшак в действии.

В армии Сергей балуется стишками, очень даже неплохими, не придавая им особого значения. Придавал — прозе, и начинал уже с опаской подбираться к ней. Но вот Попов переживает за Сергея его первую творческую неудачу: «Крепким ударом для него стал негативный отзыв о его стихах „тетки Мары“. К ее замечаниям внимательно относились многие знаменитости, включая маститого и самоуверенного Алексея Толстого… И вот — разгромный ее отзыв о стихах племянника Сергея. Не оценила ни его образов, ни юмора, ни рифм. Так куда ж податься бедному

Сергею, если родная тетка, к тому же прямо причастная к созданию литературной жизни в родном городе, не слышит его?.. Да, долго еще Довлатову искать свое, неповторимое!»

Неожиданно Довлатову крупно повезло — его рассказ опубликован в популярнейшем юмористическом журнале «Крокодил», это одна из первых довлатовских публикаций. Успех несомненный, и Сережа какое-то время скромно торжествовал. Но завидущий Попов (его гротески ни разу не пришлись «Крокодилу») сумел обратить успех в позорный провал. Придравшись к скандалу, часто сопровождавшему шуточные публикации в «Крокодиле», он ужасается за Довлатова: его Серега «был напуган и даже ошеломлен… вдруг сразу такой удар! Что же делать? Попытка прильнуть к армянским… истокам… обернулась провалом!» Что же делать?

Таких ложных безнадежностей с непременным довлатовским воем «Что же делать?» и тупиков (особенно тупиков: «Да, он снова оказался в тупике. Но то был самый лучший тупик. Он многое ему дал») Попов подкинул нашему герою немало. Но особенно часто — на уровне повседневности — Серега у Попова «впадает в отчаяние». Раз пятнадцать, не меньше. Обычно — от сознания своего писательского ничтожества. Именно на это напирает по всей своей книжке Попов: Серега не тянет, слабоват, несостоятелен, прямо безнадежен. Вот образчик ужасания Попова за Довлатова: «Самое ужасное, что он ощутил, оглядевшись в литературном мире, — что „Зону“… наверняка не напечатают… И не из-за безнадежности — безнадежен пока что он. И именно это, а не „совиные крыла“ реакции, на которые привычно все валят, повергало Довлатова в отчаяние».

Однако, помимо субъективных комментариев, автору биографии «замечательного человека», как, впрочем, и любому биографу, необходимо в первую очередь представить реальную событийность, неподдельную фактичность жизни — писательской и личной — своего героя. И тут уже Попову, а не «бедному Сереге» надо бы прийти в отчаяние — его «довлатовские» закрома пусты.

Поразительно, как легко и без напряга, по сути — виртуально справляется наш автор с такой, казалось бы, нелегкой задачей. На первый план выдвигается его собственное писательское био, к которому он вольно — в зависимости от обстоятельств — пристегивает «литературного неудачника» Довлатова. Выступая в роли мэтра, Попов уличает, поучает, разоблачает, подозревает, осуждает и, наконец, вовсе отрицает писателя Довлатова. Вроде бы я схватила всю нюансировку отношения автора к своему герою.

Затем — для заполнения биографических лакун — автор дает «картинные» характеристики времени — 60-е, 70-е — и современной литературной жизни, куда произвольно «впихивает» Довлатова, обычно с целью показать, насколько тот «не тянет». Наконец, привычные уже подделки встреч, эпизодов, ситуаций и повсеместная выдача чужих воспоминаний за свои.

Приемы, скажем прямо, халтурные, но автора это не смущает. Он с таким нескрываемым презрением относится к своему герою, что явно не считает нужным проделать тяжелую подготовительную работу. Еще чего, так уж я для этого ничтожества и расстарался!

Ниже плинтуса

Однако что просто необходимо было сделать — постараться для самого себя. То есть написать книжку хотя бы на сносном литературном уровне. Чего не случилось. «Довлатов» сочинен удручающе плохо — ниже плинтуса: любого. Чего стоит, к примеру, ходовой, столбовой эпитет «роскошный», проходящий сквозь всю книжку, иногда трижды на одной странице, да еще тут же «шикарный» — взамен и в придачу!

Роскошными могут быть у Попова, испытывающего нужду в оттенках, самые нероскошные предметы и люди: «листок роскошной белой бумаги», «роскошная молодая пара в заднем ряду», «Борис Вахтин, с его роскошными текстами», «с этой роскошной и известной женщиной», жены друзей — «роскошные, красивые…», был поражен «роскошными ее формами», «над блюдом роскошного сациви, за бутылкой сухого и разговоры велись роскошные…», «не располагал столь роскошным запасом времени» и т. д., и т. п. — несчитано!

«Роскошный» и «роскошь» легко заменяются «шикарным». На одной странице — «входишь в шикарный мраморный холл» и «входишь в роскошный зал ресторана». Основная характеристика друзей и подруг — «женщины все элегантные», «мужчины элегантные, изысканные», «Аксенов, небрежно-элегантный…» Известные люди все «замечательные»: «Александр Володин, замечательный драматург», «замечательный Давид Яковлевич Дар», а также все вокруг замечательно — от «замечательной рецензии Инны Соловьевой» до «замечательного издательства», «замечательной книги» и т. д.

Скажу словами Попова — до чего же все у него «роскошно» однообразно! Как тут не вспомнить заповедь словесного искусника Довлатова, уничтожаемого в книжке Попова: «Прилагательных надо бояться, это самая бессмысленная часть

русского языка». Думаю, взыскательный Довлатов уловил бы в этом жалком подборе эпитетов элемент пошлости, которую на дух не выносил.

Коли о пошлости, то что может быть пошлей, да и нелепей тоже, определения, данного Поповым целой эпохе шестидесятых в писательском ее восприятии. Почему-то «блестящая плеяда» писателей того времени вела исключительно ресторанную жизнь («хмельная эйфория шестидесятых»), где за бутылкой сухого обсуждались литературные дела и объявлялись новые «ресторанные гении». «Что-то подобное было в Серебряном веке, — пишет Попов. — А этот, наверное, можно назвать мельхиоровым, потому как к замечательным… закускам подавались ножи и вилки из мельхиора… где найдешь такое теперь?» Мельхиоровые шестидесятые — этого Довлатов просто бы не стерпел: какой-то апофеоз пошлости!

Привожу только мелочи — из обвального сочинения Попова. Вот еще — его полный произвол с хронологией: где хочет, там и ставит дату, подгоняя к своим нуждам. Короче, Попов скомпрометировал себя как писателя настолько, что его попытка уничтожить другого писателя, тончайшего мастера слова и блестящего стилиста, выглядит если не парадоксально, то просто комично.

Как же все-таки всходил, мужал, набирал мастерство Сергей Довлатов? Читателю, который чаще всего и его поклонник, позарез это знать. Не станет же мало-мальски добросовестный биограф впаривать сработанную в Петербурге байку о чудодейственном рождении в Америке писателя Довлатова?

Станет, еще как станет, да еще и собственную хрень добавит о дико амбициозном Сереге, что карабкается изо всех своих слабеньких сил прямиком на олимп. Да не выходит — отсюда перманентное отчаяние, о котором мы уже знаем. Это, кстати, согласно Попову, непрерывный писательский напряг у Сереги — растолкать всех, стать первым и влезть на олимп. На этот пресловутый петербургский, а то и российский олимп Довлатов у Попова пытается влезть раз десять, а то и больше. Только дивишься: о ком он пишет? Подлинный Довлатов был не только взыскательно демократичен — и в жизни, и в прозе, — но и беспощаден к себе самому, мечтая писать, как Куприн. И ни в какие гении не лез, шедевров не творил, и на олимп не покушался, хотя бы из отвращения к пафосу и высокому «штилю». Хотел он одного — получить доступ к печати, приобрести читателей, чтобы увидеть себя со стороны.

Образ карьерно оскаленного Довлатова, «виртуозно» внедряющего в литературу заместо шедевров «свой помпезный

имидж», превратен и отвратен. Но Попов чрезвычайно на нем настаивает. И даже берется провести оглашенного Серегу через пятнадцать лет его фиктивного (считает Попов) писательства.

Даже в армейской казарме ничего еще толком не написавший Сережа, оказывается, замахивается на «супертекст, который сразу поставит его выше всех!». Имеется в виду все та же, с ума сводящая Попова будущая «Зона».

После армии Сережа «стал писать рассказы и рассылать их по редакциям. Что он тогда писал?» Вопрос для Попова риторический. Он ничего не знает ни о раннем, ни о зрелом Довлатове и начинает, по обыкновению, ругаться. Берет довлатовское «Ремесло» и выуживает оттуда — фантазийно — его низкопробные, но «как бы априорно совершенные» рассказы:

«Виртуозность Довлатова еще и в том, что он блестяще написал о глумлении режима над шедеврами, которых тогда у него на самом деле еще и не было. И история об этом под названием „Ремесло“ только и есть реальный шедевр, а то „ремесло“, которым он якобы владел уже давно, те „загубленные шедевры“, над которыми глумились злодеи, в реальности не существовали. Ловко… Но — победителей не судят».

Заметили? Попов лихо подытожил творческий провал «всего Довлатова» за пятнадцать лет. Но читателя этот его залихватский итог не убедит. Нужны факты. И Попов парадоксально сводит всю историю работы Довлатова к хронике создания и попыток опубликования одной только вещи — «Зоны»: «Предположу, что Довлатов тогда шел с палкой вброд, прощупывая, пройдет ли тут большой корабль под названием „Зона“ и под каким флагом пройдет?»

Злосчастная «Зона» красной нитью продернута сквозь всю повествовательную чернуху этой книжки. Ею же кроет Попов неумеху Довлатова в Америке. Что за чертовщина? Смотрю в конец: «„Зона“ — книга, побившая сейчас все издательские рекорды». Все ясно — зависть не только глаза, но и рассудок выедает.

Работоспособного и многописучего Довлатова его биограф все время застает в позе «полной растерянности перед литературной реальностью тех лет». Он так априорно безнадежен, что Попов с наглецой — авось проскочит! — предлагает читателю перенести свое внимание с этого «неписателя» на «виртуозного» мистификатора своей «гениальности»: «Но главный наш с вами интерес — проследить, как Довлатов делал себя, с самого начала пути. Если не знаешь, что делать, — делай себя. Поднимай свое

имя. Это он умел».

Что еще умел бесталанный, но виртуозный Серега? Попов обнаруживает в нем еще одно фантастическое свойство: «Рассказы свои тогда он довольно широко раздавал, считая возможным (в отличие, скажем, от меня) постепенное их „обкатывание“ в чужих руках на пути к совершенству».

Это еще что за лабуда? Не устаю удивляться глумливой изобретательности автора. Сам же пишет, что Сергей никогда не интересовался отзывами — просто давал знать о себе, непрерывно пишущем, читателя не имеющем. Но Попов настаивает на «хищном приспособленце» Довлатове. Для чего, спрашивается, он обивал пороги непреклонных журналов и издательств? Ведь ему, согласно Попову, заявляться туда было, «по большому счету, не с чем». Однако — «была у Довлатова такая слабость (или сила?) — пытаться совершенствовать свои рассказы в процессе пробивания, стараясь „пристроиться“ к нужному течению, которое он никак не мог уловить».

Ну что тут скажешь? Совсем долбанулся сердитый Попов!

Короче, писатель Довлатов уничтожен, так сказать, на корню. «Помню свои впечатления о Довлатове той поры. Мало кто из литераторов казался таким безнадежным, как он… Господи, до чего же нелепая личность!» Такая нелепая, ущербная и при этом взлетевшая на самый олимп, что Попов (нынешний, преклонных лет биограф) не может сдержать гневной вспышки: «Общались ли мы тогда с Довлатовым тесно? Ни за что!» Именно в такого рода парапраксисах выходит наружу из подсознанки тайная, стыдная, скрываемая мука Валеры Попова.

Ох, как тяжелы, как мучительны, как пыточны эти его «довлатовские» комплексы! Как ни крути, как ни долбай разгильдяя Серегу, но слава-то — небывалая, громадная и при том заслуженная, и, как ее ни отрицай, ни черни, слава эта существует. И теперь уже никуда от нее не деться бедному, разнесчастному Попову.

Остается люто завидовать всему, чего добился Довлатов, даже воспоминаниям о нем их общих знакомцев: «Я перечитываю воспоминания Эры (Коробовой) о Довлатове с запоздалой завистью… Почему же я, дурак, не заходил тогда к ней и не оставил о себе столь же ярких и насыщенных воспоминаний? Ведь тоже, помнится, был орел! Орел — но дурак». Невероятное признание и — притязание! — на идентичные довлатовским воспоминания. В ходу здесь опять дьявольская расчетливость — на будущие мемории о нем — знакомого уже нам карьерного виртуоза Довлатова.

И вот Довлатов вынужден эмигрировать из СССР. Именно

вынужден, подчеркиваю, да просто выпихнут из страны, а не ловко подстроил свой отъезд, как опять-таки передергивает Попов. Надоело, признаться, его неумолчное злоречие. Но на Сережиных проводах именно Попов, а не его ненавистный соперник, проявляет какое-то сверхъестественное прозрение. Валера успокаивает себя тем, что там, в Америке, «лет пять все одно должно пройти, прежде чем из просто наблюдательного человека выработается писатель. Да лет пять еще, как минимум, уйдет на то, чтобы все поверили наконец, что вот этот вот тип, вроде бы известный им со всеми потрохами, — настоящий писатель».

Итак, Попов провидчески положил «еще не писателю Сереге» больше десяти лет только на писательское самоопределение. А Сережа всего-то отмотал в Нью-Йорке неполные двенадцать лет. Невероятное зловещее предсказание. И ничего хорошего улетающему Довлатову не сулит.

Убить пересмешника

Так и случилось. А я-то надеялась, вынужденная глотать весь яд, желчь и злобу этой умопомрачительной лажи, что на американском, априорно успешном, благополучно написавшем и издавшем все свои книжки Довлатове Попов наконец угомонится, образумится и вспомнит о своих обязанностях объективного биографа. Какое там! Я недооценила мстительный и прямо-таки остервенелый реваншизм Попова. Закусив удила, он, как разъяренный до бешенства конь, помчался топтать и сокрушать покойного Довлатова, объявив его прозу «довлатовщиной» — пустозвонким и эффектным, как цирковой номер, смехачеством, а его самого, трагического героя русской литературы, — антигероем: лишним человеком в русской литературе.

Попов выводит Довлатова из литературы вообще — не только современной, но из классической русской традиции. Не только из литературы, но из самой русской культуры. У него хватает наглости заявить, что в России у аморалиста Довлатова не было ни малейшего шанса стать русским писателем — «на русской березе рассказы Довлатова не выросли бы никогда, ни при какой политической погоде». Не по себе становится после этих страшных слов.

Последние эти главки — погромные. Запальчиво, но целеустремленно Попов чинит расправу над Довлатовым — писателем и человеком. И даже громадную и затяжную его славу обесславливает.

С присущей ему «виртуозностью», то есть свирепой

расчетливостью, этот «Довлатов» становится «первым парнем на Ньюйоркщине». С безумной прозорливостью предчувствует и уже разрабатывает свою «будущую славу в России». Если в Питере — робко, то в Нью-Йорке он уже «гениально» самопиарствует (неведомо для самого себя). Умышленно нарывается на катастрофы — перспективные сюжеты будущих его сочинений… Ну да, знакомая уже читателю картина — монструозный псевдонимец Довлатова разгулялся на американском просторе!

Идем дальше — вслед за вершащим свой праведный суд «честным Яго» Поповым. Узнаем, что филигранное мастерство Довлатова на самом деле ущербно, с крупными изъянами, нуждается в чужой помощи. «Довлатов… не любил работать над своими рассказами в одиночку, предпочитая советоваться с достойными людьми на каждом этапе рукописи, и лишь таким способом „доводил сочинение“».

Мало того, Довлатову для создания крепкой, правильно сориентированной, убедительно законченной прозы требовался редактор — сам бы он с этим делом не справился. Без совместной работы с этим редактором «главные довлатовские шедевры… могли бы не появиться». Без помощника, «равного ему по силе», он бы «погиб и как писатель не состоялся».

Как же спасти его от этого неминучего творческого обвала, где взять чудотворного помощника, а фактически — соавтора? Никогда, никогда не появились бы на свет лучшие довлатовские вещи… «Трудно теперь себе это вообразить — но такое могло случиться, если бы не…» Вот тут и является на сцену неведомо откуда *Deus ex machine:* верный друг, палочка-выручалочка, довлатовский благодетель и спаситель Игорь Ефимов! Зато ведомо зачем: теперь отстрел Довлатова ведется опосредствованно — с помощью его давнего врага и ненавистника.

Напомню, что Ефимов издал в своем «Эрмитаже» только три книги Довлатова — «Зону», «Заповедник» и «Чемодан». И тесное плодотворное их содружество на уровне соавторства, как вещает Попов, велось исключительно «по почте». Для вящей убедительности он продлевает творческую помощь Ефимова на долгие годы — как назад, так и вперед. Благодаря Ефимову «лучшие книги Довлатова вышли в Америке… И вклад Игоря Ефимова неоценим». Для Довлатова — это самые результативные годы. Без помощи Ефимова ничего бы у него не вышло. Таков итог Попова.

Немощный, зависимый от помощников, творчески несостоятельный Довлатов — вольное сочинение Попова, но с подачи и в представлении Игоря Ефимова, в нью-джерсийском

доме которого скуповатый, как Плюшкин, Попов подолгу гостил на полном обеспечении и с упоением выслушивал и записывал все ефимовское злоречивое фуфло о творческом сотрудничестве с Довлатовым.

Так неуемно Попов славословит бескорыстно делового Ефимова и так огульно третирует неблагодарного юзера Довлатова, что невольно создается и уже не проходит впечатление, что вся эта туфта под видом биографии пусть и частично, но в значительных частях надиктована Ефимовым, так сказать проплачена впрок (ефимовское отменное гостеприимство), и что выступает он, Ефимов, тайным соавтором вовсе не Довлатова, а Валеры Попова.

Тем более что у Игоря Ефимова уже есть именно организаторский опыт, ему не впервой поднимать антидовлатовскую рать. Вспомним, какой он, десятью годами раньше, устроил шабаш из подопечных ему и зависящих от его издательства авторов-довлатофобов в связи с выходом контрабандного почтового романа, в котором он сам — положительный герой и супермен, зато его корреспондент Довлатов — антигерой: подонок, сукин сын и сам себе враг!

Но Попову этого мало, и он уже не довольствуется замещенным, *by proxy,* разгромом и устраивает личную расправу с ненавистным Довлатовым, выносит покойнику смертный приговор и сладострастно, с почти физически ощущаемой лютостью, приводит его в исполнение. Лопнула — причем с вонью! — любимая прежде газета «Новый американец», которой Довлатов отдал столько времени и крови, ликует Попов.

Следующий обвал: рухнуло еще одно, самое главное дело его бездарно прожитой жизни — замечательная, плодотворная, спасительная дружба с Ефимовым.

Мир Довлатова рушится! Мало ему сомнений в своих рассказах — выходит, что и как человек он — говно на палочке! Причем все его книги, согласно Попову, — это «перечень улик». А потому ступеньки к славе оказываются для самого Довлатова, для его души ступеньками в ад. Все главные точки опоры уходят из-под ног. Полный моральный крах. Рухнуло и главное «строение» Довлатова — он сам! Пора кончать счеты с жизнью. Единственный выход — в смерть.

Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Прямое ощущение почти физической расправы! Ну, точь-в-точь Сальери (пушкинский). Как будто Попов лично вершит правосудие над давно покойным Довлатовым и еще раз убивает, добивает его.

Никогда, никогда на моей памяти не выходил еще в этом

популярном сериале ЖЗЛ такой откровенный трэш — на таком удручающе низком уровне. Сплошь передерги, вранье и поклеп, а вдобавок — откровенная халтура. Либо автор на старости лет впал в маразм и разучился писать? Или его сломил и сломал хронический недуг — испепеляющая ненависть к Довлатову? В любом случае, Попов взял работу выше своей квалификации.

И вспоминается мне ленинградский журнал «Аврора», где я работала редактором прозы. Год, наверно, 71-й. Сидим мы в отделе прозы вместе с заведующим Борей Никольским и решаем, что делать с подборкой малых рассказов Довлатова, которую я составила и очень хотела напечатать. Боря рассказы одобрил, подумал — через начальство не пройдет никак, Довлатов так и не научился писать «цензурно» — и сказал с досадой: «И вообще, зачем нам Довлатов, когда уже есть Попов!»

Тогда, Валера, ты писал отличные — иронические, парадоксальные, с богатым словесным декором и очень смешные — рассказы. Их приходилось пробивать, но в конце концов они появлялись в журнале. Ты был уже членом Союза писателей — в отличие от стороннего автора Довлатова. Что же с тобой, Валера, стряслось, с чего ты так слинял — из мастера прикольных гротесков в низкопробную мелочовку?

Пора закругляться. Давно пора. Тем более — это случай не для литературного анализа, но для психоанализа. Коим я, будучи писателем, не владею, а знаю только понаслышке, на общекультурном уровне и отношусь с известным сомнением, как и к любой другой симплификации. Однако в данном случае этот метод в самый раз и срабатывает, потому что «синдром Довлатова» у Валеры Попова достаточно прост, механика его элементарна и легко поддается именно психоанализу. Тем более этот «синдром Довлатова», проявленный в такой острой и неизлечимой форме у Попова, не просто присущ больше или меньше, иногда в латентной форме, но и выявлен нами у литературных сотоварищей Попова — Игоря Ефимова, Вики Беломлинской, Беллы Езерской, Людмилы Штерн и даже у бывшей Сережиной жены Аси Пекуровской и прочих малозаметных литераторов, которые сломались на ничтожном, с их точки зрения, Довлатове, парящем теперь в заоблачных высотах славы.

Они любить умеют только мертвых? Если бы! Эти даже мертвого ненавидят. Еще сильнее, чем живого.

Что вовсе не исключает «заговора обреченных» — вышеупомянутых маргинальных прозаиков во главе с паханом Игорем Ефимовым, от которого все они так или иначе зависели: они сплотились, чтобы оболгать и уничтожить Довлатова.

В том и фишка, которую Пушкин не просек: на одного Моцарта приходится не один Сальери, а множество сальери, и они пытаются взять числом, а не умением. Ну да, мыши кота на погост волокут. Метафора «Гулливер — лилипуты» также уместна и приемлема.

Владимир Соловьев
Tutto nel mondo e burla!

Довлатов на проходах

Есть мнение — но это только мнение, — что Довлатов был лучшим рассказчиком, чем писателем, и, несомненно, более изощренным выдумщиком. Это мнение довольно широко распространено среди слушателей его устных баек — хороших и шапочных знакомых, круг которых по естественным причинам стремительно убывает. Лучше других эту точку зрения озвучила и обосновала — мемуарно, филологически и психоаналитически — первая Сережина жена Ася Пекуровская. Собственно, начальная фраза этого абзаца есть раскавыченная цитата из ее, безусловно, талантливой, пусть и стилистически чересчур барочной книги, но это дело вкуса. Иногда возникает и не сразу проходит ощущение, что попал в анатомический театр, где патологоанатом препарирует труп Довлатова. Как в последнем фильме Сокурова, где Фауст колдует над мертвым телом в поисках души, но, как назло, все время натыкается на пенис. Ну и, конечно, незабвенный Сальери:

> Звуки умертвив,
> Музыку я разъял, как труп.
> Поверил я алгеброй гармонию.

Можно ли — и нужно ли? — рассматривать книгу Аси Пекуровской как «ответный выстрел», как это делает Валерий Попов, имея в виду образ Таси-Аси в повести Довлатова «Филиал»? Оставим этот вопрос открытым, хотя, по мне, это определение относится скорее к самому Валере, который, оборзев от зависти и ненависти, под прикрытием биографии Довлатова в ЖЗЛ сделал не просто ответный выстрел, но открыл стрельбу из тяжелых орудий по ничего не подозревающему покойнику, хотя особой меткостью стрелок не отличается: палит наугад, а потому мимо — Довлатов неуязвим. В отличие от Валеры, Ася Пекуровская, пусть и жесткачка, довольно искусно работает скальпелем, но ее литературоведческий анализ все-таки уступает психоаналитическому мастерству. Тем не менее я готов признать за некоторыми доподлинными Асиными историями преимущество перед художественно домысленными,

отретушированными, искаженными рассказами Довлатова. Вот отчет Пекуровской об их совместном посещении Бродского после операции на сердце в больничной палате, где Сережа сообщает еле живому Осе, что Евтушенко выступил в защиту евреев:

— Если он «за», то я «против», — прошептал Бродский умирающим голосом.

Тот же диалог у Довлатова:

— Евтушенко выступил против колхозов…
— Если он «против», я — «за».

Есть ли смысл касаться причин, заставивших Довлатова пойти на это искажение реальности? Вот что пишет Лена Довлатова в ответ на мой запрос:

«Вольдемар, я не знаю, потому что не присутствовала при этом. Хотелось бы сказать, что она (Пекуровская) это сочинила, вернее, переиначила Сережин анекдот, потому что ей все время хочется рассказать Сережины истории по-своему, как бы „как было“. Зачем? Может быть, в этом случае она права, хотя очень уж ожидаемо. Бродский из упрямства даже против евреев, если Евтушенко — за. Ведь Сережа не потому, что защищал Бродского от антисемитского высказывания, придумал колхозы».

Даже если так, что с того? Я и у Пушкина легко нахожу черновые записи, которые сильнее чистовиков, а то и вовсе неиспользованные. Например, гениальная и мало кому известная строка: «Мои утраченные годы…»

А тут и вовсе утверждается прерогатива слушателя над читателем, барда над поэтом, устного предания над писаной историей. Как знать, может, и Гомеровы песнопения были лучше текстов «Илиады» и «Одиссеи»? Куда дальше, когда даже Моисея упрекают, что он создал коррумпированное общество, когда спустился с горы с писаным законом, то есть с простым текстом, — и это после встречи с реальным Богом! С неопалимой купиной — пламенеющим, но не сгорающим кустом!

Нескольких лет кряду я выслушивал ежевечерние рассказы Сережи, хотя наше общение ими, конечно, не ограничивалось. Хохмить он умел, как никто! Ум хорошо, а хохма лучше, говорил Сережа. В этой книге приведены кой-какие его реплики и байки, типа оправдательной формулы импотенции, когда Натан Альтман в ответ на прилюдную жалобу жены «Ты меня больше не хочешь»

гениально парирует:

— Я не хочу тебя хотеть.

Хотя не уверен, что автор этой репризы Альтман, а не сам Довлатов.

Заодно и другая Сережина история на тему мужского бессилия — как одна дама ему выговаривает:

— Он у тебя не только не стоит — он даже не лежит. Он у тебя валяется.

В том и прелесть этого рассказа, что он от первого лица. В «Записных книжках» он передан третьеличному персонажу и тонет в ненужных подробностях и многословии:

«Один мой друг ухаживал за женщиной. Женщина была старше и опытнее его. Она была необычайно сексуальна и любвеобильна.

Друг мой оказался с этой женщиной в гостях. Причем в огромной генеральской квартире. И ему предложили остаться ночевать. И женщина осталась с ним.

Впервые они были наедине. И друг мой от радости напился.

Очнулся голый на полу.

Женщина презрительно сказала:

— Мало того что он не стоял. Он у тебя даже не лежал. Он валялся».

Не эта ли история, кстати, послужила основанием для диагноза, который поставил «целому поколению мифических питерских шестидесятников» критик Глеб Шульпяков: «донжуаны-импотенты»?

Сейчас я не об этом. Сам будучи не только собеседником, но и благодарным слушателем Сережиных оральных рассказов, иногда — пусть так — более удачных, чем их письменное изложение, я решительно против попыток иных его слушателей застолбить, монополизировать за собой право на изустного Довлатова, которого они противопоставляют Довлатову письменному. Поскольку я сам в некотором роде писатель и рассматриваю действительность меркантильно — в помощь художеству, как сырец для литературы. Помню, давным-давно, в Новом Свете под Судаком, мы с Леной стояли с бидонами в очереди к цистерне с винным сырцом, которое рабочие с соседнего винного завода контрабандой сцеживали, называли «молодым вином» и продавали отдыхающим задешево. Так вот, пить, конечно, можно, но сильно кислит — чистый уксус. Предпочитаю настоянные вина и письменную литературу, будь то Священное Писание или книги Довлатова.

Однако для нас с Леной Клепиковой как мемуаристов

Довлатов на проходах крайне важен для создания его, если угодно, голографического образа. Я не писатель, а рассказчик, говорил он. А был писатель и рассказчик в одном флаконе. В совершенстве владел искусством сказа, которое ему удалось воплотить в писательство. Россыпи устного таланта Довлатова — отменного репликанта, рассказчика, шутника, юмориста — хоть и являются литературным подспорьем, но, как говаривал Тынянов, это рассказы, которые не захотели быть рассказами. Или не успели ими стать. Недаром так торопился Довлатов издать при жизни полностью свои «Записные книжки», но, увы, не успел, и они вышли уже посмертно. Под одной обложкой — питерское «Соло на ундервуде» и нью-йоркское «Соло на IBM». Разница между ними существенная. Не вдаваясь в подробности и не пускаясь в объяснения — как между «12 стульями» и «Золотым теленком».

А мы пока что сузим круг вспоминальщиков до одной семьи Сережиных соседей.

С Шапиро мы познакомились еще до того, как узнали их лично, — заочно, через Довлатова, из его рассказов, устных и письменных. Братья Изя и Соломон были не только его соседями, но и героями уморительных баек, которыми Сережа развлекал меня в наши ежевечерние встречи. Довлатов и вообще любил обыгрывать еврейские имена и фамилии, полагая, что уже сами по себе они синоним смешного:

— Рабинович — уже смешно…

— Родиться Рабиновичем в России — все равно что калекой, — слабо возражал я.

— Вот, вот, — подхватывал Сережа. — Вы можете представить великого русского поэта, ученого или, на худой конец, композитора Рабиновичем?

— Шолом-Алейхем, — вспомнил я.

— Видите! Даже идишному писателю пришлось взять псевдоним!

У Довлатова множество приколов с еврейскими именами. Скажем, как Сережа случайно назвал Льва Захаровича Львом Абрамовичем, и тот смертельно обиделся, а Сережа, поразмыслив, восстановил ход его мыслей: «Вот сволочь! Отчества моего не запомнил, зато запомнил, гад, что я еврей!» Или как у Сережи нет документов, когда у него требуют, и он называется Лазарем Самуиловичем Альтшуллером и дает фальшивый адрес — ему верят, потому что он точно вычислил реакцию блюстителя порядка: «Что угодно может выдумать человек, но добровольно стать Альтшуллером — уж извините. Значит, говорит правду».

А тут вдруг Довлатову подфартило — у него появились друзья с анекдотической фамилией! Будь они не братья Шапиро, а братья Ивановы, никаких историй, боюсь, не возникло бы. Как писал московский рецензент моего питерского исповедального романа: «„Три еврея“ — купят. „Трех русских“ — не купят». А потом, ничего не объясняя, спрашивал: «Понятно, о чем я говорю?» Какие там объяснения — и дикобразу понятно.

Некоторые из этих «шапировских» историй вошли в довлатовские книги (в упомянутые «Записные книжки»), но большинство так и остались разве что в памяти его слушателей, если/пока те еще живы. Душа, может, и переживает бренное тело, но память часто умирает еще в живом человеке — не дай-то бог! «Не дай мне Бог сойти с ума» — то есть чтобы память давала ложные показания. Или, как писал Бродский: «Память, если не гранит, одуванчик сохранит». С одуванчика и спрос.

После Сережиной смерти мы стали встречаться с Шапиро все чаще и чаще — сначала у общих друзей, а потом на их днях рождения и юбилеях, когда сдружились. Уверен, они уже мелькали в наших воспоминаниях о Сереже. В Старый Новый две тысяча какой-то год (офигеть!) мы вспомним Сережу Довлатова. Блатная наша шобла и без того мишпуха — как и в Москве, а до этого в Питере, — евреятник с вкраплениями «старшего брата», а тут за столом больше всего Шапиров — Соломон и Изя Шапиры с женами Шапирами, и все Шапиры наперебой рассказывают пикантные истории про Довлатова — в пандан, в параллель тем, которые Сережа рассказывал про них. А придя далеко за полночь домой, мы увидим в телеящике директора и пиарщика «Паблик ТВ» Нила Шапиро в знаменитых его подтяжках. Лена Клепикова сказала как-то, что Саша Грант сделал подтяжки. «Предпочитаю ремень», — живо откликнулся Миша Фрейдлин, другой наш приятель (к слову). Без общественного телевидения мы с Леной не представляем нашей жизни. Сейчас по нему в который раз прогоняют театрализованную бриттами диккенсиану, где играют негры в том числе, которых среди героев Диккенса не наблюдалось, а между героинями — лесбийские и черт знает еще какие пикантные отношения: классика как современность. По вторникам научные передачи, по средам — оперы, по субботам — старые фильмы, каждую неделю история, религия, культура, природа. Но это опять-таки к слову, потому что забавно после шестичасового староновогоднего стеба на воздушные темы, в том числе с Шапирами, увидеть на экране еще одного Шапиро: пусть никакого отношения к Довлатову, но из того же рода-племени, что остальные. Ну да, два мира — два Шапиро: старая история, которую Сережа так любил рассказывать в связи с нашими

Шапирами, зато сейчас ее легко выудить из Инета, но чтобы читателю не отвлекаться от нашей книги, вот она вкратце.

Однажды — в 40, 50 или в 60-х, роли не играет — корреспондент агентства UPI Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.

— У вас пожар, — сказал ему Генри.

— А кто это говорит? — спросил Соломон.

— Шапиро.

Советский Шапиро решил, что его разыгрывают, и бросил трубку.

Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение UPI было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет — коридор весь в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась: два мира — два Шапиро.

Сережа рассказывал устно эту историю с двумя Шапирами куда лучше, чем я пересказываю письменно, подчеркивая, что того Шапиро из ТАССа звали, как и нашего Шапиро, Соломоном. В тон Довлатову я вспомнил про героя французского фильма с той же развеселой фамилией, но с ударением на последнем слоге: Шапиро́. Сережа посмеялся и стал всячески коверкать эту фамилию на французский лад, пока не дошел до цирка Шапито́.

— А у нас их даже не два, а целых четыре Шапиро́, если считать с женами, невзирая на их девичьи фамилии, — добавлял Сережа. — И все четверо — бывшие советские Шапиро́, а теперь — американские Шапиро́.

Вот одна из Сережиных историй про Изю Шапиро — как раз на сюжет их семейной фамилии.

Изя Шапиро часто ездил в командировки по Америке. Где бы он ни оказался, первым делом искал телефонную книгу.

Считал, сколько людей по фамилии Шапиро живет в этом городе.

Если таковых было много, город Изе нравился. Если мало, Изю охватывала тревога. В одном техасском городке, представляясь хозяину фирмы, Изя Шапиро сказал:

— Я — Израиль Шапиро!

— Что это значит? — удивился хозяин.

Нас с Изей Шапиро удивляет, почему Довлатов не приписал к этой истории еще одну, которую сам рассказывал устно со слов Изи.

Изя Шапиро впервые оказался в небольшом техасском городе Форт-Уорс. Этот городок представлялся Изе типичным ковбойским городком, где, как ему казалось, все ходят в ковбойских сапогах и шляпах, на боку у каждого кольты, отовсюду слышится стрельба. После шести вечера за пределы отеля Изя выходить не решался. Телевизора в номере не было. Открыв ящичек прикроватной тумбочки, Изя нашел Библию и телефонную книгу. Библия Изю не заинтересовала, зато к телефонной книге проявил интерес — хотелось узнать, чем живет этот маленький и пугающий город ковбоев. Случайно или не случайно книга открылась на букве «Ш» (Sh). К этой букве у Изи прикипела душа. И когда он увидел, что в городке семнадцать Шапиро, он понял, что все не так уж и плохо. И успокоился.

А теперь истории про Довлатова от Изи Шапиро — будучи оба репликантами, они иногда состязались в юморе.

Однажды, после очередного семейного стресса, я пожаловался Сергею, что у меня, кажется, депрессия. В каждой руке у меня было по пирожку, один я жадно доедал.

— Судя по твоему аппетиту, на депрессию это не похоже.

— Я ем не от голода, а на нервной почве, — сказал я.

***

Сергей терпеть не мог оставаться в должниках.

*— Даже представить себе не могу, как это можно занять и не вернуть, — говорил он. — Уж лучше, чтобы тебя на твоем дне рождения при гостях немецкая овчарка на кухне в жопу е**а.*

***

Однажды Сергей пришел домой в новой кожаной куртке.

— Откуда у тебя эта куртка? — спросила Нора Сергеевна.

— Мне ее Володя подарил.

— Подарил ли ты ему что-нибудь взамен?

— Да, мама, — ответил Сергей. — Шестьсот рублей.

В «Записных книжках» приведен другой вариант этой истории, ослабленный по причине отсутствия вездесущей Норы Сергеевны и снижения роли Довлатова, — вместо главного героя он становится рассказчиком (как и в байке о половом бессилии):

«Встретил я как-то поэта Шкляринского в импортной зимней куртке на меху.

— Шикарная, — говорю, — куртка.

— Да, — говорит Шкляринский, — это мне Виктор Соснора подарил. А я — ему шестьдесят рублей».

Судя по изменению 600 рублей на 60 после денежной девальвации 1961 года, записанная история вторичного происхождения, хотя потускнела она не от старости. Случалось, Довлатов был не только редактором, но и цензором самого себя.

Шутки шутками, но это было железным домашним правилом Довлатовых — возвращать долг. Я уже упоминал, как занес Сереже для опохмелки початую бутыль, по пути еще разлил, а Сережа вернул мне сторицей — «Абсолют» прямо из магазина. Человек я не сильно пьющий, а потому пытался всучить бутылку обратно Сереже, но он меня убедил: «Мне нельзя — могу снова загудеть».

А тогда, вернувшись со староновогодней гульбы с Шапирами, я с сожалением выключил телевизор со знаменитым — 32 «Эмми»! — Нилом Шапиро в разноцветных подтяжках и пошел работать. Завтра — нож к горлу, кровь из носу — я должен отослать этот кус воспоминаний в «Русский базар» бывшей Наташе Наханьковой, а теперь по мужу Наташе Шапиро: чтобы быть ближе к народу?

Мы выдавливаем из братьев Шапиро рассказы о Довлатове для этой книги, а заодно — чтобы они не канули в Лету и чтобы Изя и Соломон не остались в долгу перед покойником: столько о них устно и письменно нарассказал! Иногда, кстати, они пытаются опровергнуть его рассказы, но в конце концов их подтверждают — целиком или частично.

Такой вот пример. Как Соломон Шапиро поругался на похоронах матери с раввином: «Понаехало тут всякое говно из Ужгорода». Привожу по памяти Сережин рассказ, который он варьировал от случая к случаю. Раввин, как я понимаю, был из наших, в смысле — эмигрант. Так вот, будто бы он воздел руки к небу и наслал на Соломона страшные еврейские кары, на что Соломон сказал по-английски: «Знаю я вашу веру, электричеством в субботу пользоваться нельзя, а людей обжуливать можно…»

Спрашиваю у Соломона: было — не было?

— Известное дело, Сергей, как всегда, гиперболизует…

— Художества ради, да? А как было на самом деле? Скандал был?

— Точно не помню. Человек я несдержанный, могу иногда жопу показать.

— В смысле?

— Ну, когда пьян…

— Вы были пьяны?

— Ну да. С горя же…

— Соломон, хватит ходить вокруг до около! Вы сказали раввину, что понаехало всякое говно из Ужгорода?

— Не исключено. Ну, сказал. Вышел такой и начал ханжить. Общие слова, риторика, еле по-русски говорит — вот я и не выдержал. Но никаких проклятий он на меня не насылал. Этого еще не хватало! Сергей домыслил.

— Как насчет субботы? — продолжаю пытать Соломона.

— Да нет же. Наоборот, я чувствую себя евреем, отношусь с уважением к обычаям…

— Про субботу говорили или не говорили? — наседаю я.

— Откуда я помню? Это же в 1982 году было. Столько лет прошло. Мог, конечно, сказать. Такой тип был, что я мог что угодно сказать. Сам напросился!

— Соломон, — спрашиваю его в другой раз, — а правда, что вам платят зарплату только за то, что вы ходите на работу. Сережа говорил, — тороплюсь я сделать ссылку.

— Зачем же так? Опять довлатовское преувеличение. Работа и правда не пыльная. Помните, как в Союзе говорили? Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем.

— Погодите, Соломон! Здесь-то вам платят в долларах, а работаете вы, как в Союзе, да?

— На совести Сергея, — отрезает Соломон, и я понимаю, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут.

Светлана Шапиро, жена Соломона, вспоминает Довлатова не так чтобы с восторгом — ложка дегтя в бочку меда. Пусть она его недолюбливала, однако для равновесия ее минусовые истории не помешают. Вот одна из них:

Наша дружба с Сергеем завязалась в начале 80-х. Встречались нередко, Сергей приходил к нам с Леной. Иногда мы к ним. В отличие от Соломона, у которого с Сергеем сложились довольно нежные отношения, я всерьез Довлатова не воспринимала, дышала ровно. Сергей дарил нам свои книжки с надписями — остроумными и неглубокими. Когда у него вышла очередная книга, «Заповедник»,

он сделал на ней такую надпись: «Дорогим Свете и Соломону. Вы — единственная награда за все эмигрантские потери». Таким автографом можно гордиться и такие отношения надо было ценить и беречь. Через несколько дней я зашла к Довлатовым и увидела на столе стопку «Заповедников». Машинально открыла книгу и прочла на первой странице: «Дорогому Науму Сагаловскому. Вы — единственная награда за все эмигрантские потери». Открыла следующую: «Дорогому Аркадию Львову. Вы — единственная награда за все эмигрантские потери». И так в каждой книжке.

Мне эта история показалась забавной, но никак не предосудительной. Знаю по себе — иногда придумать оригинальную надпись на книге труднее, чем сочинить целую книгу. Ладно, шучу. Между прочим, сам Довлатов приводит аналогичный случай с Бродским, когда Сережа попросил его подписать сборник Галчинского, где четыре стихотворения были переведены Осей.

Иосиф вынул ручку и задумался. Потом он без напряжения сочинил экспромт:

Двести восемь польских строчек
Дарит Сержу переводчик.

Я был польщен. На моих глазах было создано короткое изящное стихотворение.

Захожу вечером к Найману. Показываю книжечку и надпись. Найман достает свой экземпляр.

На первой странице читаю:

Двести восемь польских строчек
Дарит Толе переводчик.

У Евгения Рейна, в свою очередь, был экземпляр с надписью:

Двести восемь польских строчек
Дарит Жене переводчик.

Невинный и дружеский вроде бы подкол, но Довлатов, чтобы не прогневать Бродского, добавляет ни к селу ни к городу: «И все-таки он гений». В чем, кстати, Люда Штерн права, так это в

объяснении, почему Довлатов, обидев в своих письмах всех своих друзей, приятелей, любовниц, знакомых — «не только пальцев на руках и ногах, но и волос на голове недостаточно», — сделал одно-единственное исключение для Бродского: «…только Бродского пощадил, и то из страха, что последствия будут непредсказуемы».

Записав рассказ Светы Шапиро, нашел наш экземпляр «Заповедника» и с некоторым трепетом раскрыл: «Лене и Володе Соловьевым — в память о дорогих местах». Вздохнул с облегчением и стал вспоминать в самом деле дорогие места — Пушкинские Горы. К слову, эта книжка только что вышла по-английски у нас, в Нью-Йорке, и в Лондоне; под разными обложками, но с одним названием — *«Pushkin Hills»*. Переводчик — Катя Довлатова. Семейный бизнес.

Уж коли зашла речь о Кате, то хотя Катя, судя по среднему баллу, в школе училась прилично, это не мешало Сереже рассказывать про нее и ее подружек дико смешные истории. Без разницы, что в них правда, а что вымысел. Привожу несколько, извлеченных мной из памяти Изи Шапиро.

У Кати была одноклассница Фира, полная еврейская девочка тринадцати лет из Черновцов. Вечерами Фира курила с пуэрториканскими мальчиками на капотах машин. Бабушка Фиры вышла, чтобы загнать Фиру домой делать уроки. Затянувшись, Фира крикнула:

— Бабушка, иди-ка ты сама домой, старая педерастка!

***

У Кати был экзамен по английскому, который она завалила, получив 36 баллов. Проходной балл был 50. Для проходного балла надо было правильно ответить на десять вопросов из тридцати. Сергей пожурил Катю и заодно поинтересовался, какой балл получила Фира.

— Семь, — ответила Катя.

***

Катя однажды принесла домой искусственный член.

— Что это за гадость! — сказал Сергей.

— Это никакая не гадость, папа. Мы это проходим в школе на уроке сексологии.

— И что, бывает экзамен?

— Да. Я набрала сто из ста, — гордо сказала Катя.

Или вот еще, я уже приводил, но здесь как нельзя кстати.

— Ну, почему, почему ты не хочешь со мной разговаривать? — пытал Сережа Катю.

— О чем с тобой говорить? Мне с тобой неинтересно!

— Катя, побойся бога! Люди платят деньги, чтобы пойти на мое выступление, послушать, о чем я говорю, задают вопросы. Им же интересно!

— Идиоты!

А та история с Сережиным автографом на этом не кончилась. Снова звонит Света Шапиро и говорит, что ошиблась, — идентичные автографы были, оказывается, на другой Сережиной книжке — «Зоне». Иду снова к заветной полке с автографами коллег-писателей, раскрываю «Зону»: «Лене и Володе с ощущением их неизменной доброжелательности». Да, так он не мог написать больше никому, ведь все его коллеги обзавидовались Сережиному американскому успеху, особенно публикациям в «Нью-Йоркере».

Пытаю сейчас свою память, но никак не могу вспомнить, кому из нас принадлежит образное определение ситуации на нашей географической родине, когда там в очередной раз пошли разговоры о пятой колонне:

— Колонна № 5 и Палата № 6.

Наверное, все-таки мне, потому что если и возникал у нас стеб о политике, то исключительно по моей инициативе. Как-никак, я — профи политолог.

Другой негатив от Светланы Шапиро связан с любовными похождениями Довлатова. Впрочем, «любовные» слишком громко сказано. Насколько мне известно, в его жизни было две любови — и обе к собственным женам: Асе Пекуровской и Лене Довлатовой. «Что я, хунвейбин какой-то? Влюбился — женился!» — Сережины слова. В отношении к другим женщинам Сережа был не могу сказать, что очень разборчив. Скорее — неразборчив. Может, это связано с его алкоголизмом, не знаю. Или с тем, что главные его женщины, его жены, Ася и Лена, стояли на такой недосягаемой высоте и жизнь с ними была как непрерывный экзамен, что ему позарез необходимо было расслабиться на стороне — с женщинами, которые ничего от него не требовали и принимали таким как есть. Вот он время от времени и давал левака, чтобы

опорожнить семенные пузырьки, но ходоком не был. Сам по себе процесс соблазнения женщины его увлекал не меньше, чем конечная цель этого процесса, хотя еще вопрос, кто кого соблазнял. Уболтать женщину он считал своей мужской обязанностью — и доблестью. Да и убалтывать особенно не приходилось: настоящий мужчина всегда добьется от женщины то, чего она от него хочет. (Почему-то моему соавтору этот анекдот не очень нравится. Мое дело сторона: не я его сочинил.)

Почему, кстати, выражение «гулял налево» относится только к нашему мужескому племени? Дискриминация слабого пола, хотя слабым его тоже не назовешь. Взять хотя бы продолжительность жизни…

Помню, встретил Сережу с весьма вульгарной на вид девицей латинского происхождения заходящим в секс-клуб у нас на 63 Drive, (Сейчас как раз ее отрезок ближе к 108-й улице, по месту его жительства, переименовали в Sergei Dovlatov Way. Я хотел воскликнуть «Беспрецедентно!», но, оказывается, у нас в Нью-Йорке уже есть две писательские улицы — Тараса Шевченко и Шолом-Алейхема.) Так вот, Сережа махнул мне рукой и криво ухмыльнулся. Застеснялся? И да и нет. В этой его ухмылке было всего навалом для тех, кто его знал, — и стыда, и гордости. Да, я такой, да, я разный, мне стыдно, но я не хочу стыдиться своего стыда — и не буду. И еще некоторая опаска: я дружил не только с Сережей Довлатовым, но и с Леной Довлатовой, что ему не очень нравилось, и однажды — я уже писал об этом — он мне устроил небольшой такой телефонный разнос. Однако ни ябедой, ни доносчиком я никогда не был, не говоря уже о мужской солидарности.

Светлана Шапиро:

Сергей любил производить на людей впечатление — без разницы, кто перед ним. Однажды я села в автобус на нашей 108-й и увидела Сергея, который разговаривал, как я поняла, с совершенно незнакомой и не его круга женщиной. Сильно разрисованная, напомаженная, напудренная, в обтягивающей одежде, пошлый такой тип. Разговаривали они громко, и не надо было прислушиваться, чтобы угадать довольно интимную историю о том, как Сергей уехал от жены в Таллин и там близко сошелся с другой женщиной. Похоже было, что своим доверительным рассказом впечатление на незнакомую женщину Сергей произвел и добился, чего хотел, коли они вышли вместе на одной остановке.

И что **она** хотела, добавлю я от себя, верный выше изложенной теории.

На эту тему довлатовской сексуальной всеядности я знаю множество историй и сплетен и какие-то уже приводил в этой книге, но не буду сейчас выходить за пределы семейного круга Шапиро. Как и я, Изя Шапиро пытается объяснить эту мужскую непритязательность, неприхотливость алкоголизмом Довлатова. Хотя не только. Вот несколько «дамских» историй от Изи.

Как-то он предъявил мне очередную свою пассию, не могу сказать, чтобы очень молодую. Да вы ее знаете, Володя. Это одесситка Х. Сейчас она поменяла свою еврейскую фамилию на более звучную — шотландскую. Ну да, дети капитана Гранта. Не слишком ли много Грантов в нашей эмиграции? Шотландские кланы в смятении. Короче, Сергей отвел меня в сторону и спросил мое мнение. Я сказал, что НЕ хотел эту женщину в России двадцать лет назад, когда еще бушевали гормоны, — мне было двадцать пять, а ей сорок.

Сергей со мной скоро поквитался, увидав однажды с одной молодой женщиной из Москвы. Мы несколько раз появлялись с ней вместе в общих компаниях, и я немножко удивлялся, что Сергей никак не комментирует мою новую подругу. В конце концов не выдержал и спросил Сергея напрямик про эту москвичку. Надо было видеть, как Сергей посмотрел на меня сверху вниз:

— Ну, ты тоже, Изька, не Роберт Редфорд.

А как-то Сергей прихвастнул, что, сам того не желая, переспал за одну ночь с шестью женщинами. Я сказал, до Геракла ему все равно далеко.

— То есть? — удивился Довлатов.

— Тринадцатый подвиг Геракла, — сказал я. — Согласно мифу, он за одну ночь сделал 50 девушек женщинами.

— Так это же миф… — успокоился Сергей.

«А шесть женщин — не миф?» — подумал я.

Опять-таки я писал, что Довлатов любил пересказывать реплики своей матери — некоторые я приводил, включая ее пожелание сыну, чтобы его сизый х** отсох, — мало не покажется! Вот еще одна, которую рассказывал мне Сережа, а Изя Шапиро напомнил (я ее тоже приводил, но позволю себе повториться).

Нора, будучи очень едкой, колкой и ревнивой мамой своего единственного любимого сына, никогда не упускала момента поддеть Сергея и его очередную барышню. Проснувшись рано утром, она подходила к двери спальни, где Сергей спал с женщиной, стучала в дверь и громко спрашивала:

*— Сереженька, вы с б**дем будете кофе или чай?*

Для сравнения — прилизанный, обескровленный и беспамятный, с убогой концовкой вариант Арьева:

*У Сережи как-то осталась ночевать одна барышня. Утром к ним в комнату заходит Нора Сергеевна, видит их вдвоем за столом и говорит: «Сережа, вам с б*****ю горошку давать?» Сережа расхохотался. Все, на этом любовь кончилась.*

Ответ Изи Шапиро на мой вопрос относительно ключевого слова:

— Володя! Исключительно с б**дем. «С б****ю» звучало бы просто как оскорбление приличной девушки, а «с Б**ДЕМ» — игриво!

В этом вся Нора!

Еще история про мать и сына Довлатовых — спасибо памятливому Изе Шапиро, нашей живой летописи!

Нора часто корила Сергея за пьянство. Когда Сергей валялся на полу пьяный, в полусознательном состоянии, Нора, желая пристыдить его, сказала:

— Смотри, на кого ты похож, скотина! Бери пример с Сермана, он не пьет.

Марк Серман был соседом Довлатова. Пьяный, Сергей все равно не терял чувства юмора:

— Мама, даже сейчас я красивей, чем Серман в день свадьбы.

Уж коли зашла речь о Сережиных пьянках, еще один рассказ от Изи Шапиро.

Несмотря на частое общение, я ни разу не видел Сергея в ужасно пьяном виде. Может быть, мне просто повезло. Только однажды, когда я подъехал к дому со своей мамой, седенькой такой старушкой, заметил Сергея, еле стоящего на ногах и держащегося за дерево. Очевидно, он был под градусом. Тем не менее, вежливо поздоровавшись, Сергей заглянул внутрь машины и спросил:

— Ахматова?

Два, наоборот, антиалкогольных эпизода с женой Изи Юдитой, которую Сережа ласково звал Юдитище, что уже смешно.

Юдита, которая знала, что Сергей выпивает, хотя, конечно, не знала о размахе его загулов, сказала ему:

— Сережа, не пейте, пожалуйста!

— Дорогая Юдитище, если вы скажете еще более проникновенно: «Сережа, ну не ПЕЕЕЕЙТЕ, ПОЖАААЛУУУСТА», вы думаете, я брошу пить?

А еще через некоторое время, повстречав Сергея, Юдита спросила:

— Сергей, я надеюсь, вы больше не пьете.

— Дорогая Юдитище, я зашился. Если я выпью — у меня черный дым изо рта повалит.

А вот рассказы Довлатова про Изю Шапиро.

Знакомый режиссер поставил спектакль в Нью-Йорке.

Если не ошибаюсь, «Сирано де Бержерак». Очень гордился своим достижением.

Я спросил Изю Шапиро:

— Ты видел спектакль? Много было народу?

Изя ответил:

— Сначала было мало. Пришли мы с женой, стало вдвое больше.

***

Звонит приятель Изе Шапиро:

— Слушай! У меня родился сын. Придумай имя — скромное, короткое, распространенное и запоминающееся.

Изя посоветовал:

— Назови его Рекс.

***

Нью-Йорк. Магазин западногерманского кухонного и бытового оборудования. Продавщица с заметным немецким акцентом говорит моему другу Изе Шапиро:

— Рекомендую вот эти гэс овенс (газовые печки). В Мюнхене производятся отличные газовые печи.

— Знаю, слышал, — с невеселой улыбкой отозвался Изя Шапиро.

***

Изя Шапиро сказал про мою жену, возившуюся на кухне:

— И все-таки она вертится!..

В продолжение еще немного про Лену Довлатову из рассказов Изи Шапиро.

Сергея часто раздражало, что Лена бывала слишком холодна и спокойна, даже в ситуациях, где обычной была бы хоть какая реакция:

— Ну, вскрикнула бы «Ой!» или схватилась за голову!

Сергей говорил, что, если бы, зайдя на кухню, он объявил Лене, что у него обнаружили рак, Лена бы спокойно продолжила чистить картошку.

— Лена, почему ты не волнуешься? — крикнул бы я.

— Я волнуюсь, — ответила бы Лена, продолжая чистить картошку.

Однажды все-таки, когда Сергей возвратился домой поздно, вызвав тем самым у Лены справедливые подозрения, она запустила в него куриной ножкой и попала в висок.

— Хорошо, что я купил свежие куриные ножки, а не замороженные, а то бы мне конец, — сказал Сережа.

Еще одна Сережина история с главным героем Соломоном Шапиро:

Братьев Шапиро пригласили на ужин ветхозаветные армянские соседи. Все было очень чинно. Разговоры по большей части шли о величии армянской нации, о драматической истории армянского народа. Наконец хозяйка спросила:

— Не желаете ли по чашечке кофе?

Соломон Шапиро, желая быть изысканным, уточнил:

— Кофе по-турецки?

У хозяев вытянулись физиономии.

Изя Шапиро вспоминает не только свои истории с Довлатовым, но и те, которые знал понаслышке, а Сережа был притчей во языцех в нашем куинсовском русском землячестве.

Сергей был необычайно щедр — не по-еврейски, а по-кавказски. Рядом на лестничной площадке жила мать-одиночка с 12-летней дочкой, а та мечтала о велосипеде. Однажды поздно вечером Сергей поехал в магазин, купил велосипед и ночью поставил перед соседней дверью. И не признался, что это он.

История вполне в духе Сережи, но чувствовался в ней какой-то изъян в смысле правдоподобия, ибо не из первых рук, и я сбрасываю ее Лене Довлатовой, не сообщая источник. И мгновенно получаю ответ.

«Володя, вот это и есть тот самый миф, который создали вокруг настоящей истории. Но не Сережа, заметьте. Потому история получается довольно пошловато-святочная.

На самом деле было совсем не так. Действительно, в доме по соседству жила семья наших знакомых. Две сестры. Одна уже давно жила в Америке. Другая приехала недавно. У обеих было по дочке, примерно одного возраста. У девочки, жившей в Америке давно, был велосипед. Но у нее был плохой характер. И он выявлялся в отношениях с двоюродной сестрой тоже. И Сережа однажды это увидел. Как раз дело было с велосипедом, который был только у одной. Тогда Сережа решил купить обиженной девочке велосипед. Но мы тоже были, мягко говоря, небогаты. Поэтому Сережа решил купить подержанный. И чтобы выяснить, как это сделать, обратился к Соломону Шапиро. Тот принял историю близко к сердцу. И, будучи тоже человеком широким, пошел с Сережей велосипед покупать.

Покупку ни под какую дверь не подкладывали, а со словами, что какие-то знакомые избавлялись от уже ненужного предмета, вручили девочке.

Вот как на самом деле все обстояло.

А вам самому нравится, что Сережа „был не по-еврейски, а по-армянски“ щедр? По-моему, это проявление антисемитизма. Как и одна рюмка водки в день перед обедом врачами квалифицируется как алкоголизм.

Засим обнимаю вас с Леной. Лена».

Не знаю, как быть. Сообщить Изе Шапиро, что он антисемит?

Вот еще несколько его историй, где его самого нет, а главные фигуранты — Сережа и его брат Соломон Шапиро.

Когда Соломон собрался ехать в Россию и предложил Сергею встретиться в Питере с его двоюродным братом Борисом, большим прохиндеем, и передать ему что-нибудь, Довлатов испуганно замахал руками:

— Ни в коем случае! Он тебя ограбит!

***

Сергей не любил ничего банального, включая посещение музеев. Прожив десять лет в Нью-Йорке, он ни разу не был в Метрополитен-музее. Соломон, человек окультуренный, регулярный ходок в театры и музеи, пристыдил его и уломал-таки поехать с ним в Метрополитен. Они уже спустились в подземку, взяли билет, вышли на платформу, и тут Сергей с криком «Нет, не могу я это сделать!» рванул обратно, так никогда и не побывав в главном музее Америки, к ужасу Соломона, чья культуртрегерская миссия провалилась.

***

У Соломона на дне рождения одна одесситка, ярая матерщинница, желая польстить Сергею, сказала:

— Так смеялась, когда читала, что обоссалась!

— Я и не знал, что моя проза действует как мочегонное средство, — сказал Сергей.

***

Сергей Довлатов и Соломон Шапиро стоят на 108-й улице и беседуют. Соломон замечает рядом, в опасной к ним близости, собачьи какашки и предлагает Сергею отойти в сторонку, чтобы ненароком не вляпаться.

— Да не вляпаемся. Не обращай внимания. Продолжаем разговор.

Соломон, однако, настаивал. Тогда Сережа, не выдержав, растаптывает какашку ногой:

— Всё! Это уже произошло и осталось позади. Продолжаем разговор!

В другом варианте этой истории Довлатов вынимает из кармана чистый носовой платок и покрывает им собачье дерьмо.

Когда у Сергея начались проблемы со здоровьем и подозревали рак мочевого пузыря, его повезли на тест и должны были поставить катетер. Эту процедуру проводила русская медсестра, которая узнала Довлатова.

— Вы писатель? — спросила она, устанавливая катетер.

Превозмогая боль, Сергей закричал:

Да-а-а-а…

Тревога оказалась ложной.

— Рак пятится назад, — сообщал всем Довлатов.

В «Записных книжках» эта фраза отдана Лене Довлатовой.

Я уже писал, что с английским у Довлатова были сложные отношения: будучи перфекционистом, он стеснялся говорить на языке, который знал не в совершенстве. Искренне удивлялся, как я ориентируюсь на хайвеях по дорожным знакам: «Это ж надо успеть их прочесть на ходу, а потом перевести с английского на русский!» Еще говорил: «Дай бог понять одно слово из целой фразы. Хорошо еще, если это существительное или глагол, а если прилагательное или, хуже того, междометие?» Когда он хвастал своей американской любовницей и Изя ему сказал, что так он заодно подучит английский, Сережа ответил, что выучил пока что одно только предложение благодаря этой нимфоманке: *«Fuck me hard»,* — вы, наверное, помните эту историю.

А вот другая история, опять-таки от Изи Шапиро, который удивился, узнав, что Довлатов боится ездить в метро и попасть в передрягу.

— Такой большой и сильный! Я маленький — и не боюсь.

— Дело в моем английском, — загадочно ответил Довлатов.

— Какое это имеет отношение к драке?

— Самое прямое! Когда дерешься, надо выкрикивать какие-то английские слова, а какие — я не знаю.

— Так вы его по-русски покройте, — нашелся Изя.

— А что, это мысль… — сказал Довлатов.

А Соломон Шапиро вспоминает, как встретил однажды Довлатова на 108-й улице с запиской в руках, которую дал прочесть Соломону.

Что сделать сегодня.

1. *Позвонить Карлу Профферу.*
2. *Купить апельсиновый сок Норе.*
3. *Сделать ксерокс.*
4. *Не забыть не поздороваться с Моргулисом.*

Сноска в тексте: Карл Проффер — один из Сережиных издателей, а Михаил Моргулис — тоже издатель, самодельный, с которым Сережа был на ножах.

А теперь слово Лене Довлатовой, у которой я сверяю выжатый из вспоминальщиков апокриф:

«Доброе утро, Вольдемар.

Ну и истории. От Соломона Шапиро? О чем так увлеченно мог Сережа говорить с Соломоном, чтобы заставить себя вступить в собачьи экскременты, лишь бы не прерывать такое событие? Накрыть носовым платком — больше в образе. И стилистически ближе.

Насчет списка дел. Сережа их писал в записной книжке, которую я называю книгой. Про это уже было не раз писано. Но это ладно. Пусть создаются мифы. Тем более они имеют право существовать в семействе Шапиро, с которыми мы с Сережей были долго в близких отношениях. Вот только мелкие детали все-таки выдают, что эти истории принадлежат человеку, который не обращает внимания на эти детали. В записке сказано между прочим, что надо купить „сок Норе“. Говоря отцу „Донат“, Сергей всегда называл Нору мамой.

Уверена, что Изя не называл свою маму „седенькой такой старушкой“. Изя все-таки не похож на работника конструкторского бюро, коллекционера анекдотов, рассказываемых в излюбленной ими манере: под Зощенко.

Мне кажется, чем короче такие истории, тем они лучше.

Простите, Вольдемар, за крисисизьм.

Лена читала эти воспоминания? Она все в них одобрила?

Только не обижайтесь на меня. Я ведь по-дружески, как вы и хотели, отметила мелкие несообразности.

Обнимаю, Лена».

Вольдемар Соловьев — Лене Довлатовой.

«Лена, на что мне обижаться? Наоборот, очень-очень вам благодарен. Это же не мои истории — за свои я отвечаю. Но довлатовские мифологизмы важны, чтобы сделать паузу в серьезном и драматическом драйве книги.

Все поправки, Лена, будут учтены — я для того вам и посылаю эти мемуаризмы, чтобы вы их откорректировали. Может быть, иногда стоит дать сплетню-легенду, а потом вашу поправку, чтобы оттенить легендарность Сережиной личности. Превращение человека в миф — процесс, который заслуживает если не анализа, то демонстрации. Это все, за редкими исключениями, доброжелательное мифотворчество — в отличие от поклепов завистливо-стукаческого жанра Ефимова или ревнивых вымыслов Попова.

То есть — опять-таки со ссылкой на Сережу — „вредный стук“. А то, что я посылаю вам, — безвредные, уважительные, дружеские всплески, выдавливаемые мною из вспоминальщиков.

Если не будете сопротивляться, буду и дальше проверять у вас

некоторые детали.

Ваш ВС».

Вот отвергнутая Леной история, которую я все-таки приведу — не цензурировать же мне Сережу!

Все, наверное, думают, что мы сидим с Леной на кухне и ведем интеллектуальные беседы, обсуждая раннюю философию Бердяева. А у нас разговоры протекают примерно так (изображая раздражение):

— Ну я же тебе сказал купить «Тропикану», вот бля…

Множество историй связано с престарелым Андреем Седых, когда-то литературным секретарем Бунина, сопровождавшим его в Стокгольм за Нобелевской премией, а потом редактором «Нового русского слова», где работала Лена Довлатова, но вынуждена была уйти после того, как Сережа стал редактором конкурирующего «Нового американца». Среди Сережиных подколов редактору «Нового русского слова» был такой:

— Ты уже Седых и Старых, будь же Умных наконец!

Борьба дошла до точки кипения, когда Андрей Седых печатно обозвал Довлатова «вертухаем», а Сережа в отместку назвал свою таксу Яковом Моисеевичем (настоящее имя Андрея Седых). Однажды в этот конфликт подзалетела сотрудник «НРС» Светлана Шапиро, которая винила во всем Довлатова: тот избрал именно ее «горевестником» для передачи Седых одного неприятного ему материала. Это было на следующий день после панихиды по отцу Светы, на которую Сережа не пришел по «уважительной» причине: «Стоять рядом с этой жабой Седыхом!» Тот действительно походил на жабу — не в бровь, а в глаз! Подробности опускаю, но это была еще одна причина для растущей неприязни Светланы к Довлатову.

Когда мы приехали в Америку осенью 1977 года, Андрей Седых хорошо нас принял, обласкал и напечатал расширенный вариант статьи — два подвала, сокращенная версия которой появилась в «Нью-Йорк таймс»: 750 слов — регламент этой ведущей газеты мира для внештатных авторов. Полоса была поделена пополам: одну половину занимала статья академика Сахарова, а другую — наша с Леной о нем. Статья сочувственная, но с пессимистическими прогнозами о возглавляемом им диссидентском движении. Под общей шапкой *«By Sakharov. And About Him».* К сожалению, мы оказались правы в своих предсказаниях.

Что тут началось! Русская публикация вызвала скандал,

«Новое русское слово» чуть ли не каждый день печатала ответные статьи и в заключение дискуссии, хотя по жанру это было скорее аутодафе, опубликовала наше пространное заключительное слово. Андрей Седых снова принял нас в своем кабинете и сказал, что больше никто нас печатать не будет.

— А вы? — спросил я.

— Я — буду, — последовал незамедлительный ответ.

— Ну, что ж! — сказал я Лене, когда мы вышли из редакции. — Нам ничего не остается, как стать американскими журналистами.

Что и произошло. Нас печатали главные американские газеты и престижные журналы, на волне успеха наши статьи стал распространять крупнейший газетный синдикат, и мы даже оказались в числе трех финалистов Пулицеровской премии в категории «комменты». А потом один за другим стали издаваться наши политологические триллеры — авансы достигали шестизначных чисел, и Довлатов пытал нас, сколько именно мы получили за книгу про Андропова — 100 000 или 999 999 (увы, куда ближе к первой отметке).

А тогда, в год нашего приезда в Америку, Андрей Седых в свои 75 (ровесник моего давно умершего отца) был еще о-го-го — в полном здравии и здравом уме. Это потом он стал сдавать и, хотя каждый день появлялся на работе, ошарашивал сотрудников вопросами типа:

«Не забыли переслать гонорар Льву Давыдычу?», не подозревая, что Троцкий давным-давно в могиле.

Мы с Леной Клепиковой (сольно) и с Довлатовым вовсю уже, по нескольку раз в неделю, печатали в «Новом русском слове», слегка переделав под газетный жанр, наши радиоскрипты. Отношение к Седых у Довлатова смягчилось, хотя он продолжал отпускать в его адрес шутки, но скорее добродушные, чем злые: карикатура сменилась шаржем. Раскопал где-то цитату из статьи молодого Седых, вряд ли сам сочинил за него: «Из храма вынесли огромный портрет Богородицы». А уж в «Новом русском слове» мы находили ляпсусы, один почище другого: «На юге Франции разбился пассажирский самолет. К счастью, из трехсот человек, летевших этим рейсом, погибли двенадцать!» Либо в связи с болезнью старого литератора статья под названием: «Состояние Родиона Березова».

Было — не было, но Соломон Шапиро напомнил мне о встрече 80-… уж не знаю, сколько именно летнего Андрея Седых с Сергеем Довлатовым в расцвете лет.

— Как жизнь молодая, Яков Моисеевич? — приветствовал Довлатов ветерана русской журналистики.

Смешно, да? Знал бы Сережа, что Андрей Седых перевалит за девяносто и переживет его на четыре года.

Раздел IV. Жизнь после смерти

Жизнь после смерти

Все интересуются — что там будет после смерти?

После смерти — начинается история.

Сергей Довлатов

Уже после некролога, который я опубликовал в «Новом русском слове», я почувствовал недостаточность публицистического либо мемуарного слова, чтобы понять такого сложного и трагического человека, каким был Довлатов. Отсюда выходы в соседний жанр, которым мы с Леной Клепиковой владеем и предпочитаем всем остальным: прозу. То же самое с Бродским, о котором я сочинил два романа — «Три еврея» и «Post mortem». Нам — каждому по отдельности — не миновать было две эти самые крупные литературные фигуры. В воспоминаниях мы писали о том, что знали и помнили, в прозе — о чем догадывались и что угадывали в Довлатове и Бродском. К памяти подключалась интуиция, фактограф сменялся художеством. А как-то я даже прорвался в далекий жанр и сделал двухчасовое кино «Мой сосед Сережа Довлатов» с участием в нем самого Довлатова (в записи) и обеих Лен — Лены Довлатовой и Лены Клепиковой. Фильм несколько раз показывали по ящику, одновременно вышло видео, а потом и диск. Премьера на большом экране состоялась в популярном клубе в Манхэттене — зал был не просто полон, его пришлось удлинить вдвое, сняв перегородную стенку, — впервые в истории этого клуба. Это был первый фильм о Довлатове — о его содержании читатель может судить по обеим обложкам видео (среди иллюстраций) и по приводимой рецензии писателя и журналиста Вадима Ярмолинца в «Новом русском слове». Упоминается этот фильм и в рассказе «Заместитель Довлатова», герою которого я дал его авторство, хотя сам рассказ о другом: как уболтать женщину, используя знакомство с Довлатовым.

Обращение к прозе мы с Леной Клепиковой объясняли тем, что лот художества берет глубже публицистического анализа. Именно поэтому самый блестящий аналитик русской литературы Юрий Тынянов бросил литературоведение и критику и стал писать о Пушкине и Грибоедове романы. Но это все-таки не единственная причина нашего с Леной сольного обращения к прозе. Скажу за себя.

Какие-то догадки, предположения, гипотезы я никак не смог бы выразить мемуарно без прочной опоры на реальные факты.

Вдобавок причина даже не юридического, а скорее морального свойства. Ну, как описать широко известного в наших узких кругах интеллектуального антисемита под его собственным именем? Под своим именем он тоже представлен в этой книге — с тем, что он полагает «антисемитизмом высокой пробы» и что Довлатов считал частью его говнистости, а мне представляется оригинально, стильно выраженным клише и баналом: человек он, безусловно, одаренный. Короче, в таком упрощенном виде он не годился для изящной словесности, а потому понадобилось дать ему более серьезные аргументы и сам его образ углубить. Вот так и возникла повесть «Еврей-алиби», где Довлатов дан под своим именем, зато антагонист авторского персонажа — биографически перелицован и под псевдонимом.

И наконец, случай, который возник в процессе создания этой книги и стоил мне многих нервов. Когда образовалось небольшое окошко в нашей работе, я перелопатил весь мой архив, находящийся в немыслимо бардачном состоянии — в отличие от Сережиного, который он содержал в образцовом порядке, борясь с хаосом внутри себя. Зато я знал, что искал. Копии писем Довлатова, оригиналы которых его адресат — Юнна Мориц — уничтожила (будто бы по его просьбе). Не уверен, что я нашел все — цейтнот! — но и те, что нашел, привели меня в бурный восторг. Чувствовал себя Генрихом Шлиманом, раскопавшим древнюю Трою. Письма — изумительные! Лучшие в эпистолярном наследстве Довлатова! Самый лакомый кусок в нашей книге! А какой сюжет между двумя выдающимися представителями русской литературы. Такой прорыв в работе! Показываю Лене Клепиковой и отсылаю Лене Довлатовой, а сам бросаю все и начинаю сочинять новую главу «Уничтоженные письма». И тут вдруг на экране зажигается оранжевый конвертик: письмо от Лены Довлатовой: «Спасибо за письма. По-моему, замечательные…» Я уже приводил это письмо, и не раз.

А дело было так. Тогда в Москве я писал большой роман, где был «Эпистолярий», даже два — большой и малый, а потому клянчил у знакомых письма, делал с них копии и возвращал обратно. Юнна дала мне Сережины письма с нехорошей и несправедливой припиской, а потом ни за что не хотела брать обратно. Межличностные отношения меж ними порваны (почему — тоже сюжет) и были восстановлены только годы спустя в Нью-Йорке с моей помощью.

Так вот, найдя копии уничтоженных писем, я пребывал в эйфории и кайфовал, перепечатывая их и сочиняя преамбулу. Праздник посреди трудов праведных. Работал до поздней ночи, а наутро разверзлись хляби небесные: Лена Довлатова передумала и

возражает против публикации этих писем. Первый и, надеюсь, единственный конфликт между нами не только за время нашего содружества по этой книге, но и по жизни — за всю нашу дружбу.

— Лена, я вас не узнаю! Вас как подменили! — кричу в телефон.

Материально письма принадлежат Юнне Мориц — как бумага, на которой они написаны, но коли письма уничтожены, то ей не принадлежит больше ничего. Однако содержание этих писем — интеллектуальная собственность правообладателя, то есть Лены Довлатовой.

После долгих и мучительных переговоров Лена разрешила мне приводить цитаты из этих писем, но не письма целиком.

— Пусть так, — ищу я лазейку. — Тогда уговор: кроме приведенных цитат, эти письма как бы не существуют вовсе, потому что уничтожены и известны только нам с вами. Я оставляю за собой право использовать их в своей прозе. Как и задумывалось, когда брал у Юнны. Сочиню по ним докурассказ. Не возражаете?

— Я не могу возражать, Володя. Это ваше право как писателя.

Спасительная идея!

Вот я и говорю, что проза бывает вынужденной, спасительной, когда нет никакого другого выхода. Как в этот раз.

Везет же некоторым с соседями

[5]

Нью-йоркский писатель Владимир Соловьев много лет жил по соседству с Сергеем Довлатовым и лишь через десять лет после его смерти рассказал об их отношениях в фильме «Мой сосед Сережа Довлатов». Для меня этот фильм стал иллюстрацией к небольшому очерку Соловьева «Довлатов на автоответчике» из большого сборника прозы Соловьева, вышедшего в России. Автор скромно называет этот фолиант «килограммом прозы». Не будучи Золя или Диккенсом, я отношусь к этому килограмму с предельной серьезностью.

<…> Неизбежное, если так можно выразиться, достоинство фильма в том, что он сделан человеком, который хорошо знал Довлатова, был вхож в его дом и посвящен в его частную жизнь.

Повидав не один писательский дом-музей, я поймал себя на том, что, глядя соловьевский фильм, проявил самое что ни на есть невоздержанное любопытство к быту Довлатова. В квартире, где он жил с женой Леной, дочерью Катей, сыном Колей и старушкой матерью, у классика не было кабинета. Он пристроил рабочий стол в углу, «обуютив» его любимыми снимками и рисунками.

Стол с пишущей машинкой содержится Еленой Довлатовой в образцовом порядке. Получается музей-уголок, вокруг которого идет своим чередом обычная жизнь. Отсюда ощущение, что владелец этого стола может в любой момент войти в комнату, появиться в кадре. И то же чувство возникает, когда Соловьев с Еленой беседуют на кухне, где так часто чаевничали соседи-литераторы.

Откуда этот эффект присутствия? Я думаю, он возникает исключительно благодаря той обыденности, которую задает всей съемке Соловьев. Он относится к классику без толики пиетета, а зашел к Довлатовым со своим оператором Валерием Письменным запросто, *именно как сосед заходит к соседу*!

Но здесь есть и толика ощущения прямой общности с писателем-современником, вынужденным заниматься журналистской поденкой. Соловьев вспоминает довлатовскую мечту, в которой я не нахожу и толики иронии — Сергею звонят со «Свободы» с предложением написать сценарий очередной радиопередачи, а он посылает звонящего в совершенно безвозвратную даль: «Иди ты, Юра…»

Я не хотел бы пересказывать двухчасовой фильм, тем более перед его премьерой. Ее организуют совместно русский отдел

Бней-Циона и клуб «Оскар», и пусть каждый зритель сам ищет в фильме достоинства и недостатки. <…>

В фильме есть несколько новелл в высшей степени интересных. <…> Прямолинейный и потому очень эффектный рассказ супруги создателя фильма Елены Клепиковой о ее еще ленинградском знакомстве с Довлатовым. Клепикова работала в редакции «Авроры», и на ее глазах молодой писатель прошибал лбом китайскую стену, возведенную вокруг печатных органов официальной советской литературы. Но вот что невероятно интересно: если в «Ремесле» перед нами предстает безусловная жертва режима, то в рассказе Клепиковой Довлатов сам говорит о вещах, вполне объективно тормозящих его проникновение в «сферы». Он называет себя «писателем-середнячком», «хорошим третьим сортом», «мухой-однодневкой». Он повторяет, что он не писатель, а рассказчик. Восхищаясь Фолкнером, он подыскивает себе эквивалент попроще — Куприна.

Это — момент истины. Довлатов состоялся как значительный писатель уже в иммиграции. Мастерство, достигнутое здесь, в Америке, на порядок выше старого, советского. Там он учился. Клепикова говорит, что у читающего Ленинграда были свои признанные стилисты: Марамзин, Битов, Попов. Так, может быть, поэтому и не печатали? Зная, сколько там печатали откровенной дряни, понятно, что не это главная причина, но это наверняка способствовало непечатанию при звучащей чуть-чуть не в унисон иронической интонации автора, чуть-чуть неортодоксальном взгляде на жизнь. Впрочем, тут, конечно, все сложнее. Составных — хоть отбавляй, в том числе и совершенно сознательная травля некоторых авторов не за прегрешения перед властью, а просто в назидание другим. Чтобы слушались.

Первый раз Довлатов иммигрировал из Ленинграда в Эстонию и здесь пережил следующий удар — набор его сверстанной книги рассыпали по указанию свыше.

Клепикова рассказывает о писательской встрече тех лет в Таллине, где входящий в силу советский поэт Александр Кушнер горячо убеждает ее в том, что путь, по которому идут Марамзин, Бродский, тот же Довлатов, порочен. Что нужно печататься в СССР. Мало того что нужно, но и можно! И его, Кушнера, опыт подтверждает это. Потом они оказываются в доме, где рассказчица сталкивается с Довлатовым. Писатель, чья заветная мечта напечататься в СССР только что была буквально рассыпана вместе с набором его книги, сидит на полу в окружении тьмы опустошенных бутылок.

«Передо мной был человек, переживший катастрофу, — вспоминает Клепикова. — И было совершенно очевидно, что этот

человек — не какой-то опустившийся алкоголик».

Цитирую Клепикову по памяти, но смысл именно такой. И конечно, эта катастрофа в полной мере оправдывает то, что о своем трагическом писательском опыте в Ленинграде, а потом в Таллине он писал другой рукой, с другим жизненным опытом.

Повторяю, эта новелла — блестящая.

Такой же интересной мне показалась новелла об отношениях Довлатова и Бродского, «нобеля», купающегося в лучах всемирной славы, и «писателя-середнячка», у которого даже не было своего кабинета. Мы знаем, что высшим американским литературным достижением Довлатова была публикация его рассказов в одном из самых престижных литературных журналов Америки — «Нью-Йоркере». Публикации в «Нью-Йоркере» поспособствовал «нобель».

Но «нобель», обожествленный миллионами поклонников и десятками критиков, был тяжелым человеком, любившим показать, «кто в доме хозяин». И отсюда — немного шокирующая мольба Довлатова: «Иосиф, унизь, но помоги!» Ирония? Лишь отчасти, после рассказа Соловьева о том, как «нобель» заставил два часа торчать пришедших к нему Сергея с Еленой на улице, поскольку принимал более важного посетителя. Классики жили вполне заземленными страстями, обидами, тщеславием. И какой извращенной представляется вполне ординарная для них мысль — кто о ком напишет! Соловьев безжалостно доводит до нас слова Довлатова о том, что-де Бродский — сердечник и, стало быть, писать, скорее всего, будет о Бродском он — Довлатов. А у меня всплывает в памяти плакатик в вагоне нью-йоркской подземки с двустишием Бродского на английском. Цитирую по памяти: *you are tough, and I am tough, but who'll write whose epitaph?* («Ты — крут? И я крут, но кто кому напишет эпитафию?») Кто-то скажет, что я перегибаю. Тут эпитафия использована лишь для усиления образа крутости. Но ведь именно эпитафия!

Оба думали об этом, ибо эпитафия — еще один способ, пусть и с крепким некрофильским душком, приобщения к литературной вечности. Ожидания Довлатова, пусть меня простят за натяжку в слове «ожидания», не оправдались. Он ушел из жизни раньше Бродского, и Бродский, насколько мне известно, не отметил этот уход никакой «сопроводительной». Видимо, «небожитель» понимал, что калибры разные, что речь идет о писателе-середнячке, хорошем третьем сорте, мухе-однодневке… Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Хотя эта мысль о мухе-однодневке, прозвучавшая в соловьевском фильме, не оставляет меня. По словам Елены Клепиковой, Сергей очень остро ощущал созвучность своей прозы своему времени, умонастроениям

современников. Это безусловно так. Кто еще так точно описал нашу эмиграцию 70-х? Ее смятение в новой стране, ее неспособность порвать с покинутой родиной, страшную обиду на нее и страшную тоску по ней. Кто еще, кроме Довлатова, так точно показал умонастроения русскоязычного Нью-Йорка того времени? Оглядываясь по сторонам, не обнаруживаю ни одной значительной фигуры. Никого, кроме Сергея Довлатова. И это автоматически ставит вопрос — насколько же состоятельна горькая самохарактеристика, прозвучавшая из уст несчастного, постоянно отвергаемого просителя в редакции советского литжурнала?

В заключение хочется, приличия ради, вернуться к персоне автора фильма — Владимиру Соловьеву. И отметить, что его работа <…> дает так много поводов для размышлений о его соседе — Сереже Довлатове.

Вадим Ярмолинец,
«Новое русское слово»
Нью-Йорк, 9 февраля 2001 г.

Владимир Соловьев
Заместитель Довлатова

Начать с того, что ему приснился отвратный сон, который он, слава богу, тут же забыл, но осадок остался, как оскомина во рту. Идя в уборную, в темноте он наступил на кота, который слабо протестующе пискнул, и это его непротивленчество слегка даже раздражало: предыдущие его коты были агрессивные, вели себя с ним на равных и уж точно, если бы не цапнули за ногу в ответ, то хотя бы зашипели. А этот вообще не знал, что такое шип. В уборной он пытался вспомнить сон, но тот ему никак не давался. Потом, очищая коту креветки над раковиной (кот их ел с руки, сидя на кухонном столе), он довольно болезненно, до крови, поцарапал палец — проклятие! Ни помазать йодом, ни закончить чистку креветок он не успел — зазвонил телефон. Он побежал снять трубку, но оказалась реклама. Как они смеют вторгаться в его частную жизнь и предлагать всякую херню? Пока он бегал к телефону, кот успел выудить из раковины неочищенную креветку и, конечно, сразу же вырвал все, что съел, — пришлось чистить облеванное им место, а чайник заливался соловьем, он его выключил и приготовил наконец себе завтрак: хлопья с сухофруктами и кофе. О чем же был этот мерзкий сон, подумал он и тут же обжег нёбо кипятком. Снова зазвонил телефон, но он решил не подходить ни в какую: кто может звонить в такую рань? опять реклама? Надо бы включить автоответчик и просеивать звонки — лучше секретаря не придумаешь. Но телефон прямо надрывался, и он в конце концов снял трубку, решив, что вдруг это Нина или из студии: какие-нибудь перемены в расписании. Но на другом конце кто-то упрямо молчал, несмотря на его многократные «алё». Так было уже не раз в последнее время, иногда ему даже казалось, что он слышит чье-то легкое дыхание, и строил догадки, кто бы это мог быть. Нельзя сказать, что потусторонние эти звонки нервировали его — наоборот, вызывали острый интерес. Он перебирал в уме имена тех, кто — гипотетически — молчал и дышал в трубку. На этот раз он не выдержал:

— Будь ты проклят! — И швырнул трубку на рычаг.

Кофе остыл, он добавил кипятка в пивную кружку, из которой всегда отхлебывал, но тот потерял свою крепость, настроение испорчено, как и завтрак, он ждал следующего звонка, которого не было и не могло быть: ей было еще рано, валяется в постели. Может, самому позвонить? Но такого уговора у них не было.

Никакого уговора не было, но звонила только она — он мог нарваться на мужа. Но муж уже ушел на работу, поцеловав ее, сонную, на прощание. Интересно, у них был утренний секс, самый сладкий и бессознательный, в полусне, какого у него с ней не было никогда и не могло быть, они ни разу не просыпались вместе. Так урывками, где и когда придется. Или ее муж, даже если у него встает по утрам, бережет свои силы, чтобы выглядеть на экране свеженьким как огурчик? Они с ним работали на одной телестудии, были, считай, конкурентами, и тот был куда популярнее у зрителей, хоть и крутой такой, самонадеянный легковес. Само собой, резко правый, либералов называл леваками. Да еще компанейский травильщик анекдотов. Странно, что он даже не подозревает об их связи. Муж узнает последним? Либо не узнает вовсе? Или подозревает, но не допускает себя до волнений? Он весь такой — чтобы всегда комильфо: не быть, а казаться — его принцип. Хотя кто знает, что у него творится внутри?

Кот подошел к столу, встал на задние лапы, слабо мяукнул. Понять его можно: хоть и чувствовал себя, наверное, виноватым за то, что стибрил из раковины неочищенную креветку, а потом подавился и все вырвал, но желудок его теперь пуст. Придется снова дать ему креветок — хотя бы несколько, пусть сам процесс их очистки он терпеть не мог. Но кот был такой родной, безропотный и красивый, что отказать ему он не мог. А кому он мог отказать?

Их роман начался с отблеска чужой славы: она отдалась ему скорее из любопытства, чем по страсти, — он близко знал Довлатова, когда они вместе подхалтуривали на радио «Свобода», и Сережа ему покровительствовал. Можно и так сказать: он был младшим современником писателя, который посмертно вошел в славу, хотя, с его точки зрения, эта слава превышала талант, о размерах которого сам Довлатов не строил никаких иллюзий и очень бы удивился своей всенародной популярности у себя на родине, которую вынужден был покинуть из-за литературного непризнания и вызовов в гэбуху, хоть не был ни диссидентом, ни даже инакомыслящим. Эмиграция и преждевременная смерть этой славе много способствовали, но было в довлатовской прозе нечто, чего не хватало отечественной словесности. Ниша пустовала, статуя нашлась, Довлатов занял свое место. С рассказов про Довлатова, а их у него был вагон и маленькая тележка, и начались его отношения с Ниной, хотя, стыдно признаться, познакомились они на юбилее ее мужа в итальянском ресторане с пышным названием «Палаццо», где он ел, обжигаясь, креветки fra diavolo. Там они и уговорились как-нибудь

встретиться, чтобы он дорассказал ей про Сережу, а она была фанаткой его прозы, все, что его касалось, живо ее интересовало. Так завязались у них отношения и разговорами не ограничились. В опровержение известной мысли Ларошфуко, что есть немало женщин, которые не изменяют своим мужьям, но очень мало таких, которые изменили бы только однажды, Нина изменила первый раз и больше, судя по всему, не собиралась, не из таких, да и возраст не тот, за тридцать, а когда он спросил ее о семейной жизни, сказала:

— Лучше не задавать вопросов.

Он и не задавал, хотя вопросы вертелись на языке, но кто не спрашивает, тот не рискует узнать больше того, что знать следует. Во многом знании много печали…

С утра зарядил весенний дождь — не то чтобы ливень, но противный такой, когда жизнь становится постылой. Не жизнь, а предсмертие. Отцветали яблони, сливы, вишни, земля была в белых и розовых лепестках, зато вовсю цвели разноцветные рододендроны, лиловая и белая сирень, синяя глициния, радуя глаз и раздражая своими запахами носоглотку, — у него вдруг обнаружилась аллергия, он принимал аллегру, которая ему не очень помогала. Или эта его аллергия была не на запахи, а на собственную ускользающую жизнь?

Значит так: их роман с Ниной, едва начавшись, был на исходе. Сначала были исчерпаны его воспоминания о Довлатове, а сам по себе он не представлял большого интереса для Нины. Замужний секс был для нее более-менее достаточен, сексуального голода она не испытывала. То, что ему доставалось, скорее ласка, чем страсть. Если в любви всегда один целует, а другой подставляет щеку, то Нина была, безусловно, принимающей стороной. Вот почему он так боялся, что эта связь вот-вот оборвется. Тем более со стороны было в этой связи что-то нехорошее — будто он добирал в любви то, что проигрывал ее мужу на телеэкране. И то правда — этой «стороны» не было, никто не догадывался о том, что они романились. И не должны были. До поры до времени. Но они-то сами знали! С тех самых пор, как у них началось, они жили этой двойной жизнью, и его это смущало.

А ее?

Он давно хотел поговорить с Ниной всерьез. Но после того как рассказал ей все, что знал о Довлатове, у них на разговоры не оставалось ни сюжетов, ни времени. Их встречи были краткими и нечастыми. А хотел он предложить Нине уйти от мужа, которого она все равно, похоже, не любит, и детей у них нет и не предвидится, и выйти за него, хотя не был уверен, что она его

хоть чуточку любит. А если она вовсе безлюбая? Асексуальная? Нет, совсем уж бестемпераментной, то есть фригидкой, ее не назовешь. Нельзя сказать, что она в этих делах перехватывала инициативу, разнообразила позы и была такой уж физкультурницей, но ласкова до изнеможения. Взаимного. Но может быть, она была такой же нежной и в постели с мужем, которого не любила? Вряд ли она отдавалась ему совсем уж без божества, без вдохновенья и никак не ответствовала. Неправда, что ревнует муж, а не любовник, — он ревновал Нину к ее мужу дико. Стоило только представить ее с ним за этим делом. И он не был уверен, что эта ревность сошла бы на нет, если бы Нина, как он хотел, порвала с мужем и сошлась с ним. А прошлое — куда его деть? Что дурака валять: он влюбился по уши. Как никогда в жизни. Хотя кой-какой любовный опыт к своим сорока двум и накопил. Но прежние связи выглядели теперь незначительными и необязательными, как будто он просто тренировался перед встречей с Ниной, оттачивая любовные навыки. Репетиции, не больше. Увести Нину от мужа стало его идефиксом. Но как ей это сказать? С чего начать? А какой скандал! На студии все без исключения будут на стороне Нининого мужа и решат, что не по любви, а из зависти. А что подумает Нина, когда он предложит ей уйти от мужа?

Отбарабанит он сейчас свою передачу «Чужое мнение» — у него сегодня гость из Москвы, будет осторожничать и вилять, договорились, что ни одного вопроса о политике, никакого подкола, понять их отсюда можно, они все под приглядом, за бугор пускают, но в намордниках, — а сразу же за его передачей Нинин муж столкнет лбами каких-нибудь здешних русских на актуалку, и зрители будут звонить в студию и присуждать очки, кто победит, — ну, не дешевка ли? А он вернется домой и станет ждать ее звонка.

А что, если и в самом деле сексуальный реванш на творческой почве? Не полностью, конечно, а частично? Ведь он ее мужа терпеть не мог, а его славу считал дешевкой, на зрителя. Правда и то, что до зависти он себя не допускал, а заработки приблизительно равные. Как это у него с Ниной началось? Они вместе ушли с какого-то русскоязычника в манхэттенском пентхаусе, он предложил ее подбросить, а по пути продолжал рассказывать байки про Сережу и даже пообещал свозить ее на его могилу в Куинсе (чего так пока и не сделал). Они оказались почти соседями, но когда подъехали к ее бруклинскому таунхаусу, довлатовская тема еще не была исчерпана, и он предложил заскочить к нему выпить кофе. Какая-то подмена в этом, конечно, была — будто она не к нему пришла, а в его лице

к заместителю своего любимого писателя. Закончив довлатовскую сагу, он замолчал, она сама погладила его по щеке, сочувствуя потере друга, хотя с Сережей они не дружбанили, а приятельствовали, да и возрастные категории разные. Дальше пошло само собой, спонтанно, благо муж в командировке, как в классических анекдотах, но прятаться в шкаф ему не пришлось. Вот они и стали встречаться — их роману уже пара месяцев, но он на исходе. Если ему не придать новую форму, он кончится так же внезапно, как начался.

Передача у него вышла смазанной, унылой, липовой. Он и так перестраховался, а гость все равно весь в напряге, боясь лишних вопросов, — как зомби. Чего они приезжают оттуда в таком мандраже? Они скоро совсем разговаривать разучатся. Вроде бы не прежние времена, никого не бросают в тюрьму за инакомыслие, правда, время от времени неугодных людей убирают физически. Но не этого — известный кинорежиссер, из неприкасаемых. Пока что. Перед передачей тот ему откровенно сказал, что теперь у них в стране такое правило, что-то вроде сделки: мы их не замечаем, они нас не трогают. И действует: оставили друг друга в покое. Открытый эфир, само собой, не подключали, дабы не было подковыра со стороны зрителей. Нет, лучше иметь дело со своими, здешними, как делает Нинин муж. Они встретились с ним на выходе, поздоровались за руку. А что им, переходить в рукопашную? Догадывается?

Когда он вышел из студии, лило как из ведра — или из-за этого у него сегодня такое паршивое настроение? Весь промок, пока бежал сквозь стену дождя к машине, хотя поставил близко. Честно, он боялся разговора с Ниной. Может, отложить? Оставить как есть? Руля из Нью-Джерси в Бруклин, он просчитывал в уме варианты этого разговора. Будь что будет. Водки осталось на самом донышке, он выпил прямо из горла́, мало даже для согрева, и в ожидании Нининого звонка отстучал статью для здешнего еженедельника, которого профессиональные журналисты чурались, называя бруклинской стенгазетой, но платили там чуть больше, чем в остальных. Все едино — халтура: еженедельно две телепередачи и две статьи (другая для калифорнийской газеты). Вот его разница с Нининым мужем, который вкладывал в работу живу душу, а скорее притворялся, придавая значение не столько работе, сколько себе на этой работе, и задирал нос. А он отбарабанивал свое — и будь здоров. Когда-то он служил в штате ежедневной нью-йоркской газеты, но не сработался и теперь всем говорил, что на вольных хлебах ему лучше, что на самом деле было не так. Одна медицинская страховка чего стоила! Иногда перепадал заказ из Москвы на его главную тему — о русском

преступном мире в Америке, чтобы вбросить компру на соперника в российские СМИ. Если кому-то кого-то надо изобличить с помощью американского журналиста, его хата с краю. А компромат у него всегда под рукой, то есть в компьютере, он варганил такие книжки по-быстрому, бабки сшибал хорошие: Москва платила в разы больше Нью-Йорка. Так он и держался на плаву, отовсюду набегало.

Нина работала дизайнером и одновременно ответственным секретарем в еще одном русском еженедельнике (а было их в Нью-Йорке с дюжину), филиальчике крупного московского издания, которое отмывало таким образом деньги, что было в порядке вещей: не пойман — не вор. Еженедельник был на порядок выше бруклинской стенгазеты, но когда ему — кстати, через Нину — предложили к ним перейти, он отказался, предпочтя более высокий гонорар более высокому престижу. Можно было, конечно, поторговаться, но была еще одна причина, почему он отказался: не хотел подводить менеджера еженедельника, которая к нему не ровно дышала и даже были поползновения с ее стороны, вполне ничего, молоденькая, но он к тому времени уже увяз в своих отношениях с Ниной. Хоть нью-йоркское русскоязычное коммюнити и разрослось в последние годы, достигнув чуть ли не полуторамиллионной отметки, но в журналистском мире все друг друга знали, и романы в основном завязывались в его пределах — то, что Довлатов в свое время называл «перекрестным сексом», и он очень боялся, что в конце концов просочатся и слухи об их с Ниной связи.

Он позвонил редактору своего еженедельника, получила ли она статью, но секретарша сказала, что у той люди.

— А я что, не человек? — пошутил он. — Передайте ей, что статью я отослал.

Сбегать, что ли, за водкой? Но хоть жажда его и мучила, он боялся пропустить Нинин звонок. Они никогда не сговаривались на точное время, но самое удобное сейчас, когда муж ведет свою популярнейшую в городе телепередачу. Среди русскоязычников, само собой. Поэтому он отшил случайного знакомого, который хотел поделиться с ним о только что вышедшей книге Владимира Соловьева «Post mortem» и сказал, что это убийство поэта. Тем более на прошлой неделе он брал у автора интервью — Соловьев всячески открещивался от героя, доказывая, что его книга не о Бродском, а о человеке, похожем на Бродского.

— Вы боитесь юридической ответственности? — был вопрос из Чикаго.

— Литература — это прием, — уклонился Соловьев от прямого ответа. — Писать о самом Бродском — это

прямоговорение, и уже потому хотя бы не в кайф.

Нине роман Соловьева не понравился: бьет на сенсацию, сказала она. Как там в Москве и Питере, а здесь роман стал событием в безлитературной жизни.

Он все-таки включил автоответчик и сбегал за водярой — пил ежедневно, но в запой не ударялся, хотя и был соблазн в последнее время: из-за неопределенности их с Ниной отношений. Хотя куда определенней! Но это физически, а в смысле устойчивости и продолжительности? Почему-то матримониальный вариант казался ему своего рода гарантом их любовной связи. Вот сегодня с ней и поговорю, решил он.

На автоответчике мигал зеленый огонек, и по закону подлости это оказалась как раз Нина:

— Жаль, что тебя нет. Но сегодня ничего не получится. Так что не звони мне, пожалуйста.

Он тут же набрал ее — ему повезло, застал на выходе — и начал уламывать встретиться.

— На нейтральной территории, — было ее условием.

Сговорились в «Старбаксе» — как раз на полпути между ее и его домом. Ясное дело, не в русской забегаловке, где их могли застукать — благодаря ТВ, он лицо узнаваемое. Для храбрости он опрокинул полстакана: сейчас или никогда! Дождь все еще шел, но уже вполсилы. Поэтому отправился пешком — десять минут ходьбы. Ну и душегубка — в отличие от московских, нью-йоркские дожди не приносили свежести и облегчения. Какое-то шестое чувство — «инстинкт пророчески слепой» — подсказывало ему, что сегодня не тот день для выяснения отношений, а тем более для таких крупных объяснений, как он задумал, но и тянуть было дальше некуда, тем более странно, что Нина настояла на нейтральной территории, а не пришла к нему, пользуясь отлучкой мужа, который наверняка задержится после передачи. Поговаривали о его романе с гримершей, Нину он спросить постеснялся, да и откуда ей знать. Если бы знала или подозревала, ему было бы очень кстати ввиду предстоящего разговора.

Нина уже ждала его — прекрасная, как всегда. Макияжем не пользовалась, русые с рыжезной волосы чуть вились, зеленые глаза под темным разлетом бровей, летние веснушки на слегка курносом носу, губы детские, слегка припухшие, сочетание невинности и чувственности. К черту все эти описания:

Все, что пришлось мне пропустить,
Я вас прошу вообразить.

Он знал Нинино лицо назубок, но никогда не мог на него насмотреться. Да и времени всегда было в обрез — не до осмотров. А ее маленькая, сводящая с ума грудь с розовыми сосками! Он набрасывался на нее, как с голодного края, ненавидя кондомы — хоть бы раз напрямую соприкоснуться с ее узким, нерожалым влагалищем. Он жадно обцеловывал ее там, всасывался как можно глубже, мечтая всадить свой истосковавшийся член без резинки, — и ни разу, никогда, ни одного минета в ответ. И слава богу — он был бы потрясен, случись такое. Неужели и муж касается ее укромностей губами? Он никак не мог представить, что их с мужем связывает: ее, самую тонкую женщину на свете, и того — болтушку, пошляка, анекдотчика. Единственное, что он однажды позволил себе спросить, спят ли они вместе или раздельно. Нина странно на него посмотрела и ответила нехотя:

— У каждого своя комната. — И добавила: — Если тебя это интересует, пока у нас с тобой, мы с Толей не спим. Да ему особенно и не надо.

В душе он ликовал: она своего Толю не любит! Да и тот к ней ровно дышит. Все, что их связывает, — брачные узы десятилетней давности. А это скорее расхолаживает, чем возбуждает. Сама Нина — не нимфоманка. К тому же у него любовница — вряд ли он часто впаривает жене. А если у них давно забуксовало и они на грани развода?

— А ты знаешь, что у него интрижка на стороне?

Пусть подловато, но он не давал ее Толе обет молчания.

— Догадываюсь, — усмехнулась Нина. — А что, это уже повсеместно известно?

— Слухами земля полнится.

И все равно сегодня не тот день, чтобы решать что-нибудь серьезное. Желая большего, можно потерять что имеешь. Но и удержаться он уже не мог: сейчас или никогда!

И он выпалил ей свое предложение: оставить мужа и выйти за него.

— Ты с ума сошел! — рассмеялась Нина. — А я, наоборот, хотела тебе сказать, что пора нам кончать эту бодягу. Как выяснилось, адюльтер — не мой жанр. Ни романов не хочу, а уж тем более второго замужества. Знаешь ведь, второй брак — это победа надежды над здравым смыслом. Где гарантия, что он будет удачнее первого?

— Гарантом — моя любовь, — полушутя-полусерьезно сказал он.

— Это мы уже проходили, — цинично ответила Нина. — Ты думаешь, пошла бы я замуж, если бы мне то же самое не говорил

Толя? — И немного грустно: — Все, наверное, упирается в меня. Одной любви для брака недостаточно. Получается улица с односторонним движением.

— Ты никогда никого не любила?

— Только платонически. Твоего Довлатова, например. Но мы разминулись во времени. Я была малявкой, когда он умер. Ты — взамен.

Ну, не патология ли — быть у любимой женщины заместителем Довлатова? Да к тому же временщиком.

— Сережа пользовался успехом у женщин.

Красивый, высокий, бархатный голос.

— Не в этом дело. Он был безумно талантлив, — сказала Нина, как все довлатовские фанаты, сильно преувеличивая. — Но это вовсе не значит, что я бы захотела с ним близких отношений. Писателя лучше знать по его книгам. Ты, кстати, так и не сводил меня на его могилу, как обещал.

— Хочешь — завтра?

Чем не повод для продолжения отношений? Еще не все кончено — пусть в качестве Сережиной замены. Лучше так, чем никак. Тем более Довлатова она воспринимала исключительно на уровне текста. Видела бы его живьем! Не устояла бы. Он умел пленять именно такие, по-детски чистые и чувственные натуры.

Или она хочет кладбищенским походом завершить их любовное приключение?

Предложил ей заглянуть к нему, но она мягко отказалась: у нее дела.

Назавтра они отправились на могилу человека, с которого началось их знакомство. Время от времени он водил сюда его фэнов, а как-то даже сделал двухчасовое видео о Довлатове, начав его именно с этого еврейского кладбища, а потом развернув судьбу Довлатова ретроспективно: от посмертной славы до безвестной жизни в гуще русской иммиграции, опустив главную причину всех его несчастий — алкоголизм. Запои у него были страшные — не приведи никому Господь. И про это он тоже рассказал Нине — ее остро интересовало все, что касалось Довлатова. Нет, все-таки она влюблена в покойника — с этого у них началось и этим теперь кончается.

Памятник был бездарный, а профиль на Сережу вовсе не похожий. Поверху были положены по еврейскому обычаю камушки, а внизу — по русскому — стояли в вазе свежие цветы. Одно противоречило другому. Цветы не полагались на еврейском кладбище, а что означали камушки, никто из русскоязычников не знал. Такие же он видел когда-то на могиле Кафки в Праге, но никаких цветов там, понятно, не было. Будучи полукровкой,

Сережа лежал в интернациональном отсеке кладбища. Его мать — тифлисскую армянку — тайно, за большие откаты, похоронили в ту же могилу: таково было железное желание Норы Сергеевны — вдова не решилась ослушаться. «Я потеряла не сына, а друга», — сказала мне Нора Сергеевна с надрывом, и тут до меня дошло, как Сережа был одинок в жизни, несмотря на обилие знакомых, родственников и собутыльников.

— Но была женщина, которую он любил? — с надеждой спросила Нина.

— Да, — согласился я. — Его первая жена.

Остаточные явления были, но он ее давно разлюбил. Их ничего больше не связывало. Она из него качала деньги и даже приписала ему отцовство своей дочери.

— Ты пересказываешь его прозу.

— Его проза насквозь автобиографична. Он не умел выдумывать, только смещал реальность.

— Ты его не любил?

— Не могу сказать. Но и особой любви между нами не было. В отличие от других, я ему не завидовал, и он это ценил, говорил, что я такой единственный.

— А чему завидовать?

— Все-таки выходили крошечными тиражами книжки, потом «Нью-Йоркер» стал печатать, начались переводы на другие языки. Слава к нему уже подбиралась, а он возьми и помри.

— Как он умер?

— Хуже некуда. По чистой случайности. Пил он по-черному и уползал тогда в свою нору — к любовнице в Бруклин. Там ему и стало плохо. Два латинос в «скорой помощи» из страха привязали его к носилкам, вот он и захлебнулся в своей блевоте.

И тут он вспомнил свой сегодняшний сон.

Снилось, что Парамонов берет у него машину, а возвращая, в ужасе шепотом сообщает, что в багажнике тело Довлатова. Такое могло только присниться — у него «фольксваген» с крошечным багажником. А в реальности Парамонов однажды сказал, что его раздражает незаслуженная слава покойника: «Не дает покоя покойник»… что-то в этом роде, почти в рифму.

Рассказать Нине?

Только не здесь, рядом с его могилой.

А ему Довлатов дает покоя? Вот он влюбился в женщину, которая отдалась ему только потому, что он был знаком с Сережей, и развлекал ее байками о нем. Если только не из мести мужу — Толино б***ство освободило ее от супружеских обязательств, почему самой не попробовать вкус измены? Попробовала — и разочаровалась. Выходит, это их последняя

встреча? Лучше фона не придумаешь — кладбищенский ландшафт…

Они пошли к выходу, читая по пути еврейские имена на памятниках с могиндовидом. Говорить не хотелось. Или это могильная атмосфера склоняла к тишине?

Почему ему приснился этот сон, да еще с Парамошкой, к которому Довлатов относился раздражительно и на вопросы о его антисемитизме отвечал, что это только часть его общей говнистости. Впрочем, тема говна часто всплывала в его разговорах. Стоило ему начать ворчать на капризы престарелой Норы Сергеевны, та ему говорила: «Скажи спасибо, что говном стены не мажу». А сам Сережа часто говорил о «говне моей души», соединяя, как сказали бы формалисты, высокое с низким: «Все говно моей души поднялось во мне». Ни о чем этом он не рассказал Нине. Почему? Угождая ей и не желая смещать сиропный образ? А Довлатов был разный. Но кто не разный? Разве что Нина, но он в нее влюблен, а влюбленным свойственно идеализировать объект любви. Неужели они расстаются навсегда?

Быть того не может!

Наотрез отказалась пойти к нему, он подвез ее к дому, включил дворники, дождь снова зарядил — под стать его настроению.

Почему одной любви недостаточно на двоих?

Владимир Соловьев
Уничтоженные письма

Выбранные места из переписки с друзьями

Публикуются впервые

«Как смотрят души с высоты на ими брошенное тело», так, должно быть, взираете вы на меня и мое чересчур большое тело — с высоты и свысока. И может быть, вы правы. Но не слишком ли вы духовны — так и струитесь, а в руки не даетесь?

Ваша гениальность стоит между нами, как религиозный предрассудок. Если вы не прекратите топтать мое большое заурядное сердце, я поступлю жестоко. Загоню ваши факсимиле Пушкинскому дому из расчета четыре рубля штука, возьму «Агдама», надерусь и буду орать, что вы крадете метафоры и синекдохи у Иосифа Бродского.

Бойтесь меня, Юнна!

СД — ЮМ (1976 г.)

Довлатов бомбардирует меня письмами из Ленинграда. На последнее, клинически кокетливое и насквозь фальшивое, я решила не отвечать. Он — человек отраженный, из-за этого комплексующий, страдающий и злобствующий. Держись его подальше — он тебя ненавидит за Сашу Кушнера. Он может только ненавидеть, я знаю таких людей, — Кушнера он тоже возненавидит неизбежно, впитав предварительно в себя исходящие от него, хоть и слабые, лучи. Он объясняется мне в любви, а на самом деле — не мне, а моей славе. Он гордится тем, что читает чужие книги еще в рукописи, из первой перепечатки, а если повезет, так в первом экземпляре, — и он ненавидит их авторов. Меня он тоже возненавидит: уже ненавидит, но пока что не знает об этом. А я — знаю.

ЮМ — Владимиру Соловьеву (1976 г.)

(Из уничтоженных писем)

Ах, как же она не права! Какое умное и какое несправедливое письмо!

Так или приблизительно так думал мой авторский персонаж, мой *alter ego,* мой двойник, мой чрезвычайный и полномочный представитель, которому я вынужден, ввиду внезапно возникших

экстремальных, типа форс-мажора, обстоятельств, передать бразды правления. Теперь я только автор этого рассказа, а не его протагонист, хотя как автор я оставляю за собой право время от времени появляться самолично в ходе повествования. Если понадобится. А изначальный замысел был совсем иным — без никакого вымысла или умысла: публикация уничтоженных писем с разъяснительной преамбулой.

Как обозначить героев? Псевдонимами? Все-таки нет. Пусть будет секрет Полишинеля: реальные инициалы с легко угадываемыми выдающимися фигурантами нашей изящной словесности, к которой отнесем и этот рассказ, если он у автора вытанцуется: СД и ЮМ. Зато остальные литературные випы — под собственными именами.

А рассказчика, может быть, слегка зашифровать? Или позаимствовать напрокат из предыдущего моего рассказа «Заместитель Довлатова», где он дан анонимно и безымянно, хоть ему и передано авторство фильма «Мой сосед Сережа Довлатов»? Пусть ему тогда принадлежит честь открытия этих уничтоженных и восстановленных из пепла писем СД, когда он рылся в архиве недавно умершего в Нью-Йорке известного писателя, эссеиста и политолога Владимира Соловьева. Мне не впервой выдавать себя за покойника. См., к примеру, изданную семь лет назад мою книгу «Как я умер». Вот как мне видится драйв этого рассказа из моего *post mortem* будущего.

***

На гражданской панихиде по Владимиру Соловьеву — в том же самом похоронном доме на Куинс-бульваре, где четверть века назад мы прощались с Довлатовым, — ко мне подошла его вдова Елена Константиновна Клепикова и попросила разобраться в архиве мужа, перед тем как передать его на хранение в Принстонский университет. Согласился сразу — из долга перед покойником и его вдовой и не в последнюю очередь из любопытства. С Соловьевым не скажу, что был на короткой ноге, но встречались довольно часто — по службе и на проходах, его отвязные мемуары и провокативные эссе нравились мне больше его же чистой прозы, хотя в рассказе «Заместитель Довлатова», где я прототипом и убалтываю довлатовоманку не сам по себе, а благодаря знакомству с ее кумиром, что-то ему удалось схватить, правда до самой сути наших с Ниной отношений, до нашего с ней подполья он не дошел, а потому круто ошибся, предсказав нам скорый разрыв. Именно из-за Нины я и согласился написать для

ЖЗЛ книгу о Довлатове, хоть и относился к нему с прохладцей, без особого энтузиазма, а только чтобы продлить наши с ней отношения. Да и Соловьев меня уломал: как он говорил, для восстановления справедливости и в опровержение похабной книжки о нем его завистника и ненавистника Валеры Попова в малой серии той же ЖЗЛ.

Вот в этом и была главная, личного свойства, причина, почему я тут же согласился на предложение Елены Константиновны Клепиковой: подключить к этой работе Нину, отношения с которой возобновились после их с мужем развода, но шли через пень-колоду. На этой панихиде я познакомил Нину с обеими вдовами, с обеими Еленами — она, понятно, больше заинтересовалась вдовой своего любимого писателя, с которой я тесно сотрудничал, работая над книгой о ее муже, и даже подружился, несмотря на разницу в возрасте. Такие панихиды носят тусовочный характер — встречаются те, кто давно не виделся, и не всегда узнают друг друга, а то и впервые знакомятся, как моя Нина с обеими вдовами. Местоимение «моя» употребляю условно. Если бы! Клепикова не возражала, что мы с Ниной придем вдвоем.

Совместная эта работа нас сблизила поневоле: Нина согласилась на время работы переехать ко мне, чтобы не мотаться каждый день из Бруклина в Куинс. Соловьевский архив был в таком хаотическом состоянии, что разбирать его и классифицировать — сплошная мука. Что, наверное, объясняется внезапной Володиной смертью в нелепой и загадочной автомобильной катастрофе, но об этом как-нибудь в другой раз, да и полицейское расследование еще не закончено. Наградой за наши муки были оригиналы писем Окуджавы, Бродского, Эфроса, Слуцкого, Мориц, Кушнера, которые, правда, Соловьев уже публиковал целиком или отрывочно в своих бесчисленных книгах: графоман, хоть и не без искры божьей. А Достоевский и Пруст — не графоманы? Любой писатель — от мала до велика — графоман по определению, ибо графоманит как угорелый. Без графомании нет писателя.

Настоящий прорыв у нас с Ниной произошел, когда мы, передавая друг другу страницы, читали начатый покойником еще в Москве, где-то в середине 70-х, но так и не оконченный опус, который, заверши его Соловьев, мог бы, кто знает, стать *magnum opus,* судя по великому замыслу. Название — «Места действия. Русский роман с еврейским акцентом». Подзаголовок имел прямое отношение к персонажам романа — евреям, неевреям и антисемитам, а титульное название — к местам действия: Москва — Ленинград — Малеевка — Комарово — Коктебель и далее

везде, вплоть до забытой богом псковской деревушки с загадочным названием Подмогилье. Впрочем, потом это название объяснялось: на холме там стоял тевтонский крест над погибшим в допотопные времена псом-рыцарем. Потом железный крест исчез и появился снова на деревенском кладбище: какой-то пройдошливый православный водрузил его над пустой могилой своего сына, когда пришла похоронка с фронта, где он погиб от пули пса-фашиста.

Мы с Ниной увлеклись круто закрученным сюжетным драйвом и легкоузнаваемыми персонажами: известные писатели, режиссеры, художники, давно уже на том свете, а теперь туда же и автор, который кичился, что был их младшим современником. По жанру — роман-сплетня с детективным сюжетом, любовным скрежетом и философическим уклоном: все в одном флаконе, в одной романной упаковке! А потом пошел роман в романе — «Большой эпистоляриум», а был, значит, где-то еще и малый, да? Такие письма теперь, в эпоху емелек, текстовок и эсэмэсок, никто не пишет, да и тогда вряд ли писали, нафталин и анахронизм, но автор объяснял это эпистолярное половодье писательской профессией своих персонажей и летним сезоном, когда все разъехались кто куда и отсутствие живого личного общения сублимировали письмами. Почтовый онанизм, конечно, но читать интересно благодаря аутентичности — очевидно было, что Соловьев скрымздил чужие письма и, как есть, вставил их в свой охренительный по замыслу, но, увы, так и не законченный русский роман с еврейским акцентом, хотя с полтысячи страниц машинописи набежало, не хило! Перед нами был черновик, и Соловьев не успел еще литературно обработать реальные письма, а только снял с них копии и механически вставил в текст. Вот тут нас как громом поразило — Соловьев бы убил меня за это клише.

Честь обнаружения писем ее любимого писателя принадлежит, само собой, Нине. Она вскочила, сделала по комнате несколько па, а потом бросилась ко мне и расцеловала, что случалось с ней крайне редко, если случалось вообще — не припомню. Несмотря на близкие отношения. Но чтобы такой порыв ни с того ни с сего?

А потом и вовсе закружила по комнате, прижимая к груди машинописные страницы. На шум вошла Клепикова, вид у нее был еще тот — краше в гроб кладут. Вот вроде бы улица с односторонним движением, один целует, а другой подставляет щеку, а как убивается! Такая нелепая смерть, мог бы жить и жить. Не до бесконечности, конечно, хоть и вечный жид, несмотря на православную фамилию, говорил, что предки из кантонистов.

— Что-нибудь случилось? — спросила Елена Константиновна.

Нина бросилась к ней на шею со слезами на глазах. От полноты чувств. Никогда не видел мою-не-мою Нину в таком экзальтированном состоянии. Елена Константиновна приняла ее слезы за сочувственные и стала ее же утешать, хотя вроде должно быть наоборот.

— Можно скопировать эти страницы? — спросила Нина.

— Что-нибудь интересное? — безучастно сказала Елена Константиновна, показала, где стоит ксерокс, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты.

— Письма СД! — воскликнула Нина. — Нигде никогда не публиковались!

В этом ей можно было поверить: она знала СД наизусть, да еще собирала здешние реликтовые издания, которые он сам оформил.

До меня, наконец, дошло. Пусть она целовала во мне другого, я был *proxy,* заместителем СД, как верно назвал меня Соловьев, да хоть бы и так, но все-таки и меня тоже! Как в том анекдоте, переиначив его гендерно: если в объятиях своего мужа вам снится чужой муж — вы потаскуха и б****, но если в объятиях чужого мужа вам снится свой муж — вы верная и примерная жена. К какой категории отнести мою любушку, и ежу понятно. В моих объятиях ей снится СД (если снится), которого по своему возрасту и его ранней смерти она никогда не видела. Разминулись во времени — и слава богу.

Благодарный до умиления, я и спорить не стал, когда она попросила первой прочесть эти письма.

— Право синьорины, — сказал я.

Удивленно на меня воззрилась, улыбаясь тому, что я по-рыцарски назвал ее синьориной.

— Право первой ночи, — пояснил я.

— В самый раз для твоей книжки. Вот будет сенсация — неопубликованные письма Довлатова!

Куда большая, чем мы думали поначалу, — это были копии уничтоженных писем!

Ну, что рукописи не горят — это, положим, лажа. Кто это сказал? А, булгаковский Воланд. Даже странно такое слышать от этого бессмертного всезнайки. Еще как горят! Не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Еврипида, очень выборочно — куски из «Истории» и «Анналов» Тацита. А десятая глава «Евгения Онегина»? Второй том «Мертвых душ»? Да мало ли! Теперь представьте, что второй том «Мертвых душ» нашелся. Я не сравниваю, конечно, но при посмертной славе СД каждое писанное им слово — на вес золота. Сколько опубликовано его радиоскриптов, которые он считал халтурой и завещал не

печатать. А сколько писем! Он был великим мастером эпистолярного жанра — вровень с Флобером и Чеховым. Часть его писем пропала — мать уничтожила письма СД из армии. А жаль. Другая крайность — выстраивать из писем СД себе пьедестал: самый наглядный пример — так называемый «эпистолярный роман», хотя на деле антироман его друга-врага. В конце концов корреспонденты возненавидели друг друга, и выживаго продолжает ненавидеть покойника спустя четверть века после его смерти. Хотя по гроб жизни должен быть ему благодарен своей, какой ни есть, а известностью, которую приобрел исключительно благодаря скандальной публикации этой переписки, несмотря на моральные, а потом и в судебном порядке возражения вдовы.

По мне, однако, лучше использовать контрабандой, себе в карман, документы замечательных людей, чем их изничтожить: варварство и вандализм! Когда на мой запрос ЮМ сообщила, что сожгла ленинградские письма к ней СД, я готов был помчаться через океан, чтобы, как Настасья Филипповна пачку денег, вытащить эти обгорелые письма из огня, пока/если не поздно. ЮМ сжигала ненужные бумаги в большой железной пепельнице, это мне Соловьев сообщил. Анатолий Мариенгоф пришел в отчаяние, когда сын его умершего друга, великого Качалова, уничтожил все записи отца, которые, помимо того что документ эпохи, содержали блестящие, пусть и едкие, характеристики известных современников. Теперь, однако, ситуация изменилась самым удивительным образом: если ЮМ действительно сожгла эти письма, то только оригиналы, и у меня в руках оказались копии, которые Соловьев снял с оригиналов, а те ЮМ дала ему уж не знаю зачем — для литературных надобностей: тогда он как раз сочинял свой роман, либо потому, что он был в этих письмах помянут, пусть и в негативном контексте. ЮМ сделала приписку, приведенную в качестве одного из эпиграфов к этому опусу, который за меня пишет покойник. Пусть парадокс, что с того?

> Горацио, есть в этом мире вещи,
> Что философии не снились и во сне.

Какая интрига, однако! И не одна, а несколько переплелись друг с другом, как змеи округ прекрасной головы горгоны Медузы или в романе Мориака, так и названном «Клубок змей», — какой драйв для моей книги про СД!

Мы вернулись домой, хотя, может, и преждевременно, выдавая желаемое за действительное, называю домом свою холостяцкую квартиру. Если бы! Нина приняла душ и устроилась с письмами на *loveseat,* не знаю, как по-русски. Я сел за компьютер

и сбросил текстовку о найденных письмах СД его вдове. Глянул на Нину — она улыбалась, а в глазах снова слезы. Первый раз вижу ее такой! Обычно сдержанная, отстраненная, даже в постели. Это про нее Пушкин написал «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…», это она нежна без упоенья и, более того, очень редко делит мой пламень поневоле, увы и увы мне. Я подошел к ней, погладил по волосам, поцеловал, хотел слизать ее слезы и моментально вспомнил соловьевский рассказ «Женские слезы, женские чары», знаю, кто прототип, молчу. Нина отстранилась:

— Слушай. — И стала читать письма СД.

…Странный вы, право, человек, Юнна! На простой к вам вопрос: «Нет ли каких поручений в Ленинграде? Какие-нибудь непошедшие рукописи забрать, оскорбить кого-либо, побить?» — вы просите меня купить вам эмалированный чайник. Самое удивительное, что я, готовый для вас на все, этой просьбы выполнить не сумел. С готовностью бы выслал, ежели бы наличествовал. Заранее, признаться, мне не верилось. Это означало бы — в Ленинграде есть что-то, кроме Медного всадника и Адмиралтейства.

А лично у меня чайника нет — отдал при разделе бывшей жене, а себе оставил алюминиевую хреновину с ручкой — для кофе. Название забыл. Похоже на имя героини Марлинского.

Короче, не поверив своему инстинкту — он же внутренний компас, — я отправился в непогоду по здешним посудным лавкам и обошел девять штук — совершенно напрасно!

Эмалированные чайники внезапно исчезли, испарились — это вам любой подтвердит! Так бывает. Месяц назад пропали куриные яйца, одновременно по всей стране, — неразрешимая биологическая загадка! Джинсы легче приобрести, чем гречневую крупу или кофе. Таковы сюрпризы нашей плановой экономики.

Операция продолжается, хотя я уже не надеюсь, — ищу в пригородах Ленинграда.

Хотите, я украду Рубенса из Эрмитажа? Это проще. А чайников нет. Нормальные женщины, в отличие от вас, требуют грильяж или колготки.

Обратите внимание, Юнна, нашими эмигрантами овладевает какой-то зарубежный вид советского идиотизма. О цене колготок сообщают даже глубокие, умные люди. Откуда появилось это мерзкое слово? И какова этимология? Кол в глотке? Кал в глотке?.. Ужас!

Я это к тому, что атмосфера в Ленинграде привокзальная. Неожиданно выяснилось, что все окружающие — евреи.

В Москве, впрочем, та же история. Это грустно.

Что нам делать в этой ситуации? Пожениться и уехать в Америку? Вы бы предавались цветаевскому аскетизму и чувствительности, а я — тренировал боксеров-негритят и мыл автомобили. Что ни говорите, Юнна (физическое удовольствие произносить ваше имя), жениться на вас можно хотя бы из снобизма…

***

…Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей — военнослужащих, баскетболистов… Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило — страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.

***

Мне близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать.

В Ленинграде есть такой старый писатель — Геннадий Самойлович Гор, сейчас он сидит в психушке и канючит у всех шесть копеек, а до этого, говорят, писал, как неандерталец. Ни разу не читал, но беру его в свои учителя.

Мне нравится Куприн, из американцев — О'Хара. Толстой, разумеется, лучше, но Куприн — дефицитнее. Нашу прозу истребляет категорическая установка на гениальность. В результате гении есть, а хорошая проза отсутствует. С поэзией все иначе. Ее труднее истребить. Ее можно прятать в кармане и даже за щекой.

Юнна! Вы пишете: «Кушнер стал чемпионом по техническим причинам. Ленинградский матч не состоялся» и т. д. Вы имеете в виду Бродского? Я не понял.

Кушнер не является его Сальери, хоть и не любит его стихи. Сам-то он, говоря о Бродском и о себе, антитезу «Моцарт — Сальери» заменяет иной: «Моисей — Аарон». А вдруг в этом что-то есть?..

…В Ленинграде между тем проблема гениальности стоит чрезвычайно остро. Гениальны все без исключения. Москва в расчет

не берется. В цене здесь красноречие, неоампирные традиции и культуртрегерство. Человек, знающий больше одного языка — хотя бы полтора, — одержим здесь манией величия. Умеющий писать стихи — гений. А пишут их буквально все — от мала до велика. В результате — поэтическая инфляция, безответственность и одуряющая скука. Вечный турнир уязвленных самолюбий. Бесчинства неокультуренных темпераментов.

В Ленинграде — убожество. Целыми днями только и слышно: «Обо мне говорили в Пен-клубе». Как будто Пен-клуб — гулянка у Саши Кушнера или Валеры Попова. Оцените мою объективность!

А что в Москве? В Москве Богу молятся чуть ли не в трамвае, что для меня, как истинно верующего, оскорбительно. Веруют с удручающей наглядностью. Щипнет чужую жену и скажет: «Я познал Бога!»

***

…Знаете, милая Юнна, чего бы мне по-настоящему хотелось? Чтобы вы повидали мою армянскую родню — это моя четвертинка, а в остальном — чистокровный еврей! Все — армяне — толстые и шумные. У всех как минимум одна судимость. У моего старшего двоюродного брата — две. Одни имена чего стоят: Хорен, Арменак, Ованес, Гайк, Беглар… Мама утверждает, что в Ереване имеется троюродный брат по имени Жюльверн. С трех еврейских сторон родственники менее выразительны…

— Странно, — перебил я Нину. — СД — полукровка: отец — еврей, мать — армянка. Как шутил Вагрич Бахчанян, «еврей армянского разлива». Зачем ему понадобилось увеличить свою еврейскую половинку до трех четвертей? Поднадоели анкетные данные и он решил представить их в несколько иной комбинации? Очередная его мистификация, коих он был большой мастер? Свою прозу он называл псевдодокументализмом. А здесь — лжеавтобиографизм? Для него что письма, что проза — все едино.

— Так и есть! Эти письма — такая же чудесная проза, как и его рассказы. Только в ином жанре: эпистолярная проза.

В таком восторженном состоянии и правда не видел Нину никогда. Любил ее еще больше, хотя куда больше! И дико ревновал к мертвецу. Хотел обнять, приголубить, приласкать, но решил наоборот — нет, не ушат холодной воды, но слегка остудить.

— Не связано ли это с предотъездными настроениями в Ленинграде, где привокзальная атмосфера и «неожиданно выяснилось, что все окружающие — евреи»?

— Какое это имеет значение? — не унималась Нина. — Классно как сказано: «неожиданно выяснилось»…

— Да, этого у него не отнимешь — юмора…

— А что ты хочешь у него отнять? Талант? Что-то ты к нему неровно дышишь…

— Это ты к нему неровно дышишь, — сказал я.

Нина на меня как-то странно посмотрела:

— Иди сюда…

Впервые мы воспользовались *loveseat* по назначению. Впервые без презика. «Будь что будет.» — шепнула Нина, когда я хотел вынуть, и не выпустила меня. Обалденный секс — как никогда. Красивая — как никогда, господи! И тут меня как пронзило: Нина принимала меня за другого и принимала в себе, а теперь и в себя — другого. Ну и пусть!

— Совсем как в юности, — сказала Нина и заплакала. По-настоящему.

К кому ревновать — к тому, кто был у нее в юности, первый раз — в первый класс, или к тому, с кем у нее никогда ничего не было, не могло быть и не будет? Оба соперника для меня из виртуального ряда. Тем сильнее ревность.

— Знаешь, — сказала она вдруг, — когда все это у меня началось, нет, не секс, а вся эта девичья похоть, такая зависимость, просто ужас, только об этом и думаешь, я была в отчаянии, мечтала, чтобы у меня вообще не было влагалища. Смешно, да?

Хотел увести мою милую в койку, чтобы продолжить любовь как никогда, но Нина так и осталась голенькой, не стесняясь больше меня, на нашем любовном ложе и снова взялась за письма моего случника, но читала теперь молча и передавала мне страницу за страницей.

В этих эпистолах СД раскрывался с необычайной силой. В отличие от всех других писем — бывшей любовнице, к которой он относился, мягко говоря, снисходительно и как к женщине, и как к литератору, или самозванцу-мэтру, цену таланта которого он тоже знал, а вдобавок поймал на моральной нечистоплотности, — **эти** письма были адресованы одному из самых статусных и одаренных русских поэтов, когда сам СД был в литературе еще никто. Недаром испытывает к ЮМ не только респект и уважуху, но своего рода благоговение.

Да и Соловьев вспоминал, что СД говорил о ней с придыханием, а Бродский называл ее стихи изумительными.

Лучше процитирую самого СД:

И еще я подумал, случись все это у меня на родине!.. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с ЮМ. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: «Над чем работаете, СД?» В общем, живу как человек. А здесь?

Встреча с ЮМ в ЦДЛ — вершина литературных мечтаний СД. Вот почему в письмах к ней он выкладывается весь, касается ли это его творческого кредо либо практических планов.

Иногда эти письма смахивают на объяснение в любви, а то и зашкаливают еще дальше — это касается его матримониальных прожектов, и хотя подобные предложения он делал и другим женщинам — то ли в шутку, то ли всерьез, — однако теперь, похоже, это как-то было связано со смутными эмиграционными прожектами СД. Нет, еще не на Запад, куда подались Ося Бродский, Дима Бобышев, оба Миши — Шемякин и Барышников, Рудольф Нуриев, Наташа Макарова, а в Москву, куда к тому времени рванули из загэбэзированного Ленинграда многие Сережины знакомые: женившиеся на москвичках Андрей Битов и Женя Рейн, Володя Соловьев с Леной Клепиковой, Толя Найман. Кто-то помечтал, помечтал, ну, прям как три сестры: «В Москву, в Москву, в Москву!», — да так и не решился, как тот же Валера Попов, всегда опасавшийся конкуренции: «Там, где Битов, второму ленинградцу делать нечего». Ленинград опустел, остались единицы — Виктор Голявкин, Глеб Горбовский да ливрейный еврей Саша Кушнер, но они погоды не делали: культурный ландшафт изменился неузнаваемо, город опустел. СД в аварийном порядке просчитывал разные внутриэмиграционные варианты, потому что в Ленинграде было невмочь.

Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?..

Эти его письма помечены 75 — 76-м годом. В марте 75-го СД возвращается в Ленинград из внутренней эмиграции после краха всех его таллинских надежд и упований, а до окончательного отвала из России в конце августа 78-го еще несколько мучительных лет. Вот СД и проигрывает еще один паллиативный вариант — столичный, с чем, по-видимому, связан и его странный звонок в Москву Владимиру Соловьеву с расспросами, как они там с Клепиковой устроились и каковы журнально-издательские перспективы, и матримониальные намеки вдовствующей ЮМ,

последний муж которой, поэт Леон Т., сиганул в свою смерть из окна их квартиры на Калининском проспекте. Почему эти половинчатые, полуэмигрантские планы были похерены, судить не берусь.

…Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу — не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.

Я написал трагически много — под стать своему весу. На ощупь — больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид — фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди. И почти сидел в тюрьме.

***

…Томас Манн — великий человек, но «Иосиф с братьями» — чистая мистификация. Чтобы автора в этом не интуитивно, а доказательно уличить, надо подняться на очень высокую ступень. Беда только, что на этой ступени никто никого ни в чем не уличает. И потому грандиозное космическое штукарство Томаса Манна недоказуемо.

***

…Вы ссылаетесь на Володю Соловьева. Спросите у него мимоходом, зачем он тявкнул в «Комсомолке» на Сашу Кушнера. Это было не элегантно. Ситуация «Соловьев — Кушнер» для меня непостижима. Мои жизненные и литературные принципы безнадежно спортивны: «Все, что пишут мои товарищи, — гениально! Все, что пишут хорошие люди, — талантливо! Все, что пишут дурные люди, — бездарно! Все, что пишут враги моих товарищей, — истребить!»

Не такая уж примитивная установка, если вдуматься…

***

…Я надеюсь, вы видели в «Юности» два листа моей заводской халтуры. Мое желание там напечататься кончилось позором и больше ничем. Зато мой портрет замечательный. Такой нервный андалузский певец. С глазами, как увядающие розы. Один ложный друг реагировал на это стихами:

Портрет хорош, годится для кино,
Но текст — беспрецедентное говно!

***

…Может быть, вы приедете к нам — хоть на день-два? А если приеду я, то исключительно, чтобы повидать вас, Женщину-Которая-Работает! Вы пишете: работаю, чтобы кормить семью и быть независимой. Какая же это независимость? Умная, а чего пишет.

Так вот — повидать женщину, которая работает. И защищает от меня и Саши Кушнера литературу — вместе с Соловьевым: будто мы захватчики какие! Но я на вас не сержусь — только на Соловьева, к которому ревную. Я задам вам тот же вопрос, который вы мне задали в связи с Кушнером: что вы в нем нашли? Поделитесь вашим открытием с друзьями…

И наконец, последнее письмо, на которое ЮМ не ответила, сочтя его «клинически кокетливым и насквозь фальшивым». Неправда!

…Ваше поколение лучше — наши будто с цепи сорвались. Вы говорите, тургеневские пейзажи… Да у нас пьют «Агдам»[6] в среду утром.

Я вас разгадал, ЮМ, — вам четырнадцать с половиной лет. Или — тринадцать с половиной. Половинки можете отбросить — обе. Убежден, что на протяжении всей вашей крупной жизни вам бывало дурно от слов «моя родная…». Вот и зазвучала какая-то опасная нота.

А как вы, поэт всесоюзного масштаба, относитесь к стихам Андрея Вознесенского? Это стоит, чтобы читать?

Будьте уверены, что за всеми моими кривляньями и обидами стоит болезненный интерес к вам, любовь к вашей поэзии, тоска по иной замечательной жизни, адская робость и многое другое.

И еще — хочу сообщить вам загадочную интимность: просьба не оборачивать мне во вред. Тем более что это ни к чему

отношения не имеет. И вообще — мистика. Так вот, я один раз в жизни был на пороге обморока, не клинического — у стоматолога и не от ужаса — в лагерях, а обморока, так сказать, духовного происхождения. Это когда я позвонил вам из Ленинграда и вы доверительно известили, что не одеты. Не сердитесь, Юнна. Не знаю, что произошло. Просто — факт. Я так и не разобрался. И счел — о нем поведать. Какая-то дикость.

«Как смотрят души с высоты на ими брошенное тело» — так, должно быть, взираете вы на меня и мое чересчур большое тело — с высоты и свысока. И, может быть, вы правы. Но не слишком ли вы духовны — так и струитесь, а в руки не даетесь?

Ваша гениальность стоит между нами, как религиозный предрассудок. Если вы не прекратите топтать мое большое заурядное сердце, я поступлю жестоко. Загоню ваши факсимиле Пушкинскому дому из расчета четыре рубля штука, возьму «Агдама», надерусь и буду орать, что вы крадете метафоры и синекдохи у Иосифа Бродского. Бойтесь меня, Юнна!

Дочитав письма, мы отправились спать, но любовью больше не занимались — как-то не до того было. Нине, а я не прочь. Но боялся потерять то, что между нами впервые случилось в эту ночь, — близость, превышающая любую другую. В сексе в том числе. Но и без секса, хоть хотел ее дико. Вот именно: самый лучший секс, с кем хорошо и без секса.

Наутро я сканировал письма и сбросил обеим вдовам, обеим Ленам.

От ЕД получил мгновенный ответ, от ЕК — никакого.

Судя по записке ЕД, она была почти в таком же возбуждении, как моя-не-моя Нина:

Спасибо за письма. По-моему, замечательные. И кокетство очень мужское и тонкое одновременно. Простите, вы их будете приводить в своей книге? И как только Юнна дала вам их скопировать? Ведь она мне говорила, что уничтожила все письма СД по его распоряжению. Не думаю. Но ее писем в архиве нет. Что жаль. И они пока нигде не мелькнули. Значит, СД не оставил их никому при отъезде. Очень-очень жаль.

Елена Константиновна сама заговорила об этих письмах, когда мы с Ниной зашли к ней вечером:

— Интересные письма. Похожи на настоящие.

— Они и есть настоящие! — как-то уж слишком горячо воскликнула Нина.

— Откуда вы знаете? Это же перепечатка. Тогда ксероксы в

Москве были наперечет. А у переписчиков, известно, бывают ошибки, описки, в данном случае — опечатки. А иногда сознательные искажения и привнесения. Те же русские летописи взять. Либо еще более древние времена — анахронизмы в Библии, различные списки «Гильгамеша».

— По стилю видно, что это письма СД! — не унималась Нина. — Мне ли не знать! Я знаю все его тексты наизусть.

— Ну, для этого надо провести текстологический анализ, — возразила Елена Константиновна.

— У вас какие-то сомнения? — спросил я.

— Не то чтобы сомнения, но я помню, как писался и почему не дописался этот роман. И всю историю с этими письмами помню. И не только с этими. Когда Володя дошел до «Эпистоляриума», он у всех цыганил письма. Начал с меня. Здесь и клянчить не пришлось — просто спросил, может ли использовать. У нас с ним была большая предлюбовная переписка.

Клепикова замолчала, но потом собралась с силами:

— Что касается ЮМ, то ее и просить не надо было. Она рада была избавиться от писем, поставив на СД крест. Здесь она была вряд ли оригинальна — тогда мало кто предвидел такой его посмертный взлет. Даже мы с Володей, хотя любили его рассказы — Соловьев делал вступительное слово к его единственному вечеру, а я пробивала их у нас в «Авроре», но из этого ничего не вышло. Потом мы переехали в Москву, Соловьев порвал все связи с питерской литературной мафией, так, по крайней мере, он считал. Поэтому звонок СД из Ленинграда так его удивил. А его письма он вставил в свой роман и несколько раз пытался вернуть Юнне. Та — ни в какую! Володя чуть не силой всучил ей на нашей отвальной за день до отъезда — не брать же их с собой в Америку! Почти весь наш архив мы оставили Фазилю Искандеру. О чем сейчас очень жалею.

— И с тех пор как Юнна порвала с СД…

— Она возобновила с ним отношения только через десять лет. Уже в Нью-Йорке — через нас: у нас с ней связь не прерывалась, письма через океан шли потоком в оба направления: сначала с оказией, а потом обычной почтой. Весь этот эпистолярий Соловьев вставил в свой мемуарный фолиант «Записки скорпиона».

— Это «Роман с памятью», да? — сказал я. — Помню, он описывает, во что обходились СД визиты дорогих московских и питерских гостей — не только в денежном исчислении. Чуть ли не после каждого такого приема он ударялся в запой. Беспомощная в бытовом отношении, а тем более в Америке, но

очень бытом озабоченная ЮМ гоняла его в Нью-Йорке в хвост и в гриву — и в конце концов загоняла в свой последний наезд в Нью-Йорк в июле 1990 года, за месяц до его смерти. Он не выдержал и на этот раз запил, не дожидаясь ее отъезда. Кончилось все катастрофой.

— Кажется, про СД у него в другой книге.

— Почему все-таки вы сомневаетесь в аутентичности этих писем?

— Потому что знаю Соловьева. Знала, — поправилась вдова. — Типичный юзер. Литература превыше всего. СД был тогда никто, и никаких надежд, что выбьется в люди. Полная безнадега. Володя эти письма как документ не ставил ни во что, а использовал как подсобный материал для этого романа. Нет, в основе, наверное, лежат подлинные письма, но он неизбежно переиначивал их в угоду своему сюжету, где СД был одним из персонажей, а не только эпистолярист. Мало того что неоконченный роман, так вы его даже еще не дочитали, возбудившись от этих писем. А там могут быть еще сюрпризы.

— Какие еще сюрпризы после этих писем? Никогда не поверю, что они поддельные! — пожалилась Нина, у которой отнимали любимую игрушку.

— На то Соловьев и писатель, чтобы сымитировать чужие письма и выдать за подлинные. Забыла, как называется псевдодокументальное кино.

— Вы имеете в виду *mockumentary?* — сказал я. — А это литературный фальшак?

— Скорее литературная мистификация. Как, наверное, любое искусство, которое выдает себя за реальность. Тем более в основе все-таки документ — реальные письма СД.

— На сколько процентов? — спросила Нина.

— Я не считала. Вот пример. Сравнение двух пар «Бродский — Кушнер» и «Моисей — Аарон» для меня немного сомнительно. Откуда СД было знать о нем? Он не был вхож ни к Кушнеру, ни к Бродскому. Да и те между собой не соприкасались — большой любви между ними не было. Разве что на наших днях рождения. И в смысле атрибуции этих слов Кушнеру: Саша был не очень горазд на библейские сравнения. Это скорее стилистика Соловьева. В «Трех евреях» он сравнивает их с Иаковом и Исавом.

— Помню, — сказал я. — Что его роман — попытка восстановить попранную справедливость: право первородства принадлежит косматому Исаву, а не гладкому Иакову. А то, что Кушнер стал чемпионом по техническим причинам, потому что ленинградский матч не состоялся, по-вашему, тоже вымысел?

— Думаю, это как раз точные слова ЮМ — по прямой аналогии с сорванным матчем с Фишером, когда Карпов был объявлен чемпионом. Юнна — москвичка, а потому ей невдомек, что на самом деле матч состоялся, у нас на квартире, и Соловьев описывает его в «Трех евреях»: пииты читали свои стихи, и Бродский вышел из этого турнира не просто победителем, а триумфатором. И получил награду — лично от меня. Когда чтение стихов закончилось и Кушнер сидел, как побитая собака, я принесла сковородку с мясом и плюхнула Осе на тарелку лучший кусок. Он с ходу вонзил в него вилку, и кровь брызнула ему на пропотевшую рубашку. Когда читал стихи, пот с него лил градом.

— А почему нет писем ЮМ к СД? — спросила Нина. И я понял, к чему она клонит.

— Наверное, потому что ЮМ не дала свои письма Володе, — опрометчиво сказала Клепикова.

— Что ему стоило их выдумать, как он выдумал письма СД?

— Я не говорила, что он их выдумал, но мог добавить отсебятины. Он и с моими письмами поступал точно так же.

— Ну, скажи мне, плиз, чего она па́рит? — спросила Нина, как только за нами закрылась дверь. — Из кожи вон лезет, подвергая сомнению подлинность этих безусловно подлинных писем?

— Кажется, я догадываюсь, — улыбнулся я. — Дело в копирайте. У кого юридические права на эти письма?

Хороший вопрос! То есть ничего хорошего!

Здесь самое время, как обещано, заступить место мнимо пока что покойному автору Владимиру Соловьеву. Что меня несколько смущает, а то и возмущает: не слишком ли уж быстро моя соломенная вдова забыла своего свежего еще мертвяка и пустилась в литературный треп с вымышленными героями? Ну и тип, этот заместитель Довлатова, ха-ха! Самозванец! Пусть я его и измыслил себе на горе. Подлинные письма или не подлинные — какая разница? Главное, что похожи, и даже если фальсификат, то неотличимы от настоящих, коли даже вдова попалась. Да Довлатов подписал бы их не глядя.

В «Трех евреях», коли они помянуты всуе, у меня есть глава «Саморазоблачение героев в теоретическом аспекте», действие происходит в Вильнюсе, и там триалог между Сашей Скушнером, Томасом Венцловой и Владимиром Соловьевым. Разговор такой действительно имел место быть, и суть его схвачена верно, но я не записывал на магнитофон, а когда пытался воспроизвести по памяти, чего не помнил, присочинил, добавив аргументы всем его участникам. На то и роман, пусть и исповедальный. И вот после

двух скандальных публикаций в Нью-Йорке выходит первое российское издание, тоже, понятно, со скандалом, и я участвую в радиомосте по этой книге — два часа разговоров со всех краев земли: от Москвы и Питера до Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, и включая, само собой, американские и канадские университеты и колледжи, где обосновались новые американцы русского разлива. Среди участников — Томас Венцлова из Йельского университета, выступления которого жду с некоторой опаской. И тот вдруг, душка, защищает меня от моих зоилов: «Не знаю, как относительно других частей книги, но все, что написано про нашу встречу в Вильнюсе, абсолютно точно. Все так и было». А касаемо всего остального лучше всех сказал Довлатов: «К сожалению, все правда». Это была последняя книга, которую он прочел.

Кому принадлежат отправленные письма — автору или получателю? Обоим? Ввиду моральной двойственности этого вопроса, переведем его в юридическую плоскость. Есть ли у получательницы писем СД права на них, тем более ЮМ все письма уничтожила, а значит, утратила права даже как на материальную собственность — на ту бумагу, на которой они написаны, не говоря о содержании? Права на интеллектуальную собственность, понятно, у вдовы писателя, которая с живым энтузиазмом восприняла саму находку и предстоящую публикацию писем в книге о ее муже. Здесь, однако, требуется юридическая оговорка: права на эти письма также у Владимира Соловьева как соавтора СД. И как у человека, который втащил их в свой неоконченный роман, видоизменив их в угоду сюжету и концепции (на сколько процентов — не считал), а потом извлек их обратно, по возможности очистив от скверны-отсебятины, и в таком виде вставил в эту книгу как документ. К тому же Владимир Соловьев — то есть я — приводит эти письма не полностью, а только те фрагменты, которые характеризуют их отправителя: как большого писателя, остроумного абсурдиста, блестящего эпистолярист а и глубоко трагического человека.

Я уже писал, как был обескуражен и расстроен, когда Лена Довлатова стала возражать против публикации писем, хотя только что была «за»! Еще бы! Я начисто позабыл про эти письма и обнаружил их по чистой случайности в самый последний момент, когда эта книга уже была практически закончена, потому и решил тиснуть их под конец, хотя место им по их значительности, наоборот, где-то в самом начале, но откуда мне было знать? Не перекраивать же весь сюжет и композицию книги. И не только физические усилия были потрачены, чтобы разыскать их в хаосе моего архива, но и эмоциональные всплески: когда я стал читать весь этот эпистолярий, думал, что прошлое

похоронено и раны зажили, а прошлое живо, пока жив я, и старые раны открылись. Всяко, это не имеет никакого отношения к письмам СД.

В конце концов мы пошли с Леной Довлатовой на компромисс: я привожу отдельные места из этих писем в книге, а сами письма больше не существуют, коли они уничтожены, и я использую эти уничтоженные письма в рассказе, который сейчас дописываю. То есть возвращаю их в мою прозу, откуда их извлек. А что мне остается? Единственный выход из моего отчаяния. «Это ваше право, как писателя», — сказала мне вдова. Не моя будущая, а вдова Сергея Довлатова. И коли я перевожу эти письма из документального жанра в беллетристический, как и было задумано давным-давно в Москве, то и письма эти предположительно вымышленные, поддельные, хотя самые что ни на есть настоящие, подлинные!

Нина снова забралась с ногами на наш — теперь уж точно наш! — *loveseat,* я укрыл ее пледом, и она углубилась в чтение неоконченного романа Владимира Соловьева.

— Вот и «Малый эпистолярий», — сказала она.

— С нас достаточно большого.

Я сидел за столом и раздумывал, как обойти запрет вдовы на публикацию писем СД. Воспользоваться суфлерской подсказкой вдовы ВС? Выдать подлинные письма за поддельные? Почему нет? Не пропадать же этим драгоценным письмам. Один раз они уже были уничтожены — чтобы я взял грех на душу и уничтожил их вторично? Никогда!

— Смотри, что я нашла!

— Что еще?

— Письма!

— Какие еще письма?

— СД!

— Так они же с ЮМ разбежались.

— При чем здесь ЮМ! Твоему Соловьеву! С ним СД по корешам. Не то что коленопреклоненные письма ЮМ! Что будем делать?

— Писать следующую книгу, — сказал Владимир Исаакович Елене Константиновне.

Владимир Соловьев
Еврей-алиби

[7]

Парадокс антисемитизма

Когда-нибудь он меня достанет — как пить дать. Тресну его бутылкой по кумполу — будь что будет, хоть черепушка пополам. Сколько можно терпеть? Вот даже Довлатов не выдержал, рвался в бой и хотел начистить ему рыльник прямо на радио «Свобода», еле оттащили. «Нам, русским, нельзя, — увещевал я Сережу. — Нас и так румыны и чехи в грош не ставят за то, что нажираемся как свиньи и, как что, устраиваем разборки». Как раз со мной на людях этот поц никогда, чин чином — только наедине. Да мне никто и не поверит, скажи я это про него. Не говоря о том, что вредный стук, как опять-таки говорил Довлатов, а в нашем коммюнити — как донос. Однажды, в каком-то телеинтервью, анонимно привел один из его аргументов.

— Ну, и знакомые у вас, — изумился интервьюер.

— Какие есть.

Кто спорит, я ценю наши — нет, не отношения, а авгуровы разговоры. Стас — тоже. Уровень один, зато мнения — вразброд. С кем еще нам калякать в этом болотном вакууме, как не друг с другом? Тем более знакомы, пусть шапочно, еще по Питеру. Как и с Довлатовым, но тот взял да помер. А здесь, в эмиграции, нас со Стасом буквально бросило друг к дружке. Даже, проиграв сначала в уме, обсуждали голубой вариант — не завести ли любовную интрижку? — но, окромя латентного гомосексуализма, который можно, приглядевшись, обнаружить даже в дереве, камне или облаке, на пидора ни один из нас не тянет. Отвергли саму идею как головную и непродуктивную, тем более уже в годах и в смысле изношенной, проеденной молью времени плоти физического интереса друг для друга и ни для кого другого не представляем.

Давно и более-менее удачно женаты: я — по второму заходу, скорее по ее, чем моей инициативе, он — незнамо почему, да и не очень любопытно. Из большого секса Стас, по его словам, ушел еще в России, вовремя соскочив с этого дикого жеребца. Я пока что на нем подпрыгиваю, хорошо это или плохо. Но я младше на пять лет и все еще оглядываюсь и заглядываюсь — всегда был похотлив, а теперь, по возрасту, стал неприхотлив.

Зато с женой — как в прежние годы, никакая виагра не требуется, встает при одном ее виде или даже при мысли о ней: ночная эрекция меня будит и не дает заснуть — будить ее или не будить? Если хотите, банал: «Она его за муки полюбила, а он ее — за состраданье к ним». Хотя какие там муки, какое там состраданье, просто — педофил и геронтофилка, пусть разница между нами всего ничего: восемь лет. По крайней мере, пока мы легко преодолеваем эту возрастную разноту под одеялом да и в любой другой располагающей ситуации, а занимаемся мы этим в самых разных, как только на кого из нас накатывает любовный амок — чаще всего на обоих одновременно. А женились мы и вовсе по шаблону: профессор и воспылавшая к нему студентка. Вот мы и зацепились друг за дружку. Фактически это она увела меня от первой жены, держа за х**. Не то чтобы целколюб, но никаких сомнений в ее целости, хотя видимых признаков тоже не было, но так сплошь и рядом: не всем же море разливанное крови.

Какому мужику не хочется быть первым мужиком своей бабы? Довлатов вот жалился, что он у женщин второй — и это в лучшем случае. Только раз в жизни мне подфартило и определенно, вне всяких сомнений, сломал целку, хотя по дикой застенчивости эта девушка, наоборот, говорила, что у нее уже был любовник, но в последний момент попросила быть осторожнее, у нее там так устроено, иногда больно… дико стеснялась своего девства в 23 года. Ни с чем не сравнимый кайф — распечатать женщину и выпустить на волю джинна, тем более ее джинн оказался совершенно неуправляемым: едва справлялся. На ней я и женился — в первый раз. Я и со второй женой должен был стать первым, зная ее студенткой, которая сама вешалась мне на шею.

Клянется, что я у нее — первый и единственный в физическом смысле, о чем она теперь жалеет, а девчоночьи и девичьи влюбленности — с первого класса, сначала в одноклассников, потом в учителей и профессоров, вплоть до меня, когда терпеть уже не было сил, — все они не в счет, хоть именно их она вспоминает спустя столько лет. А что, если я не первый профессор, которого она соблазнила, уверенная — романтическая ханжа! — что это он ее соблазняет? Как в моем случае, когда вся инициатива исходила от нее, начиная с первого поцелуя. А если она вешалась на шею каждому? «Ты еще список составь!» — смеется она, когда я делюсь с ней — вот глупость! — своими подозрениями.

Ни в чем не уверен. Правда не есть субстанция ее жизни, а тем более амплуа или прерогатива, и никогда не была. И если брешет всю жизнь, то чтобы меня поберечь и уберечь от правды,

никак, ну никак не врубаясь, что сомнения мучат, изматывают и подтачивают сильнее любой правды, даже если бы она поимела всех моих знакомых, а своих собственных у нее нет. Из-за этой гнетущей, приступами, ревности у меня и забило артерию, вставили стент, пью для разжижения крови японское лекарство наповал, у которого боковых последствий больше, чем пользы, смерть включая: яд. Времени на жизнь не осталось. Мне суждено умереть, так ничего о ней — от нее — не узнав.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

Иногда воображал ее с этим автором, затесавшимся в нашу серенькую компашку, и даже оправдывал ее сексуальное предпочтение интеллектуальными запросами — с кем еще, как не с Бродским? К тому же с моей подсказки, что и обидно: он ходил тогда в городских сумасшедших, а я носился с ним как с гением и сам ее подтолкнул — дал зеленый свет. Одна надежда на него — что не стал бы с женой приятеля.

Навязчивая идея? Свихнулся на ревности, как главный герой этого рассказа на евреях? Еще вопрос, кто герой рассказа, кто больной на голову — я со своей зацикленностью на жене или Стас с его психозом на мне? Я сломался на ревности, он на антисемитизме, а зациклился на мне. Все мы слегка чокнутые, а некоторые не слегка — как мы с ним. Кто на чем. Себе в убыток. У каждого свой бзик, своя заморочка, свой таракан в голове, у нас обоих мозги набекрень. Или безумство есть норма?

Несколько раз пытался вдолбить это моему приятелю, на что он неизменно говорил:

— Еще не поздно.

— Давай вместе, — предлагаю.

— Мне-то чего?

— Из гигиенических соображений. Большинство американцев обрезаны.

— Ну да. Это еврейский заговор. На всякий случай. Чтобы вас не отличить.

— От арабов, — смеется Тата, великовозрастная дщерь Стаса.

— А был слух, что ты здесь обрезался, — говорит вдруг Стас и сверлит меня глазами.

— Показать?

— Покажи! — требует неуемная Тата.

Помню, про Довлатова тоже такой слух был и докатился аж до Парижа, откуда вернулся обратно и дошел до Сережи: мол, из идеологических и утилитарных соображений, потому что редактируемый им «Новый американец» спонсировал какой-то пейсатый.

— Хочешь, чтобы я тебе член через океан протянул в качестве доказательства? — звонил Довлатов в Париж. — Клянусь, крайняя плоть при мне. И пребудет до конца моих дней. Как был антисемит, так и умру, — сказал этот полуеврей-полукавказец.

И то сказать: к тому времени Довлатов уже порвал с русским еженедельником с еврейским акцентом, укрепившись в своей позиции еще больше.

— В таком плотном кольце евреев, как в иммиграции, мудрено не стать антисемитом, даже будучи евреем, — говорил Сережа.

Не обязательно таким продвинутым, как Стас. Точнее, каковым Стас себя считает.

— Могу даже посочувствовать Стасу — антисемит вынужден косить под филосемита! — добавлял он не без злорадства. Сам Довлатов никаким антисемитом, понятно, не был — ни в одном глазу, но свое злоязычие, необузданное политкорректностью, этот мизантроп распространял на все и вся окрест, себя включая: главный объект.

Между прочим, Стас, будучи идеологическим антисемитом — если только он не подводил под свой зоологический антисемитизм идеологическую базу, — евреев-антисемитов не жаловал, хоть и часто ссылался на них: «Милые ссорятся — только тешутся!» Бродский, тот и вовсе считал еврейский антисемитизм «комплексом йеху»:

— Это как Гулливер боится, что благородные лошади-гуингмы заметят его родовое сходство с презренным человекоподобным йеху. Страх еврея перед синагогой. Тем более — поверженной. А у меня — перед торжествующей. Иудеохристианская цивилизация. Ханука в Кремле. Еврея — в папы Римские! Мяу.

А сам Бродский был свободен от комплекса йеху?

Мечтал ли наш Гулливер стать лошадью?

Тату я знаю сызмала, еще по Питеру, когда она была угловатым подростком, зато теперь — клевая телка, на пару-тройку лет младше моей жены, но в теле, детей так и не завела, взамен — три кота, все мужики, хоть и кастрированные. Я всегда на нее засматриваюсь, все еще видя в этой привлекательной, хоть и не юной уже женщине питерскую сопливку, которая в ней нет-

нет да проглядывает. Или это моя память выкидывает такие фортели с утраченным временем? Или меня возбуждает мое воображение?

Конечно, она знает о моей к ней давней склонности — кто еще из ее мужчин, не считая родителей, знал ее целой? Вот и подначивает. Почему-то ни я, ни она не принимаем в расчет мою жену.

Сегодня на Тате короткая джинсовая юбка с королевскими лилиями на каждой ягодице. Ну, как удержаться и не шлепнуть? По юбке, а не по попке. А зачем она надела такую возбуждающую юбку? Знала же, что я приду. И потом я дружески, без задних мыслей. Так, по-моему, и поняла — никаких возражений.

Сидим потом на диванчике, *loveseat* называется, болтаем ни о чем, мой друг-враг в студии задерживается, и вдруг она говорит:

— Хочешь увидеть меня голой?

— Совсем-совсем?

— А то?

— Прямо счас?

— Немедля!

— Еще как хочу!

— Закрой глаза и не подглядывай. Только по-честному.

Весь напрягся, сижу зажмурившись, предвкушаю. Слышу, она возится — раздевается. Вот девка! Во дает! А что потом?

— Открывай! — орет она.

Открываю глаза — на стене напротив висит огромная фотка ню: лежащий младенец женского полу, ножки в разброс и что сразу бросается в глаза — огромная половая щель меж ними. Только что не ахнул. Оторваться нет сил. Для моей прозы-обнаженки такая обнаженка в самый раз!

— Ну, что, гад, доволен?

— Предпочел бы в живом виде.

— Так я же выросла!

— Хочу выросшую. Увидеть. Нагишом. Увидеть — и умереть, — распаляюсь я. — Где ты была, когда я был молод!

— Может, ты еще и ребеночка мне заделаешь? Или только анатомическая демонстрация? Ладно, как-нибудь в другой раз, коли тебе так неймется. Жалко, что ли, — друг моего детства и враг моего отца. — И вдруг совсем доверительно: — Где мало изменилась, так это между ног. Если не считать дефлорации, которой, честно, и не заметила. Зато такая же нерожалая. Как прежде.

— А когда первый раз?

— Первый раз в первый класс. — И ржет. — Не помню. — И тут же: — Не скажу.

Заслушав возню в прихожей, Тата успевает снять со стены свой похабный младенческий портрет и, свернув в рулон, прячет за шкаф, но ее папан все равно поглядывает на нас искоса, с подозрением, пока не садимся за стол. Поляну накрыла Тата: Стасова жена в командировке, а моя припозднилась — тусит где-нибудь.

Обычный репертуар — обилие водки, зато аскеза закусона, как будто мы на экстремальной диете: в основном соления. Пьем мы по-разному — он в разы больше, я его не догоняю. Он напивается, я — остаюсь трезвым. Даже здесь мы несовместны, не будучи ни гением, ни злодейством — ни один из нас. Но выбора у нас нет: топографическая дружба, живем в паре кварталов друг от друга, одного — приблизительно — интеллектуального уровня: может, он умнее и талантливее меня, да и память — цепкая, энциклопедическая, не в пример моей — ассоциативной и выборочной. Ему в минус, а мне в плюс: ум у него спекулятивный, жуликоватый, безответственный, его заносит, а я стараюсь придерживаться если не истины, то фактов. С ним, наверное, интереснее — со мной надежнее. Кто-то насмешливо назвал его радиофилософом, а он сболтнул мне, что устный жанр предпочитает письменному, потому что слушатель, в отличие от читателя, не успевает его проверить и уличить на ошибке или противоречии. В качестве примера привел Шекспира, чьи пьесы для сцены не всегда выдерживают проверки печатным словом: в одном месте леди Макбет говорит, что кормила ребенка грудью, а в другом сказано, что она бездетна. Помню, сколько Стасу стоило усилий, чтобы убрать противоречия в своих радиоскриптах, когда готовил к изданию московское избранное с провокативным названием «Русский человек как еврей».

Мы с ним широко известны в узких кругах — так можно сказать про каждого из нас. Или как говорил в прошлом веке один деятель партийной кодле: «Мы собрались в узком кругу ограниченных людей».

Один из нас — все равно кто — вещает на Россию, хотя вряд ли там кто его теперь слушает. У другого — тоже все равно у кого — своя авторская радиопрограмма для здешних русских пенсионеров, которые, по незнанию английского, так и не вошли в американскую жизнь. Сотрудничаем в здешних конкурирующих русскоязычниках. Один называют «Бруклинской стенгазетой», а другой «Кремлевской правдой в Америке» (филиал московской «Комсомолки»), где недавно была забавная опечатка: вместо «Семья Обамы» — «Семя Обамы». Есть здесь еще одно комсомольское ответвление — от «МК», — в котором мы печатаемся оба. Можно и так сказать: на старости лет, «задрав

штаны, бежим за комсомолом». Оба — люди небрезгливые.

Попали в Америку мы разными путями, но у обоих были в России вполне благополучные судьбы: один — литкритик и член Союза писателей, другой преподавал в Ленинградском университете марксизм-ленинизм (в здешних характеристиках — философию, хотя другой философии там не водилось). Кто был кто — какая теперь разница? Тамошнее наше преуспеяние вызывает кой у кого подозрение — не скурвились ли мы там? Нас подозревают не только другие, а мы — друг друга, но каждый — сам себя: а не засланы ли мы сюда, сами того не сознавая, Конторой Глубокого Бурения? Господи, каким устарелым языком я пользуюсь.

Оба — из обеспеченных советских семей: я — скорее папенькин, чем маменькин, сынок, папа — полковник погранвойск, а Стас — барчук из семьи крупного питерского партократа. Я — трезвенник, Стас — алкаш, но каким-то чудным образом частично излечил себя от этой пагубы с помощью самопсихоанализа, хоть и случаются рецидивы, как сегодня, например. Нелюбимый моей женой Фрейд — единственный еврей, которого Стас признает. Зато моя жена считает Фрейда давно вышедшим из моды шарлатаном, но она — не антисемитка, а, наоборот, филосемитка, коли терпит меня с моими закидонами, включая ревность. А если бы — о, ужас! — все было наоборот: мой друг — жидолюб, а жена — антисемитка? Не поменять ли их местами? Этакий гендерный перевертыш, а? А что бы я делал, если оба? О чем я, если жена к этой теме дышит ровно, а Стас — крутой антисемит: от рождения или всосал с молоком матери, я знаю?

— Ты же почти вылечился от алкоголизма, — говорю ему. — Попытайся теперь тем же манером с антисемитизмом…

— Антисемитизм неизлечим. И потом имею я право на собственное мнение? Не я же один! — И ссылается на гуляющий по Инету цитатник. Там все великие мира сего о евреях: от грека Демокрита и римлянина Тацита до наших Льва Толстого, Достоевского и Чехова, немцев Гегеля, Канта и Вагнера и даже француза Вольтера.

— Уж коли ты помянул последнего, то, перефразируя его знаменитые слова о Боге, можно сказать, что, если бы евреев не было, их следовало бы выдумать: универсальный козел отпущения.

Среди великих антисемитов много тех, кого я люблю. Тот же римский стоик Сенека, пусть он и писал о евреях: «Этот преступный народ сумел приобрести такое влияние, что, побежденный, диктует законы нам — победителям». А Тацит,

нравственнейший из римских историков и блестящий латинский стилист, искренне поражался, что евреи считают преступлением убийство любого новорожденного беби, в то время как спартанцы сбрасывали неполноценных детей с Тарпейской скалы.

— В конце концов, восторжествовала еврейская мораль, и законы побежденных стали законами победителей, — говорю я.

— И что хорошего? Какой толк от даунов? У евреев их в шесть раз больше, чем у других этносов.

— Ты считал?

— И считать не надо.

— А сколько в русских деревнях?

— У нас — от алкоголизма. А у вас все упирается в близкородственные связи — сродники женились на сродниках.

— Ну, как у аристократов.

— Дегенерация в обоих кланах. Спартанцы и Тацит правы — даунам не место на земле.

— Гитлер тоже так считал.

— Ну и что с того! Если даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время, то и устами психа — как и младенца — иногда глаголет истина.

— Хорошо хоть признаешь Гитлера бесноватым.

— Но разве он единственный в своем отрицании евреев? А его великие соотечественники? Кант считал, что евреи подлежат эвтаназии, Вагнер предсказывал, что они будут уничтожены. А наши? За версту не переносили вашего брата.

— За исключением Лескова.

— Один в поле не воин. Не говоря о Достоевском, даже деликатнейший Антон Павлович считал, что всегда надо помнить про жида, что он жид. Вот я и помню, что ты жид, хоть и люблю тебя, как Чехов Левитана. Нестыдная тусовочка, согласись?

— Все равно, великих евреев — от библейских пророков до нобелевских лауреатов — в разы больше, чем великих антисемитов, и вы это знаете, а потому стараетесь взять если не умением, так числом. Конечно, досадно читать подобные высказывания, но это должно быть все-таки стыдно вам, а не нам.

Это я так — себе в утешение.

Недавно я прочел маленький шедевр ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» — роман вышел миллионным тиражом на тридцати языках, во многих странах стал бестселлером, но все равно больше известен по многократно премированному фильму Марка Хермана. Лично мне моральная концепция показалась сомнительной: почему я должен сострадать коменданту концлагеря из-за того, что его сын, которого безумно жаль, по недоразумению попадает в газовую камеру, а комендант,

когда до него все доходит, сходит с ума?

Да и в самой газовой камере — сцена жуткая! — среди голых евреев с бритыми головами как-то особенно жалко вихрастого блондинистого арийского мальчика: его-то за что? Что-то там не так, хотя прием — класс, а литература — вся прием. Или прав Шекспир: «Средь собственного горя мне краем сердца жалко и тебя»? Но не до такой же степени, чтобы сочувствовать коменданту лагеря смерти, а гойского мальчика жалеть больше, чем идишного! Или это такая притча: весь мир — потенциальные евреи? Как говорит один мой приятель, каждый человек — еврей, пока не докажет обратное. Не знаю, не знаю…

Конечно, всяко бывает. Тут одна мне говорит: «Я — антисемитка, и специально вышла замуж за еврея, чтобы он был под боком в качестве козла отпущения». Шутка, конечно. На самом деле водой не разольешь, а сейчас, когда у него рак обнаружили, не отходит от его постели: жена-сиделка.

Стас считает свой антисемитизм высшей пробы, а для меня любой антисемитизм низкопробен: разница — в аргументации. На мещанском или на интеллектуальном уровне. Последний — крик моды во всем мире. О чем говорить, когда в наш крученый век еврей может быть антисемитом почище гоя? Примеров — тьма.

Я бы мог тоже примкнуть, примазаться, аргументов мне не занимать, но терпеть не могу толпы, особенно в самом себе, брезглив, да и зачем предавать себя? Ни разу не был в синагоге, не надевал кипы, не знаю иврита, не бывал в Израиле, хоть объездил полсвета, но *omnia mea mecum porto*. Ну да, свое еврейство ношу с собой. Я это знаю — и Стас это знает. Для него я — супереврей. К какому-нибудь ортодоксальному еврею он отменно равнодушен, а я ему покоя не даю. Я — его единственный еврей и одновременно объект его всепоглощающей страсти, о которой никто в мире, кроме меня, не знает, да никто бы мне и не поверил. Знал только наш общий друг Довлатов, но он, будучи полукровкой, воспринимал антисемитизм Стаса спокойно, считая частью его общей говнистости. Сказано гениально, но Стас в эту формулу все-таки не укладывается.

Что же касается упомянутого говна, то в статье именно под таким шокирующим названием (как я понимаю, тайно автобиографической), ссылаясь на своего любимого Фрейда, Стас рассказывал об огромном значении в жизни ребенка как дефекации, так и собственных фекалий, видя в этом символ его творческой деятельности, сравнивал — через бессознательное — обычай «медвежатников» оставлять у взломанного сейфа кучу испражнений и приводил разные этимологические примеры типа

золотарей-говночистов и проч. Испражнение ребенка при взрослых — знак его доверия, а став взрослым, человек предпочитает делать это в одиночестве. Посему публичный антисемитизм — это инфантилизм и психоз: как не принято срать на людях, а тем более в людных местах, так и антисемитизм следует таить в себе, а не кричать о нем на всех углах. Этого правила Стас и придерживается, будучи тайным копрофилом-антисемитом, но после этой камуфляжной статьи ходит в жидолюбах. Он не настолько известен, как, скажем, Жан-Люк Годар, который разбрасывает свое антисемитское говно по всему свету. Вынужден таиться. Довлатов прав: до чего надо довести антисемита, чтобы он притворялся филосемитом! На людях. Единственное исключение из этого правила — я. Он доверяет мне, как упомянутый ребенок, справляя при мне свою нужду, а потом демонстрирует плод своих усилий. В свете его теории я и не воспринимаю его антисемитизм иначе, как говно, но его самого, наперекор покойному Довлатову, говном все-таки не считаю. У Сережи были свои с ним счеты, и он даже порывался разбить Стасу морду в кровь за то, что тот грязно приставал к его жене, мы его тогда на радио с трудом втроем удержали, иначе рыхловатому моему другу-недругу с варикозными венами на вздутых ногах было бы ох как хреново, а то и вовсе пипец, и я лишился бы собеседника, чего очень бы не хотелось.

Почему Стас выбрал меня в напарники и исповедники? Чтобы По-настоящему раскрыться, антисемиту нужен именно еврей с его чувствительностью, мгновенной реакцией и последующей терпимостью, когда отпсихует. Это и есть я. У меня оставалась единственная возможность ему отомстить — трахнуть его дебелую, как у Кустодиева, дочку. Но была бы это месть, когда Тата мне по-любому мила и желанна, да и она, догадываясь о моих обоих поползновениях, не прочь, похоже, послужить враз орудием мести и извлечь из нее какое ни есть удовольствие? Но еще не известно, как Стас отнесся бы к нашему соитию, если бы оно наконец состоялось. А если ему по барабану? Или, наоборот, он получит лишний козырь в борьбе со мной, и я подтвержу своим непотребством немецкую точку зрения, что евреи совращали ариек? Хотя еще вопрос — кто там кого если не совращал, то соблазнял.

Кто спорит, у нас, евреев, слабость к арийскому, нордическому, славянскому типу определенно имеется. Может, на неосознанном генетическом уровне — чтобы оздоровить нашу древнюю кровь и избежать вырождения? Однако и в нас есть, видимо, какой-то привлек-манок-амок для ариечек — тире — славяночек (не только сексуальный, но и сексуальный тоже), либо

им свои арийцы осточертели, коли они кайфуют, спариваясь с нами, разве нет? Не зря же немцы приняли эти чертовы нюрнбергские законы? Чтобы сохранить в чистоте арийскую кровь? Или из комплекса неполноценности? Как когда-то суды Линча в нашей теперь среде обитания над неграми, уличенными в связи с белыми женщинами, а обвинение в изнасиловании не более чем эвфемизм, да? Ладно, не знаю, как негры, но мы, евреи, ни разу не попадались на насилии. Между прочим, Бродский называл свою ледяную красавицу «белой женщиной», а себя чувствовал негром, то есть евреем. Замнем для ясности.

Забывая, что старше меня, Стас объясняет мою прыть опять-таки еврейством, то есть по завету Бога: плодитесь, размножайтесь. И приводит американскую статистику: на обычного белого мужика в Америке приходится 2,3 бабы, а на еврея — 6!

Пытаюсь сосчитать в уме, сколько пришлось на мою долю, но быстро сбиваюсь — у многих одно и то же имя, а фамилии я и подавно позабыл.

Еще вопрос, кто кого подначивает. Не исключено, что я — самим своим существованием.

— Что ты от меня хочешь? Ну, прости мне, что я еврей. Чем я виноват? Это же факт моего рождения, а не сознательного выбора.

— Живи, бог с тобой, — милостиво разрешает он. И тут же: — А я виноват, что не еврей?

— Завидуешь? Не родись счастлив, а родись еврей.

Ну, скажите, зачем я ему, а тем более он — мне? Пусть так: у каждого антисемита есть свой еврей: помню, по Питеру ходили неразлучной парой Федор Абрамов, возглавлявший в Ленинградском университете поход против космополитов, и согбенный в три погибели Давид Дар — тот самый, который ползал на коленях перед своей женой Верой Пановой, умоляя не ездить в Москву на писательскую агору, которая единогласно осудила Пастернака за «Доктора Живаго» (не послушалась — поехала и руку в знак единогласия подняла). Довлатов рассказывал, а он у Пановой секретарствовал. Друг-еврей — еврей-алиби? Для других, а может, и для самого себя? Пропуск в порядочное общество? Вот мы со Стасом ходим в друзьях, все нас так и воспринимают, и никто не подозревает в нем антисемита. Наоборот, знают за жидолюба, за которого себя выдает. См. упомянутую книгу «Русский человек как еврей», где он предсказывает, что в связи с переменами в России русский человек скоро станет умен и продвинут, как еврей, и так же богат. Но книги книгами, а главный сертификат выдаю ему я — своей с

ним дружбой. Своего рода индульгенция от антисемитизма. Благодаря мне никто не подозревает, что у него идефикс — заточен на евреях, запал на них. Извне я — прямое доказательство его жидолюбия, и никто не знает, какой он снутри жидоед.

А зачем еврею антисемит? Нет ли здесь какого-то душевного излома, чтобы не сказать патологии? Форма мазохизма? Как говорит Довлатов, задо-мазохизма? Кто кому нужнее — еврей антисемиту или антисемит еврею? Антисемитизм для нас как дразнилка — и как закалка, и как зажигалка. Да я бы давно забыл, что еврей, если бы не Стас. На то и щука в море, чтобы карась не дремал? Почему, кстати, в море, когда карась и щука — пресноводные рыбы? Или русские называли морем любой водоем, какой ни попадя, за неимением настоящего моря? А жена-врагиня мне тоже дана, как карасю щука? Жена и друг — что между ними общего? Без них я бы, наверное, впал в состояние блаженного идиотизма и самодовольства.

Все мы фигуранты какой-то странной, еще не написанной мелодрамы, которую без зрителей разыгрываем для самих себя.

— Коли зашла речь о даунах, в каждой хасидской семье один даун, другой гений, — говорю я.

— Дауны — сколько угодно, а где гении? Третий сорт выдаете за первый. По большому счету, среди евреев нет гениев, — наседает на меня мой друг-враг.

— Ну, а Эйнштейн? — припоминаю.

— Во-первых, теория относительности до сих пор не доказана и сомнительна, недаром он Нобельку отхватил не за нее, а во-вторых, автор теории относительности — не Эйнштейн, а его первая жена, Милева Магрич.

— Феминистская лажа! Это ей просто не мозгам. У Милевы не было особых способностей ни в математике, ни в физике, она даже не смогла — с двух попыток! — сдать выпускные экзамены в Политехникуме. У нее ни одной научной работы! А у Эйнштейна, помимо теории относительности, триста научных открытий и полторы сотни книг. «Персона века», по версии «Тайма».

— Кому ты веришь — «Тайму» или мне? Твой Эйнштейн — чистый китч: Эйнштейн со скрипкой, Эйнштейн на велосипеде, Эйнштейн с высунутым языком. Фу, какая гадость! Это же все еврейская раскрутка! Евреи евреев пиарят. Весь двадцатый век — жидовский: от Голливуда до Нобелевских премий.

У Стаса черный список плохих евреев — туда входят даже те, чье еврейство возможно или вероятно, но не доказано. Скажем, мараны, которые вынужденно скрывали свои корни, типа Торквемады или Франко.

— Так Торквемада для того и создал инквизицию, чтобы преследовать криптоевреев.

— Из чувства вины за свое собственное еврейство.

— Ты относишь понятие коллективной ответственности исключительно к евреям? А другие мараны — Сервантес, Пикассо, Франко, Фидель Кастро?

— А что в них хорошего?

Между нами еще раздрай по поводу альтернативной истории, которую я, будучи детерминистом, не признаю. Стас же только ею и живет, сомневаясь в закономерной связи и причинной обусловленности прошлого. Подозреваю, что и здесь все упирается в евреев, которых Стас хотя бы гипотетически пытается выдавить из мирового процесса.

— Закономерность на самом деле зависит от случайности и сама по себе есть цепь случайностей: случилось так, а могло иначе и даже наоборот. А потому, как ни относись к существованию твоей исторической родины в ее нынешнем виде — чудо-юдо двадцатого века или пагуба для всех народов, — но, если бы греки в свое время сумели подавить восстание Маккавеев, никаких проблем в Палестине сейчас бы не было.

— Господи, это же второй век до Рождества Христова!

— Ну и что с того? Вы же во сколько уже отсвечиваете в мировой истории!

Больше всего Стасу не дает покоя Библия. Само собой, Библия не оригинальна, говорит он: тот же Потоп, к примеру, и Ной под изначальным именем Утнапиштим, и даже гора Ништим, прообраз Арарата, впервые задолго до евреев и куда более поэтически описаны в шумеро-аккадском эпосе о Гильгамеше, но без всяких там морализаторских привнесений о Божьем наказании за человеческие грехи. А в целом Библия — семейно-племенная история: почему она должна быть главной религией мира? Ни одного археологического подтверждения тому, что в Библии описано, тогда как найдена, скажем, Гомерова Троя, микенские, критские, санторинские дворцы и фрески, египетские пирамиды, скульптуры, мумии, включая сотни тысяч набальзамированных кошек.

— Спасибо, — говорю, будучи сам страстным кошатником.

А как Библия тормозила науку своим вздорным летоисчислением или глупыми байками — один Иона в чреве кита чего стоит, ха-ха! Апология кровосмешения. Супруги Авраам и Сарра — брат и сестра. Напоив отца, родные дочки трахают по очереди Лота, чтобы понести от него. А чем занимается Онан, и ежу понятно.

— Стоп! — возражаю я. — Онанизм — нормальное и здоровое

явление, как все теперь считают, и уж что точно — не одни евреи им занимаются. Как и инцестом — от древности до наших дней. И никаких деток с хвостиками.

— Проповедь садизма, — продолжает он. — К примеру, забивают кол в голову спящего человека.

— Так это же был их смертельный враг Сисара, который жестоко угнетал сынов Израилевых целых двадцать лет! Поделом тирану.

— А человеческие жертвоприношения? Иеффай и его дочь.

— А у кого их не было на той стадии развития?

Насквозь расистская книга — во имя своего Бога евреи уничтожают несчастных гоев: сыновья Иакова сначала заставляют весь город обрезаться, чтобы перейти в иудейскую веру, а потом нападают на ослабших и всех истребляют. И множество других примеров. А как иудеи уничтожили всех ханаанян, когда вернулись из Египта? Мне за ним не угнаться — безнадежно отстаю.

— А это не ханаане приносили первенцев в жертву своему Молоху? — вклиниваюсь в его монолог.

— Мало ли у кого какой обычай! Евреи их убивали ни за это. И не только ханаанян. «И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины…» — упоенно цитирует Стас. — А ваш жестоковыйный бог: «Изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь». А как он наказывал царей, своих же помазанников, если те поддались жалости и не уничтожили гоев? И христиане сделали его своим Боженькой!

К христианству он относится отрицательно, как к позднему, упрощенному иудаизму, который евреи создали на импорт: один вариант для христиан, другой — для мусульман. Все три веры считает авраамической религией.

— Думаешь, другие народы лучше? — возражаю я, отводя в сторону от евреев. — Большинство народов не записывали свою историю. А евреи ничего не скрывали и подбрасывали аргументы такой сволочи, как ты.

В деревянное ухо. Мы оба уже набрались, чтобы слушать друг друга.

Хотя одно только упоминание писаной истории иудеев подливает масла в огонь наших авгуровых препирательств.

— Вот именно! — возбуждается он. — Один ваш Моисей чего стоит! Он создал коррумпированное общество, когда сошел с горы с писаным законом, то есть с простым текстом, — и это после встречи с реальным богом! С неопалимой купиной, пламенеющим, но не сгорающим кустом.

Здорово я его подзавел ссылкой на нашу письменную

историю.

— Если бы филистимляне были такими писучими, как евреи, и всё бы записывали, Самсон и Далила поменялись бы местами: он — злодей, она — героиня.

— Как так? — дивлюсь я.

— Главное преступление Самсона — когда он обрушивает на себя и филистимлян их храм, — талдычит свое Стас. — Массовое убийство невинных людей да еще по политико-расовым причинам — это и есть самый что ни на есть терроризм шахидского толка. Первый в истории человечества. Шахид и есть — вот кто такой твой Самсон! Что бы ни базарили потом твои евреи, объявляя его своим героем.

— Ты прав, все упирается в то, кто пишет истории, а тем самым и Историю, — может быть, слишком гордо заявляю я. — Копирайт принадлежит не героям или антигероям, а *storyteller* у, рассказчику, писателю, автору. Филистимляне не оставили нам в письменной форме отчет о подвиге своей Далилы, погубившей изверга рода человеческого Самсона. По-арамейски, Шимшон.

Впервые я обгоняю его в библиоведении.

— Какое это имеет значение?

— А такое! Что как бы потом Шимшона-Самсона ни подъе**вали критики-ревизионисты вроде тебя, он навсегда останется мировым героем. История принадлежит тем, кто ее пишет. То есть победителям. Твой антисемитизм — это зависть к победителям.

— Вы победили, — признает Стас. — Но что хорошего? История, которую вы сочинили и всучили человечеству, — фальшак. А какой ценой вы победили? Стоила ли победа тех жертв, которые вы ради нее принесли? Не лучше ли было исчезнуть с лица земли, как шумеры, аккадцы, критяне, этруски, греки, римляне? Что за упрямство, ни один народ на такое не пошел, все перемешались с другими и рассеялись по белу свету. Одни вы непотопляемые.

— Так и мы рассеялись.

— Но вы и в диаспоре сохранили свое тайное единство.

— Не преувеличивай. Большинству евреев еврейство по фигу, не говоря о смешанных браках, а в Америке их большинство.

— А Израиль?

— Что Израиль? Никакого бы не было Израиля, если бы не Гитлер.

— Почему палестинцы должны страдать из-за Гитлера? Есть точка зрения, что холокост, который я, заметь, не отрицаю, — массовое самоубийство евреев.

— Ну, да. Жан-Люк Годар. Я люблю его ранние фильмы —

«На последнем дыхании», «Жить своей жизнью», «Презрение», видел их еще на тайных просмотрах в России.

— Признаю, крайняк. Тем более Годар подводит под эту мазохистскую теорию меркантильную базу: евреи шли в газовые камеры, чтобы привлечь к себе внимание и, пожертвовав собой, способствовать созданию Израиля. Я с этим не согласен.

— Еще бы! Спасибо и на том.

Встаю и кланяюсь Стасу в пояс.

— Перестань поясничать, — говорит он, делая ударение на «о». — У меня еще парочка аргументов на эту всегда горячую тему.

— Всего?

— Откуда такая ровная цифирь: шесть миллионов? Кто считал? Сами евреи, которые погибли в концлагерях? И сообщили с того света?

— Вообрази, мир был бы сейчас совсем другим, если бы эти шесть миллионов не были уничтожены.

— Мир был бы совсем другим, — повторяет Стас и, сделав в уме скорые подсчеты: — Евреев было бы в разы больше. Не на шесть, а на пятьдесят миллионов. Сколько теперь в мире евреев?

— Миллионов двадцать, наверное, — неуверенно говорю я.

— А сколько еще от смешанных браков. Половинки, четвертинки и прочие. Опять-таки породнившиеся — туда же. Помнишь, что твой Мандельштам говорил? Еврейская кровь — как уксус: достаточно одной капли.

— Гитлер считал евреем даже квартерона. По Гитлеру, еврейская примесь вчетверо сильней арийской?

— Четыре ноль в вашу пользу! — подает голос Тата.

— Нет, ты представь себе, если бы не Гитлер, в мире сейчас было бы семьдесят миллионов евреев! Страшно подумать, когда ими и так все схвачено.

Сюда бы Довлатова — тут уж он Стасу точно вдарил бы и раскроил его черепушку, силы Сереже было не занимать! И на этот раз я бы его не удерживал. Любой суд его бы оправдал! Нет, почему Сережа мертв, а Стас все еще отсвечивает, хоть и старше на три года?

В этот момент Стас мне глубоко отвратителен. Даже Тата растерялась.

— Он пьян, — говорит она.

— Что у трезвого на уме….

— Ну и что, что пьян, — кричит Стас и машет недопитой бутылкой над головой. — Гитлер свою миссию выполнил, хотя и недовыполнил: изменил мир бесповоротно и навсегда.

— Ты уверен, что к лучшему? Дело не в количестве, а в

качестве. Не только демографический, но и культурный пейзаж мира был бы иным. Сама цивилизация была бы другой.

— А знаешь, что сказал Гитлер перед тем, как пустить себе пулю в рот? «Человечество навсегда будет благодарно мне за уничтожение иудейского племени». Так и есть — он сделал эту черную работу за поляков, за литовцев, за украинцев, да хоть за французов. Они это сами признают. Им бы не выдержать конкуренции с евреями.

— Американы и британы выдерживают…

— Ты думаешь? Сомневаюсь.

— Так не уничтожил же, — возвращает нас к нашему спору Тата.

— Недоуничтожил, — поправляет ее Стас. — У вас слишком живучий ген.

— А как их всех уничтожить? — спрашивает Тата. — Гитлер что, не знал про Америку?

— Он надеялся на американских немцев. Пятая колонна. Гитлер был идеалист, мечтатель, вегетарианец. При виде крови падал в обморок.

— Хорош вегетарианец! Двенадцать миллионов убитых: половина — евреи, другая — христиане.

— Вот! Сам признаешь, Гитлер — это не только холокост. Вторую мировую нельзя сводить к одному холокосту.

— Знаешь, что про вас говорил Тойнби? — продолжает Стас. — Вы — «историческая окаменелость». Тебя взять. Ты мне по плечо. А руки-ноги — таких крошечных не встречал ни у кого.

— Коли не встречал, то делай вывод: не все евреи такие деграданты, как я.

— Ручки-ножки — какие миленькие, — наваливается на меня мощная Тата, я возбуждаюсь и задыхаюсь в ее объятиях. Почему я клеюсь к ней, имея жену, которую дико ревную? Где ее носит!

— Настохренело про евреев, — распаляется Тата.

— Вот именно: евреи — стоячее болото. Можно увязнуть, — говорит Стас.

— Стоячее… — мечтательно повторяет Тата и начинает расстегивать мне ширинку.

— Цыц, малявка! А у меня не помню, когда стоял. Не на кого.

— А на меня! — удивляется Тата. — Я же папина дочка. Пусть кровосмешение. Помнишь, как всю меня мыл в детстве, а потом испугался. Смотри, отдамся еврею.

— Только попробуй!

— Ты мне не указ! А потом предъявлю как доказательство, что они действительно совращают и развращают нас, ариек. Вот за что их немцы уничтожали — из ревности и зависти.

В самом деле, я тащусь от славянок, включая обеих жен, а к своим дышу ровно.

— А негры объясняют расизм завистью белых к их причиндалам, — говорит Стас.

— Муде к бороде. Какая связь?

— Подтверждаю личным опытом. — Это, конечно, Тата. — Размеры выдающиеся, все внутренности выворачивает, но не в размерах счастье. Игры не хватает. Один механический акт, но какой! Обалденно! Работали, как две сексмашины. Мечта! Еще бы разок!

— Виагру не пробовал? — подначиваю я Стаса.

— Молчи, урод. Посмотри на себя в зеркало. Детские ручки-ножки, пузо у карапуза. Паук. Все ваше восточноевропейское еврейство, со своими особыми болезнями, несет на себе очевидные черты вырождения.

Почему урод? — думаю я. Каким уродился. Еще вопрос, кто из нас урод: одутловатое, оттекшее лицо, больное сердце, упал в обморок на даче, печень пошаливает, варикозные ноги, сутулится, туговат на ухо. Разве что в молодости?

— Так что тебя тогда беспокоит, коли мы все равно вырождаемся? Чего тогда нас уничтожать? — говорю я.

— Слишком медленно — вы деградируете уже четыре тысячелетия. А так бы особо не парился. Вырождение — способ вашего существования. Тем временем вы захватили своими жирными щупальцами бизнес, политику, науку, культуру — весь наш бедный шарик трещит от вашей жидовской хватки. Обнаглели вконец — нам, гоям, некуда податься.

— Люблю моего вырожденца, — шепчет Грубая Психея, забираясь — не без труда — ко мне на колени и тиская в своих пьяных объятиях. Я, понятно, млею, но как-то не по себе.

Пора валить. Нет больше резона тянуть резину. Все доводы предъявлены, все слова сказаны, осталось только дать ему по репе или тут же, на глазах Стаса, отдаться его дочери. Та младенческая половая щель на снимке не дает мне покоя. Скорей бы пришла моя жена, которая неизвестно где шляется, и помогла Тате уложить пьяного мужика в койку.

Остался один последний аргумент. *Ultima ratio.* Мы оба его знаем и помалкиваем.

В наше время только совсем уж дурак не думает о бессмертии. Нет, не страх перед католическим адом или надежда на мусульманский рай с гуриями-девственницами — это для верующих. А как быть агностикам, которые ни в ад, ни в рай не верят, но хотели бы вызнать нечто невоцерковное про бессмертие? Душа — абстракция, а потому не тождественна

бессмертию. Какие-то, однако, его знаки нам явлены, пусть и неопределенные. Ну, там «весь я не умру, душа в заветной лире…» — или это исключительно для гениев? А для чего, скажем, я строчу свою лысую прозу, попадается и высший класс, хотя на бессмертие тянет вряд ли. Стас ограничивается своими радиоэссе, которые у него, конечно, в разы лучше моих передач и статей, а все свободное время тратит на антисемитизм, но является ли антисемитизм залогом вечности?

Традиционный и доступный почти каждому генетический способ обрести бессмертие, закинув свое семя в будущее. Сын от первого брака долго упирался, но жена сказала ему (спасибо моей бывшей!), что он меня подводит, и он разродился мальчиком, а вослед — другим. Сами по себе внуки меня не больно волнуют, хотя забавные и разные пацаны, но токмо как продолжатели моего рода. Надеюсь, так и дальше пойдет, и мой род будет плодиться и размножаться во времени.

Откуда у Стаса эта огнедышащая ненависть, не пойму только к кому — лично ко мне или ко всему моему роду-племени, которого я не самый яркий представитель. Размытое еврейство — меня можно принять за любого средиземноморца.

— Почему ты ненавидишь меня? — спрашиваю я.

— А за что вас любить?

— А ты почему терпишь его? — говорит Тата. — Дай ему в рыльник!

— Дай мне в рыло, — просит меня пьяный в хлам Стас. Или притворяется?

— Дай! Дай! Он сам просит, — кричит подвыпившая Тата. — Он ко мне в детстве в ванной приставал.

Господи, этого еще не хватало! Как хорошо, что у меня сын, порождение чресл моих, а у него — сыновья. Продолжатели рода. Пусть еврейство в них и размыто: первая моя жена, как и эта, русская, а у сына жена и вовсе кельтских кровей. Ну да, ирландка.

— Это ты сама меня совращала.

— Я девочка была, ничего не понимала. — Впервые вижу Тату плачущей. — Всю жизнь мне испохабил.

— Я тебя не тронул.

— Но возбуждал. И сам возбуждался. Я видела.

— Ты была невыносима с младенчества. Доводила своими капризами. Сначала мечтал, чтобы ты скорее в школу пошла, а потом — чтобы скорее ее кончила и на все четыре стороны. Когда замуж вышла, я был счастлив, хоть и китаёз: сплавил с рук. Но тот не прошел тест: к зачатию не способен. И вот теперь ты снова у меня на шее. Заведи хоть ребенка!

— От еврея?

— Вот за что я тебя ненавижу, — говорит наконец Стас. — За бессмертие.

— Какое там бессмертие! Туфта! Мы ближе к Богу, а значит, к смерти, — утешаю его. — А так, конечно: в моем конце — мое начало.

— Покажи конец — я же тебе себя показала!

— Что ты ему показала?

— Да так, детскую фотку. Где я голая. Сам же и фотографировал, засранец.

— Вы не боитесь смерти, — бурчит Стас, глядя на меня мутными глазами.

— Да. Нет. Когда она есть, нас нет; когда мы есть, ее нет. Чего бояться? Ее нет в нашем опыте. Страшилка, а еще точнее — стращалка, — припомнил я наш с Довлатовым стеб на эту тему. — Смерть — не что иное, как пугало. Два «Э»: Эпикур и Эпиктет, — честно ссылаюсь я.

— А Марк Твен считал, что все в мире смертно, кроме еврея, — говорит Тата.

— Вот! У вас есть тайна, но ваш Бубер ее выдал. — Стас вдруг трезвеет. — Каждый еврейчик обладает бессознательной национальной душой. Концентрация в индивидууме нескольких тысячелетий еврейской истории. Вы единственные, кому подфартило встретиться однажды с Богом. И с тех пор каждый еврей может пережить эту встречу заново, потому что ваше еврейское наследие хранится у вас в подсознанке. Не «Я — Он», а «Я — Ты». На «ты» с Богом! Кто еще с Ним в таких родственных, панибратских, фамильярных, амикошонских отношениях? Вот почему вы бессмертны, и вот почему я вас ненавижу. Тебя в первую очередь, мой Вечный Жид.

Звонок в дверь — врывается моя жена. Запыхавшаяся, моложавая, смертная, незнамо где была, и откуда у нее на груди такой огромный мальтийский крест с рубиновыми концами и золотым кругом посередке?

— Это тебе муж подарил? — спрашивает Тата.

— Мальтийский рыцарь, — говорю я.

Что ж мне теперь, ревновать ее к этому мальтийскому рыцарю?

— Крестик? На распродаже отхватила!

Крестик!

Какой непреодолимый и так и не преодоленный мною соблазн поделиться с женой вечной ревностью к ней. А как она преодолевает ответное желание поделиться своими любовными приключениями с мужем? С кем еще! Я обречен жить в нестерпимом мире полуправды. Невмоготу. Смерть —

единственная возможность выскользнуть обратно на свободу.

На кой мне жалкое безумство Стаса, когда я все глубже погружаюсь в свое собственное?

Владимир Соловьев
Бог в радуге, или Конец прекрасной эпохи

Памяти Сережи Довлатова

Вот что важно. На старости лет я реэмигрировал из чужедальних краев обратно в Россию. Хотя по американским понятиям до старости мне еще надо дожить. Старость — это единственный способ долголетия, но и она когда-нибудь кончается, увы. Ну, что ж, поиграем тогда в старика: грим, парик, вставная челюсть, ходунки или хотя бы клюшка. Что труднее в театре: старику сыграть юношу либо наоборот? Пока член стоит, пока «тянет к перемене мест» — путешествовать с палаткой в любую погоду и непогоду, — пока работают дальние и ближние огни захламленной, цепкой, беспощадной памяти и она не выветривается, как выветриваются горные породы, то и старости нет: не притворяйся, не старь, не клевещи на себя, весь этот самонаговор — театр одного актера для одного-единственного зрителя! Пока буквы складываются в слова, слова в предложения, предложения в абзацы, абзацы — в книги, и эти книги издаются, покупаются, читаются, не все еще потеряно, дружок. Помнишь того дайериста, который всю жизнь вел дневник и пропустил только три дня, когда в лютый мороз замерзли чернила у него в чернильнице? Еще одна, пусть побочная, причина моего перехода в русскую литсловесность — исчерпанность политоложества, на ниве которого мы с Леной Клепиковой пахали лет пятнадцать, наверное, и держались на плаву. Я выпал из одной сферы, где как журналист пытался выяснить причастность Андропова к выстрелам на площади Св. Петра в Риме, чтобы попасть в другую, последнюю, предсмертную, прежнюю, родную.

Ностальгия не по России, которой — моей — нет ни на карте, ни в природе, а по языку, где я не все сделал, что хотел и что еще хочу. Вот причина, почему изгнанник по воле случая и скиталец по крови и инстинкту, я стал теперь репатриантом. Не сам по себе, а словами, сюжетами, героями, книгами. А чем еще? Физически я в Америке, в изгнании, как ветхозаветные авторы в Вавилоне, Овидий в Томах, Гоголь в Риме, Гейне в Париже, Гюго в Брюсселе, а когда его и оттуда турнули — на ла-маншских островах Джерси и Гернси, как Стендаль в Чивитавеккье, как Бунин в Грассе, как Данте в Равенне и повсюду в Италии, кроме родной Флоренции, где присужден к сожжению, как, наконец, Бродский и Довлатов — мои двойные земляки по Питеру и Нью-

Йорку. Однако метафизически, виртуально я — в России. Если Владимир Соловьев там востребован и выпускает книгу за книгой, это важнее, чем если Владимир Соловьев приедет туда собственной персоной, то есть бренным телом *(corpus delicti,* кажется), жизненный и энергетический уровень которого — холестерин, давление, нервы и проч. — мой лекарь-пилюльщик (или, как говорили в старину, травознай) поддерживает с помощью сверхдорогих американских лекарств, названий которых не помню — а зачем? Голова профессора Доуэля, да? Ну, не до такой, конечно, степени, остальные органы тоже наличествуют и худо-бедно функционируют. Да и не в голове дело — см. другого профессора: Фрейда. Ну да, сублимация. Хотя не известно, что чего сублимацией является: искусство секса или секс искусства?

Литература как реванш за непрожитую жизнь? Писатель пишет о том, что не успел или не сумел пережить, вознаграждая себя за несправедливость судьбы? Стивенсон о двух непростительных погрешностях, которые совершил: то, что покинул когда-то свой родной город, и то, что возвратился туда. Пусть временно — все равно ошибка.

Бродский и Довлатов на родину не ехали ни в какую — срабатывал инстинкт самосохранения. Несмотря на все усилия питерских ходоков заполучить этих литературных генералов себе в карман. Помню, как Сережа отговаривался, что сопьется там, а спился здесь, хотя погиб не от цирроза печени, а от разгильдяйства двух дебилов-санитаров «скорой помощи». А «так бы жил и жил»? Нет, к нему это по-любому не применимо, хотя его предки по обоим линиям — долгожители.

Ося, тот и вовсе не собирался на родину: «Я не представляю себя туристом в стране, где вырос и прожил тридцать два года. В России похоронено мое сердце, но в те места, где ты пережил любовь, не возвращаются». А со слов его московского друга Андрея Сергеева, устраивал проверку на вшивость питерских доброхотов и каждого спрашивал — ехать ему или не ехать?

Особенно усердствовал его заклятый друг Саша Кушнер, который стал притчей во языцех для тех, кто его знал: «сидит в танке и боится, что ему на голову свалится яблоко», «пьет бессмертие из десертной ложки» и прочие приставучие характеристики. Уж как он уламывал Бродского посетить Петербург: «Тут одной поездкой не отделаешься…» Бродскому осталось жить всего ничего после неудачной операции на сердце, а Кушнер донимал его и портил жизнь. Сначала выклянчил у него вступительное слово на своем нью-йоркском вечере, готовя которое Бродский сказал Андрею Сергееву: «Посредственный человек, посредственный стихотворец», а перенося на Кушнера

хрестоматийную характеристику Сталина Троцким, — «самая выдающаяся посредственность русской поэзии». Потом выцыганил это вступительное слово в письменном виде — в качестве то ли индульгенции, то ли пропуска в бессмертие — и поставил предисловием к своей книге. Громадный Довлатов был у них на посылках, на побегушках. Сережа потом рассказывал мне, что «никогда не видел Иосифа таким разъяренным», как тогда, когда Бродский вручил ему текст для передачи Кушнеру, только чтобы самому с ним не встречаться. Но потом не выдержал и опроверг это вынужденное вступительное слово убийственным стихотворением. Нет худа без добра: попрошай, вымогатель и юзер Кушнер послужил ему пусть негативным, отрицательным, но вдохновением:

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраса.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.
Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.
С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.
Помол его жесток, крупицы — тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.

Не хило! Эти строфы — результат внимательного чтения «Трех евреев», стихотворное резюме моего докуромана. Вплоть до прямых совпадений. То, для чего мне понадобилось триста страниц, Бродский изложил в шестнадцати строчках. Боль, обида, гнев, брезгливость — вот эмоциональный замес, послуживший импульсом этого стихотворения, в котором ИБ объявляет Кушнера своим заклятым врагом. Как и было по жизни.

Когда-то, еще в Питере, Бродский сочинил шутливо-патетический стишок «На Васильевский остров я приду умирать», а уже здесь, в Нью-Йорке, Довлатов спародировал его до полного абсурда: «Где живет, не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров». А шутил ли Бродский, когда написал:

Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
Ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.

Шутя говорил всерьез, коли признавался: «Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции, быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции». В конце концов своего добился: лежит на острове мертвых — Сан-Микеле.

А Довлатов лежит здесь у нас, в Куинсе, спальном районе Нью-Йорка. Как был при жизни Сережи его соседом, так, переехав, стал соседом покойника и прохожу или проезжаю мимо еврейского кладбища *Mount Hebron* с гостеприимно, как на кладбищенской картине Шагала, открытыми воротами, где на участке 9, секция H (латинское) захоронен Сережа, полукровка, — прохожу и окликаю его. В ответ ни гугу. Лена Довлатова говорит, что звать надо громче, Сережа и при жизни был туговат на ухо, вдова уже не помнит на какое, а Лена Клепикова, та вообще считает мои оклики кощунством, но постепенно привыкла. Или это я не слышу Сережу, а он кричит, надрывает горло?

Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

Я так и назвал свой двухчасовой фильм о нем — «Мой сосед Сережа Довлатов», хотя точнее было бы назвать «Мой друг Сережа Довлатов». Я начал этот фильм с его могилы и развернул сюжет ретроспективно: от трагической смерти к трагической жизни. С тех пор иммигрантский район, где Сережу знал каждый, неузнаваемо этнически изменился — вместо от Москвы до самых до окраин здесь теперь поселились «граждане Востока» — бухарские евреи, которые не знают Довлатова, а он даже не подозревал об их существовании. Я уже об этом писал.

Недавно, в канун очередной годовщины Довлатова, я был на одном гульбище в ресторане «Эмералд» на Куинс-бульваре, недалеко от дома, где он когда-то жил и откуда видно кладбище, где похоронен, — теперь в этом доме живут его вдова Лена и его дети — Катя и Коля. Среди присутствующих на нашей встрече были состарившиеся знакомые Сережи и даже герои его мнимодокументальной прозы и записных книжек (в том числе

неоднократно им и мною упомянутые Соломон и Изя Шапиро). Не уверен, что Сережа узнал бы нас, да и мы самих себя — тогдашние теперешних — вряд ли.

Я принадлежу к промежуточному поколению, которого на самом деле нет. Родился во время войны, к концу школы остался только один класс моих однолеток, и Лена оказалась в одном со мной. Какое счастье и какая мука было видеть ее каждый день! Так я вижу ее каждый день с тех пор, как мы женаты: праздник, который всегда со мной. Теперь здесь, в Нью-Йорке, у меня появилась своя мишпуха, моего поколения, а то на несколько или дюжину лет моложе (есть одна, что и вовсе годится в дочери), но — другая жизнь и берег дальний:

Здесь мои приятели,
Там — мои друзья.

Даже враги, и те уже все — там. Потерять врага хуже, чем друга. Я тоскую по своим врагам безутешно. Правда, появляются новые, молодые, энергичные. У меня редкий талант — плодить себе врагов.

Самый молодой из друзей — мой сын. Помню, меня смущало, когда Нора Сергеевна говорила про Довлатова: «Как вы не понимаете, Володя! Сережа — не сын, а друг!» Так и было — вплоть до старушечьих капризов: могла разбудить Сережу среди ночи: «Хочу в Манхэттен!» — и Довлатов вез ее на Бруклинский то ли Куинсовский мост, чтобы она могла сверху глянуть на огни большого города. При этом весьма критически относилась к своему другу взамен сына: «В большом теле — мелкий дух».

— Я потеряла не сына, а друга! — кричала она мне в трубку, и я жалел бедного Сережу, что для родной матери он был другом, а была ли их дружба взаимной? Кто спорит, друг — это больше, чем сын: опора на старости лет, ощущение хоть какой надежности, пусть это и старческий эгоизм. А завещала себя похоронить Нора Сергеевна вместе с сыном, и вот ночью, за большую мзду, Сережину могилу вскопали и подселили к нему его мать, с которой этот огромный детина так неестественно тесно был связан по жизни, а теперь и посмертно, навечно. Никуда ему не деться от старухи!

Не до такой степени, конечно, но с моим сыном мы — друзья. Не в урон моему отцовству, надеюсь. Кто это знает, так Лена — она даже попрекала меня, что я заразил Жеку своей ревностью. Не в прямом смысле, а опосредованно — своей ревнивой прозой. А не наоборот? Это Жека заразил меня своей ревностью — как писателя, а у меня как раз было кислородное голодание по части

сюжетов, тогда как у Жеки имелись все основания для ревности — не одно воображение, и кончилось это семейным крахом, что еще больше меня с ним сблизило.

— Здесь такой дурдом, — объясняю я своему приятелю Мише Фрейдлину во время ремонта по телефону. — Я полуживой…

— Полуживой или полумертвый?

— Я знаю? Вскрытие покажет.

Умирает мое время, вымирает поколение, на самом деле — племя, а я — еще нет, держусь на плаву, доживаю свой век в чужом: чужак. Уже скоро четверть века, как умер Довлатов, а спустя пять лет — Бродский, а я все еще живой, младший современник своих друзей, даже Сережи и Оси. Как-то даже не верится, что я умру, — и это в мои-то годы! Был недавно с сыном на Сережиной могиле, Жека хорошо его помнит: Сережа повел нас на рыбалку на соседнее озеро, но не клевало, и он подарил Жеке удочку. Наш сын рос в Москве и Питере в сугубо литературной среде и даже сам сочинял прелестные рассказики о нашем коте и о бабочках, которых ловил (то есть немилосердно истреблял), — Юнна Мориц и Фазиль Искандер высоко ценили его «пушкинскую» прозу. Вот что он здесь утерял, приехал в Америку в 13 лет, — это свой литературный русский стиль, хотя пишет и печатает здесь по-английски классные стихи и эссе и только что выпустил книгу. Но там, в России, он шпарил наизусть Бродского и объяснял Фазилю, который не понимал и не любил его стихи. Жека знал Бродского, Слуцкого, Евтушенко, Высоцкого, Искандера, Юнну Мориц, Кушнера, Алешковского — ему впору писать воспоминания, которые он никогда не напишет: достаточно одного мемуариста на семью. Даже двух: Лена написала про Бродского, Довлатова, Евтушенко. А уж я описал все, что пережил, и даже то, что не успел пережить, но представлял неоднократно. На что человеку дано воображение? Маленько подустал от жизни, разваливаюсь на глазах (своих), качество жизни заметно ухудшается — и все равно чувствую себя в разы моложе. Вот и мой почти ровесник Миша Шемякин, когда я задал ему этот провокативный вопрос, сказал, что чувствует себя на сорок. А я все еще дико похотлив и вожделею, глядя на женщин, паче рядом студенческий кампус, а они на меня — вот беда! — вовсе не глядят с этой точки зрения. Или вообще не глядят, не замечая мои голодные взгляды. А когда за рулем, боюсь подзалететь в аварию — оборачиваясь на каждую более-менее.

А на той тусовке в «Эмералде» рядом сидела женщина, которая наговорила мне кучу комплиментов — что здесь, в эмиграции, я единственный продолжаю функционировать как

писатель, что я — русский Пруст, и меня можно читать с любой страницы: похвала все-таки сомнительная. И еще добавила, что прочла только первые два тома Пруста, а, потеряв девственность, утратила к нему всякий интерес. Не понял, какая связь. «Нет, ты не Пруст!» — вылила на меня ушат холодной воды Лена (уже дома). А на той тусе припомнила, как Сережа Довлатов удивлялся нашей с ней чистопородности среди сплошных полукровок: она — чистокровная русская, я — чистокровный еврей. На что Изя Шапиро, Сережин дружок, сказал:

— А я никогда не сомневался, что вы, Володя, русский, а вы, Лена, еврейка.

Это как конармейцы у Бабеля спорят о жидовстве вождей революции: «За Ленина не скажу, а Троцкий — наш, тамбовский!»

Такая вот рокировочка, или, как говорят у нас на деревне, инверсия.

Общее впечатление от наших шумных сборищ, что это собрания покойников, независимо от возраста и редких молодых вкраплений. Вот именно: остров мертвецов. Все кругом давно уже померли, а мы все еще отсвечиваем и говорим, говорим, говорим — и все не можем выговориться и наговориться, хотя занавес давно опущен и зрители разошлись. Или другая театральная метафора: это давно уже не мы, а в современном спектакле по старинной пьесе живые актеры играют нас, мертвецов, да?

С тех пор как я покинул Россию, я обошел весь мир, толкая перед собой бочку неизбывных воспоминаний, и мой субъективный травелог «Как я умер» — только часть моего путево́го опыта. Сменить можно землю, а не небо, по которому бегут те же мраморные облака: *Póst equitém sedet átra Cúra* — позади всадника сидит его мрачная забота. Вот почему я не турист, а путешественник, паломник, пилигрим, странник. Очарованный и все еще не разочарованный странник. Даже у себя дома. А где мой дом? *Voyage autour de ma chambre,* как назвал свое имажинарное путешествие вокруг собственной комнаты савояр Ксавье де Местр. Мало кто читал его книгу, но ее название стало идиомой.

Моя страсть к путешествиям — это борьба с безжалостным временем, загадку которого — задолго до Эйнштейна — пусть не разгадал, но определил Блаженный Августин: оно идет из будущего, которого еще нет, в прошлое, которого уже нет, через настоящее, у которого нет длительности. А разве не заразителен пример Пруста, который заперся на много лет в своей обитой пробкой комнате и отправился в прошлое за утраченным временем, не отходя от письменного стола? Энергия памяти сделала из светского сноба великого писателя.

Я бы хотел умереть, как дядюшка Джо: в дороге. Дядюшка Джо, однако, тоже был вынужден в конце концов ограничиться метафорой, сподобившись французскому гению, хотя и поневоле. Он решил замедлить бег времени и продлить себе жизнь, а потому отправился в кругосветное путешествие. Расчет был верным, потому что пространство растягивает время — тот, кто в пути, проживает несколько жизней по сравнению с тем, кто остается.

Надо же так случиться, что уже в Венеции, в самом начале кругосветного путешествия, дядюшку Джо хватил удар, и вот тогда он и решил путешествовать мысленно, раздвигая время и откладывая смерть, не выходя из дому. Он был достаточно богат, чтобы приобрести палаццо, в котором комнат было столько же, сколько недель в году. И вот каждую неделю упаковывались чемоданы и парализованного дядюшку Джо перевозили в следующую комнату. Оставшиеся ему несколько месяцев жизни этот побочный герой романа Грэма Грина растянул на несколько лет и умер счастливым человеком по пути из одной комнаты в другую.

Быть всюду — быть нигде.

Есть известная идишная притча про одного мешугге, которому обрыдли дом, жена, дети, вот он и отправился искать счастья на стороне. Ночь застала его в дороге, он устроился спать на земле, а чтобы не запутаться, поставил ботинки носками в том направлении, куда шел. Ночью был ветер и перевернул ботинки в обратную сторону. Наутро еврей продолжил свой путь. К вечеру приходит в местечко, похожее на его собственное, находит дом, из дома выбегает женщина, неотличимая от его жены, за нее цепляются дети, точь-в-точь его дети. Ну, еврей и решил остаться здесь. Но всю жизнь, до конца своих дней, тосковал по родному дому, который оставил. Чем не формула эмиграции? Или ностальгии?

Без комментов.

Фармацевтически я выровнял уровень холестерина в крови, нижнее и верхнее давления, биение пульса, работу желудка (как я мучился изжогами в российской моей юности!) и даже устранил (почти) нервные вспышки, сохранив творческие импульсы, — уж мы с моим психиатром бились путем проб и ошибок найти адекватное лекарство, чтобы я, с одной стороны, не лез в бутылку при каждой неурядице или когда просто что не по ноздре, а с другой, мой созидательный нерв продолжает функционировать, я творю, выдумываю, пробую бесперебойно на благо моей географической родины — вкалываю на Россию, в которой уже не был два десятилетия и вряд ли буду.

Не тянет что-то. Боюсь взаимного разочарования.

Тут ко мне пару дней назад на манхэттенской презентации моей книги подошла молодая поклонница и сказала: «Я вас представляла совсем другим» — и отвалила навсегда, провожаемая жадным взором автора-василиска: юная плоть, влажное междуножье и все такое прочее, о чем и говорить в мои далеко уже не вешние годы стыд: мимо. Это как Ницше выслал свою фотку датскому поклоннику и пропагандисту Георгу Брандесу, а тот, не скрывая раздражения, отписал, что автор «Заратустры» должен выглядеть совсем иначе. А еще на одном русскоязычнике передо мной присела девчушка на корточки, очень даже сексуально, и сказала, путая двух птиц — соловья с соколом, — что любит мои книги, особенно «Школу для дураков». Опять мимо. И, наконец, комплимент, который я не получал ни от одной женщины:

— Мне доставляет физическое удовольствие ваш язык!

— Умоляю, не рассказывайте мужу.

Что остается? Как говорит Д. Г. Лоуренс, визуальный флирт. Нет, не платоническая, а визуальная, виртуальная любовь. Что ж, с меня достаточно телепатических связей. Я кантуюсь не в Нью-Йорке, не в Москве, не в Питере, а внутри себя. Как Диоген — в пресловутой бочке, но только моя, увы, не в Древней Греции, а в современной звезднополосатой стране. В любом случае, с меня довольно самого себя. Уж коли помянул Ницше, моя любимая у него фраза:

Немногие мне нужны,
мне нужен один,
мне никто не нужен.

Стихи, а не философия. Кто их написал: Лермонтов или Гейне? Представляю, что их написал я, а Ницше совершил литературную покражу — с него станет. Все, что мне нравится в мировой литературе, написано на самом деле мной и является плагиатом. «Король Лир», «Книга Иова», «Царь Эдип», «Комедия» (не «человеческая», а «божественная»), Пушкин, Тютчев, Баратынский, Мандельштам, Пастернак и Бродский. Не целиком, но отдельные строки — безусловно, мои.

Да: литература как телепатия. Да: записка в бутылке, брошенной в океан. Стравинский: я пишу для самого себя и для моего *alter ego*. Меня несколько удивляет коммерческая товарность моих уединенных опусов, напрямую с их основными качествами не связанная, но исключительно с их боковым, а именно со скандалезностью, к которой, право слово, не

стремлюсь, а токмо к самоудовлетворению (эпитет «творческому» опускаю). Если хотите, род литературного онанизма. Можно и этот эпитет опустить: «литературный». Онанизм он и есть онанизм: любой. Секс с собой любимым. А скандал есть нечто производное и незапланированное, на что я нарываюсь, сам того не желая. Меня еще в Москве называли «возмутитель спокойствия», а один коллега из березофилов выразился еще резче: «Клоп, ползающий по телу русской литературы».

Давно те времена канули в Лету, и мне теперь нужны лекарства, чтобы поддерживать жизненный и творческий тонус на прежнем уровне, а я все еще «мистер Скандал». Даже во времена всеобщей литературной дозволенности в России. А если я иначе — с эмбриона, с фетуса, со сперматозоида — устроен? Считать днем рождения день зачатия? Миша Фрейдлин, с его каламбурами и перефразами на все случаи жизни, сказал мне, что куда хуже, когда в своих руках член толще кажется. Мне — никогда. И… «О если бы я прямей возник!» — в отличие от Пастернака, у меня никогда такого желания не возникало — ни в каком смысле. Не хочу быть прямым, а тем более выпрямленным, но до самой смерти скособоченным — как зачат, как родился, как рос, как вырос. Вот в чем дело — в скособоченности, а не в скандальности и желтизне. Отвергаю попреки и комплименты мне критиков как неверные. Мои тексты — не скандальные, а резонансные. Парадоксальность, оксюморонность — это и есть внешность моей скособоченности. Пусть Лена Клепикова и говорит, что не все парадоксы парадоксальны: парадокс, достойный Честертона! Вступить в противоречие с самим собой — для меня без проблем. В противоречии с собой не вижу противоречия.

Вот история аленького цветочка. Точнее — аленького плодочка. Сам удивляюсь — как же так: я не узнал маракуйю, изысканный экзотический фрукт с маковыми зернышками в плодовой плоти. Вернувшись из Бирмы — Камбоджи — Таиланда, где ел ее каждое утро, предпочитая вонючему дуриану, искал ее потом повсюду в нашем куинсовском Китай-городе, показывая продавцам сорванную с йогурта этикетку, где она была изображена вместе с персиком, но в разрезе, да ее и не было еще тогда в китайских лавках, этой утонченной маракуйи, без которой мой рассказ Лене Клепиковой о путешествии был как-то не полон. Мне казалось, что достаточно показать ей маракуйю, дать вкусить этого странного плода, и она мгновенно ощутит всю сказочную прелесть нашего с сыном путешествия в Юго-Восточную Азию.

А потом, совсем недавно, пару месяцев назад, в китайских лавках появился странный фрукт размером и формой с лимон,

киви или кактусовый плод (так и не вошедший в здешний гастрономический обиход), покрытый красными лепестками с зелеными заостренными концами, очень дорогой; я к нему приглядывался-приценивался пару недель, а потом просто взял и положил на пробу в карман к качестве, что ли, бонуса, тем более мы накупили в этом магазине зелени, фруктов, рыбы, креветок (для кота Бонжура, который их обожает) долларов на тридцать. А дома даже не знал, как к нему приступить — сдирать лепестки или разрезать? Вдоль или поперек? Разрезал поперек и мгновенно узнал мою маракуйю, но она стала за эти годы какая-то безвкусная. Разочаровала. Да и узнаваема только снутри. А на следующий день — понос. Плата за воровство? Расплата за стоглазую, как Аргус, память? Или это все-таки не маракуйя, по-латыни *passiflora,* плод страсти? Или другой сорт? Ведь и у вонючего дуриана есть окультуренный собрат по имени «монтхонг», но без такой отталкивающей вони. Не знаю, и спросить не у кого. Разве что съездить еще раз в Бирму — Камбоджу — Таиланд…

А про аленький цветочек анекдот: «Привези мне, батюшка, чудище страшное для сексуальных утех и извращений», — а когда тот отказывает любимой доченьке, она вздыхает и говорит: «Хорошо, пойдем по длинному пути. Привези мне, батюшка, цветочек аленький».

Вот я и иду по длинному пути, сочиняя эту свою раздумчивую прозу.

Память моя хранит то, что никому, включая меня, не нужно. Вполне возможно, взамен чего-то важного, что я начисто позабыл. Не всегда помню, например, о чем я уже писал, а о чем нет — отсюда досадные повторы. Мой редактор Таня Варламова — тому свидетель. Будучи как-то не в форме, не мог вспомнить в такси улицу, на которой живу: Мельбурн-авеню. Начал объяснять шоферу иносказательно: на этой улице водятся кенгуру, ехидны и чудом выжившая собака динго — и только тогда вспомнил. Не помню названия моих лекарств — их слишком много. Пару раз забыв закрыть кран — «течет вода из крана, забытого закрыть», — оборачиваюсь теперь, но не всегда вспоминаю чего ради. Моя память крепка как броня, но избирательна и капризна, нет-нет да дает сбои.

Зато совесть помалкивает. Как сказал мне недавно сосед по столу в «Русском самоваре», плохом ресторане с незаслуженно хорошей славой, «широко известном в узких кругах», то есть среди наших: «Совесть меня не мучает — только изжога». По стенам фотографии, рисунки, подписи знаменитостей, реальных и дутых. Узнаю Бродского — он любил сидеть в самом конце

ресторанного пенальчика, в левом углу, на фоне портрета Гены Шмакова, который умер от СПИДа. Вот рисунок Шемякина, картина Зеленина, фотографии и автографы Высоцкого, Довлатова, Алешковского, Искандера, Евтушенко. Основал «Самовар» Роман Каплан (отсюда название проплаченной книги Наймана «Роман с самоваром»), потом присоединились Барышников с Бродским, чтобы «Самовар» не загнулся, — сейчас, без них, тошниловка, дышит на ладан, пользуясь прежней дутой славой:

Зима. Что делать нам в Нью-Йорке?
Он холоднее, чем луна.
Возьмем себе чуть-чуть икорки
И водочки на ароматной корке…
Согреемся у Каплана.

Само собой, Бродский, мастер стихов на случай. Вдова продала его долю в «Самоваре», а Барышников, как человек практичный, свалил еще раньше. Разблюдник убогий, еда невкусная, даже салат оливье перекислили, а цены кусаются — слава богу, я здесь в качестве приглашенного на двойной 70-летний юбилей упомянутых Шапир (одних из). Слишком много громкой китчевой музыки типа «Очи черные», из-за чего невозможно разговаривать по душам и даже просто так. Не хватает Саши Гранта, которому в «Самовар» вход воспрещен после того, как он привел дружка-тюряжника и тот ударом кованого сапога выбил кому-то глаз.

— Правда? — спрашиваю Сашу. — Мне рассказывали, глаз висел на ниточке.

— Сам удивляюсь. Что это с ним? Обычно он одним ударом вышибает не глаз, а мозг.

Саша Грант, блестящий репликант и рассказчик, дан мне не только в подарок, но и взамен рассказчиков моей юности, молодости и зрелости — Камила Икрамова, Жени Рейна, Сережи Довлатова. А теперь вот *storyteller* Саша Грант. У каждого своя манера, свой стиль, свои сюжеты. Но от рассказов каждого — не оторваться. Это законченные миниатюры устного жанра. Редкий, штучный дар.

— Ты пишешь, что в русском нет эквивалента слову *kingmaker,* — говорит мне Саша Грант. — А я подумал, что коли есть «царедворец», то может быть и «царетворец».

— Ах ты, словотворец!

Так мы с Сашей иногда пикируемся, но он, конечно, остроумнее меня. Очень меток в словах: «цепкоглазый»,

«пригожий», «речеписец», всего не упомню. Цитаты из него так и сыплются — от Пастернака и Гумилева до Вознесенского и Бродского. Рассказывает, какими стихами можно было уболтать девицу в пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах, с примерами. Иногда заземляет хрестоматийные тексты:

— «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем» — это Ахматова написала, изменив Гумилеву с Модильяни, — говорит он.

— Из чистого мазохизма, — подаю я реплику.

Я вспоминаю первые строки «Марбурга», а Саша подхватывает и шпарит наизусть дальше, и мы, испытавшие в юности амок обморочной любви, сходимся на том, что это великое стихотворение Пастернака — лучшее в русской любовной лирике.

То же со стихами Мандельштама или Бродского — поверх сюжетного драйва, мы с ним, будучи оба-два словесными лакомками, упиваемся, кайфуем отдельными строчками и образами.

— «С наливными рюмочками глаз», — смакует Саша Мандельштамову строчку про насекомых из стихотворения «Ламарк».

Мы перебрасываемся с Грантом стиховыми цитатами, как мячиком. Иногда к нашей игре подключаются Лена Клепикова и *our mutual friend* Миша Фрейдлин, хотя вкусы у нас, конечно, разные. У Лены вкус строже, а потому отбор любимых стихов у наших общих кумиров — избранное избранного. Из «кирзятников» мой фаворит Борис Слуцкий, а у Миши Фрейдлина — Давид Самойлов, тогда как Грант к военному поколению поэтов отменно равнодушен, зато любит Дмитрия Кедрина, которого я знаю плохо, и Андрея Вознесенского, который нравится мне очень выборочно. Мы встречаемся с Грантом в регулярном режиме, а наши теле— и радиоразговоры мало чем отличаются от ресторанного или домашнего трепа. Последняя передача про Довлатова накануне выхода этой книги. Судя по отзывам зрителей и слушателей, интерес к нему не угас.

Договариваемся о встрече у японцев в «Бамбуке»:

— Увидимся, сушимся и сашимимся. — А когда я заказываю темпуру, добавляет: — *O tempura! o mores*!

Саша полагает, что в нем гармонично сочетается мания величия с комплексом неполноценности, и любит рассказывать истории и даже предыстории из своей жизни.

— Тебе следовало бы отмечать не день рождения, а день зачатия, — говорю я.

— Если бы знать, — вздыхает Саша.

— Чего проще! Отсчитай девять месяцев.

— Семь. Я из недоношенных.

Он был единственным ребенком на большую семью: адвокат-папа, которого прозвали «катафалк», был четырежды женат, и четыре раза замужем была его мама, но только последний их брак оказался результативным. Все бывшие супруги сохранили дружеские отношения, собирались вместе и баловали Сашу. Саша родился во время войны, на подходе его юбилей, а когда он родился, папа-адвокат-катафалк предупредил, чтобы ребенка не обрезали: «Кто знает, чем все это закончится».

— Я ему обкусала, — говорит его жена Майя, которая называет меня кисуленькой.

По-любому, Саша православный — в юности крестился.

Настаивает на том, что постриг и обрезание — аналогичные процессы, так как совершаются одним инструментом — ножницами. Не всегда: в древности обрезали каменным ножом — видел на ренессансных фресках и рельефах, а своими глазами — как раббаи откусывает крайнюю плоть у каких-то совсем уж ортодоксальных евреев: эка, куда меня занесло!

— Что мы сегодня празднуем? — спрашиваю я.

— Ну, Новый год… — говорит Саша.

— День обрезания Христа — с этого и началась Новая эра.

Когда у Саши, довольно рано, начались проблемы в школе с вызовом родителей, отец сказал матери:

— Я тебе дал деньги на аборт, а ты купила платье. Вот теперь сама и расхлебывай.

У Саши глагол короче и похлеще, но нельзя так нельзя.

— Что остается в памяти? — задумчиво говорит он. — Варфоломеевская ночь, Кристалл Нахт, первая брачная ночь.

— В первую брачную ночь редко кто теперь теряет девственность. Днем с огнем.

— А ты что, стоял со свечой?

Некоторые Сашины байки я знаю наизусть, но все равно слушаю как впервые — он еще классный исполнитель. Скажем, история с «Интуристом», куда Саша поступал работать и выдержал все экзамены, но потом директор по фамилии Гальперин говорит ему:

— Вы нам подходите. Но, понимаете, у нас процентная норма на евреев, только один я, а вы — Рабинович. Возьмите лучше фамилию матери. Как фамилия вашей матери?

— Кац.

— Вали-ка ты отсюда нах!

Когда мы с ним встречаемся, у нас обязательный тост за

четвероногих — за наших собак и кошек. Я добавляю сюда трехмесячного беби от затесавшейся среди нас пары сравнительно молодых родаков. Мамаша не знает, обижаться ей или нет, что ее малявку приравняли к животному миру. Я напоминаю о загадке сфинкса: утром на четырех, днем на двух, вечером на трех. И чем собаки или кошки хуже нас? Ссылаюсь на Екклезиаста:

— Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?

По кругу идет фотка младенца, я пью за то, что они хорошо поработали. Саша смягчает мой тост:

— За продюсеров.

— За лучших из лучших, — говорит он вдруг, но я тут же вношу корректив:

— За лучших из худших.

Это ближе к реальности, даже если мы лучшие.

На панихиде нашего общего друга Саша вытащил неизвестно откуда флягу и предложил мне хлебнуть из нее. Я отрицательно покачал головой.

— Покойник бы не отказался, — сказал Саша и кивнул в сторону гроба.

Народу на панихиду пришло мало, что естественно — покойнику было 68, и наше поколение стремительно редело, а кто нам еще годится в друзья-приятели-плакальщики, кроме ровесников? Вот я и припомнил по ближайшей аналогии джондонновское «По ком звонит колокол» и, будучи на пару-тройку лет моложе покойника, последнюю строку тютчевского стихотворения на смерть старшего брата: «На роковой стою очереди».

— Поколение сходит, — шепнул я Лене Довлатовой, которую Юра Магаршак, представляя ее аудитории, назвал «Сергей Довлатов сегодня».

— Уже сошло, — поправила она меня.

— Центровики ушли, — уточнила Лена Клепикова, имея в виду Сережу и Осю.

Отправились в «Анджело», где классная *antipasti caldi,* то есть горячая закуска, особенно *antipasto del frate* — поджаренные моллюски, запеченные в раковинах устрицы, хрусткие каламри, креветки, баклажаны и грибы, фаршированные какой-то и вовсе диковинной начинкой, берем хорошее вино, а водку потихоньку разливаем свою. Грант, правда, заказывает граппу.

— Уж если поиметь, то королеву, — говорит Саша, давая каждому понюхать из своего бокала (опять двадцать пять — в реале другой глагол). — Пахнет виноградом.

— Из виноградного жмыха.

Пригубил — на вкус приятнее, чем другие национальные водяры типа саке или узо.

По ассоциации вспоминаю Бродского — одно из лучших из его нелучших эмигрантских стихов:

> И восходит в свой номер на борт по трапу
> постоялец, несущий в кармане граппу,
> совершенный никто, человек в плаще,
> потерявший память, отчизну, сына;
> по горбу его плачет в лесах осина,
> если кто-то о нем плачет вообще.

Не хило.

Тут повадилась мне звонить из Нью-Хэмпшера моя одноклассница, с которой никогда особенно близок не был и потерял сразу же после школы, а не видел, считай, полвека. Прочла «Трех евреев», купила еще несколько моих книг, спрашивает, я все такой же слегка кругленький, брови все еще срастаются, кожа все такая же тонкая, как у хирурга? — да, да, да, но откуда она знает про кожу, которая у меня тонкая до прозрачности? Это же надо быть такой тогда приметчивой, а теперь еще и памятливой.

Поздравляет с Новым годом. И рассказывает, что с ней приключилось. Повезла в Петербург урну с маминым прахом, а вернулась уже из Израиля, где приходила в себя и делала уколы против бешенства: на еврейском кладбище ее повалили на землю и искусали шесть одичавших псов.

— Понимаешь, меня за всю жизнь пальцем никто не тронул, а тут…

— Тебе повезло — могли загрызть насмерть.

— Я лицо и шею руками прикрывала, потом сторож прибежал, из бомжей. Там такое запустение… евреев почти не осталось. Подошла к памятнику Антокольского — ну, знаешь, там, где он в окружении своих скульптур…

Такой же в Осло — Ибсену: в центре он, а по сторонам его герои.

— Они из-за памятника и выскочили, эти кладбищенские псы. — И заплакала. — Столько швов наложили. Вот я и подалась в Израиль, благо есть к кому, чтобы подлечиться.

— Разве ты еврейка? — удивляюсь я.

— Наполовину. Никогда не скрывала и никогда не страдала.

«Потому и не страдала, что наполовину», — молчу я.

— Как Петербург? — спросил я, чтобы сменить тему.

— Неузнаваем. Поразрушили. Понастроили. И продолжают. В самом центре. Нет, не наш.

— Кто не наш?

— Город не наш.

«Это время не наше, — опять молчу я. — Наше кончилось. Мы пережили свое время».

А вслух говорю:

— Времени нет. Вот голос не меняется. У тебя такой же, как в пятнадцать лет.

— Ты хочешь сказать, что у меня тогда был такой же голос, как сейчас?!

Смеется.

— Я хочу сказать, что у тебя сейчас голос, как тогда, — выкручиваюсь я.

— Была встреча одноклассников. Выпили за вас с Леной. Тебя помнят, а любят? Кто — да, кто — нет. Я обещала перевести в европейскую систему и послать твой фильм о Довлатове.

«Еще не хватало!» — опять молча.

— Кто был?

— Семь человек. Сам увидишь. Прямо сейчас высылаю снимки по мылу. Посмотрим, кого ты узнаешь.

Ее только и узнаю, потому как она как-то прислала фотку, где лежит на пляже в окружении то ли тюленей, то ли морских котиков, хрен их знает! Стройная, не обабилась, но все равно время прошлось по ней, как асфальтный каток. Как и по всем нам. Да и фамилия у нее теперь другая — мужнина, сын, внучка. У одноклассницы — внучка! Черт!

По моде нынешнего времени употребляет заборную лексику:

— Ты любишь х**? — спрашивает, вспомнив мой фильм о Довлатове, где я демонстрирую подаренную им непристойную статуэтку.

— Что я, голубой? Скорее наоборот. Имею в виду влагалище. Особенно одно.

Зачем мне эти неузнаваемые фотки? Уничтожаю одну за другой, зато восстанавливаю в памяти ту пятнадцатилетнюю девочку, с которой учился в школе, — с толстой косой, со сросшимися бровями, с синими подглазинами, по поводу которых мы с другом-однокашником прохаживались весьма недвусмысленным образом. Однокашник тоже в Америке, хотя он чистый русак — доктор медицинских наук, переквалифицировался здесь в компьютерщика. Как и с одноклассницей, с однокашником так и не встретился, хотя они оба напрашивались. Стыдно, конечно, но как иначе сохранить их школьные образы?

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Кстати, Бродский, хоть и обращается в этом стишке к Марине Басмановой, но под прозрачным псевдонимом, одни инициалы, увековечив ее в любовно-антилюбовном цикле. Вот кто не умрет, так это она, покуда жив русский стих: МБ.

Нет, не хочу ни снимков, ни встреч — из принципа. Пусть время стоит там, где оно остановилось, когда мы расстались после школы, задолго до моего отвала из Питера в Москву. Дальнейшее — молчание. Часы сломаны — дешевле купить новые, чем чинить старые. А то позвонил еще один одноклассник, с которым мы и вовсе учились с первого по третий, а потом проклюнулся еще один, с которым мы расстались после пятого, когда нас объединили с девочками, и завязалась с ним емельная переписка. Письма — классные. Такой же, как был прежде, — трогательный, живой, импульсивный и настоящий. Как в детстве. Даже на фотографиях, которые шлет электронкой: я уже привык и полюбил его нового-старого. А рассказ о нас так и назвал — «Невстреча» и посвятил ему, Номе Целесину.

Время — убийца: гнобит и гробит нас. А существует ли оно? Как там евреи говорят? Не время проходит, проходим мы — и уходим. (Это я уже от себя.) Но пока мы не ушли, мы те же самые, что были. Мы — навсегда, то есть от рождения до смерти. Что, само собой, не навсегда. В этой жизни мы временщики. Да позволено мне будет не замечать грим, который Время годами наносит на наши лица и тела. Это Смерть с косой, а Время — с палитрой. Дориан Грей — гениальная метафора, хотя роман занудный. Я хочу сохранить этот мир таким, каким он был в моей юности, а он незримо стареет на тайной картине, чей автор — Время.

Вот бородатый интеллигент средних лет, а где же тот ангелоподобный ребенок — оба мои сыновья? Нашей с Леной родительской любви хватило бы на дюжину детей, так он был мал, мил и дорог: мальчик-с-пальчик. Но у нас был один сын, а теперь, выходит, их двое? Трое, четверо, пятеро — десятки моих сыновей на разные лица прошли сквозь время. Говорю с этим аляскинским галеристом по телефону через всю Америку и Канаду и чувствую некоторое отчуждение — не только

пространственное, но и душевное: у него там, в Ситке, бывшей столице русской Аляски, своя семья, свои проблемы и тревоги, держится молодцом, да и сын он — каких поискать: друг, а не только сын. Не взамен, как Сережа у Норы Сергеевны, а в плюс: сын + друг. Был период сближения и возвращения на круги своя, когда ему грозила смертельная болезнь, ад кромешный, как могли, поддерживали его и получили вдруг на ломаном русском длинное благодарное письмо все тем же корявым почерком подростка, что и в России, — когда читал Лене, пустил слезу, такое трогательное!

Что за чертова круговерть времени! Пруст дал портрет времени — сиречь портрет смерти. Время — это то, что в последнем томе нет больше Свана, главного героя первого. Присматриваюсь к Лене, еще одной моей однокласснице, — нет, время над нею не властно, выглядит классно. А в зеркало я заглядываю, только когда бреюсь, что делаю, только когда даю интервью по телику или хожу в гости — как вот сегодня, на очередной русскоязычник в описанный мною в «Записках скорпиона» шикарный пентхауз на Брайтоне с видом на океан. Сбрив седую щетину, сбрасываю, как змея кожу, прожитые годы и выгляжу сорокалетним. Иллюзион. Чужой на празднике жизни — в гостях и на фуршетах, на русско— и англоязычниках. Ну и промахнулся я, не заметив, что (а не как) постарел: «Оглянуться не успела, как зима катит в глаза».

Вошел в возраст, подустал, визажистка на ТВ омолаживает меня, гримируя-ретушируя, день слишком длинный, нечем заполнить, особенно к вечеру, томлюсь, сердце точит: не этой ли ночью помру? Но я об этом писал еще пару лет назад, а вот пришло второе дыхание, активизировался накануне смерти — как у повешенного семя, из которого будто бы вырастает мандрагора, этот замечательный полуцветок-полудемон с магическими свойствами, прототип виагры. Сильнейшая эрекция во сне, которую все труднее вызвать наяву: воображение больше возбуждает, чем непосредственный физический контакт. Если бы подключить подсознанку к тому, что пишу!

Я слышу теперь свое сердце — оно бьется в груди, в голове, в ушах, в верхних веках, в конечностях, в пенисе. Надо поторапливаться, а то не успею. А этот пока что безупречный насос качает мою кровь, пока не кончится завод и умру, задохнувшись. Но раньше я не слышал своего сердца — или не обращал внимания? или причиной моя нарастающая глухота, когда вместо внешних звуков я стал слышать внутренние?

Судьба ко мне была щедра, мне подфартило в жизни — я дружил с Эфросом, Окуджавой, Слуцким, Юнной Мориц,

Бродским, Довлатовым, Искандером, Алешковским, даже с Женей Евтушенко, пока тот не разобиделся, что я назвал его в «Трех евреях» Евтухом, хотя это его общепринятая кликуха. Человек добрый, в конце концов он меня простил — мы помирились. Все старше меня, иногда намного — на два десятилетия, плюс-минус, как Окуджава, Слуцкий, Эфрос, даже шестидесятники 37-го и округ годов рождения, типа Юнны Мориц и Андрея Тарковского, даже ранние сороковики Бродский и Довлатов и те старше меня на год-два. Что Сережу каждый раз заново несказанно удивляло и огорчало: в питерских литтусовках он всегда был самым юным, *Сережей,* и тут вдруг как черт из табакерки я — младший современник даже самых младших из них. Куда дальше, если даже отыскавшийся в Атланте, штат Джорджия, упомянутый одноклассник Нома Целесин и тот старше меня на целых 14 дней! «Твой и Ленин год — Лошади, — поздравляет он нас с Новым, 2014-м. — Начинается с 10 февраля. А я остался в прошлом. Иго-го! вам от Змеи Ц-ц-ц-ц-ц». Одна только Лена младше меня — на пять всего дней!

Бродский обыгрывает неприличную нашу тогда молодость в сравнении с остальными в посвященном и преподнесенном нам на наш совместный день рождения великолепном стихотворении, которое начинается с шутки, а потом воспаряет в заоблачные высоты большой поэзии: «Они, конечно, нас моложе…» — и называет «двумя смышлеными голубями», «что Ястреба позвали в гости, и Ястреб позабыл о злости».

Он и относился к нам, как старший к младшим, — дружески, по-братски, заботливо, ласково, нежно, с оттенком покровительства, самому себе на удивление. Приходил на помощь в «трудные» минуты, когда каждый нас по отдельности слегка набирался: меня заботливо уложил на диванчик в своей «берлоге», на всякий случай всунув в руки тазик, который не понадобился, а Лену тащил на наш крутой четвертый этаж после того, как мы приводили ее в чувство на февральском снегу. Это как раз было в наш совокупный день рождения.

Честно, мы с Леной, будучи влюблены в него, купались в этой его старшебратской заботливости, хоть та и вызывала зависть и раздражение кой у кого из наших общих приятелей: завидущей бездарности Яши Гордина и закомплексованного неудачника Игоря Ефимова. Чтобы иметь при себе «сальери», вовсе не обязательно быть Моцартом.

А касаемо везения, то не только нам с Леной подфартило с нашими старшими современниками, но и — без лишней скромности — им с нами: стали бы они иначе с нами знаться на регулярной основе! Самый старый из наших друзей, Анатолий

Васильевич Эфрос, регулярно приглашал нас на свои спектакли, ждал отзыва и сердился, если я не сразу, тем же вечером, откликался, и звонил сам. Вспоминаю, как после спектакля «Брат Алеша» заявил Эфросу своеобразный протест за то, что он лишил меня, зрителя, свободы восприятия: все первое действие я проплакал, а все второе переживал свои слезы как унижение и злился на режиссера. В ответ Эфрос рассмеялся и сказал, что он здесь вроде бы ни при чем, во всяком случае, злого умысла не было:

— Вы уж извините, Володя, я и сам плачу, когда гляжу.

Сам того не желая, я ему однажды «отомстил». Они с сыном ехали в Переделкино — Эфрос рулил, а Дима Крымов читал ему мое о нем эссе, только что напечатанное в питерском журнале «Нева». Вдруг Эфрос съехал на обочину и остановил машину:

— Не могу дальше, ничего не вижу.

Эфрос плакал.

Не знаю, что именно так задело его тогда. Вот уж воистину — над вымыслом слезами обольюсь…

А другой «старик», Булат Окуджава, мало того что каждую свою книгу и пластинку подписывал неизменно «с любовью», но слал нам благодарные письма из Москвы в Питер за наши статьи — так был тогда не избалован критикой. Особенно ему полюбилась статья Лены Клепиковой о его «Похождениях Шипова», но и мне «доставалось» от него: «Что касается меня, то я себе крайне понравился в вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя, несомненно, что-то заслуженное во мне есть».

А уж о моих земляках-питерцах я писал и говорил первым: 1962-й — статья о Шемякине в ленинградской газете «Смена», о чем благодарный Миша не устает напоминать в своих книгах и интервью; 1967-й — вступительное слово на вечере Довлатова; 1969-й — эссе о Бродском «Отщепенство», которое вошло в «Трех евреев».

Нет, юзерами и меркантилами они, конечно, не были, ни в одном глазу, а дружили с нами просто так. Как и мы с ними. Помню, как Женя Евтушенко носился с моей статьей «Дело о николаевской России» о Сухово-Кобылине в «Воплях», — не уверен, правда, что с тех пор он прочел что-нибудь еще из моих опусов: дружба у нас базировалась на личном общении, а не на чтении друг друга. С Юнной Мориц у нас целый том переписки — чудные письма, не хуже ее стихов, часть я опубликовал в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Фазиль Искандер благодарил Бога (его слова), когда мы, обменяв Ленинград на Москву, поселились в писательском коопе на Красноармейской

улице в доме напротив, окно в окно. Слуцкий в Коктебеле носил на плечах Жеку, нашего сына-малолетку, а Лене покровительствовал, когда к ней липла всякая шушера отнюдь не с любовными намерениями — так, обычные провокаторы и стукачи. Всех перещеголял в любви к нам Саша Кушнер: «Дорогим друзьям Володе и Лене, без которых не представляю своей жизни, с любовью». Не говоря уже о частых с ним встречах и дружеских его посланиях в стихах. Попадались забавные, хоть им и далеко было до поздравительного нам шедевра Бродского. Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв, сказал бы Бродский о моей дружбе с Кушнером, которой всегда дивился и ревновал.

Все эти дружбы были на равных, без никакого пиетета, улица с двусторонним движением.

Касаемо Бродского и Довлатова, сколько я написал про них! Вот еще несколько штрихов. Я уже приводил Сережины слова в ответ на мой вопрос, с кем он дружит: «Вот с вами и дружу. С кем еще?» Однако только сейчас до меня дошел их смысл на изнанке. Это была дружба в его закатные годы, когда он со всеми раздружился, и наши ежевечерние встречи скрашивали его крутое одиночество на миру.

А вот эпизод с Бродским, который долгие годы казался мне странным, загадочным, пока я в конце концов, уже после его смерти, не врубился. А дело было так. Я как-то сказал ему, что его «Шествие» мне не очень. «Мне — тоже», — ответил Ося. Я тогда балдел от других его стихов: «Я обнял эти плечи…», «Отказом от скорбного перечня…», *«Anno Domini»,* «К Ликомеду, на Скирос», «Так долго вместе прожили…», «Подсвечник», «Письмо в бутылке» — да мало ли! И тут вдруг Ося зовет меня в свою «берлогу» и под большим секретом дает мне рукопись «Остановки в пустыне», чтобы я помог с составом. Несколько дней кряду я корпел над его машинописью, делал заметки на полях, потом мы с ним часами сидели и обсуждали каждое стихотворение. Спустя какое-то время Ося приносит мне изданную в Нью-Йорке книгу, благодарит, говорит, что я ему очень помог советами. Остаюсь один, листаю этот чудесный том, кайфую, пока до меня не доходит, что ни одним моим советом Бродский не воспользовался. Не то чтобы обиделся, но был в некотором недоумении. Пока до меня не дошло, в чем дело: Ося мне дал «Остановку в пустыне», когда книга уже ушла в Нью-Йорке в набор. Нет, это не был розыгрыш, ему не терпелось узнать, какое книга произведет на меня впечатление еще до ее выхода в свет.

Произвела.

Помимо всего прочего, кто бы еще о всех наших великих

знакомцах написал такие головокружительные голографические портреты, как авторы этой книги! Включая эту книгу.

Я был сторонним зрителем на трагическом празднике жизни, соглядатаем, кибицером, вуайеристом чужих страстей, счастий и несчастий, непричастный на равных происходящему. Младший современник своих друзей и врагов, я пережил их не потому, что позже родился, а потому, что смотрел на жизнь с птичьего полета, как будто уже тогда засел за тома воспоминаний (первая мемуарная записная книжка в одиннадцатилетнем возрасте). Не всем моя мемуаристика по душе, а кое-кто принимает ее в штыки, обвиняя автора во всех смертных грехах. По фигу, хоть и не пофигист: на каждый чих не наздравствуешься. А покойникам понравились бы мои воспоминания о них? Бродскому, Довлатову, Окуджаве, Эфросу? Не знаю. Кому как, думаю. Мертвые не только сраму, но и голосу не имут, зато одна вдова разобиделась: Оля Окуджава. Думаю, больше тем, что я о ней написал, а не о безлюбом Булате. Переживет. И я переживу. Помню, как осерчала на меня Нора Сергеевна Довлатова, когда я написал, что Сережу свела в могилу общая писательская болезнь — алкоголизм, тогда это было секретом Полишинеля и печатно не упоминалось. «Я пожалуюсь Иосифу!» — кричала она на меня, а Бродский был высшей инстанцией в нашем эмигрантском общежитии. Попросту говоря, пахан.

Лена Довлатова тоже не всегда согласна с тем, что я пишу про Сережу. Вот недавний пример.

В своем мемуарном опусе о Довлатове я вспомнил, как Сережа насмешничал над нашим общим другом, издателем и книголюбом Гришей Поляком, что книжники и книгари книг не читают. Ну, как работницы кондитерских фабрик ненавидят сласти. А как насчет рабочих алкогольных предприятий? А книги — род алкоголизма или наркотика. «Спросите у Гриши, чем кончается „Анна Каренина“», — говорил Сережа при Грише, а тот краснел и помалкивал. Но Сережа тоже вряд ли дочитал «Анну Каренину» — иначе бы знал, что роман не кончается, когда Анна бросается под поезд.

Так вот, Лена Довлатова тут же вступилась за читательскую честь Сережи:

«Вольдемар, почему так грустно? Ведь не ураган же причина? А Сережа „Анну Каренину“, естественно, читал до конца. Даже я помню, что Вронский не женился, а уехал воевать. Летом пробовала прочесть этот роман снова и не смогла. Отложила. Привет всей семье, включая четвероногого. Лена».

С Леной Довлатовой мы друзья по гроб жизни. Как были друзьями с Сережей — по Питеру и особенно по Нью-Йорку. Помимо всего прочего, она мне помогала и помогает, когда я строчу свои воспоминания и когда делал фильм «Мой сосед Сережа Довлатов», где не только большое интервью с ней, но и много архивных материалов, которые она предоставила для этого фильма. Когда она на меня серчает, переходит с Вольдемара на Володю, но когда сменяет гнев на милость, опять зовет Вольдемаром, как звал меня Сережа.

Как-то звоню Лене и спрашиваю, вошла ли в «Записные книжки» история про художника Натана Альтмана, которую я слышал в классном Сережином исполнении. Мало того что нигде не опубликована (хотя в этой книге я ее уже приводил), но даже Лена ее позабыла. Как же, говорю, жена престарелого мэтра прилюдно упрекает его:

— Он меня больше не хочет.

— Я не хочу тебя хотеть, — парирует Альтман.

Было — не было, но оправдательная формула импотенции — гениальная. Вот только кто автор, не знаю — Альтман или Довлатов?

И сколько таких забытых историй, не вошедших в Сережины «Записные книжки»!

— Вы мне достались в наследство от Сережи, — говорит мне Лена.

— Это вы мне достались в наследство от Сережи, — говорю я.

На самом деле ни то ни другое. Лена совсем не «Сергей Довлатов сегодня», а сама по себе. Как была и при его жизни. Независимая натура. Умный человек. Красивая женщина. Сережа с некоторым удивлением говорил мне, что столько лет вместе, а Лена до сих пор волнует его сексуально. Пора наконец и мне признаться: я всегда испытывал к Лене Довлатовой тягу, род влюбленности, если хотите…

Жизнь подступает ко мне со всех сторон — через поры снов, через накат событий, через возрастной реал, через грядущую смерть. Сплошной Элизиум, пусть кто-то еще жив и переживет меня.

А после помянутых вечеров — перепив, переед, недослых, недосып — ночь буйных снов и железобетонных эрекций, какие не всегда испытываю с Леной (Клепиковой). Сам по себе стоит сильнее, чем на нее. С ней — встает постепенно, а тут вдруг и не усмирить. Лена в соседней комнате, грех будить, да и не уверен, донесу ли мой разгоряченный.

Есть у меня заветная подушечка — а сплю я на четырех, — на ней мне снятся особо занимательные, возбуждающие сны.

Одолжить? Нет, не волшебные сны, а волшебную подушечку, в которой снов — до фига. Стоит положить на нее голову, как клонит то ли ко сну, то ли к смерти, и сны начинают сниться еще до того, как засыпаю, стоит закрыть утомленные чтением глаза, а потом просыпаюсь и долго не могу прийти в себя: где я?

Promontorium Somni, глыба снов.

Снился в виде большого мотылька мой любимый покойный сиамец князь Мышкин с его вечным страхом и нервами — я придерживаю штору, а он влетает и вылетает. Как вбегал с балкона в комнату и выбегал обратно, пока я завтракал. Само собой, я всех своих котов обожал и люблю оставшегося Бонжура, но таких, как Мышкин, у меня не было и уже не будет. Хорошо хоть, является мне во сне, пусть и в виде ночного мотылька. Или вот ношу его на руках, как дитя малое, — увы, опять во сне. Не забывай меня, Мышкин, прилетай чаще, ангеленок. Явись, возлюбленная тень, мне на смертном одре, встреть меня на том свете, как любезное сердцу доказательство существования потустороннего мира.

— Ты уже разговариваешь с самим собой? — говорит Лена, входя ко мне в комнату.

— Я разговариваю с котом — по любому поводу и на любые темы. — И указываю на Бонжура.

Очередной сон с ушедшим поездом. Я с какой-то группой, и вот на перроне не оказывается ни группы, ни двух моих чемоданов, ни корытца какого-то мальчика — что за мальчик? Что за корытце? А двери в поезде уже даже не закрывают, а задраивают навсегда. И мы с этим мальчиком бежим на лужайку, где были до того и где находим два моих чемодана и его корытце, но что нам теперь делать? Что делать, что делать, думаю я, проснувшись, и вдруг до меня доходит, что мальчик — это и есть я, а я — это мальчик. И тогда мы с ним окончательно просыпаемся и лежим недоумевая.

Мальчик умер?

А на следующий день, опять во сне, я покупаю билеты куда-то заранее, за два месяца, чтобы не опоздать. Что все это значит?

Жека уезжает на месяц в Бутан, и мне приснилось, что его кусает змея в гениталии. Рассказываю и предупреждаю быть осторожным со змеями.

Снится мой папа с двухлетним Жекой, что и на самом деле было в жизни, но потом с семилетним, до которого папа не дожил, а потом с семнадцатилетним — тем более. Мертвый — с живым.

Снилось — страшно записывать, — что Жека умер, опередив меня. Я не управляю своими снами. Если литература — это

управляемые сны, то что есть неуправляемые сны?

«А сны твои — они бывают вещи?
Иль попросту все мчится колесом?»
«Да как сказать, те — вещи, те — зловещи».

Я слышал, что сны сбываются, но в обратной перспективе, — долгих лет ему жизни. В моем представлении он так и остался тринадцатилетним мальчиком, и я за него беспокоюсь, как когда-то в Венеции на пляже, когда он потерялся и мы с Леной думали, что недосмотрели — утонул.

Уж лучше пустячные сны, чем ужастики.

Снится, что закончил рассказ, который не начинал. Проснулся в диком возбуждении — физическом, я имею в виду. А сегодня про башню с лифтом внутри, там, в каморке, живет девушка. Выходя из лифта, подваливаю к ней, а она отнекивается, и я не особенно настаиваю, а потом переживаю, что обидел, надо бы настойчивее, ломака, а она объясняет, в какие дни Бог велел нам зачинать ребенка, чтобы был большим, как башня. Чуть позже или раньше — получится недомерок.

Или такой вот сослагательный сон днем. Встречаю теперешнюю Лену у какого-то больничного корпуса на скамеечке, но не был на ней никогда женат. Прощаюсь, целую, возвращаюсь, не могу нацеловаться и дико переживаю, что так на ней и не женился, всё врозь, просыпаюсь в отчаянии и чувствую, что Лена с кем-то на телефоне. Хватаю трубку, Жека говорит о двойной операции, ему предстоящей, — грыжа и иссечение семявыносящего протока по настоянию жены, чтобы та не беременела. Я отговариваю, аргументируя, что поздно: две операции после перенесенной им болезни — тяжело (ослаблен), и только сам человек и Бог хозяева тела, а не жёны. Короче ссоримся по телефону. Наяву. А во сне мы с Леной не женаты, и ни у нее, ни у меня нет детей.

В тот же день — опять наяву — ссора с Леной по мелочовке.

Мне снятся телефонные звонки, которые меня будят. На этот раз оказался дверной: почтальон принес корзину с яствами к дню рождения. В моем возрасте уже поздно замалчивать свой возраст, а то дадут больше.

И еще один — дневной — сон: Некто, безликое высшее существо, говорит мне, что, пока не поздно, есть шанс родить нам с Леной еще одного ребенка. А мы — в реале и во сне — отказывались от этой возможности, потому что, отдав дань природе (Жека), решили (я решил), что еще одно деторождение поставит крест на писательстве Лены. А тут такое предложение со

стороны Бога, в которого я не так чтобы очень верю. Когда верю, а когда — нет. Как одна рыбка спорит с другой: «Ну, хорошо. Допустим, Бога нет. А кто тогда воду в аквариуме меняет?» Короче, такой бонус от Бога, который то ли есть, то ли нет. «Напиши „Житие Владимира Соловьева“, — шучу я. — Псевдоним — Елена Кириллица, а еще лучше — Елена Глаголица, эпиграф — „Глаголом жечь сердца людей“, подзаголовок — „От крематория к колумбарию“». Рассмешить я ее еще могу, а уестествить? А Богу в том сне отвечаю, что поздно. Но Он говорит, что надо приложить усилия именно в те дни, когда созревает яйцеклетка, и все такое прочее. Бред какой-то. Ср. с историей Авраама и Сарры.

Если слова во сне ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог, считал Маймонид, а ему можно верить. Кому еще?

Снится пожар, я выношу Лену на руках, но роняю, а когда прихожу в себя в больнице, спрашиваю про Лену. Мне: «Плохо». — «Умерла?» — «Да». Но потом оказывается, что это я врач и отвечаю кому-то: «Да». В последнее время, после того как Лена сломала руку, почти все сны с ней или в ее присутствии.

Она боится тринадцатого числа, особенно если приходится на пятницу, но иногда она в таком подавленном состоянии, что мне хочется ей сказать:

— У тебя вся жизнь тринадцатое число.

А моя? Депрессия в нашем возрасте — адекватная реакция на жизнь. Как и в любом другом возрасте, если помнить о том, чем жизнь кончается. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» И все еще продолжаешь сниться?

Но и живьем в гроб не ляжешь. Самоубийство отпадает по причине ненадежности либо безвкусицы всех доступных мне способов, а самый достойный, пулю в лоб — где взять пистолет? И в какой висок вдарить — Бродский прав. Хороший библиотечный анекдот на этот сюжет:

— Где я могу найти книги о самоубийствах?

— На пятой полке слева.

— Но там нет ни одной книги.

— А их никто и не возвращает.

А кому завещать русские книги, которые давно уже из современных, когда ты их покупал, стали антикварными и дышат на ладан, страшно дотронуться — обратятся в прах? А мои собственные? Беспросветное будущее. Всяко, предпочел бы кремацию, но без всяких там колумбариев с почтовыми ящиками на стенах. Или пусть подвесят в гамаке, как австралийские аборигены, но там у них, правда, баобабы. Что делать, если на гроб у меня посмертная клаустрофобия?

У моего приятеля работает на компьютере некий тип, и, как все гении в одной узкой области, он, мягко говоря, несколько наивен во всех остальных. Само собой, маменькин сынок, эмоционально недоразвит, босс называет его «полчеловека». «Вы здесь или вас нет?» — спрашивает гений в трубку, когда звонят, даже если это жена. Или: «Босс в уборной». Он упал в обморок, узнав, что женщина, в которую был молча влюблен, вышла замуж: у меня есть рассказ на аналогичный сюжет — «Молчание любви». Меня он часто выручает, когда я не могу раскрыть полученное по электронке послание. Так произошло и на этот раз, когда пришли обложка и титул моей книги «Как я умер», на что он резонно возразил:

— Так вы же еще не умерли.

— Но умру. Надо готовиться заранее.

— Умрете — тогда и напишете.

Кто знает, может, он прав? А что там еще нам останется делать? Лучшее место для сочинения мемуаров. Вот, из последних сил пишу: теперь я, как Золушка, мечтаю, чтобы пришла добрая фея и доделала за меня мою работу, хотя немного осталось, приходится самому вкалывать, потому что волшебниц больше нет — ни добрых, ни злых.

— А когда они были? — спрашивает Лена с грустью.

— Во времена Золушек, — отвечаю.

А про себя думаю: допишу там, если не успею здесь.

Один приятель советует взять с собой на всякий случай авторучку.

Я:

— Там что, нет компьютеров?

Миша Фрейдлин, хоть женат второй раз, говорит, что по природе холостяк. Сейчас он эмигрировал в детство и снова коллекционирует марки, но бизнесмен в нем победит, и при удачном случае он их загонит. А я дошел до того, что путаю свое детство с детством Жеки, и наоборот.

Тем временем неистощимый Миша выдает остроту за остротой, веселя мое сердце. Это он вывел гениальную формулу гостеприимства, рассказывая о гостях у них на даче:

— Я был счастлив, когда они приехали, и я был счастлив, когда они уехали.

Его же (или позаимствованные?):

— Собаке — собачья жизнь.

— В центре урагана всегда тихо.

— Новости не становятся горячими, если их подогреть.

— Каждый человек — еврей, пока не докажет обратное.

Есть, наверное, нечто анекдотическое в таких вот пожилых

откровенностях, но все в этом мире шиворот-навыворот, включая французский трюизм, потому что на самом деле все наоборот: если бы старость знала, если бы молодость могла. Я всемогущ именно теперь, когда точно знаю, что ничего не знаю. Привет известно кому.

Вот недавняя статистика, которую я вычитал в *Guardian:* большинство из полутора тысяч опрошенных пенсионеров в возрасте свыше 65 жалеют, что в их жизни было мало секса, мало путешествий, что они редко меняли работу и не сказали хозяину все, что о нем думают.

Само собой, больше фактов врут только цифры. А я не устаю приводить историю, рассказанную князем Вяземским в «Старой записной книжке», — о беседе за завтраком в суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре про ад и наказания грешникам. Один из монахов, по светской жизни гуляка и распутник, «вмешался в разговор и сказал, что каждый грешник будет видеть беспрерывно и на веки веков все благоприятные случаи, в которые мог бы согрешить невидимо и безнаказанно и которые пропустил по оплошности своей». Вот так-то: сожаления об упущенных возможностях. Как уж не помню кто сказал, раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно и опоздать. А Гор Видал утверждал, что никогда не надо отказываться от двух предложений: интервью и секса. Мне теперь перепадает больше интервью, чем секса.

Тем временем Тиша, кот моего редактора Тани Варламовой, лежит сейчас на распечатке рукописи этой книги в Москве, а по другую сторону океана мой кот Бонжур, соскучившись в мое отсутствие и включив у себя в горле колокольчик по имени «мурлык», лежит в Нью-Йорке на продолжении, вот-вот кончу и отошлю в столицу нашей родины — чем не феномен пси? Два этих кота и осуществляют телепатическую связь между автором и редактором, между Россией и Америкой, между двумя мирами, которые на самом деле один мир. Господи, когда это до нас дойдет?

Мы с Леной Клепиковой разбили палатку на берегу Великой Сакантаги, где прочистили по полной мозги чистым хвойным настоем в кафедральном (читай — сосновом) лесу. Палатку нашу трепал ветер, хлестал дождь, холод собачий, а через пару дней после нашего отвала выпал снег и на два фута покрыл лесной кафедрал. Как там снег — не знаю, но все остальное мы мужественно перетерпели, памятуя Томаса Карлейля: «Старые соборы хороши, но голубой свод над ними еще лучше». Противоположной точки зрения придерживался Бродский, отстаивая прерогативу рукотворного над нерукотворным, порядка

над стихией, цивилизации над природой «с ее даровыми, то есть дешевыми радостями, освобожденными от смысла и таланта, присутствующими в искусстве или в мастерстве», но я отнес это за счет его глухоты и слепоты к природе: «Я, Боже, слеповат. Я, Боже, глуховат».

Какое сильное стихотворение *Cathedral* Юджина Соловьева, американского поэта и моего сына:

> Oh, Cathedral going up, of thee I sing,
> I sing of thee, stone by stone formed,
> Formed stone by stone that I helped lay,
> That I helped lay, but I will not see how you stand,
> How you stand might see my grandson perhaps,
> Perhaps my grandson, when he'll be an old man will see,
> Will see the stones that now in this facade I lay,
> I lay for God, for He sees all I do,
> All I do: the good and the bad, but I helped build,
> I helped build this glorious House to Him. My grandson,
> My grandson will admire it, and maybe I will,
> I will from Heaven watch him admire this Cathedral.

Так и было. Кафедралы возводились столетиями, и средневековому каменщику, от имени которого это стихотворение написано, не дано увидеть его законченным, и его сын не увидит — разве что внук, чье восхищение готическим шедевром узрит зато его первый строитель — с Небес. Класс!

На озере я плавал, несмотря на горную холодину, но если голубая цапля (почему, кстати, голубая, когда серая?) часами простаивала по щиколотку в воде, кого-то выслеживая, то чем я хуже? Это в пяти-шести часах от Нью-Йорка. Грибов — только солонухи, да в еловых иглах под слезоточивыми соснами проклюнулись склизкие шляпки маслят, но трогать не стал — красиво. Сакантага — индейское имя, но американы добавили еще «Великая», в смысле — большая. В самом деле — широкое, длинное, извилистое озеро, на нем стоит пара старых городков с заброшенными, музейными уже, ж.-д. станциями. К вечеру прошел дождь, прорезалось солнце, чуть-чуть выглядывая из-за облаков, а потом вспыхнула радуга и повисла над водой, и верхом на ее дальнем конце сидел Тот, с которым был заключен Завет, а радуга — не только распад белого на составляющие (проклятая физика!), но еще и знамение Завета:

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы оно было знамением Завета между Мною и между землею.

И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке.

Простоять октябрьскую неделю на берегу Сакантаги в горной холодине и мелких непрерывных сволочных дождях, пока не хлынул ливень, — это, конечно, подвиг. Буквально: мокрец всему! И вся защита — тонкие капроновые стенки нашей палатки да слегка утепленный спальный мешок. Превентивно — всемогущий аспирин, который я считаю высшим достижением человечества, учитывая открываемые им каждый год все новые и новые свойства (против инфаркта, против рака — при рутинном приеме). Плюс, конечно, вечернее томление, когда, сидя в машине, уже нет сил следить, как буквы складываются в сюжет, а ложиться спать, даже со снотворным, — рано. Наша Мельбурн-авеню, моя теперешняя малая родина, которая одной стороной упирается в еврейский погост, где лежит Сережа Довлатов, а другой — в Куинс-колледж, виртуальная обитель жирафов, кенгуру и дикой собаки динго, вставала перед моими глазами как мираж, но когда он рассеивался, я снова сквозь ветровое стекло видел Великую Сакантагу, как Моне писал Руанский собор во все времена дня, при любых метеорологических оттенках: туман стоял над озером, скрывая его очертания, или галопом несся над ним, как опасный безумец, — даже мне, вуайеристу, становилось не по себе, а то вдруг брызнуло солнце, озеро спокойно лежало передо мной, а за ним синели умбрские горы, описанные Александром Блоком и Вячеславом Ивановым.

Нетерпеливой Лене я напоминал слова из «Книги Иова»: «Если ты принимаешь от Бога хорошее, то почему отвергаешь плохое?» Тем более Он сам явился нам на своей радуге, оседлав ее как коня. «В мире есть только ты да я, но ты уже совсем состарился», — обращался к Нему один поэт, сам возомнивший себя Богом.

Да, хочу только хорошего, тем более на исходе моего жизненного срока! Никакой экстраординарщины в моей бессобытийной жизни! Кроме моей смерти, но она по ту сторону жизни, другая жизнь, наоборотная, метафизическая, виртуальная, — там, за завесой дождя.

А дождь все идет и идет — наперекор прогнозам. Про вчерашний непредсказуемый я объяснил Лене, что это завтрашний предсказуемый, но что сказать про сегодняшний? Безнадега. «Я сначала дождь любила, а теперь люблю окно» — вот именно. У нас шесть окон в машине, и по ним стекают дождевые потоки.

Одно к одному: неожиданно вышли из строя пропановые

баллончики, и мы теперь на холодном пайке, запивая его горячим чаем (электрические чайнички), — и на том спасибо. Даже китайская забегаловка в ближайшем Нортвилле оказалась из рук вон дурной — особенно в сравнении с аутентичными блюдами в нашем куинсовском Чайна-тауне.

Странная штука, но, вернувшись в Нью-Йорк и помня о преследовавшей нас подлюге непогоде, я все чаще думал об этом лесном кафедрале из высоченных, уходящих в небо, а иногда многоствольных сосен с вязким пахучим соком на золотистой чешуе, который, если засыхал и обрастал пепельным покровом, надо было на него подышать, чтобы вызвать прежний терпкий аромат древесной смолы (школа Лены Клепиковой). И не однообразно вечнозеленые ветви, а с ржавыми мертвыми вставками, и вся земля была усеяна рыжими иглами и пружинила под ногами: если подпрыгнуть — то к небосводу. На своем веку я повидал немало классных кафедралов, дуомо, соборов — один семибашенный в Лане чего стоит! — не говоря о классических в Реймсе, Шартре, Руане, Страсбурге, Флоренции, Бургосе, Милане, Кёльне, Нотр-Дам, наконец, и проч., но теперь не знаю, какой кафедрал лучше, — каменный или сосенный, рукотворный или нерукотворный? Да и есть ли такое противостояние, если творящие руки сами сотворены Творцом? Человек заместитель Бога на земле, оба — творцы, гений — прямое доказательство существования Бога, созданное гением создано при Его прямом участии, под Его диктовку: Парфенон, Реквием, Божественная комедия, Дон Кихот, теория относительности. Я уж не говорю о созданном самим Богом — Библии: Иов, Исайя, Иезекииль. Где разница между руко— и нерукотворным? А возомнивший себя Богом Виктор Гюго, который на самом деле Виктор Юго, тот и вовсе считал, что художник творит наравне с Богом.

Наравне с кем творит Бог?

Что было до Бога? Радуга-дуга, которую Он положил заветом между собой и землей? Или Он же ее и создал за пару дней до человека?

Вся беда в том, что я столько сложил слов из букв, а из слов книг — повторы неизбежны. А сколько книг я прочел, чтобы упомнить, что писали другие? Про сводчатый кафедрал из сосен и Бога в радуге я писать прежде не мог, так как видел их впервые, и дождь с холодиной были небольшой платой за такое — в полном смысле божественное — расширение опыта. А Лена еще жалуется, сидя под проливным в машине, что если бы можно было вертануть время вспять, она бы вчера, когда выглянуло солнышко, укатила обратно в Нью-Йорк. Кому бы тогда явился Бог сквозь доисторическую радугу во всем своем

калейдоскопическом блеске и великолепии?

На исходе очередной из десятых годов — какая разница какой? Кто знает, может, это мой последний год — надо торопиться. Лучшие из лучших, с кем мне подфартило на этом свете, пусть и старше меня — Окуджава, Слуцкий, Эфрос, Бродский, Довлатов, — давно уже на том, а я доживаю заемные у Бога годы. Жизнь продолжается — да здравствует мир без меня! Чужой век, чужое тысячелетие, чужое лихолетье, чужое время, чужая-расчужая жизнь, все чужое. Сам себе чужой. Узнал бы я сам себя: тот Владимир Соловьев этого Владимира Соловьева? А этот — того? Что во мне прежнего? Кто я самому себе: двойник или тезка-однофамилец? Отошли мои вешние воды — сколько мне осталось зим? или вёсен? Если ты видел лето, осень, зиму и весну, то ничего нового тебе больше здесь не покажут, — слегка перевираю, переиначиваю цитату. Осмелюсь не согласиться здесь с моим домашним учителем имярек: Бога, явленного в радуге, я видел этой осенью первый раз.

И думаю, в последний.

Приложения. Канва жизни Сергея Довлатова. Даты. События. Комменты

3 сентября 1941. В Уфе в эвакуации в семье актрисы (позднее корректора) Норы Сергеевны Довлатовой (армянка, 1908–1999) и театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (еврей, 1909–1995) родился сын Сергей Мечик. В советском паспорте значился как Сергей Донатович Мечик-Довлатов, по американским документам — Sergei Dovlatov. На фасаде дома № 56 по улице Гоголя в Уфе, где Довлатов родился, установлена памятная доска.

1944. Семья возвращается из Новосибирска в Ленинград и живет в коммунальной квартире в доме № 23 на улице Рубинштейна. Сейчас там установлена мемориальная доска с автопортретом Довлатова: «В этом доме с 1944 по 1975 г. жил писатель Сергей Довлатов».

1947. Когда Сереже было шесть лет, его родители разошлись. Позже Донат Исаакович Мечик женится на Люсе Рябушкиной, которая росла в семье писателя Геннадия Гора и одно время, будучи еще школьницей, присматривала за маленьким Сережей на даче в Комарове, писательском поселке под Ленинградом. Дочь Доната и Люси Ксана Мечик — сводная сестра СД.

1959. Довлатов поступает на филологический факультет, отделение финского языка, Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова; знакомство с сокурсницей Асей Пекуровской, будущей женой (первой).

Новогодняя ночь 1960 г. Соитие в Павловском парке с Асей Пекуровской, femme fatale, роковухой Довлатова. «Зачем они обременили себя штампами? — реплика их знакомой. — Вообще вся эта любовная история чрезвычайно театральная. Хотя черт знает чем закончилась».

1960. Провальное чтение Иосифом Бродским поэмы «Шествие» в комнате СД на ул. Рубинштейна. Поэма была раскритикована в пух и прах самим СД, Асей Пекуровской и их гостями — Бродскому было отказано в поэтическом даровании.

«Прошу всех запомнить, что сегодня вы освистали гения!» — сказал ИБ, покидая этот квартирник. У авторов есть все основания полагать, что это унижение поэта плюс соперничество ИБ и СД из-за Аси Пекуровской («моей девушки», по словам Бродского) сказались на их дальнейших отношениях. См. главы «Иосиф и Сергей. Post mortem» & «Тайна любовного треугольника» в этой книге.

1961–1962. Драматические последствия любовной драмы СД, послужившей впоследствии сюжетом его терапевтической прозы — неизданного питерского романа «Пять углов» и нью-йоркской повести «Филиал»: отчисление из ЛГУ и призыв в армию. Служил в системе охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми АССР. Армейские злоключения СД описал в книге «Зона. Записки надзирателя».

1963. Перевод в воинскую часть под Ленинградом и, соответственно, частые визиты к родным и друзьям.

1965. Начало сентября — демобилизация и возвращение в Ленинград. После армии — работа в многотиражке Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям», был также литературным секретарем Веры Федоровны Пановой. Непрерывная писательская деятельность и бесплодные попытки опубликовать свои рассказы в журналах и издать книжки. Вот отрывок из уничтоженного, но восстановленного в этой книге письма СД: «Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями…»

1966. Рождение у СД и Елены Довлатовой (в девичестве Елена Ритман) дочери Кати.

13 декабря 1967. Творческий вечер СД в Доме писателей им. Маяковского, первый и единственный в Советском Союзе. Вступительное слово — литературный критик Владимир Соловьев. См. фотографии в этой книге.

1968–1969. Первые публикации в журналах «Аврора» и «Крокодил». Литературные мытарства описаны Довлатовым в его «Невидимой книге». В этом издании см. главу Елены Клепиковой «Мытарь, или Трижды начинающий писатель».

1970. У разведенки Аси Пекуровской родилась Маша, которую она позднее стала выдавать за дочь Довлатова, но он категорически, письменно и устно, отрицал свое отцовство, ссылаясь на то, что между ними уже не было близких отношений, необходимых для зачатия. Ввиду отсутствия ДНК авторам пришлось провести скрупулезный анализ, и они в этом спорном вопросе принимают точку зрения СД. См. главу «Гигант с детским сердцем».

Сентябрь 1972 — март 1975. Первая — внутренняя — эмиграция Сергея Довлатова в Эстонию. Работал в Таллине кочегаром в котельной (чтобы получить прописку), нештатником газет «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин», затем был принят в штат «Советской Эстонии». Жизнь в Таллине описана в книге «Компромисс». «Командировочный» роман с Тамарой Зибуновой и рождение у них в 1975 г. дочери Александры, которую СД вписал в свой паспорт. Крах литературных надежд Довлатова, ради которых он и переехал в Таллин: набор его первой книги «Пять углов» в издательстве «Ээсти Раамат» был рассыпан по указанию КГБ. См. рассказ Елены Клепиковой «Таллин: бросок на ближний Запад» в нашей книге. На стене дома № 41 по ул. Рабчинского (сейчас улица Вабрику) установлена бронзовая доска в виде книжного разворота: слева — текст, а справа — Довлатов со своей любимой собакой, фокстерьером Глашей.

1974. Публикация в «Юности» производственной повести Довлатова «Интервью». С Д приводит отзыв, который, скорее всего, сочинил сам:

> Портрет хорош, годится для кино,
> Но текст — беспрецедентное говно.

1976–1977. Сезонная работа экскурсоводом в Пушкинских Горах, положенная в основу сюжетного драйва повести «Заповедник». В Пушкинских Горах открыт дом-музей СД.

1977. Первая книга Довлатова в США на русском языке («Невидимая книга». — Ann Arbor: Ардис). За 14 лет у СД вышло больше дюжины книг на русском и с полдюжины на английском. См. прижизненную библиографию. Все эти годы до самой смерти СД тесно сотрудничал с радио «Свобода» на регулярной, хоть и нештатной основе: фрилансер.

Апрель 1978. Елена и Катя Довлатовы эмигрируют в США. Спустя несколько месяцев за ними последуют Сергей и Нора Сергеевна Довлатовы.

Февраль 1979. Воссоединение семьи в Нью-Йорке, где Сергей до самой смерти жил в Форест-Хиллс, вблизи 108-й улицы, главной русскоязычной артерии Куинса, одного из пяти боро Большого Яблока. В 2014 г. часть улицы, на которой жил Довлатов и где до сих пор живут Елена Довлатова с Катей и Колей, переименована в честь СД.

1979. Первая книга Довлатова на английском в США (The Invisible Book; Translated by Katherine O'Konor. — New York: Knopf).

9 июня 1980. Первая публикация СД в журнале «Нью-Йоркер»: рассказ «Юбилейный мальчик» (The Jubilee Boy; Translated by Ann Frydman. — P. 39–47). Всего у Довлатова было девять публикаций в этом суперпрестижном издании — рекорд для русского писателя в Америке.

1980–1982. Главный редактор еженедельника «Новый американец», работа в котором описана в повести СД «Невидимая газета».

1981. Рождение у Довлатовых сына Коли — Николаса Доули. Семейная жизнь описана СД в отличной повести «Наши».

24 августа 1990. Гибель Сергея Довлатова в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь на Кони-Айленд. По словам шофера той «скорой»: «He choked on his own vomit».

26 августа 1990. Похороны Довлатова на еврейском кладбище Mount Hebron в Куинсе.

Прижизненные издания на русском языке

1977. Невидимая книга. — Ann Arbor: Ардис
1980. Соло на ундервуде: Записные книжки. — Paris: Третья волна
1981. Компромисс. — Нью-Йорк: Серебряный век
1982. Зона: Записки надзирателя. — Ann Arbor: Эрмитаж

1983. Заповедник. — Ann Arbor: Эрмитаж

1983. Марш одиноких. — Holyoke: New England Publishing Co

1983. Наши. — Ann Arbor: Ардис

1983. Соло на ундервуде: Записные книжки. 2-е изд., доп. — Holyoke: New England Publishing Co

1985. Демарш энтузиастов (в соавторстве с Вагричем Бахчаняном и Наумом Сагаловским). — Париж: Синтаксис

1985. Ремесло: Повесть в двух частях. — Ann Arbor: Ардис

1986. Иностранка. — New York: Russica Publishers

1986. Чемодан. — Tenafly: Эрмитаж

1987. Представление. — New York: Russica Publishers

1988. Не только Бродский: Русская культура в портретах в анекдотах (фотографии М. Волковой). — New York: Слово — Word

Книги, полностью подготовленные и оформленные Довлатовым, но изданные post mortem, спустя несколько месяцев после его смерти в 1990 г.

Записные книжки. — *New York:* Слово — *Word*

Филиал. — *New York:* Слово — *Word*

Прижизненные американские издания на английском языке

1979. The Invisible Book; Translated by Katherine O'Konor. — New York: Knopf

1983. The Kompromise; Translated by Anne Frydman. — New York: Alfred Knopf

1985. The Zone; Translated by Anne Frydman. — New York: Alfred Knopf

1989. Ours, Translated by Anne Frydman. — New York: Weidenfeld & Nicholson.

1990. The Siutcase; Translated by Antonina W. Bouis. — New York: Grove Weidenfeld

1991. A Foreign Woman; Translated by Antonina W. Bouis. — New York: Grove Weidenfeld

Две последние книги вышли посмертно, но договор на обе был подписан Сергеем Довлатовым.

Публикации Елены Клепиковой и Владимира Соловьева о Сергее Довлатове

Основополагающее для понимания Довлатова мемуарное эссе-исследование Елены Клепиковой «Мытарь, или Трижды начинающий писатель» в начальных вариантах печаталось по обе стороны океана в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, 17–18 марта 2001), а к 60-летию Довлатова — в «Панораме» (Лос-Анджелес), «В новом свете» (Нью-Йорк) и «Московском комсомольце» (Москва). Вошло оно и в совместную книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой «Довлатов вверх ногами» (Москва, 2001), а также в сольные книги Елены Клепиковой «Невыносимый Набоков» (Нью-Йорк — Тверь, 2002) и «Отсрочка казни» (Москва, 2008). Для этой книги эссе значительно дополнено и укрупнено за счет новых фактов из жизни Сергея Довлатова.

Другие главы Елены Клепиковой из этой книги изначально публиковались в Нью-Йорке в сокращенных газетных вариантах в «Русском базаре» и «В новом свете».

Аналитические воспоминания Владимира Соловьева в различных модификациях и под разными названиями — «Довлатов на автоответчике», «Мой сосед Сережа Довлатов», «В защиту Сергея Довлатова» и др. — печатались, начиная с некролога в «Новом русском слове» осенью 1990 г., в США, Канаде, России и Израиле («Новое русское слово», «Панорама», «Слово», «Королевский журнал», «В новом свете», «Русский базар», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Россия», «Петрополь», сборник «О Довлатове» и др.), а также входили в совместную с Еленой Клепиковой книгу «Довлатов вверх ногами» и сольные книги Владимира Соловьева. В данном издании текст не просто обогащен, но увеличен вдвое за счет выдержек из уничтоженных писем Довлатова и новых фактов его жизни и смерти. По сути, это новое мемуарно-аналитическое эссе, никогда не публиковавшееся в таком объеме и полноте прежде.

Специально для этой книги был написан сенсационный рассказ «Уничтоженные письма», который автор решил и решился предать гласности после долгих личных раздумий и юридических консультаций.

Сергей Довлатов является также героем документальной и полудокументальной прозы Елены Клепиковой и Владимира Соловьева; представленные здесь тексты извлечены из их книг — совместных и сольных. В частности, отсек «Иосиф и Сергей» входил в оба «риполовских» издания Владимира Соловьева — «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и «Два шедевра о Бродском».

В книге помещены запретные тексты Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, посвященные Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой.

И наконец, двухчасовой фильм Владимира Соловьева «Мой сосед Сережа Довлатов» (2001): премьера на большом экране на Манхэттене, повторные показы по американскому ТВ и выпуск на видео и диске. Среди главных участников фильма были Сергей Довлатов, Елена Довлатова и Елена Клепикова, чья киноновелла «В яблочко времени» была признана критикой лучшей в этом фильме.

«Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека», открывающая авторский сериал «**Фрагменты великой судьбы**», — седьмая совместная книга известных русско-американских писателей Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Предыдущие книги — «Юрий Андропов: тайный ход в Кремль», «Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева», «Михаил Горбачев: путь наверх», «Ельцин: политические метаморфозы», «Парадоксы русского фашизма» и «Довлатов вверх ногами» — изданы в тринадцати странах на двенадцати языках. Однако главные писательские достижения авторов в одиночных заплывах (см. полный список названий.)

Следующая книга сериала — **«Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества».**

Книги Владимира Соловьева и Елены Клепиковой

Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль
В Кремле: от Андропова до Горбачева
М. С. Горбачев: путь наверх
Борис Ельцин: политические метаморфозы
Парадоксы русского фашизма
Довлатов вверх ногами

Сериал «ФРАГМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ СУДЬБЫ»
Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека

Книги Елены Клепиковой

Невыносимый Набоков
Отсрочка казни
Об авторах

Книги Владимира Соловьева

Роман с эпиграфами
Не плачь обо мне…
Операция «Мавзолей»
Призрак, кусающий себе локти
Варианты любви
Похищение Данаи
Матрешка
Семейные тайны
Три еврея
Post mortem
Как я умер
Записки скорпиона
Два шедевра о Бродском
Мой двойник Владимир Соловьев
Осама бин Ладен. Террорист № 1

Фильмы Владимира Соловьева

Мой сосед Сережа Довлатов
Семейная хроника отца и сына Тарковских
Парадоксы Владимира Соловьева

Будущие книги

Про это. Секс, только секс, и не только секс

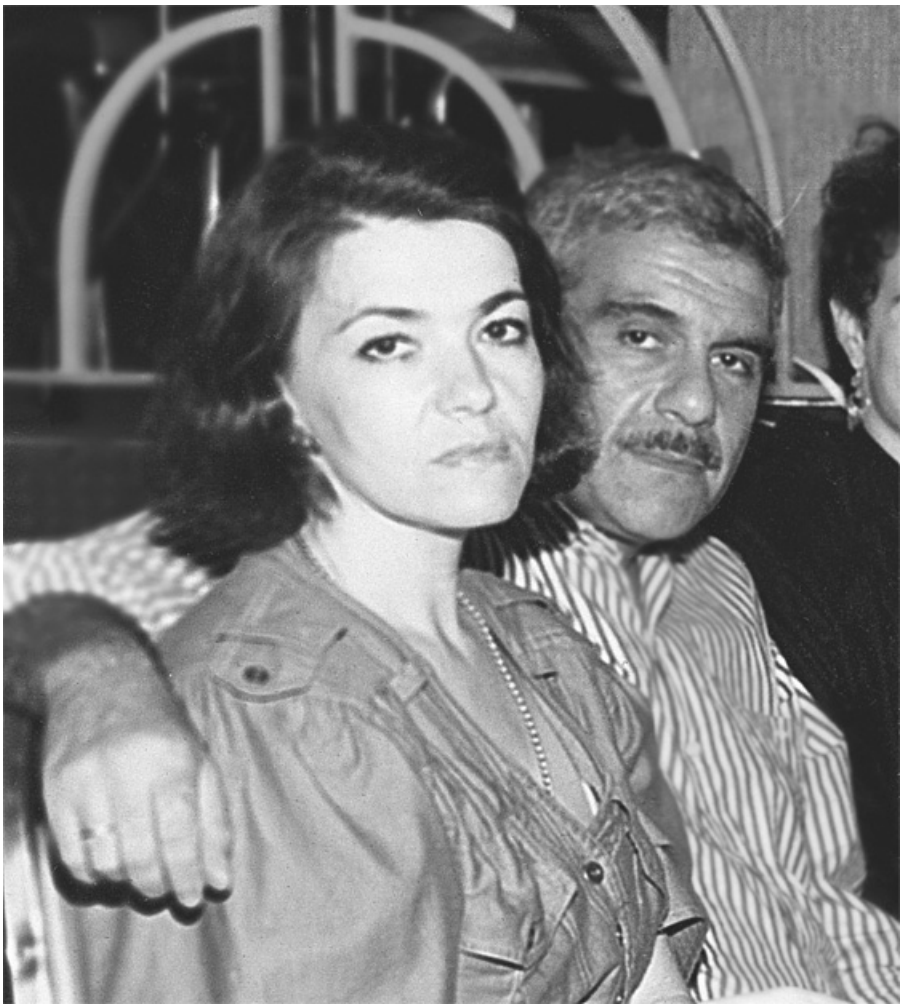
Сериал «ФРАГМЕНТЫ ВЕЛИКОЙ СУДЬБЫ»
Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества. Юбилейная книга

К сожалению, все правда.
Сергей Довлатов

Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью.
Павел Басинский

Фотоматериалы

Семейный альбом

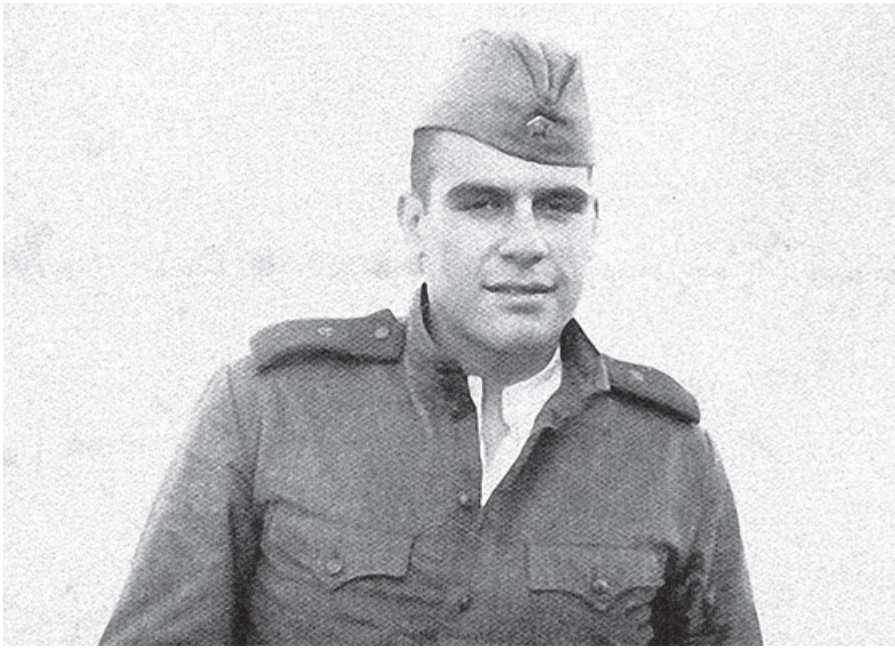


С Леной Довлатовой в русском ресторане по случаю очередной публикации в престижном «Нью-Йоркере»

Из архива Наташи Шарымовой

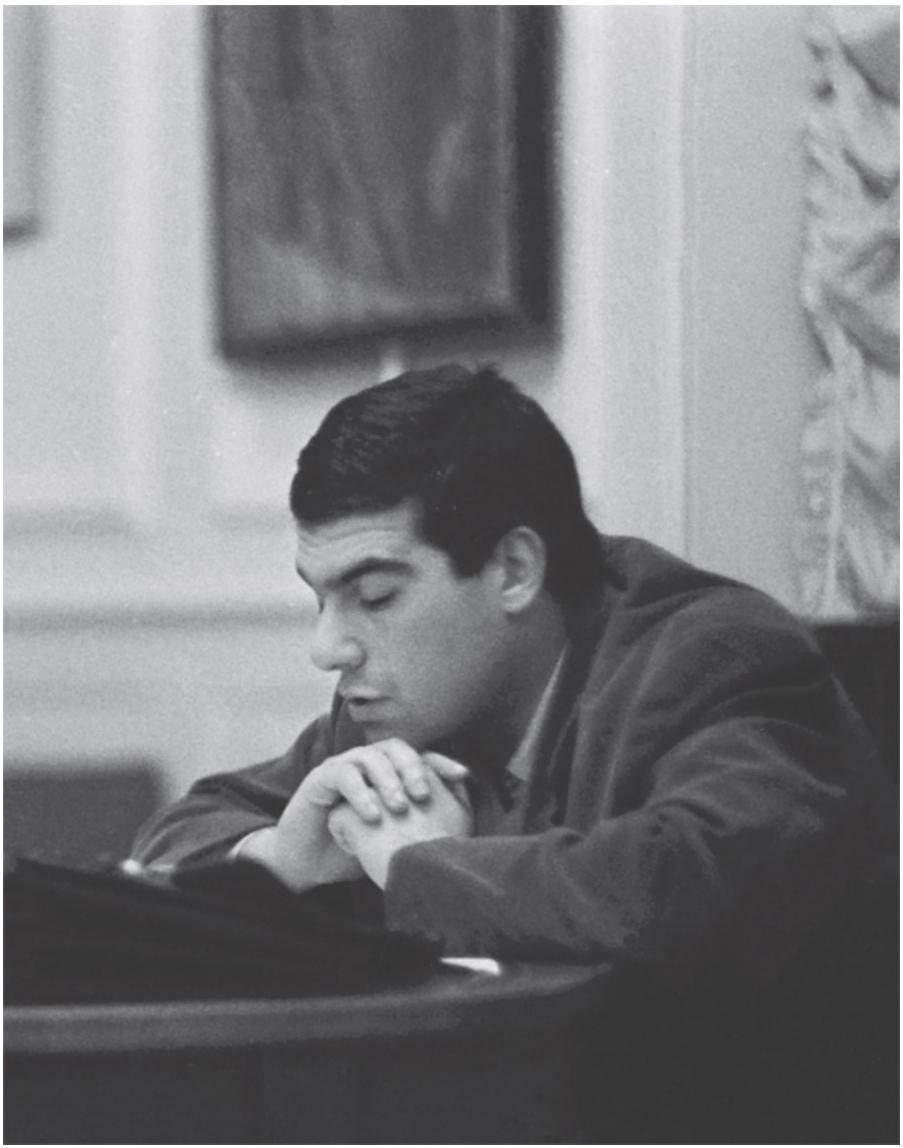
Первая жена Ася Пекуровская, *femme fatale*. Бездетный, мучительный для Сережи брак — травма на всю жизнь

В армии, 1962–1965



Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.

Довлатов читает свои рассказы в Ленинграде, 1967



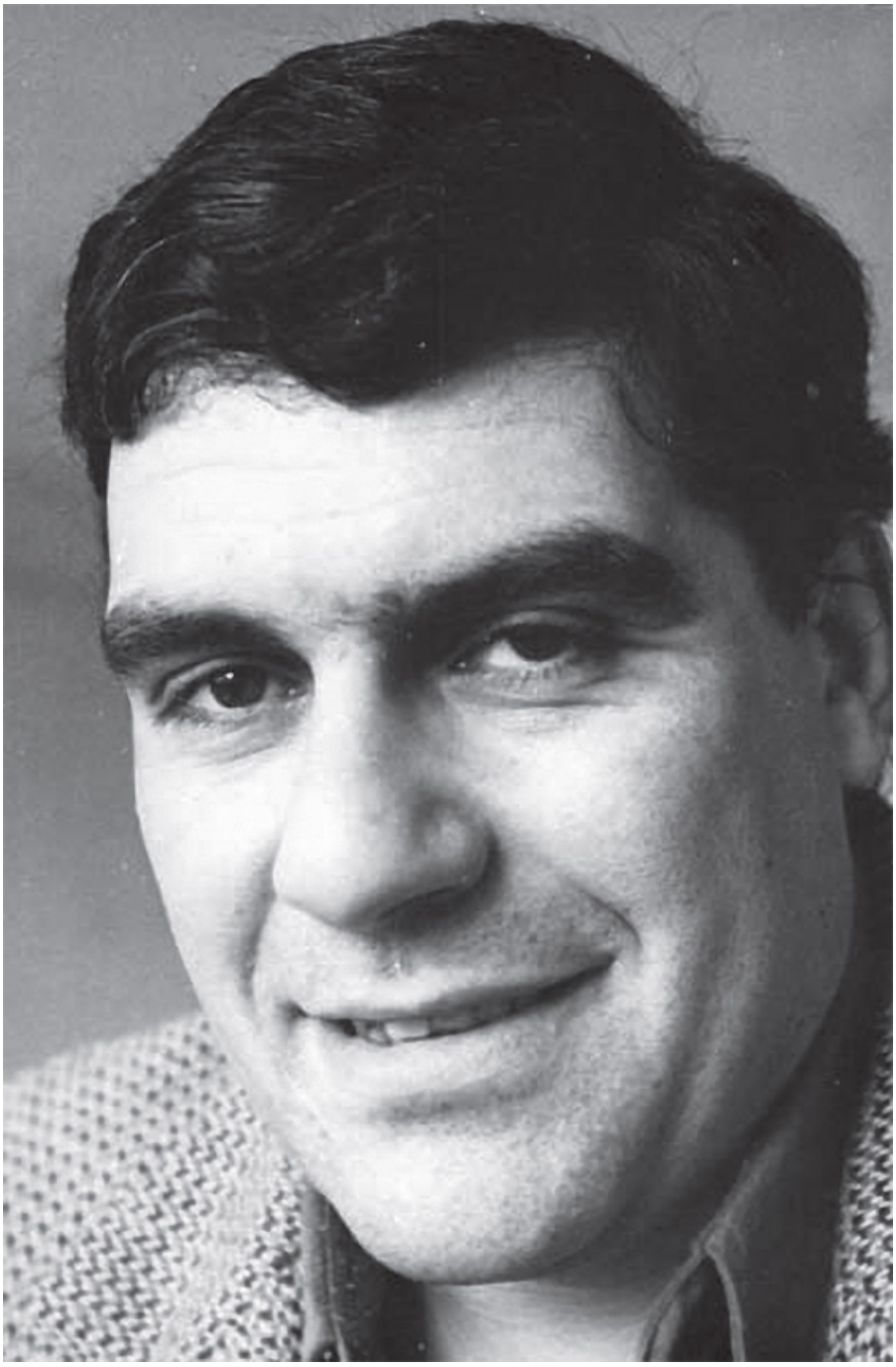
Единственный вечер Довлатова в России — 13 декабря 1967 года в ленинградском Доме писателей. Вступительное слово — Владимир Соловьев. А исторические снимки с этого вечера делала Наташа Шарымова, фотоархивариус ленинградского художественного андерграунда, а после эмиграции многих его представителей в Америку — фотолетописец русского

литературного Нью-Йорка. Господи, как мы были молоды: Довлатову — 26, Соловьеву — 25, Шарымовой — 23

Владимир Соловьев делает вступительное слово

Наташа Шарымова
Фото Наташи Шарымовой

В газете Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям», 1966



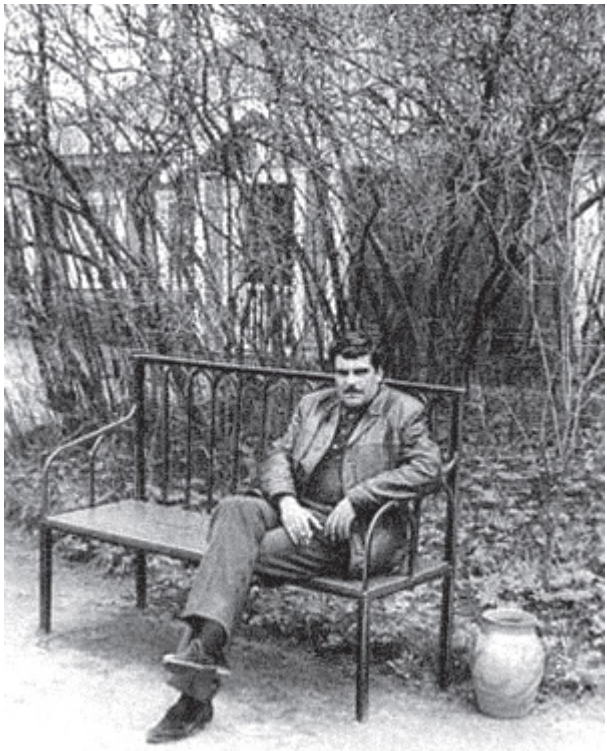
Внутренняя эмиграция в Эстонию, 1972–1975

С Женей Рейном в Таллине

Главное для него тогда было — рвануть из Ленинграда, где в силу сцепления негативных обстоятельств ему стало беспросветно и удушливо. Без метафоры и без гиперболы, как пояснял позднее Сережа, просто нечем дышать.

Елена Клепикова. Таллин: бросок на ближний Запад

Пушкинские Горы



Меня поражала ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру… Ее зависимость от моих решений, действий, слов. Я думал — сколько же лет это будет продолжаться? И отвечал себе — до конца.

Довлатов. Наши

С Катей Довлатовой в Пушкинских Горах

Первый английский перевод «Заповедника» под названием «Pushkin Hills» вышел только сейчас. Переводчица — Катя Довлатова. Чем не семейный бизнес? Что Кате, безусловно, удалось — это сделать русскую книгу явлением англоязычной литературы. Катя не любит, чтобы о ней писали и говорили, а потому обрываю себя на полуслове.

Экскурсовод в Пушкинских Горах, 1976—1977
Из архива Наташи Шарымовой

Портрет Довлатова, сделанный Бродским на Лиссабонской писательской конференции (1988)

Несмотря на пиетет перед Бродским, Довлатов все-таки перерисовал себе нос на его лиссабонском рисунке

Из России — с любовью — в Америку

Уличный художник Майк Уорден сделал с натуры символический, пусть и упрощенный, шаржированный рисунок, который не нуждается в пояснении

«Аврора» — не революционный крейсер, а молодежный журнал

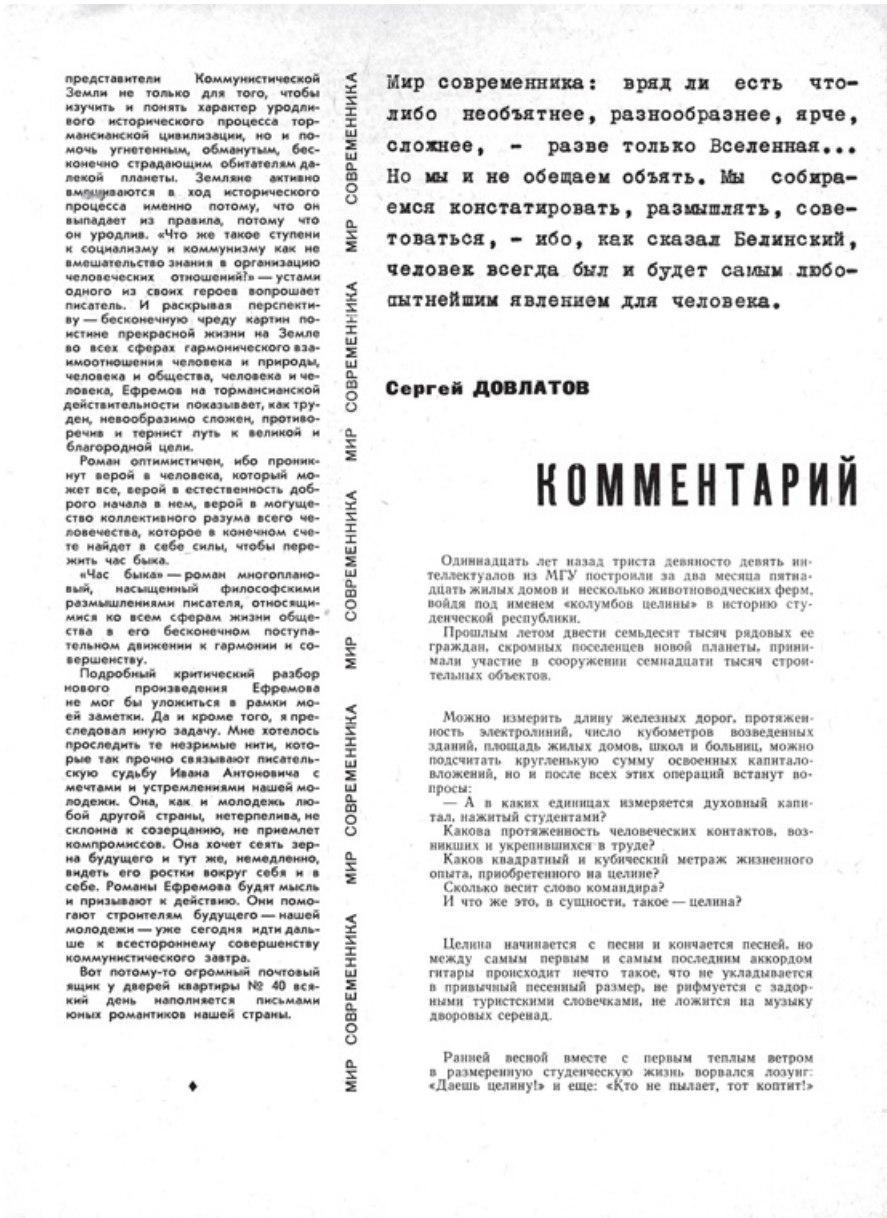
Обложка первого номера журнала «Аврора»

Первый номер молодежного журнала «Аврора» (1969), и в нем — одна из первых и немногих публикаций Сережи на родине: очерк «Комментарий к песне». К сожалению или к счастью, Довлатов так и не стал советским писателем

Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий

этаж лучше снизу — не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.

Сергей Довлатов. Из уничтоженных писем



представители Коммунистической Земли не только для того, чтобы изучить и понять характер уродливого исторического процесса тормансианской цивилизации, но и помочь угнетенным, обманутым, бесконечно страдающим обитателям далекой планеты. Земляне активно вмешиваются в ход исторического процесса именно потому, что он выпадает из правила, потому что он уродлив. «Что же такое ступени к социализму и коммунизму как не вмешательство знания в организацию человеческих отношений?» — устами одного из своих героев вопрошает писатель. И раскрывая перспективу — бесконечную чреду картин поистине прекрасной жизни на Земле во всех сферах гармонического взаимоотношения человека и природы, человека и общества, человека и человека, Ефремов на тормансианской действительности показывает, как труден, невообразимо сложен, противоречив и тернист путь к великой и благородной цели.

Роман оптимистичен, ибо проникнут верой в человека, который может все, верой в естественность доброго начала в нем, верой в могущество коллективного разума всего человечества, которое в конечном счете найдет в себе силы, чтобы пережить час быка.

«Час быка» — роман многоплановый, насыщенный философскими размышлениями писателя, относящимися ко всем сферам жизни общества в его бесконечном поступательном движении к гармонии и совершенству.

Подробный критический разбор нового произведения Ефремова не мог бы уложиться в рамки моей заметки. Да и кроме того, я преследовал иную задачу. Мне хотелось проследить те незримые нити, которые так прочно связывают писательскую судьбу Ивана Антоновича с мечтами и устремлениями нашей молодежи. Она, как и молодежь любой другой страны, нетерпелива, не склонна к созерцанию, не приемлет компромиссов. Она хочет сеять зерна будущего и тут же, немедленно, видеть его ростки вокруг себя и в себе. Романы Ефремова будят мысль и призывают к действию. Они помогают строителям будущего — нашей молодежи — уже сегодня идти дальше к всестороннему совершенству коммунистического завтра.

Вот потому-то огромный почтовый ящик у дверей квартиры № 40 всякий день наполняется письмами юных романтиков нашей страны.

♦

МИР СОВРЕМЕННИКА МИР СОВРЕМЕННИКА МИР СОВРЕМЕННИКА МИР СОВРЕМЕННИКА

Мир современника: вряд ли есть что-либо необъятнее, разнообразнее, ярче, сложнее, — разве только Вселенная... Но мы и не обещаем объять. Мы собираемся констатировать, размышлять, советоваться, — ибо, как сказал Белинский, человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека.

Сергей ДОВЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ

Одиннадцать лет назад триста девяносто девять интеллектуалов из МГУ построили за два месяца пятнадцать жилых домов и несколько животноводческих ферм, войдя под именем «колумбов целины» в историю студенческой республики.

Прошлым летом двести семьдесят тысяч рядовых ее граждан, скромных поселенцев новой планеты, принимали участие в сооружении семнадцати тысяч строительных объектов.

Можно измерить длину железных дорог, протяженность электролиний, число кубометров возведенных зданий, площадь жилых домов, школ и больниц, можно подсчитать кругленькую сумму освоенных капиталовложений, но и после всех этих операций встанут вопросы:

— А в каких единицах измеряется духовный капитал, нажитый студентами?

Какова протяженность человеческих контактов, возникших и укрепившихся в труде?

Каков квадратный и кубический метраж жизненного опыта, приобретенного на целине?

Сколько весит слово командира?

И что же это, в сущности, такое — целина?

Целина начинается с песни и кончается песней, но между самым первым и самым последним аккордом гитары происходит нечто такое, что не укладывается в привычный песенный размер, не рифмуется с задорными туристскими словечками, не ложится на музыку дворовых серенад.

Ранней весной вместе с первым теплым ветром в размеренную студенческую жизнь ворвался лозунг: «Даешь целину!» и еще: «Кто не пылает, тот коптит!»

А через несколько месяцев на Восток потянулись эшелоны.

Стучат колеса. Воздух калмыцких степей пошевеливает занавески на окнах. До горизонта простирается обожженная солнцем земля. Кто-то из ребят, какой-нибудь далекий потомок матроса с Колумбова корабля, истошно восклицает:

— Верблюд!

И верно. Он стоит около шлагбаума и с печальным высокомерием горбуна смотрит на проносящиеся мимо вагоны.

И снова степь, ровная и однообразная, с привкусом горечи и блаженства. Лишь изредка взгляд цепляется за чахлый кустик возле насыпи. И тогда кто-нибудь снимает с верхней полки гитару, ленивую и грациозную, как первая жена гарема, трогает струны и тихо поет. Все слушают гитариста.

«...а я еду, а я еду за туманом...»

Стучат колеса. Позвякивает на столе эмалированная кружка. Вдали за окном виднеются лоснящиеся пятна солончаков.

«...а я еду, а я еду за туманом...»—нажимает паренек. Забавная песня. И парень симпатичный. Романтик, я

К ПЕСНЕ

полагаю. Только песня мне не очень нравится. Нравится, но не очень.

Когда-то Михаил Светлов, который знал о жизни все, что стоит знать, поэт, и может быть, один из лучших комсомольцев, говаривал:

«По песням можно судить о судьбе поколения».

Что же такое целина? Бескрайний концертный зал с прекрасным резонансом? Строительная площадка, где клепают кубометры и рубли, или внушительный пьедестал для героев?

Десять лет назад по страницам наших молодежных журналов потянулись толпами и в одиночку бородатые туристы с томиком Хемингуэя в рюкзаке и неизменной гитарой. Они бродили по лесам, горам и весям, бойко утверждая на земле романтику дальних дорог, пафос комариного укуса, песенные идеалы и острые принципы боксерской морали. Они разговаривали с легким голливудским акцентом и были неотразимо остроумны: «Интересно, что у него в голове, — задумчиво промолвил Стас. — Я знаю, что у него в голове, — откликнулся Давид, — у него в голове перхоть». Кроме того, у них была страсть к вокалу:

Забудем на время кино и стадионы
Забудем чужие телефоны,
И сядем в зеленые вагоны,
Чтоб счастье найти в дороге.
Шар земной,
Всюду со мной,
Словно рюкзак у меня за спиной...» и т. д.

«Перекати-повесть» — классифицировал этот жанр знакомый критик Андрей Арьев.

Стучат колеса, строго и неизменно, как метроном Большого театра. Степная пыль залетает в распахнутые двери вагона.

«...а я еду, а я еду за туманом...» — не унимается гитарист. Прямо «Горе от тумана» получается.

Если долго смотреть в степь, пристально и внимательно, она тоже начинает вглядываться в тебя. Ей-богу, она видит тебя насквозь. Все это — эгоистическое, мелкое и пошлое в тебе становится заметным, и хочется жить совсем иначе — честно, трудно, для людей.

Что же такое целинная степь? Попытаемся согласовать этот вопрос с ветераном студенческих строек, выпускником Ленинградского кораблестроительного института, инженером Юрием Щенниковым. Кстати, его фотографии иллюстрируют наше скромное выступление.

Редакция журнала «Аврора», где Елена Клепикова (второй ряд, вторая справа) работала редактором отдела прозы. Ее кабинет стал местом встречи таких писателей, как Бродский, Довлатов, Володин, Окуджава, Искандер, братья Стругацкие, Евтушенко, Юнна Мориц…

Фото из архива Лены Клепиковой

Лена Клепикова с котом Вилли и сыном Жекой, который, став в Америке поэтом, напишет о встрече с Сережей стихотворение *«Dovlatov's fishing rod»* («Удочка Довлатова»)

Фото Владимира Соловьева

Гости «Авроры»

Молодой Евтушенко
Из архива Владимира Соловьева

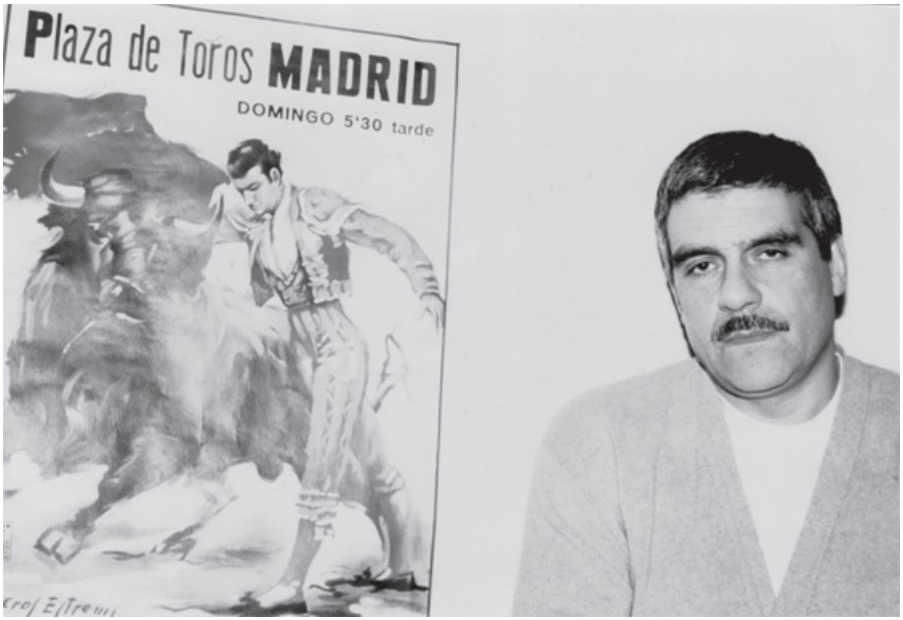
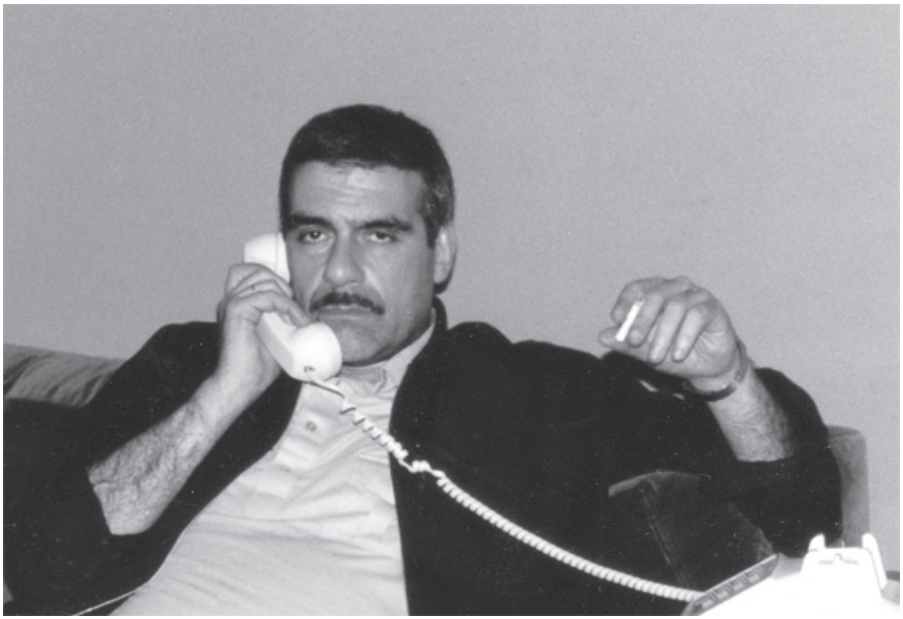
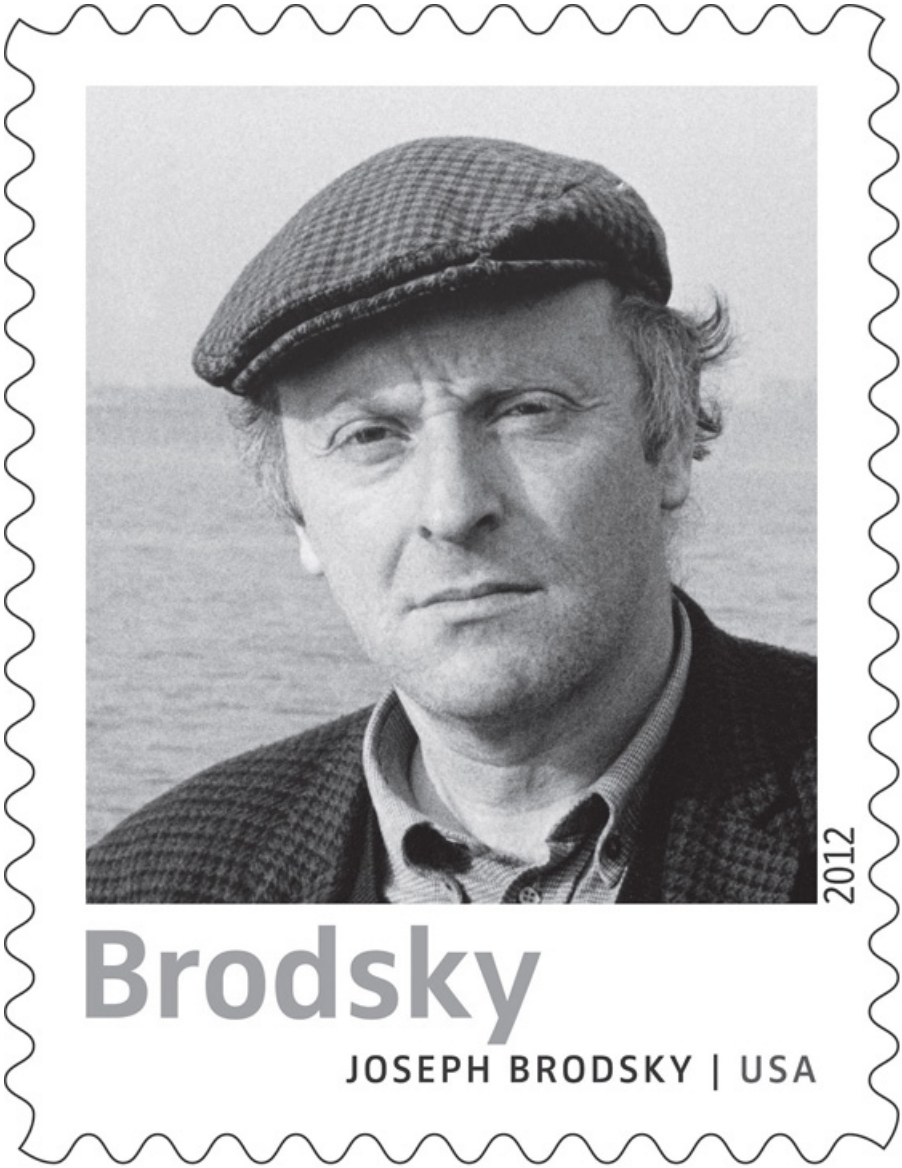


Фото Изи Шапиро



— Алло! Довлатов у телефона…
Фото Изи Шапиро

Мечта поэта



«Будет ли когда-нибудь марка с моей жидовской мордочкой?..»

Юнна Мориц с Леной Клепиковой
Из архива Владимира Соловьева

Фазиль и Тоня Искандеры в гостях у Владимира Соловьева и Лены Клепиковой

Из семейного альбома Владимира Соловьева и Лены Клепиковой

Помню наши с Фазилем споры. Я ссылался на два авторитета: на Пушкина и на моего рыжего кота Вилли. «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона», — писал Пушкин. Что касается Вилли, то он, пока мы с Фазилем спорили, гонялся, за неимением ничего более достойного, за собственным хвостом — занятие, которому он мог предаваться бесконечно. Устав от Фазилевой риторики о нравственной сверхзадаче литературы, я привел моего кота в качестве адепта чистого искусства: творчество — игра, цель — поймать себя за хвост. К тому времени мы были уже слегка поддатые, Фазиль был шокирован моим сравнением, но потом рассмеялся и стал сочувственно следить за тщетными попытками Вилли цапнуть себя за хвост.

Владимир Соловьев. Записки скорпиона. Роман с памятью

Довлатов с русскими писателями в Америке

На дне рождения Бродского в его квартире на Мортон-стрит
Фото Наташи Шарымовой

Довлатов делает вступительное слово на вечере Юнны Мориц в Нью-Йорке

Из архива Владимира Соловьева

С Владимиром Соловьевым и Николаем Анастасьевым

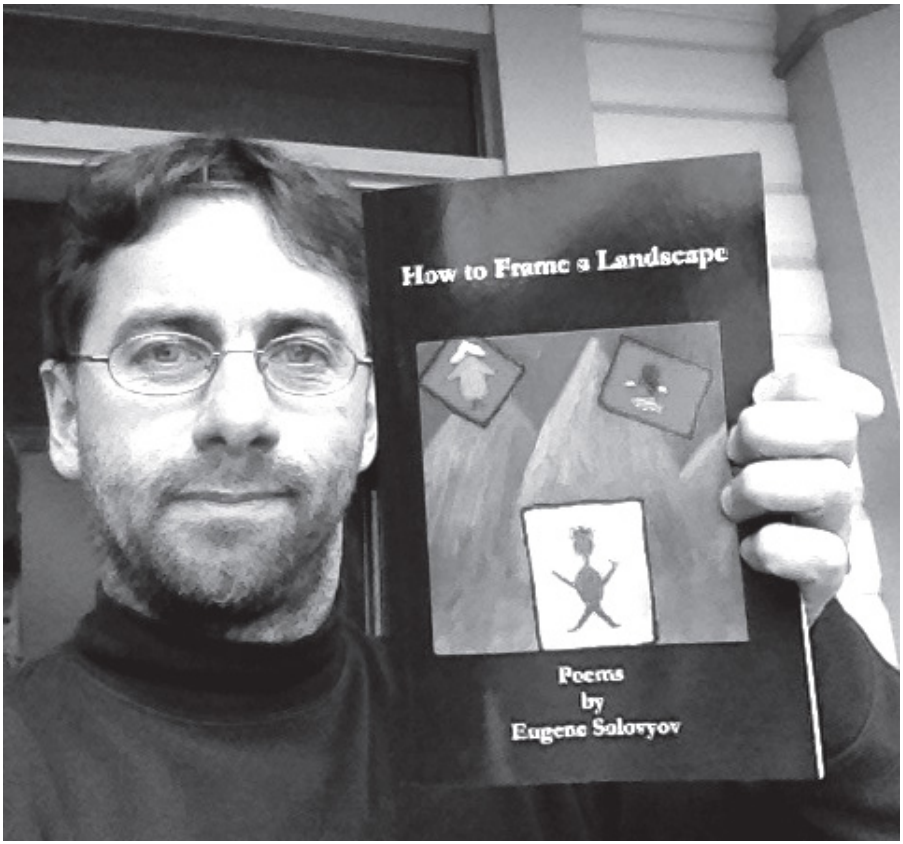
Фото Ланы Федоровой-Форд

С Аксеновым. Между ними Лена Довлатова
Фото Наташи Шарымовой

Владимир Соловьев и Елена Клепикова в своей московской квартире, май 1977 года. Фотография с первой страницы «Нью-Йорк таймс» с большим очерком про образованное ими первое в советской истории независимое информационное агентство

«СОЛОВЬЕВ — КЛЕПИКОВА-ПРЕСС». Наши сообщения и комментарии регулярно печатались в мировой прессе

Фото: David Shipler. The New York Times



Американский поэт Юджин Соловьев (селфи)

Дома

У дома Довлатовых сидят: Юз и Ира Алешковские. Стоят: издатель Гриша Поляк, журналист Алик Батчан, Сережа Довлатов, журналист Леша Лифшиц (Лосев), Катя и Лена Довлатовы

Фото Наташи Шарымовой

С Изей Шапиро

Из архива Изи Шапиро

Сережа не просто соседствовал и дружил с братьями Изей и Соломоном Шапиро, но сделал их героями своей прозы. А теперь Довлатов — герой устных рассказов, которые записаны с их слов и впервые публикуются в этой книге: глава «Tutto nel mondo e burla! Довлатов на проходах»

Фото Изи Шапиро

«Два мальчика, два тихих обормотика…» Коля Довлатов и Даня Шапиро — погодки. Важнее возрастная хронологическая разница. Левый снимок снят до, а правый — после смерти Сергея Довлатова

Фото Изи Шапиро

«Новый американец»

Редакция «Нового американца» у Центрального парка на Манхэттене справляет первую годовщину газеты. Отыскать на этом групповом снимке Сережу, главного редактора, сумеет даже слепой — он с сигаретой в зубах. Обратите внимание на двух голубей — на брусчатке и взлетевшего. Что бы это значило? Не символ ли это?

Кто кого? С художником Виталием Длугим в редакции «Нового американца»

Фото Наташи Шарымовой

Соседство по жизни: Лена и Сережа Довлатовы, Лена Клепикова и «Вольдемар» Соловьев

Между нами было несколько минут ходьбы, но Сережа жил ближе к 108-й улице, где мы с ним ежевечерне встречались у магазина «Моня и Миша» — прямо из типографии туда доставлялся завтрашний номер «Нового русского слова», который Сережа нетерпеливо разворачивал в поисках новостей (англоязычную прессу он не читал) либо собственной статьи. А когда у каждого из нас было в этом номере по публикации, ревниво смотрел оглавление на первой странице — чья статья там поставлена первой. На наши вечерние свидания Сережа приходил часто в шлёпах на босу ногу, даже в мороз, хотя какие в Нью-Йорке морозы! Иногда к нам в вечерних прогулках присоединялся архивист и книгарь Гриша Поляк, издатель «Серебряного века», в котором издавался Сережа, либо одна из наших Лен — Довлатова или Клепикова. Однако по преимуществу это были мужские променады — соответственно, и мужские разговоры. В ожидании газеты мы делали круги по ближайшим улицам, включая будущую улицу Довлатова — знал бы Сережа! Кто бы ни входил в компанию, Сережа возвышался над нами, как Монблан, — ему и гроб пришлось делать по спецзаказу.

Владимир Соловьев. Гигант с детским сердцем

Владимир Соловьев в «кабинете» Сергея Довлатова, откуда ведет репортаж для фильма «Мой сосед Сережа Довлатов»

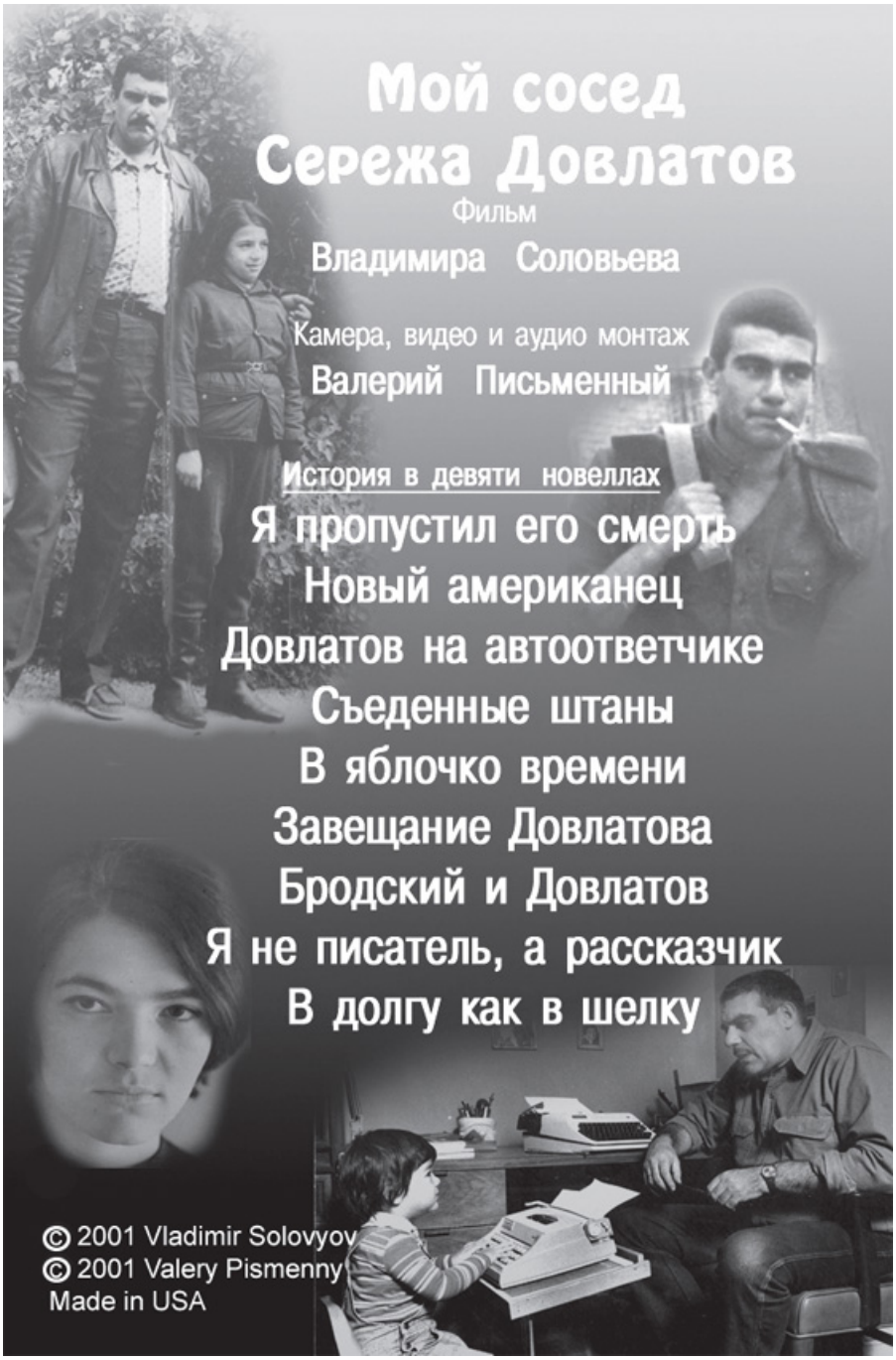
участвуют:
Николай Анастасьев
Елена Довлатова
Сергей Довлатов
Елена Клепикова
Владимир Соловьев

Мой сосед Сережа Довлатов

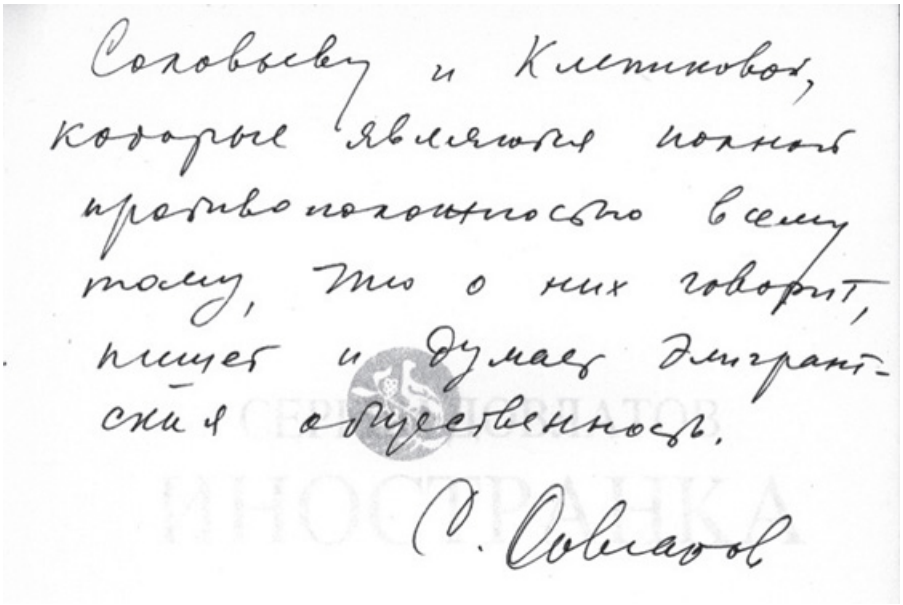
двухчасовой фильм Владимира Соловьева

Спонсор фильма
фирма
ECO DOWSING
приборы для поиска
гео аномалий
(718) 224-4871

Бродский и Довлатов



Фильм Владимира Соловьева «Мой сосед Сережа Довлатов»

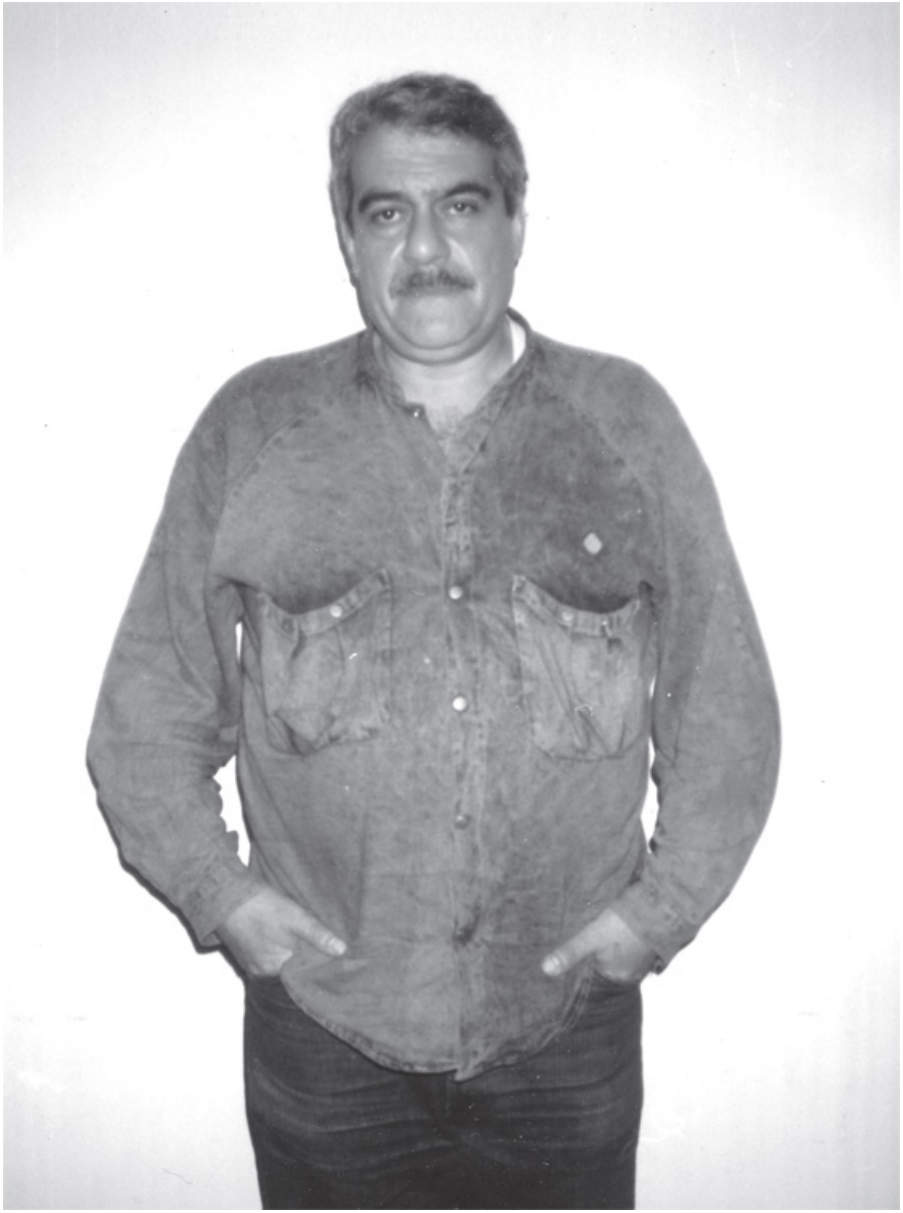

Соловьеву и Клепикову, которые являются полной противоположностью всему тому, что о них говорят, пишет и думает эмигрантская общественность.

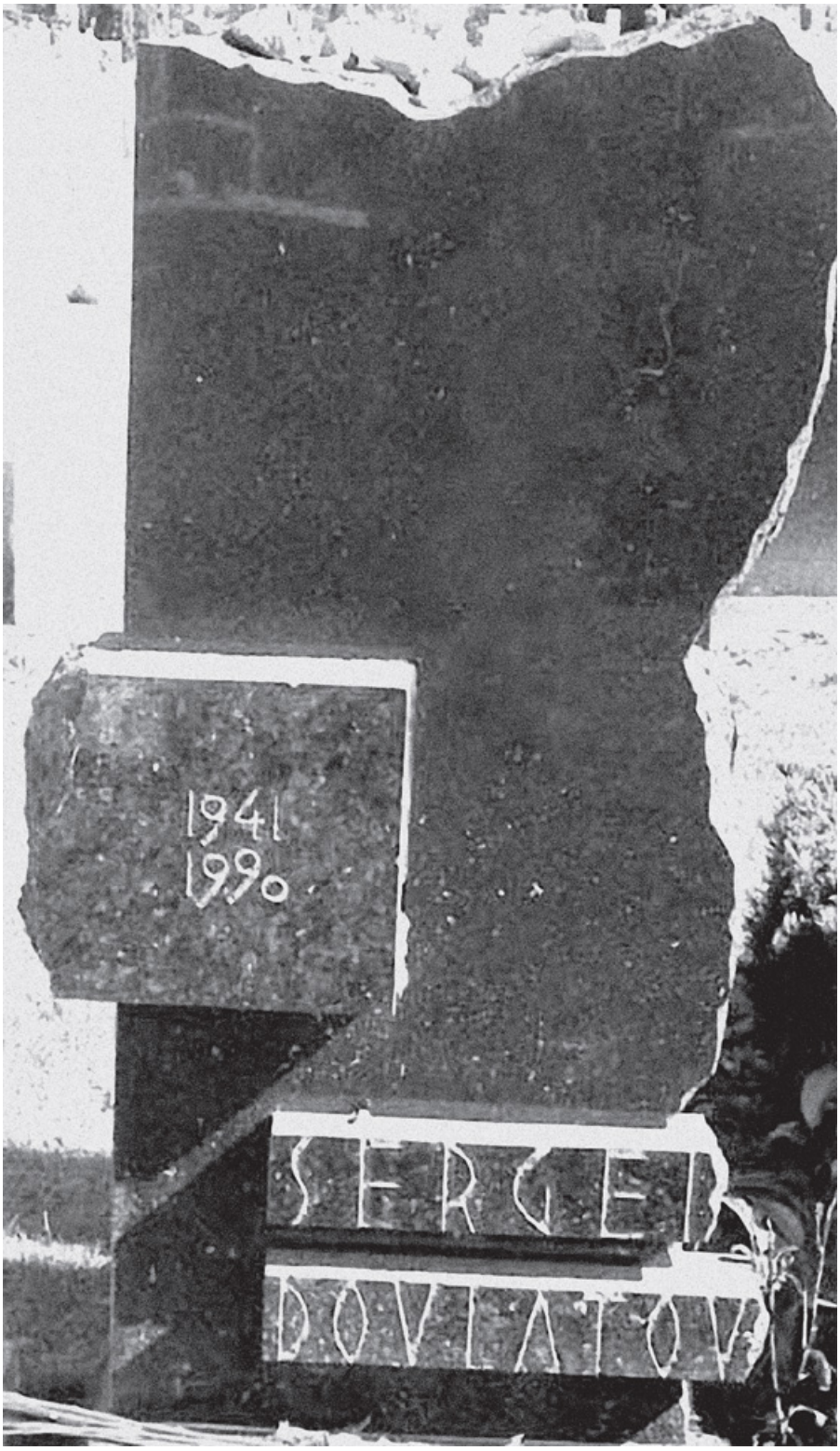
С. Довлатов

Довлатов post mortem

Как-то, уже в прихожей, провожая меня, Сережа спросил, будут ли в «Нью-Йорк таймс» наши некрологи. Я пошутил, что человек фактически всю жизнь работает на свой некролог, и предсказал, что его — будет, и с портретом, как и оказалось.

Владимир Соловьев. Гигант с детским сердцем Памятная доска



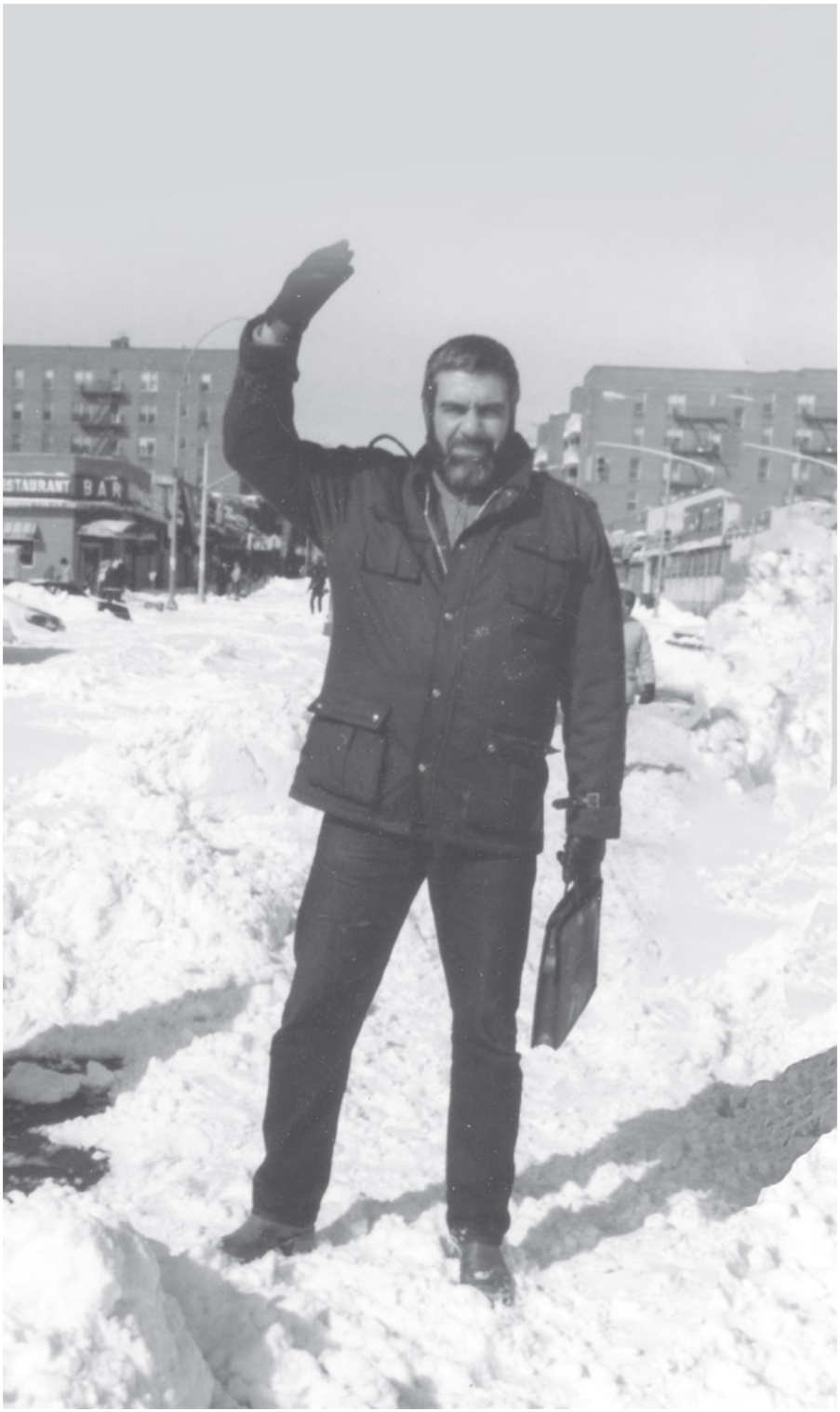

1941
1990
SERGEI
DOVLATOV

Из архива Владимира Соловьева

Памятная доска в Петербурге

С поэтами Михаилом Ереминым и Владимиром Уфляндом. Одна из последних фотографий Довлатова

Фото Наташи Шарымовой



Довлатов на улице Довлатова (будущей). По решению

городского совета Нью-Йорка часть 63-й *Drive* у 108-й *Street,* где жил Сережа и до сих пор живут Лена, Катя и Коля Довлатовы, поименована в честь писателя Довлатова: *Sergei Dovlatov Way*

Фото Изи Шапиро

notes

Примечания

1

См. его оральные рассказы в главе *«Tutto nel mondo e burla!* Довлатов на проходах».

2

Как легко догадаться, это обо мне. — *В. С.*

3

Здесь уж комментарии излишни — прямое указание на меня как соавтора в случае его смерти. Другим претендентом мог быть только кот Мурр. — *В. С.*

4

И вот что поразительно. Весь этот невольно мною подсмотренный эпизод таллинской трагедии Довлатова отрицается не только сожительницей Сережи (та в основном упирает на то, что, кроме нее, никто Сережу в Таллине пьяным не видел), но и лжемемуаристкой Людой Штерн и лжебиографом Валерой Поповым, а тот не только в Таллине и в Нью-Йорке не встречался с Довлатовым, но и в Ленинграде знаком был с ним шапочно и отдаленно, а потому, ничтоже сумняшеся, сам выдумывает либо пользуется чужими выдумками. Нет, отрицается не факт моей таллинской встречи с Довлатовым, с этим все в порядке, а изымается как несуществующее его трагическое, под дых, под откос, литературное и человеческое фиаско. Ради чего это делается? Чтобы выпрямить его судьбу, сгладить противоречия и замять окончательный и бесповоротный крах его советских надежд в эстонской столице? Это тоже. Однако тут еще замешана клановая питерская защита «потерянной чести» Саши Кушнера. Не то чтобы никогда он так низко не падал, как измываясь над несчастным Сережей и самоутверждаясь за его счет в своей благополучной советской судьбе, но чтобы так наглядно — не помню. Зачем из Саши Кушнера делать опереточного злодея? — вопрошает Люда Штерн. Никто из него злодея не делает, но вел он себя по отношению к Довлатову подло. На том стою. Сама свидетель.

5

Сокращенный вариант.

6

Агдам — это вино, примерно йод с хлоркой (примечание самого СД для ЮМ).

7

Сокращенный вариант.